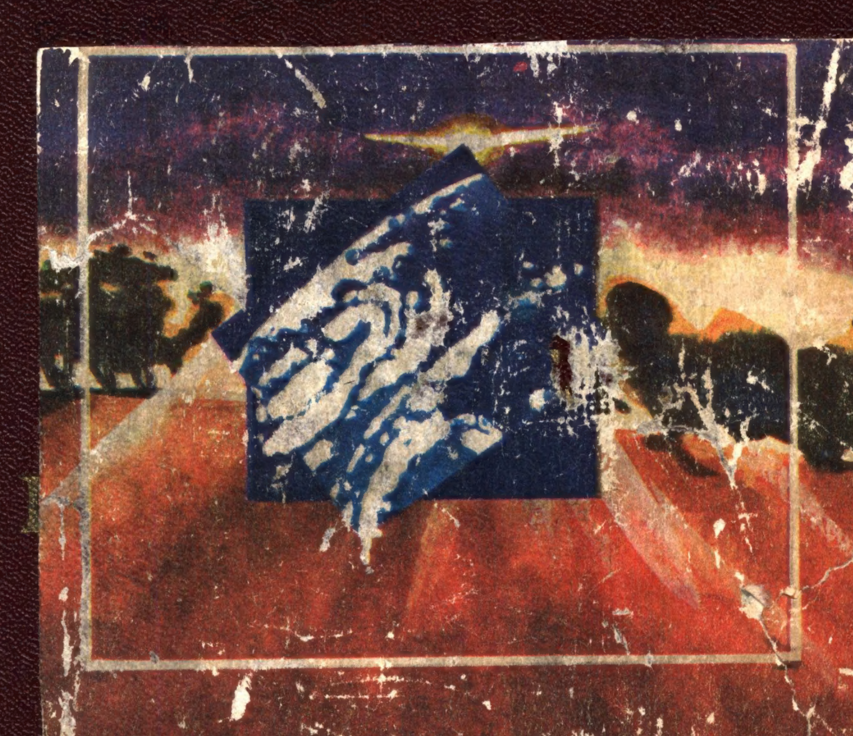


...нтуан де Сент-Экзюпери

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
СКАЗКИ

…уан де Сент-Экзюпери

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
СКАЗКИ



АЛМА-АТА «КАЗАХСТАН» 1981

Переводы с французского

Предисловие *М. Ваксмахера*

Комментарий *Р. Грачева*

Сент-Экзюпери Антуан де.

С 31 Повести, рассказы, сказки. (Пер. с фр.; Предисл. М. Ваксмахера; Коммент. Р. Грачева.— Алма-Ата: Казахстан, 1981.—560 с.

Талантливый французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери долгие годы работал пилотом. Его повести, рассказы проникнуты пафосом гуманизма, демократических устремлений. Тонкий лиризм и горькая сатира на пороки торгашеского общества сочетаются у него с утверждением красоты человеческих отношений.

Предназначена для массового читателя.

Фр

С $\frac{70304-38}{401(07)-81}$ 187—81. 4703000000

ПРЕДИСЛОВИЕ

В «Письме к заложнику» у Сент-Экзюпери есть примечательный эпизод. Писатель, летчик, борец против нацизма, он написал это «Письмо» в дни второй мировой войны, но вспоминает он здесь о другой войне — о гражданской войне в Испании. Приехав в Мадрид как корреспондент парижских газет, Антуан де Сент-Экзюпери пережил однажды трагические минуты: из-за нелепой случайности он был задержан республиканским патрулем и едва не расстрелян. Его конвоиры не знали французского языка, он — каталанского; между ним и солдатами пролегла пропасть безнадежного непонимания. «Вот тут и произошло чудо...»

Это чудо, спасшее Сент-Экзюпери,— человеческая улыбка. Писатель жестом попросил у своего конвоира сигарету и чуть заметно улыбнулся. «Человек сначала выпрямился, медленно провел рукой по лбу, потом посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо, и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет».

Самая суть мироощущения Сент-Экзюпери, как в капле воды, отражена в этой сцене — его глаза, раскрытые радостно и удивленно перед простым каждодневным чудом, чудом человеческой улыбки. Все творчество писателя — гимн хрупким, но прочным связям, узам братства, объединяющим людей, настойчивое, нередко мучительное стремление обнаружить эти связи и сказать о них так, чтобы человек отбросил все лишнее и досадное, мешающее им проявиться. Человек для Сент-Экзюпери — мерило всех ценностей, узел связей, и если узы рвутся, если улыбка гаснет, значит, что-то испортилось в мире, значит, надо понять, в чем же причина, и попытаться убрать с пути все, что мешает человеку быть Человеком.

Книги Антуана де Сент-Экзюпери, поэта, мыслителя и пилота, написаны с неповторимой интонацией раздумья, улыбки, горечи, мудрости и мечты, с безмерной любовью к жизни, с упорным стремлением понять свое время, с чувством великой ответственности перед людьми.

Антуан-Мари-Роже де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года в Лионе, в семье графа де Сент-Экзюпери, страхового инспектора. Мальчик рано лишился отца и рос под духовным влиянием матери. Она привила ему любовь к литературе, к народным сказкам, к музыке, к изобразительному искусству; мать была для Тонио первым советчиком и критиком, она была

ему другом. Свидетельство тому — его письма к ней; многие из них, по своей эмоциональной цельности, по своей образности и глубине, стоят в одном ряду с художественными произведениями писателя.

Разнообразие дарований и интересов, которым была отмечена вся жизнь Антуана де Сент-Экзюпери, обнаружилось у него с детства. Неистощимый в выдумках и проказах, первый заводила в шумных играх и импровизированных детских маскарадах, он мог часами неподвижно сидеть перед камином и грезить наяву, глядя на жаркое пламя. (Спустя годы он будет так же самозабвенно уноситься мечтой в мир детства, в полутемные прихожие и коридоры старого дома, преображенные ребячьей фантазией; он припомнит таинственный сумрак этих заветных уголков, сидя за штурвалом разведывательного самолета летом сорокового года и пристально вглядываясь в жаркое пламя — в небывалый пожар, полыхающий на родной земле.)

Тонио рано начинает писать стихи, задумчивые и грустные; это не мешает ему заразительно хохотать, играя с сестрами, братом, приятелями. Он хорошо рисует, хорошо играет на скрипке. Но самая большая его страсть с детства — техника. Работа механизмов, слаженность машин зачаровывает его, как стихи, как музыка. Он вечно что-то изобретает, из жестяных банок мастерит телефон (телефон, радио, самолет,— эти орудия человеческих связей всегда будут неудержимо притягивать его). Он мечтает стать хозяином настоящих, «взрослых» машин.

С одной из них он познакомился шести лет. Во время поездки по железной дороге мальчик подошел к паровозу, увидел машиниста, который вел состав. Машинист оказался тезкой юного пассажира, и маленький Антуан упросил Антуана большого прокатить его на паровозе. На другой день он по памяти набросал довольно точную схему устройства локомотива.

В 1909 году семья перебирается в город Ле-Ман, и Антуан становится учеником коллежа Нотр-Дам де Сент-Круа. Курс наук он проходит на положении экстерна, и это немного спасает его от бдительного ока отцов-иезуитов, от мертвящего однообразия школьных порядков. Учится он средне, занимается тем, что его больше интересует, ведет себя не всегда чинно, получает неважные баллы за прилежание и опрятность. Но дома, по вечерам, украдкой, как другие мальчишки читают книги о сыщиках, он читает по-латыни «Галльскую войну» Юлия Цезаря, это извечное пугало для гимназистов всех стран. Он хочет понять, как действовали военные машины древних римлян...

Свое первое воздушное крещение Тонио получает двенадцати лет от роду. Летчик Ведри́н, знаменитый в ту пору французский авиатор, поднимает его в воздух над городом Амберьё. В жизнь Сент-Экзюпери впервые входит авиация.

Начинается мировая война (тогда ее еще не называли первой...). Мать Антуана идет работать в лазарет сестрой милосердия; сыновей она отправляет в нейтральную Швейцарию, там они продолжают ученье. В 1917 году Антуан возвращается во Францию и завершает среднее образование в Париже.

В 1919 году Сент-Экзюпери держит экзамены в военно-морское училище, но срезается на... сочинении. Юноша одержим писательством, он уже читал друзьям свои стихи, свою романтическую драму. Ему ненавистна офи-

циозная фальшь. Ради высокой оценки он не поступится совестью. Что может он написать на предложенную тему: «Впечатления эльзасца, который вернулся в родную деревню, когда она снова стала французской»? Тему эту требуется раскрыть в слащавом, ура-патриотическом духе. И Антуан вместо сочинения подает всего несколько строк, за что получает низший балл...

Вскоре Антуан де Сент-Экзюпери стал студентом архитектурного отделения Парижской академии искусств. Но убежденности в том, что путь выбран верно, у него нет. Он полон внутреннего беспокойства, однако сомневается он не только в правильности выбора профессии. Сам жизненный уклад, который, казалось, уже ему уготован, вызывает в юноше протест. Он задыхается в атмосфере пустых словопрений, никчемных споров о политике и философии, ему претят условности светской жизни, он не хочет быть рабом обстоятельств, привычек, мод. Сент-Экзюпери рвется к жизни, насыщенной поиском, к работе, которая может захватить человека целиком, наполнить его существование ярким смыслом. После пятнадцати месяцев занятий в Академии он прерывает действие отсрочки от призыва в армию и записывается во 2-й полк истребительной авиации, расквартированный в Страсбурге. Так в 1921 году определился жизненный путь Антуана де Сент-Экзюпери.

Вначале Антуан работал в ремонтных мастерских, потом начались занятия по пилотированию. Он сдает экзамен на гражданского летчика, получает права летчика военного, кончает курсы офицеров запаса; к осени 1922 года он — младший лейтенант 34-го авиационного полка под Парижем. Но в январе следующего года молодой пилот терпит аварию: он серьезно ранен — пролом черепа. Весной 1923 года его демобилизуют.

Однако Сент-Экзюпери уже твердо знает, что его призвание — авиация. Правда, этого еще не знают директора авиакомпаний, начальники воздушных трасс — те, от кого зависит осуществление его мечты. Будущий знаменитый летчик, а пока скромный обладатель летных дипломов, он вынужден служить на черепичном заводе, потом коммивояжером — продавать автомобили от фирмы «Сорер». Но он прилагает все силы, чтобы добиться своего — стать пилотом гражданской авиации. Наконец в 1926 году мечта сбывается: Антуан де Сент-Экзюпери принят на службу в Генеральную компанию авиационных предприятий, принадлежащую конструктору и промышленнику Латекоэру. В том же, 1926, году в журнале «Ле Навир д'Аржан» Сент-Экзюпери публикует свой первый рассказ «Летчик». Так одновременно входил он в авиацию и в литературу...

Теперь его жизнь полна до краев: интересное, нужное людям, требующее напряжения всех сил дело, ежедневное открытие новых горизонтов — в прямом и переносном смысле слова. Он летает на почтовой линии Тулуза — Касабланка, затем Касабланка — Дакар, осваивает новые трассы, новые машины, живет то на юге Франции, то в Северной Африке. Его начальник — Дидье Дорá, один из пионеров авиации, директор авиалиний компании «Латекоэр» (впоследствии он послужит прототипом Ривьера в «Ночном полете»). В форте Кап-Джуби (изображенном в повести «Южный почтовый»), на самой границе пустыни, Сент-Экзюпери работает начальником аэродрома. Он дружит с местными жителями-арабами, для них он — «властелин песков»;

ведь он посылает крылатые машины туда, где неделями бредут от колодца к колодцу караваны верблюдов. Он дружит с пустыней — среди звезд и камней он явственней слышит дыханье планеты, здесь он особенно остро ощущает, насколько сильны связи каждого человека со всем человечеством.

Его досуг тоже до краев заполнен трудом: разработка математических, физико-теоретических, прикладных инженерных проблем. И, разумеется, литература, живопись, музыка. И переписка с матерью, с друзьями... Он изобретает навигационные приборы, изучает и совершенствует методы вождения самолетов, все чаще задумывается над возможностью использовать в авиации реактивные двигатели. Вот лишь некоторые из тех многих изобретений, на которые Сент-Экзюпери получил авторские патенты: «Приспособление для посадки самолетов», «Отражатель катодных лучей», «Новый метод электронно-волновой пеленгации».

Позже, в 1939 году, в предисловии к специальному номеру журнала «Докюман», посвященному летчикам-испытателям, Сент-Экзюпери писал: «Теоретик верит в логику. Ему кажется, будто он презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, что они, эти три феи, просто переоделись, чтобы обольстить его, как влюбчивого мальчишку. Он не знает, что как раз этим феям обязан он своими самыми замечательными находками. Они являются ему под именем «рабочих гипотез», «произвольных допущений», «аналогий», и может ли теоретик подозревать, что, слушая их, он изменяет суровой логике и внимает напевам муз...»

«Теоретик» — лицо отнюдь не вымышленное; это, конечно, сам Сент-Экзюпери. В свой поэтический труд он вносил логику исследовательской мысли; его работа изобретателя, конструктора, ученого шла об руку с интуицией и мечтой. Так же, как шли об руку работа Сент-Экзюпери в авиации и его литературное творчество.

Влюбленный в авиацию, Сент-Экс (так ласково называли его друзья) видел в ней высокую возможность служить людям. Для него — летчика и писателя — самолет был важнейшим орудием познания и покорения вселенной и не менее важным средством воспитания людей. «Самолет — не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин». Когда в 1939 году Антуана де Сент-Экзюпери спросили, что для него важнее, летать или писать, он сказал: «Не понимаю, как можно разделять эти вещи, тем более противопоставлять их. Для меня летать и писать — одно и то же. Главное — действовать, главное — найти себя. Авиатор и писатель сливаются: оба в равной мере познают мир».

Труд писателя и труд пилота стоят для него в том же ряду, что работа пахаря, кузнеца, плотника, садовника. Владея самолетом, этой сложнейшей машиной, детищем технического прогресса, человек решает те же задачи, какие приходится решать тому, кто держит в руках заступ или рубанок. Человек раскрывается в борьбе с препятствиями; самолет — инструмент познания мира и самого себя.

Есть в этой концепции своеобразный руссоизм: необходимость вернуться к природе, вырваться из города, наладить разорванные связи с первоэлементами бытия, со «стихиями», погрузиться в самые истоки жизни, лично

участвовать в создании материальных и духовных ценностей. Но этот руссоизм сочетается у Сент-Экзюпери не эклектично, а естественно и свободно, с уважением к науке. Он бежит из большого города не потому, что боится грохота моторов; мещанский уклад городской жизни — вот что ему претит. А машина — машина удлиняет человеческую руку, мотор стократ увеличивает силу человеческих мышц, тонкий оптический прибор делает человека еще более чутким к мельчайшим движениям материи: и вот ты уже творец и повелитель времени и пространства. Только не дай машине заслонить от тебя простоту природы, не теряй себя как Человека...

Ремесло пилота приносит Антуану де Сент-Экзюпери радость; несет оно в себе и невзгоды; но «главное — тот взгляд на жизнь, до которого эти радости и невзгоды тебя возвышают». Труд пилота — это служение. Именно такое, высокое и чистое, понимание слова «служение» всегда вдохновляет демократических писателей. В работе литератора и летчика Сент-Экзюпери основывается по сути на тех же нравственных принципах, которые завещал молодому Ромену Роллану Лев Толстой («Лишь то искусство ценно,— писал Толстой,— которое объединяет людей»).

...После полутора лет работы в Кап-Джуби, весной 1929 года, Сент-Экзюпери возвращается во Францию; он проходит в Бресте курс пилотирования гидросамолетов. С собой он привез рукопись своей первой книги «Южный почтовый». В том же году она вышла у крупнейшего парижского издателя Галлимара.

Тот, кто сначала прочел зрелые вещи Сент-Экзюпери, его «Ночной полет», «Планету людей», «Маленького принца», «Военного летчика», а потом уже «Южный почтовый» (именно в таком порядке знакомилось с книгами Сент-Экзюпери большинство советских читателей), испытал, вероятно, сложное чувство — радость и грусть узнавания в юноше будущего мужчины. Словно ты увидел давнюю фотографию человека, с которым подружился, когда он успел уже поседеть... В каждой главе «Южного почтового» нас встречают мысли, образы, метафоры, интонации, которые полюбились нам по другим произведениям писателя. Здесь и пустыня, застывшая в своей внутренней динамичности, и молчаливое братство пилотов, и ненависть к одиночеству, и воспоминания детства, и хрупкий шорох эфира, несущий сквозь моря и горы человеческую надежду. Здесь и страстный поиск «формулы», нравственного закона — его ищет мятущийся юноша-летчик Жак Бернис, который ведет взволнованный диалог с самим собою, с товарищем, с тучами, с самолетом. Здесь и обращение рассказчика к герою на «ты» — как в «Планете людей» к Гийоме, и изящно-угловатый синтаксис, и нервный ритм прозы — нервный, но не издерганный, а насыщенный радостью, или болью, или сомнениями — естественными чувствами здоровых людей. Неожиданные метафоры, при всей своей неожиданности идущие от единой образной логики, от непосредственного и вместе с тем обобщенного опыта летчика, который глядит на землю, проплывающую под крылом самолета; метафоры суховатые, не раскрытые до конца — и словно подсвеченные изнутри удивлением перед красотой мира. И в центре — человек, частичка теплой жизни, хрупкое зернышко живого, вызов минеральному хаосу, равнодушию гор и морей...

Стиль пока еще в становлении, где-то видны стыки настоящей красоты с красивостью, где-то неэкономно потрачены словесные краски, но это дерзкая проба сил, за которой придет в свой час и взвешенность подлинного мастерства и безупречное чувство меры. Однако ошибиться уже нельзя: это Сент-Экзюпери.

В этой же книге, таящей в себе автобиографические черты, сталкиваются два мира. Жак Бернис пытается увлечь Женевьеву в свою страну — страну действия, опасностей, тревог. Он терпит неудачу. Женевьева так и остается навсегда в мире обывательского прозябания. Конфликт дерзания и серости — вот что такое «Южный почтовый». И прозрение будущих идей братства — братства по ремеслу и по человечеству. И томление избытком собственной силы, которую не знаешь еще, как применить...

Жака Берниса преследует тревожное чувство, ему кажется, будто за привычными вещами кроется нечто невидимое — дружелюбное человеку, но еще не познанное, не схваченное, и нужно совершить усилие, чтобы поймать ускользающую суть вещей. Так у Сент-Экзюпери всегда: предметы, элементы стихий, рисуемые им, не мистичны, они реальны и осязаемы, но в чем-то неизменно таинственны; писатель умеет увидеть их в новом свете, и, благодаря этой редкой особенности его зрения, мы тоже, вместе с ним, видим их по-иному. Мы удивляемся новизне мира — той новизне, что открывается только людям действия. Обывателям, которые кружат вокруг «музыкальных беседок» в маленьких городишках, этого не увидеть. Лишь действие во имя установления связей людских помогает ощутить величие круговорота природы; не раствориться в нем, а познать его, стать с ним вровень, быть его повелителем. Нужно лишь усилие. Прорваться сквозь паутину одиночества, непонимания, пассивности. И это — в человеческих силах. Все книги Сент-Экзюпери, начиная с «Южного почтового», говорят об этом: не отказываться от усилий понять людей и природу, протягивать руку человеку, миру — бытию.

В октябре 1929 года Антуан де Сент-Экзюпери получает новое назначение — в Южную Америку; он — технический директор «Аэропоста-Аргентина», филиала французской компании «Аэропосталь». Опять борьба за безопасность полетов — теперь уже над огромным латиноамериканским континентом, за своевременную доставку почты и пассажиров, за слаженную работу десятков аэропортов. Сент-Экзюпери редко сидит на месте, в Буэнос-Айресе (не любит он большие города!), не часто можно застать его в служебном кабинете. Он прежде всего — пилот, он сам осваивает маршруты, по которым завтра поведут машины его товарищи.

В ту героическую пору отрочества авиации каждый полет становился еще одним прыжком в неизведанное, открытием новых рубежей, рекордом скорости, дальности, мужества. Работа Валерия Чкалова и Антуана де Сент-Экзюпери, Михаила Громова и Жана Мермоза, десятков и сотен пилотов пассажирской и почтовой службы двадцатых и тридцатых годов была работой разведчиков будущего. Разведчики и не подозревали тогда, что полет над Северным полюсом или над Сахарой — это уже первое сражение, завязавшееся на дальних подступах к космосу...

Личное мужество Сент-Экзюпери было под стать его высокой требова-

тельности к человеческому достоинству и долгу. В июне 1930 года, разыскивая Анри Гийоме, прекрасного летчика и своего ближайшего друга, потерпевшего аварию в Кордильерах, Сент-Экзюпери на бреющем полете, рискуя каждый миг врезаться в скалы, прочесывал район предполагаемой аварии. Проверяя новые машины в труднейших природных условиях, Антуан де Сент-Экзюпери не раз бывал на волосок от гибели. В последние дни 1935 года он вместе с механиком Прево отправился в дальний перелет из Парижа в Сайгон. В Ливийской пустыне самолет разбился. Из этого полета, едва не кончившегося для Сент-Экзюпери смертью, он вынес удивительные впечатления; многие из них легли потом в основу «Планеты людей», «Маленького принца», незавершенной «Цитадели». Другой перелет (Нью-Йорк — Огненная Земля), предпринятый им в начале 1938 года, кончился трагичнее: самолет разбился в Гватемале, Сент-Экзюпери неделю не приходил в сознание, у него оказалось сотрясение мозга и множественные переломы костей. Но он вновь возвращается к жизни — к полетам и книгам.

В 1931 году вышла в свет вторая книга Сент-Экзюпери — «Ночной полет».

«...Холмы под крылом самолета уже врезáли свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют свою снежную белизну».

В этот простой и величественный мир, в тревожную красоту ночи, таящей смутную угрозу, читатель входит радостно и легко; так же радостно и легко, как вплывал в ворота ночи маленький отважный самолет, пилотируемый героем повести Фабьеном. Природа коварна; скалы начинают вдруг струить гнев; просвет в облаках, этот колодец, на дне которого — луна и звезды, может оказаться ловушкой; надежность уютно устроившегося в небе самолета может в любую минуту обернуться шаткостью и падением. Но пилот счастлив. И смех его товарища, поборовшего страх, «гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и морей».

Летчик Фабьен погиб; директор авиалинии Ривьер потерпел в эту ночь поражение, но «оно может стать уроком, который приближает подлинную победу». Тяжесть победы трудна, не всякие плечи выдержат ее, но Сент-Экзюпери пишет о людях, которым по плечу груз побед, и новых поражений, и новых побед. Непрерывная поступь от поражений к победам — только в такой последовательности! — этим ритмом пронизана книга о неудавшемся ночном полете.

Когда завершатся сутки и усталые экипажи отправятся спать, Ривьер отдыхать не будет. Настанет черед тревожиться о других самолетах. Так будет всегда. «Прибытие самолетов никогда не станет для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира». «Возможно, победы нет вообще: не могут раз навсегда прибыть все самолеты...»

Эти горькие мысли, одолевающие Ривьера в трагическую ночь, которая обрушилась на континент невиданным циклоном, могут показаться близкими идеям экзистенциалистской литературы (расцветшей, кстати сказать, лишь десяток лет спустя). Недостижимость победы, невозможность счастья, труд непрестанный и бессмысленный... Нет, оно мнимо, это сходство. Для героев

экзистенциалистских произведений бытие абсурдно, действие безрезультатно, человек одинок. Для Сент-Экзюпери и его героев счастье — в осознании необходимости усилий, в отказе от покоя. Усилия для них бесконечны, но плодотворны. Счастье — в непрестанном действии ради новых свершений, идущих на пользу людям — всем людям. «Нужно заставить людей жить в постоянном напряжении, жизнью, которая приносит и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь»,— утверждается в «Ночном полете». Финал повести опровергает даже те минутные сомнения («возможно, победы нет вообще...»), которые сам Ривьер расценивает как уступку болезни и старости. Он остается победителем. Победа есть.

Директор Ривьер суров к своим подчиненным; эта суровость порою граничит с жестокостью, но она оправдана его любовью к людям. Он увольняет провинившегося рабочего, но он карает не его, старого мастера, а «зло, за которое тот, быть может, не отвечает, но орудием которого он стал». Отказывая людям в дешевой жалости, Ривьер спасает их от страха. Правда человеческого мужества подчиняет себе частную правду жены летчика, тоску по домашнему уюту, по дымящейся чашке кофе на столе.

Но в этой цепи рассуждений есть, пожалуй, уязвимое звено: от суровости Ривьера страдают-то в конечном счете живые люди. В повести проскальзывает нота нарочитой прямолинейности, есть какая-то надуманность в самой постановке проблемы. Человек словно ставится перед выбором: или действие, или простые человеческие радости; одно исключает другое; человек риска и борьбы должен отречься от мягкого света лампы над белой скатертью. Позднее, в «Планете людей», эти мысли приобретут у Сент-Экзюпери большую гибкость и глубину: действенная, чреватая опасностями жизнь, отданная людям,— только она одна и дает полное удовлетворение; счастье битвы не будет уже противопоставлено «маленьким» радостям человеческого существования: оно может вобрать их в себя. Некоторый аскетизм «Ночного полета» сгладится в «Планете людей», действие станет уделом не только избранных, оно будет естественным состоянием человека, единственным путем к теплу, привязанностям, уюту.

Впрочем, мотив избранничества отступает перед могучим гимном человеческому братству уже в «Ночном полете». Гордость за друзей, за товарищей по ремеслу, связанных между собой молчаливыми узами,— вот что главное в повести. Пилоты у Сент-Экзюпери чужды гордыни, они не сверхчеловеки, их дружба не кастовая круговая порука. Они грубовато-нежны друг к другу, они просто люди. Их трудное ремесло помогло им сбросить с себя все то наносное, лишнее, что в обыденной жизни скрывает в людях — людей. Со своих мирных или грозных небес они спускаются, как крестьяне с гор; они снаряжаются в полет, как шахтеры, как те же крестьяне; они бережно поддерживают своими руками «бесценный груз человеческих жизней...»

...Через минуту взлетит в небо еще один самолет. Он повезет почту в дальние края. Он может стать игрушкой стихий. Но его поведет человек, а он «сильнее гор, туч, морей». И гул мотора «возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд». Рассказ о гибели маленького экипажа — пилота и радиста — стал рассказом о грядущих полетах, о неукротимости этих воинов и тружеников грозных и мирных небес.

«Южный почтовый» и «Ночной полет», как и вся проза Антуана де Сент-Экзюпери, насыщены какой-то особой формой литературной энергии, страстностью интеллектуальной, эмоциональной, художнической. Но, в отличие от последующих произведений писателя, эти две повести более традиционны: они сюжетны. Энергия, конденсированная в них, находит разрешение в более или менее последовательном рассказе о событиях.

Начиная с «Планеты людей», Сент-Экзюпери почти полностью откажется от сюжета. Куски сюжетно законченные, своего рода вставные новеллы, войдут в его прозу на равных правах с главами пейзажными, психологическими, публицистическими, философскими. Интерес читателя будет поддерживаться не столько остротой событий, сколько напряженностью ищущей мысли, неожиданностью подхода к действительности, новизной стилистического звучания. Сюжетное движение вольется в поток образно-логических построений. Это будет интеллектуально-лирическая проза, одновременно фабульная, документальная, исследовательская — и всегда художественная. Прямодушный разговор с собеседником, читающим книгу, с человеком, в котором писатель видит своего потенциального единомышленника, рассказ о пережитом, передуманном, приглашение вместе поразмыслить над проблемами века — такова эта емкая проза. Разнообразие материала и стиля не ощущается как разнородность, потому что за любым поворотом темы — единый и цельный образ рассказчика, участника или свидетеля событий, образ удивительно к себе располагающий с самых первых страниц. Нас пленяет писательское доверие к нам, читателям. Доверие тем более дорогое, что оно исходит от человека мужественного, много испытавшего. У читателя рождается ответное доверие к автору, ко всему, о чем он говорит.

Странно было бы решать, насколько такой жанр «лучше» или «хуже» других, насколько он «современнее». Для Антуана де Сент-Экзюпери он оказался естественным и органичным; для него он «лучше» и «современнее». Так же, как, например, для Арагона естественна сложная композиция и широкая эпичность, пронизанная лирическими отступлениями,— такова его «Страстная неделя», остро современный роман о событиях полуторавековой давности. Так же, как для Веркора, например, наиболее естественной формой современной прозы оказался жанр философского романа-притчи, для Роже Мартен дю Гара — многотомная семейная хроника, вобравшая в себя социальную характеристику целой эпохи, а для Франсуа Мориака — его нервные моментальные снимки кризисных состояний смятенной души. Проза окажется современной и по своему стилю, если она верно схватывает характерные черты времени. И старомодны будут любые формальные «новации» если не стоит за ними человек-современник, населяющий современную Землю — планету людей...

«Планета людей» вышла в начале 1939 года и тогда же получила Большую премию романа Французской академии.

Различны места действия, различны люди и ситуации, о которых повествуется в книге, но проникнута она от начала до конца едиными чувствами, едиными стремлениями. Каждый огонек на равнине говорит о чуде человеческого сознания; сама усталость летчика, вернувшегося из мучительно трудно-

го полета,— прекрасна; опершись на плечо старшего товарища, начинающий пилот обретает покой школьных лет; супружеская чета испанских крестьян, сама того не ведая, всегда, как смотрители маяков, помогает пилотам — помогает звездами огней в окнах своей ветхой фермы; к толпящимся на улице прохожим рассказчик чувствует нежность: они, эти люди, уже вручили ему почту, и на рассвете он повезет ее воздушным трактом к другим людям; в каждом товарище, который едет на аэродром, уже рождается исполин, готовый помериться силами со стихиями, а в старом канцелярском служащем, в этом тулузском мещанине, навеки заснул музыкант, или астроном, или поэт...

Это славословие в честь человека, в честь дружбы, света, добра волнует именно своей непосредственностью и прямотой. Делиться с нами, читателями, переполняющим его восхищением, говорить о красоте нашей планеты и населяющих ее людей для Сент-Экзюпери так же необходимо, как дышать, думать, летать.

Почти уже не веря в спасение, рассказчик и его бортмеханик Прево зажигают в пустыне сигнальный огонь. Они умирают — в самом прямом и простом значении слова — умирают от жажды. «И я думаю — он (огонь.— *М. В.*) несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся!»

Огонь, тепло, песок, дерево, солнце, любовь... Французская поэзия нашего века нередко оперирует понятиями этого ряда, упорно отказываясь от «вторичных» слов, от эпитетов и уточнений, от переходных красок и полутонов. Под пером иных поэтов эти слова превращаются в некие иероглифы, ими зашифрованы субъективные впечатления и идеи. У Сент-Экзюпери «огонь» или «любовь» — образы многозначные и в этой своей многозначности ясные и человечные; Сент-Экзюпери пишет, как Поль Элюар, он возвращает словам, означающим элементы стихий и отношения между людьми, их первоначальный смысл; настойчиво повторяя эти слова в своей прозе, писатель идет от реальных жизненных ситуаций, и понятия эти, при всей их поэтичности, у него земные, «вещные». Его «солнце» и светит и греет. Драгоценный смысл слов «братство», «любовь» не растрачен в душе Сент-Экзюпери; непосредственный опыт каждого дня укрепляет поэта в его гуманистической вере.

Смерть, эта излюбленная тема певцов страдания и тлена, ненавистна для Сент-Экзюпери, глашатая жизни. Но ненавистно ему и позерское или бездумное пренебрежение к смерти. Пренебрежение к смерти без чувства ответственности — это для него признак нищеты. Прекрасна смерть садовника, который боролся со смертью во имя созидания.

Антуан де Сент-Экзюпери не устает удивляться красоте рабочих рук, испачканных мазутом, красоте розового песка пустынь, красоте времени, словно спрессованного на остатках горного плато в Сахаре: столетия материализовались здесь в черных звездных плодах — метеоритах. Каждый день для него — первый день творения; его изумляет и радует порядок, заведенный от века во вселенной.

Но не видит он целесообразности, не видит красоты в том, как живет человек. Люди рождаются с великолепными возможностями, в каждом заложен Моцарт, а из него делают тулузского мещанина. Таланты людей заживо погребены, рушатся связи, цивилизация штампует роботов. И если все же

вспыхивает улыбка, если люди вдруг чувствуют тепло связующих их братских уз,— происходит это лишь *вопреки* социальным установлениям, *вопреки* кастовым перегородкам, разделяющим людей.

Антуан де Сент-Экзюпери отвергает политические, экономические, социальные формы связей человека с человеком. Эти стороны общественной жизни представляются ему чуждыми, даже пагубными. Он с величайшим недоверием относится к политике — к политике вообще. Практически же, в своих книгах, говоря о конкретных людях, о конкретных судьбах, он прежде всего осуждает политику буржуазии, штампы цивилизации буржуазной, делающей из живого человека мертвую «функцию». Он любит людей — и поэтому ненавидит бездушную бюрократическую машину, официальную идеологию, мещанский уклад.

Это свое презрительное недоверие к «политике» и «партиям» Сент-Экзюпери обобщает и абсолютизирует в рассуждениях и раздумьях, неотделимых от конкретно-образной стороны его творчества,— обобщает и переносит на любые формы общественного уклада, на любые политические системы. Ненависть к войне, к войнам колониальным, к войнам разбойничьим распространяет он на войны вообще, и ужас перед насилием над людьми приводит его зачастую к осуждению и войны революционной, и насилия революционного (например, в ряде оценок испанских событий 1936—1939 годов).

Активный и полнокровный, когда речь идет о каждодневном труде пилотов, штурмующих небеса ради прогресса человечества, гуманизм Антуана де Сент-Экзюпери приобретает оттенок умозрительности, когда писатель размышляет над проблемами общечеловеческими или когда он видит перед собой попытки людей штурмовать небо в ожесточенных классовых боях.

Как правило, Сент-Экзюпери смотрит на общество под углом зрения нравственным. Но его этические оценки так или иначе соприкасаются с оценками социальными, ибо пишет он о событиях современности, о людях эпохи, чреватой войнами и революциями, и в поле его зрения неизбежно попадают те или иные элементы сложнейших общественных отношений. Как радуется писатель, когда расцветает улыбкой лицо испанского солдата,— но ведь это не просто солдат Испании, это боец Испании *республиканской*. Как счастлив Сент-Экзюпери увидеть приметы новой жизни Москвы, жизни, проникнутой духовными устремлениями,— но ведь это столица *социалистического* мира. И тогда оказывается, что улыбка расцветает не только «вопреки», но и «благодаря». Благодаря общественным связям нового типа, благодаря политике, поставившей своей целью расцвет человеческой личности. Недаром книги Антуана де Сент-Экзюпери так полюбились людям, сделавшим знаменем своей политической борьбы любовь к человеку, братство и счастье тружеников — те самые нравственные цели, к которым всю жизнь стремился автор «Планеты людей».

В тридцатые годы Сент-Экзюпери много путешествовал. Весной 1935 года он побывал в Советском Союзе. Цикл его очерков о Москве (где он пробыл всего несколько дней) был опубликован в газете «Пари-суар». В новую для него действительность писатель всматривается внимательно и непредубежденно. Он видит творческий порыв народа, огромное строительство, видит, с каким энтузиазмом и верой создают новое общество советские люди. Сент-Эк-

зюпери подмечает яркие психологические детали, говорящие ему о том, что для миллионов мужчин и женщин СССР социалистическая революция — это *их* революция. Обобщенного и вместе с тем точного и верного образа Москвы и ее жизни Сент-Экзюпери не дал и не мог дать: слишком кратковременным было это его первое и последнее знакомство с Советской страной. Но, как всегда в его творчестве, отдельные факты получили яркое и запоминающееся освещение.

В мае 1935 года трагически погиб агитсамолет-гигант «Максим Горький». 20 мая в газете «Известия» была напечатана заметка. Вот ее полный текст.

О ДВИЖУЩЕЙ СИЛЕ

Я летал на самолете «Максим Горький» незадолго до его гибели. Эти коридоры, этот салон, эти кабины, этот мощный гул восьми моторов, эта внутренняя телефонная связь — все было не похоже на привычную для меня воздушную обстановку. Но еще больше, чем техническим совершенством самолета, я восхищался молодым экипажем и тем порывом, который был общим для всех этих людей. Я восхищался их серьезностью и той внутренней радостью, с которой они работали... Чувства, которые обуревали этих людей, казались мне более мощной движущей силой, нежели сила восьми великолепных моторов гиганта.

Глубоко потрясенный, я переживаю траур, в который погружена сегодня Москва. Я тоже потерял друзей, которых только что узнал, но которые уже казались мне бесконечно близкими. Увы, они никогда больше не будут смеяться ветру в лицо, эти молодые и сильные люди....

Я знаю, что эта трагедия вызвана не технической ошибкой, не невежеством строителей или оплошностью экипажа. Эта трагедия не является одной из тех трагедий, которые могут заставить людей усомниться в своих силах. Не стало самолета-гиганта. Но страна и люди, его создавшие, сумеют вызвать к жизни еще более изумительные корабли — чудеса техники.

Антуан Де-Сен Экзюпери,
пилот и писатель,
специальный корреспондент
«Пари-суар».

Нет, не механическую деловитость, не суетливость обитателей муравейника обнаруживал французский писатель, встречаясь с советскими людьми. А опасливые рассуждения о ненужности политики жили своей отдельной, книжной, жизнью...

Впоследствии Антуан де Сент-Экзюпери не раз возвращался мыслью к впечатлениям от своей поездки в Москву. Он внимательно следил за всем, что происходило в СССР, читал прессу, расспрашивал очевидцев, раздумывал, сопоставлял. Во многих его заметках и письмах отражены эти настойчивые раздумья. «...Я как будто уже понимаю, в чем дело. Они создали новое общество и теперь хотят, чтобы человек не только уважал его законы, но и этими

законами жил. Они хотят, чтобы социальное единение людей было не только внешним, но чтобы оно завладело сердцами. Лишь тогда меры принуждения окажутся ненужными...» И еще: «Постепенно я начинаю понимать, как я был наивен, когда верил всяким россказням... Я не стану больше удивляться внешним проявлениям жизни... По собственным ошибкам я вижу, как настойчиво стараются у нас исказить русский опыт. Нет, эту страну надо искать в чем-то другом. Лишь через это другое можно понять, как глубоко ее почва взрыхлена революцией...»

И когда в разгар второй мировой войны Сент-Экзюпери писал о своей неприязни к марксизму, это не было выражением его философского или политического кредо; ближайший друг писателя Леон Верт, литератор-марксист, которому Сент-Экзюпери посвятил «Письмо к заложнику» и «Маленького принца», утверждает, что, не будучи особенно увлеченным идеями марксизма, Сент-Экзюпери тем не менее никогда не питал к марксизму «доктринальной» ненависти.

Автор «Планеты людей» и «Военного летчика» подходит с опаской к социологическим теориям. Классовая борьба, по его убеждению, лишь разделяет людей; социализм, казалось ему, обедняет человека духовно. В людях самолета «Максим Горький» он увидел совсем иное...

В 1936 и 1937 годах Сент-Экзюпери побывал на фронтах республиканской Испании. Его корреспонденции печатались во французских газетах «Энтрансижан» и «Пари-суар», в них сквозит тревога за судьбы Европы, они предупреждают об угрозе всеобщей войны. По-прежнему стараясь держаться подальше от политики, писатель непримиримо ненавидит фашизм. «Зачем спорить об идеологиях?» — спрашивал он в «Планете людей»; но идеология расизма ему отвратительна. Он протестовал против деления человечества на демократов и фашистов, ему казалось, что такое деление упрощает действительное положение вещей; но во время войны в Испании он был вместе с демократами. А через несколько лет, во время войны, охватившей мир, Сент-Экзюпери дрался против фашизма с оружием в руках.

В его испанских репортажах довольно сильны пацифистские настроения. С болью и ужасом смотрит он на страдания людей, с содроганием говорит о жертвах войны, о гибели мирного населения; эта боль, этот ужас настолько сильны, что писатель не может думать ни о причинах, вызвавших гражданскую войну в Испании, ни о виновниках страданий людских. Он хочет сейчас одного: чтобы скорее прекратилось кровопролитие, чтобы перестали умирать люди, чтобы не разрушилось то чудесное и прекрасное, что воплощено в человеке, в молодости, во влюбленной девушке,— минуту назад она смеялась, мечтала, надеялась, и вот от нее осталось лишь кровавое месиво на мадридской мостовой. Пацифизм некоторых испанских репортажей Сент-Экзюпери это не доктрина, а скорбный крик: «Не хочу, чтобы они умирали!»

С первых дней войны Антуан де Сент-Экзюпери мобилизован. 4 сентября 1939 года он прибывает в Тулузу, в свою воинскую часть. Врачи признали его негодным — по возрасту, по состоянию здоровья — к службе в военной

авиации; ему приходится работать инструктором, обучать молодежь. Но Сент-Экзюпери хочет летать и упорно отстаивает свое право. В конце концов, после долгих хлопот, он выходит победителем из поединка с медициной. Капитану де Сент-Экзюпери разрешены полеты. Во время «странной войны» он ведет разведку и аэрофотосъемку расположений противника. На своем боевом посту, в составе авиагруппы 2/33, он находится и в страшные дни поражения, летом сорокового. Сверху, из самолета, он с особенной ясностью видит, как чудовищны масштабы катастрофы. Приказ о демобилизации застает его полк в Алжире. Писатель ненадолго возвращается во Францию и вскоре, в ноябре 1940 года, через Марокко едет в Португалию и оттуда, из Лиссабона, в декабре отплывает в Нью-Йорк.

В эмиграции Сент-Экзюпери отказался примкнуть к деголлевским группировкам. Его мечта — снова сражаться за Францию, но принимать участие в мелкой возне, в стычках самолюбий и амбиций — это не по нем. С брезгливостью смотрит он на тех деятелей эмигрантских кругов, которые мнят себя единственными представителями сражающейся Франции и пытаются на страданиях родины нажить политический капитал. Сент-Экзюпери не признает за ними монополии на патриотизм, он хочет просто воевать, он хочет просто писать правду — для того чтобы вернее воевать. И он пишет книги, которые в те трудные годы помогли Франции вернуть уважение ее друзей. В 1942 году — сначала в переводе на английский язык — выходит «Военный летчик», в 1943 — «Письмо к заложнику» и «Маленький принц».

«Военный летчик» — еще одна книга о поражении и победе. Книга небывалого трагизма, она поистине оптимистична; полет над гигантской битвой в часы отчаянья и паники открывает перед Сент-Экзюпери не только ужас и нелепость происходящего. Он провидит победу, провидит ее неизбежность. Эта уверенность приходит к нему как единственно возможный итог всей жизни — и того недолгого времени, которое было затрачено на полет к пылающему Аррасу, ибо за время полета была заново пережита вся жизнь.

И снова пестрота жизненных впечатлений, опять разнообразны художественные приемы: напряженные внутренние монологи; отчет о перипетиях полета; сухая и точная, как в бортовом журнале, фиксация маневров летчика, обстрела, атак немецких истребителей, самочувствия пилота; пейзаж; воспоминания; образы товарищей — и тех, кто остался на земле, и тех, кто летит вместе с ним в самолете; диалоги; вставные сюжетные эпизоды... И редкая цельность, спаянность мысли, чувств, образов. Хаосу разгрома противостоит духовная сила солдата-гуманиста в час испытания.

«Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. Может быть, в этих словах кроется противоречие. Плевать мне на слова. Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние».

Эта книга, насыщенная сомнениями и раздумьями, дает точный и прямой ответ на главный вопрос: быть или не быть человеку Человеком. Фашизм обречен. «Мы ощущаем теплоту человеческих связей. Вот почему мы уже

победители... Нужно восстановить Человека... Он — источник моей победы... Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна».

С горечью размышляет Сент-Экзюпери о путях и тупиках «своей духовной культуры». Эта культура — «его», близкая и родная ему. Поначалу она была основана на уважении к Человеку; «наследница Бога», она положила в основу человеческой общности дорогие Антуану де Сент-Экзюпери принципы свободы и равенства, она пыталась создать братство «в Человеке». Писатель отвергает не принципы, а то, во что они выродились. Гуманистические идеалы (они удивительно близки идеалам просветительской философии) рассыпались в прах, все ценности промотаны, человек забыт, уважение утрачено. И хотя в этих элегических размышлениях Сент-Экзюпери по-прежнему оперирует лишь чисто нравственными понятиями, здесь отражается реальный путь буржуазного развития; устремления гуманистов прошлого выродились в неписаные законы бессердечного чистогана.

Вернуть людям жизнь Духа, а не только Разума, вновь связать их единством благородных целей, восстановить гуманистические основы цивилизации — этого требует Сент-Экзюпери ради спасения людей от фашизма. Только такой ценой можно победить. Сент-Экзюпери провозглашает необходимость перейти от слов к делам. Выход — в действии, и оно совершенно конкретно. Сообща бороться с врагом, с нацизмом — и в этой общей борьбе будут найдены утраченные ценности. «Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать». Не только брать, но и давать — давать людям, обществу, человечеству; противопоставить расистскому бреду радость открытия духовных богатств в людях, не похожих на тебя; познавать жизнь и самих себя — в действии. Такова программа гуманиста-борца. Чтобы понять, надо увидеть. «А чтобы видеть, необходимо сначала участвовать».

Чувство победы, властно пришедшее к пилоту и его друзьям в дни поражения, пришло к ним, как к участникам битвы.

Подобно «Французской заре» Арагона, «Свободе» Элюара, «Молчанию моря» Веркора — «Военный летчик» Сент-Экзюпери стал манифестом антифашистского Сопротивления. В нем защищалась французская культура, гуманистическое наследие веков, в нем звучало торжество человека над фашизмом, чувство ответственности за историю, воля к победе. Изданная в оккупированной Франции, эта книга придавала людям новые силы. Когда гитлеровская и петэновская цензура спохватилась, было уже поздно. «Военный летчик» дошел до читателей. Его издали и подпольные издательства. Зерно заговорило.

В защиту тех же ценностей написано «Письмо к заложнику». Оно адресовано оставшемуся в оккупированной Франции другу писателя Леону Верту, но это и послание родине, томящейся в нацистском плену. Сент-Экзюпери воспел бескорыстную дружбу людей разных национальностей, равно осознающих свою принадлежность к человечеству; на их жизнь — на их улыбку! — посягает фашизм, и именно поэтому фашизм будет уничтожен. Нельзя безна-

казанно поднять руку на самую сущность человека — на его связи с себе подобными, на его любовь к родной земле. Люди, которые не дорожат этими связями, вызывают у автора «Письма» почти физическую брезгливость. Эмигрант-буржуа, променявший Францию на лиссабонский отель, бежавший на чужбину ради спасения своей мошны,— это живой мертвец...

«Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!» — восклицает Антуан де Сент-Экзюпери в «Письме к заложнику». Об уважении к людям говорят все его книги, об уважении к людям, об ответственности перед человечеством написана им и мудрая притча — «Маленький принц».

Аллегория сказки проста и в то же время многослойна. Она мила и детям, воспринимающим прежде всего сюжетную канву и задушевность интонации, и взрослым. Вряд ли стоит скрупулезно расшифровывать каждый образный ход сказки, каждый ее символ: не лучше ли принять ее сразу и целиком! Ведь мудрость ее намеков приходит к нам и через музыку слов, через мягкость переходов от шутки к серьезным рассуждениям, от смеха к печальной перекличке с собственным детством: эти полутона переходов так же улыбчивы и тонки, как изящные акварели, которыми ее сопроводил автор.

Слушая звонкий голосок Маленького принца, понимаешь, что под грохот больших городов, под скрежет секретных замков, запирающих сейфы, под крики биржевых маклеров отмерла во «взрослых» людях естественная щедрость сердца, прямота взгляда, хозяйская заботливость о чистоте своей планеты. Не так бы надо жить, как живут эти чудаки-взрослые! Даже в самые горькие минуты нельзя терять веру в торжество добра; нельзя, чтобы будничные дела заслонили от тебя судьбы мира, заставили забыть о маленьких и больших заботах твоих соседей по вселенной; пусть волнует тебя все, что происходит в мире... Нравственный урок, который преподает «Маленький принц» взрослым и детям, далек от назойливого дидактизма, но весьма поучителен.

...Да, странный народ — эти взрослые! Пустяки кажутся им важными, а главного они не видят. Вместо того чтобы украшать свой дом, возделывать свой сад, свою планету, они ведут войны, тиранят других людей, и сушат свои мозги дурацкой цифирью, и тешатся жалкой мишурой, и оскорбляют своей суетой и алчностью красоту закатов и восходов, полей и песков. Нет, не так надо жить!..

Добрый сказочник уверен, что люди должны жить по-иному, он знает, что им нужна чистая вода глубоких колодцев, нужны бубенцы звезд в ночном небе, а они упрямо не желают этого понять, понять, что вода и звезды им просто необходимы, и, оттого что сказочник не уверен, удастся ли ему внушить людям свою — их собственную! — правду, сказка так грустна, так печальна.

Неужто же ни один взрослый не поймет, как это важно, как необходимо — отвечать за жизнь на земле? Но если бы сказочник не верил в победу здравого смысла даже у взрослых людей, он вряд ли бы стал рассказывать им правдивую историю о Маленьком принце с астероида под номером В-612..

Весной 1943 года Сент-Экзюпери приезжает в Алжир. Он снова встречается со своими боевыми товарищами: авиагруппа 2/33, приданная теперь американской 7-й армии, базируется в Северной Африке. Здесь, в Марсá, на территории Туниса, Антуан де Сент-Экзюпери опять военный летчик. Он совершает несколько боевых вылетов, но снова авария — и капитан Сент-Экзюпери уволен в запас.

Весной 1944 года он опять возвращается в строй. Но пока длится вынужденное бездействие, пока по инстанциям идут рапорты, в которых он просит, настаивает, требует разрешения вернуться в авиацию,— писатель работает над книгой, которую начал еще перед войной. Ее название — «Цитадель».

В прежних своих книгах, говоря о загубленных в человеке талантах, Сент-Экзюпери печалился. В «Цитадели» он заставляет себя быть к человеку жестоким — жестоким к его нынешнему естеству ради спасения подлинной сущности. В «Цитадели» Сент-Экзюпери становится в положение Ривьера-победителя из «Ночного полета»; только теперь его подопечные — его подданные, а сам он, рассказчик,—«король пустыни», вождь племен, берберский воин царской крови, а в подтексте — пророк, наставник всего человечества. «Цитадель»— своеобразная Библия или Коран, книга, по замыслу автора, помогающая воздвигнуть в сердце людском цитадель человечности, книга смутная и загадочная, сборник иносказаний, примеров и этических норм. Сотни варьирующих (а порой повторяющих) друг друга афоризмов настойчиво твердят о величии человека, творца жизни в бесплодной пустыне. Рассказчик, князь песков, постигший смысл жизни, стремится выковать людей вопреки их воле или безволию; он спешит, он не желает ждать, пока люди сами дойдут до истины, он насильно ведет их к ней, как к оазису в пустыне...

Огромный труд Антуана де Сент-Экзюпери так и остался незавершенным. «Цитадель» — это даже не книга, а заготовки будущей книги, и вряд ли писатель опубликовал бы эти записи в том виде, в каком, обнаруженные в его бумагах, они опубликованы во Франции.

Итак, Сент-Экзюпери опять в строю. Долгожданное разрешение на полеты получено. Американский генерал Икерс преподносит Антуану де Сент-Экзюпери как личный подарок право на пять боевых вылетов: разведывательные полеты над Францией и Италией, фотосъемка военных объектов. К пяти разрешенным полетам потом добавилось еще четыре.

За долгую жизнь гражданского, а затем военного летчика Сент-Экзюпери получил столько ранений и увечий, что теперь без посторонней помощи он даже не в состоянии натянуть летный комбинезон, забраться в кабину самолета. Ему помогают товарищи. Но, взяв в руки управление машиной, ветеран обретает отличную форму, он снова — мастер высшего пилотажа, виртуоз воздушного боя.

Тридцать первого июля 1944 года в восемь тридцать утра он поднимается в воздух с корсиканского аэродрома и берет курс на Южную Францию. Запас горючего — на шесть часов. В четырнадцать тридцать он не вернулся. Чудес не бывает: горючее кончилось, ждать самолета напрасно. Антуан де Сент-Экзюпери не дожил трех недель до освобождения Франции. Он пропал без вести, его самолет упал в море,— вероятно, он был сбит фашистским истреби-

телем. Сент-Экзюпери погиб в бою. Он, ненавидевший ремесло свидетеля, до последних минут был участником битвы за Человека.

За время, минувшее со дня смерти Антуана де Сент-Экзюпери, его книги пришли во все страны мира; они по-прежнему властвуют над умами. Когда в 1963 году владелец одного крупного книжного магазина в Париже заинтересовался итогами читательского спроса, выяснилось, что список наиболее читаемых авторов возглавляет Сент-Экзюпери. Люди всегда хотят, чтобы им говорили об их силе и красоте — не льстя им, бросая им в лицо суровую правду об их ошибках, слабостях, робости, но веря в них, веря, что от природы они здоровы и добры. Люди хотят еще и еще слышать о том, что человек всегда «находит путь, ведущий его к огню».

М. ВАКСМАХЕР

ЮЖНЫЙ ПОЧТОВЫЙ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

«Радиограмма. 6.10. Тулуза. Всем аэродромам: почтовый Франция — Южная Америка вылетает Тулузы 5.45. Точка».

Небо, чистое, как вода, вымыло и высветило звезды. Потом настала ночь. Сахара, дюна за дюной, разворачивалась под луной. Нам светит эта лампа, ее отраженный свет не выхватывает предметы, но творит их, насыщая каждый каким-то мягким веществом. Под нашими приглушенными шагами — роскошный плотный песок. И мы идем с непокрытой головой, отдыхая от солнечного пекла. Ночь: этот кров...

Но как нам было поверить в покой? Пассаты без устали мчались к югу. Они подметали шуршащий, как шелк, пляж. Это были уже не европейские ветры, которые покрутятся-покрутятся и утихнут; нет, они проносились над нами, как над экспрессом на полном ходу. Иной раз их прикосновение было так жестко, что казалось, повернувшись на север, на них можно опереться, и тебя поднимет и унесет к неведомой цели. Какая скорость, какое смятение!

Солнце завершало свой круговорот, и снова наступал день. Мавры вели себя мирно. Те, что отваживались приблизиться к испанскому форту, изъяснялись жестами и, как дети, играли ружьями. Это была закулисная Сахара: здесь непокорные племена утрачивали таинственность и выступали лишь в роли статистов.

Мы жили с ними бок о бок, и они казались нам нашим собственным, самым будничным отражением. Вот почему мы не чувствовали себя затерянными в пустыне; нам нужно было бы вернуться домой, чтобы почувствовать одиночество, посмотрев на него со стороны.

Мы были в плену у мавров и у самих себя. Мы не могли отойти от форта дальше чем на пятьсот метров, за которыми начиналась непокоренная страна. Наши ближайшие соседи — в Сиснеросе, в Порт-Этьене — в семистах, в тысяче километров от нас, были, как и мы, словно руда пустой породой, окружены Сахарой. И они вращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их чудачествам, но между нами простиралось непроницаемое молчание, как между обитаемыми планетами.

Сегодня утром мир для нас пришел в движение. Радист вручил нам наконец радиограмму: две мачты, врытые в песок, раз в неделю связывали нас с миром.

«Почтовый Франция — Америка вылетел Тулузы 5.45. Точка. Прошел Аликанте 11.10».

Это говорила Тулуза. Тулуза — головная точка линии. Далекий бог.

За десять минут новость доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир и потом распространялась дальше на юг до Дакара. На линии в пять тысяч километров все аэропорты были подняты на ноги. С возобновлением передач около шести часов вечера нам снова сообщалось:

«Почтовый приземлится Агадире 21.00. Вылетит Кап-Джуби 21.30. Подсветка ракетой Мишлена. Точка. Кап-Джуби приготовить обычные сигнальные огни. Точка. Держать связь Агадиром. Подпись: Тулуза».

Из обсерватории Кап-Джуби, затерянной в сердце Сахары, мы следили за далекой кометой.

К шести часам вечера забеспокоился юг:

«Из Дакара Порт-Этьену, Сиснеросу, Джуби: срочно сообщите сведения почтовом».

«Из Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10».

Где-то гудел мотор. Его гул старались уловить от Тулузы до Сенегала.

II

Тулуза. 5.30.

Самолет резко тормозит в воротах ангара, распахнутых в ночь и в дождь. Прожекторы по пятьсот ватт вырывают из темноты предметы, жесткие, обнаженные, с резкими контурами, как на витрине. Под сводом ангара каждое произносимое слово резонирует, продолжает звучать, наполняет собой тишину.

Блестящие покрышки, моторы без единого масляного пятна. Самолет как новенький. Сложнейший часовой механизм, к которому только что пальцами изобретателей прикасались механики. Теперь они, сделав свое дело, отходят в сторону.

— Живее, господа, живее...

Мешок за мешком почта исчезает в чреве машины. Быстрая проверка:

— Буэнос-Айрес... Натал... Дакар... Касабланка... Дакар... Тридцать девять мешков. Точно?

— Точно.

Пилот одевается. Свитер, шарф, кожаный комбинезон, меховые сапоги. Сонное тело еле ворочается. Его подгоняют: «Давай! Скорее...» Тяжелый и неуклюжий, он втискивается в кабину, негнущиеся в толстых перчатках пальцы едва удерживают часы, высотомер, планшет с картами. Водолаз вне своей стихии. Но едва он садится за штурвал, все становится легко.

К нему поднимается механик.

— Шестьсот тридцать кило.

— Пассажиры?

— Трое.

Не глядя, он берет их под свою опеку.

Начальник аэродрома поворачивается к рабочим:

— Кто закреплял капот?

— Я.

— Двадцать франков штрафу.

Начальник аэродрома в последний раз проверяет готовность машины: все в образцовом порядке, все движения рассчитаны заранее, как в балете. Самолет, стоящий сейчас в полной готовности в ангаре, через пять минут будет в небе. Этот рейс вычислен так же точно, как спуск на воду корабля. Недостает крепежного винтика — ужасающий недочет. Прожекторы по пятьсот ватт, тщательность, придирчивость осмотра — все это для того, чтобы полет от аэродрома до аэродрома в Буэнос-Айресе или в Сантьяго был результатом законов аэродинамики, а не делом случая. Чтобы, несмотря на бури, туманы, торнадо, несмотря на множество ловушек, которые таятся в клапанах, в распределителях,— во всей этой косной материи,— догнать, перегнать и оставить далеко позади товарные, скорые, экспрессы, пароходы! И в рекордное время приземлиться в Буэнос-Айресе или в Сантьяго...

— На вылет!

Летчику Бернису вручают бумагу: план битвы.

Бернис читает:

«Перпиньян передает: небо ясное, ветра нет. Барселона: буря. Аликанте...»

Тулуза. 5.45.

Мощные колеса давят на тормозные колодки. Под ветром, поднимаемым винтом, трава на двадцать метров за самолетом стелется и струится, как вода за кормой. Бернис одним движением кисти дает волю буре или усмиряет ее.

Теперь гул нарастает повторными волнами и становится той

насыщенной, почти твердой средой, в которой оказывается замкнутым тело самолета. И когда пилот чувствует, что этот гул, переполняя его, позволяет овладеть стихией, которая до сих пор ему не подчинялась, он говорит себе: есть! Потом он смотрит на черный, задранный в небо, как гаубица, капот. За винтом брезжит рассвет.

И тогда, медленно выруливая против ветра, летчик дает полный газ. Самолет, подстегнутый винтом, срывается с места. Первые скачки по упругому воздуху сглаживаются, и тогда кажется, что земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. Воздух, сначала неосязаемый, потом текучий, теперь становится твердым, и, опираясь на него, пилот взмывает вверх.

Деревья, окаймляющие аэродром, расступаются, открывая горизонт, и исчезают. С высоты двухсот метров еще видишь детские игрушки — стоящие торчком деревца, раскрашенные домики и леса, похожие на густой мех: обитаемая земля...

Бернис ищет наиболее удобный наклон спины, точное положение локтя, он спокойно располагается в кабине. Позади него — низкие тучи над Тулузой, словно темные своды вокзала. Теперь он уже все меньше и меньше сопротивляется рвущемуся вверх самолету, он понемногу высвобождает силу, которую сдерживал в кулаке. Каждым движением кисти он выпускает волну, и она, как прилив, приподнимает и подхватывает его самого.

Через пять часов — Аликанте, а вечером — Африка. Бернис задумался. Он спокоен: «Все в порядке». Вчера с вечерним экспрессом он оставил Париж: какой странный отпуск. От него осталась лишь смутная память о каком-то непонятном смятении. Тревога придет потом, сейчас он отбрасывает назад это прошлое, как будто оно продолжает жить где-то вне его. Сейчас ему кажется, что он заново рождается с новым светающим днем, что он — ранняя птица — помогает созданию этого нового дня. Он думает: «Сейчас я только рабочий. И я налаживаю почтовую связь с Африкой». А для рабочего, начинающего строить мир, этот мир каждый день рождается заново.

«Все в порядке...» Последний вечер в парижской квартире. Сложенные кипами газеты и стопки книг. Сожженные письма, связки разобранных писем, сдвинутая мебель. Каждая вещь оторвана, извлечена из жизни и выброшена в пространство. И это смятение сердца, не имеющее уже никакого смысла.

Он приготовился к завтрашнему дню, словно к дальнему плаванию. Он, как в Новый Свет, отчаливал в следующий день. Столько незавершенных дел еще привязывало его к самому себе. И вот внезапно он оказался свободен. Бернису даже страшно сознавать себя таким безоружным, таким обреченным.

Под ним уплывает Каркассон — пристанище на случай вынужденной посадки.

До чего хорошо прибран мир, когда глядишь на него с высоты трех тысяч метров. Все уложено по местам, как в ящике с игрушками. Дома, каналы, дороги — игрушки взрослых людей. Благополучный, разграфленный на квадратики мир: каждое поле окаймлено забором, каждый парк окружен стеной. Вон Каркассон, где каждая лавочница живет жизнью своей прабабки. Нетребовательное ограниченное счастье. Человеческие игрушки, в порядке расставленные в витрине.

Мир под стеклом, выставленный и разложенный как напоказ, аккуратные городки на развернутом рулоне карты, которую неотвратимо, словно прилив, несет на него медленно движущаяся земля.

Вот он один. Циферблат высотомера отражает солнце. Яркое и негреющее. Движение педали — и ландшафт уплывает. Этот свет — мертвый, эта земля — кажется мертвой: все, что составляет сладость, аромат и хрупкость живых вещей — уничтожено.

И все-таки под кожаной курткой — твое теплое и смертное тело, Бернис! Под плотной кожей перчаток — чудесные руки, умевшие так нежно ласкать твое лицо, Женевьева...

Испания.

III

Сегодня, Жак Бернис, ты с уверенностью хозяина пересечешь Испанию. Перед тобой одна за другой встанут знакомые картины. Ты с легкостью пробьешься среди грозовых туч. Барселона, Валенсия, Гибралтар — их несет на тебя и отбрасывает назад. Хорошо. Ты скатаешь в рулон свою карту, и отработанное пространство сгрудится позади тебя. Но я вспоминаю о твоих первых шагах, о моих наставлениях накануне твоего первого почтового рейса. На рассвете тебе предстояло взять в руки мысли целого народа. В свои неумелые руки. И перенести их, как сокровище под плащом, через тысячи препятствий. Почта, сказали тебе, это драгоценность, она дороже жизни. И она так хрупка. Малейшая неосторожность, и пламя испепелит и развеет ее по ветру. Я помню канун твоего боевого крещения.

— Ну а что тогда?

— Тогда ты постараешься долететь до пляжа Пенисколы. Но берегись рыбачьих баркасов.

— А потом?

— Потом до Валенсии ты всегда найдешь удобную аварийную площадку: я обведу их красным карандашом. В крайнем случае садись в высохшие русла.

Сидя перед развернутыми картами, под зеленым абажуром нашей лампы, Бернис снова чувствовал себя школьником. Но его теперешний учитель открывал ему живую тайну каждого клочка земли. Неведомые страны уже не были мертвыми цифрами,— это были настоящие луга в цветах, где надо опасаться

вон того дерева, это были настоящие песчаные пляжи, где в сумерках надо избегать рыбачьих баркасов.

Ты уже понимал, Жак Бернис, что мы никогда не узнаем ни Гренады, ни Альмерии, ни Альгамбры, ни мечетей, но мы познакомимся с ручейком, с апельсиновым деревом, с их самыми скромными признаниями.

— Так слушай: если погода хорошая, иди напрямик. А в дурную погоду, при низкой облачности, бери влево и углубляйся в эту долину.

— Я углублюсь в эту долину.

— А потом выходи к морю через это ущелье.

— Я выйду к морю через ущелье.

— Не давай воли мотору: здесь острые утесы и скалы.

— А если он забарахлит?

— Выкарабкаешься!

И Бернис улыбался: молодые пилоты — романтики. Налетит какая-нибудь скала, точно камень из пращи, и поразит насмерть. Бежит ребенок, но чья-то рука ударяет его по лбу и опрокидывает...

— Да нет же, старина, нет! Человек всегда выкарабкается.

Бернис был горд такой наукой: в детстве он не смог выудить из «Энеиды» ни одного секрета, который уберег бы его от смерти. И учитель, проводивший пальцем по карте Испании, не был человеком, который умеет чуять и находить подземные ключи: палец учителя не обнаруживал ни клада, ни западни, ни той пастушки на лугу.

Какую ласку излучал сегодня этот заправленный маслом светильник! Такой струйкой масла можно успокоить морское волнение. На дворе завывал ветер. Наша комната и в самом деле была островком в необъятной вселенной, вроде харчевни моряков.

— Стаканчик портвейна?

— С удовольствием...

Комната пилота — какое ненадежное убежище, как часто приходилось сооружать тебя заново! Накануне вечером дирекция оповещала нас: «Пилот X. назначается в Сенегал... в Америку...» И вот приходилось в ту же ночь рвать все связи, заколачивать ящики, лишать комнату всех признаков собственного присутствия — фотографий, книг, и бросать ее такой безликой, словно в ней не обитал даже призрак. Иной раз приходилось в ту же ночь разомкнуть объятия двух рук и, истощив силы какой-нибудь девчонки, не уговорами,— потому что ни одну не уговоришь,— но утомив ласками, к трем часам утра тихонько погрузить ее в сон, покорную не разлуке, а горю, и сказать себе: «Ну вот она и смирилась, она плачет...»

Чему же ты научился потом, Жак Бернис, в своих скитаниях по свету? Самолету? В самолете движешься так медленно, про-

сверливая дыру в твердом кристалле. Особенности каждого города мало-помалу стираются: надо приземлиться, чтобы оценить его своеобразие. Теперь ты знаешь, что все эти богатства исчезают прежде, чем ты успеешь к ним прикоснуться. Время смывает их, как морской прибой. Что же за человек рождался в тебе по возвращении из первых рейсов и почему тебя охватывало желание поставить его рядом с призраком того нежного мальчугана? В первый же свой отпуск ты уговорил меня навестить наш коллеж: и вот в Сахаре, где я жду твоего самолета, Бернис, я с грустью вспоминаю об этом посещении нашего детства.

Белая вилла среди сосен, сначала в одном, потом в другом окне загорался свет. Ты говорил мне:

— Вон класс, где мы писали наши первые стихи...

Мы вернулись издалека. Мы запахивали в наши тяжелые плащи всю вселенную, а в глубинах нашего существа бились неуемные сердца путешественников. В плотных перчатках, в прочной броне, стиснув зубы, мы вступали в неведомые города. Навстречу, не задевая нас, проносились человеческие толпы. Для прирученных городов у нас были в запасе белые фланелевые брюки и теннисные рубашки. Для Касабланки, для Дакара. В Танжере мы ходили с непокрытыми головами: в этом сонном городе не было нужды в доспехах.

И вот мы зрелыми мужами вернулись в коллеж. Мы боролись, страдали, перелетали над бескрайними землями, любили женщин, иной раз играли в орла и решку со смертью, и все это мы делали только ради того, чтобы избавиться от страха, так угнетавшего нас в детстве,— страха перед штрафным заданием или перед отсидкой лишний час в классе; всего лишь ради того, чтобы субботним вечером безбоязненно выслушать чтение отметок за неделю.

Вот в вестибюле послышался шепот, потом возгласы, потом, наконец, поднялась старческая суетня. Наши учителя выходили нам навстречу в золотом свете ламп, с пергаментными лицами, но с такими светлыми глазами: оживленными, приветливыми. И мы тотчас же поняли: им ясно, что мы уже из иного мира. Таков был обычай: «старички» являлись в школу уверенно и безбоязненно, беря реванш за все детские страхи.

Их не удивляло ни мое энергичное рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса; они сразу стали обращаться с нами, как с мужчинами; они побежали за бутылочкой старого самосского, о котором раньше не смели бы и заикнуться.

Мы расселись за вечерней трапезой. Они жались друг к дружке под абажуром, как крестьяне вокруг камелька, и мы поняли, что они слабы.

Они были слабы, потому что стали снисходительны, и наша детская леность, которая неминуемо должна была ввергнуть нас в порок, в беду, превратилась вдруг в их глазах всего лишь

в ребяческое баловство,— оно вызывало у них только улыбку; сегодня вечером считалось похвальным, чуть ли ни благородным. Мы даже удостоились признания нашего учителя философии.

Декарт, пожалуй, построил всю свою систему на логической ошибке. Паскаль... Паскаль был безжалостен. А сам наш учитель философии состарился, так и не разрешив, несмотря на все старания, извечной проблемы свободы воли. И вот он, всячески предостерегавший нас от детерминизма, от Тэна, считавший Ницше опаснейшим врагом выпускников коллежа, теперь винился перед нами в своей преступной слабости к Ницше. Он волновал и его. А реальность материи?.. Он ничего толком не знал, он колебался... И вот учителя стали расспрашивать нас. Мы ведь вышли из этой теплицы на бурные просторы жизни, и мы должны были рассказать им о том, какая же погода на земле. И правда ли, что мужчина, любящий женщину, становится ее рабом, как Пирр, или ее палачом, как Нерон? Правда ли, что Африка с ее пустынями и синим небом такая, какой ее рисовал учитель географии? И закрывают ли страусы глаза, чтобы спастись от опасности? Жак Бернис чуть опускал голову, потому что он владел великими тайнами, но учителя выпытали эти тайны.

Они захотели узнать от него об опьянении борьбой, и о реве мотора, и о том, что для счастья нам уже недостаточно, как им, подрезать по вечерам розы. Теперь настала его очередь толковать им Лукреция и Екклезиаста и давать советы. Бернис, пока не поздно, учил их, сколько нужно запасти провизии и воды, чтобы не погибнуть в случае вынужденной посадки в пустыне. Второпях он забрасывал их последними советами: как летчику спастись от мавров, как уберечься от огня. И вот они покачивали головами, еще встревоженные, но уже понемногу обретая уверенность и гордость, потому что именно они поставили на ноги это новое поколение. Наконец-то они прикасались руками к героям, которых издавна чтили; увидев их воочию, они могли теперь спокойно умереть. И они заговорили о Юлии Цезаре-ребенке.

Но, рискуя их опечалить, мы рассказали о разочарованиях и горечи вынужденного бездействия после тщетной борьбы. И пока самый старый учитель дремал, мы поделились с ними очень грустным открытием, что последние истины существуют, может быть, только в книгах. Впрочем, учителя и без нас уже знали об этом. Они пришли к такому жестокому выводу на собственном опыте: они ведь преподавали людям историю.

— Что занесло вас в наши края?

Бернис ничего не ответил, но старые учителя были знатоками человеческих душ, и, переглянувшись, они задумались о любви...

IV

Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но вот самолет теряет высоту, и она одевается. Снова ее покрывают леса, долины; ее холмистая поверхность — словно застывшая морская зябь; земля дышит. Гора, над которой летит Бернис,— грудь спящего великана, и она вздымается, чуть не задевая самолет.

Теперь земля совсем близко, и смена ландшафтов ускоряется, как поток, на который смотришь с моста. Связанный воедино мир разваливается. Леса, дома, деревни отрываются от гладкого горизонта и относятся назад.

Вот показывается аэродром Аликанте, покачивается, устанавливается; вот колеса касаются земли, она затягивает их, как прокатный стан, заостряет.

Бернис с трудом вылезает из кабины — ноги затекли. На мгновение он зажмуривается; в ушах все еще ревет мотор, в глазах мелькают яркие картины земли, тело все еще пронизано вибрациями машины. Потом он входит в контору, медленно садится к столу, отодвигает локтем чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал самолета 612. «Тулуза — Аликанте: продолжительность полета — 5.15».

Он останавливается; его одолевают усталость и сон. До него доносится какой-то невнятный шум. Словно где-то судачат кумушки. Входит водитель форда, просит извинить, улыбается. Бернис удивленно рассматривает эти стены, эту дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять минут он втянут в какой-то спор, которого не понимает, который не то начинается, не то заканчивается. Все это похоже на мираж. Но дерево у входа все-таки насчитывает тридцать лет. Вот уже тридцать лет, как оно свидетельствует о реальности этой картины.

«Мотор в порядке».

«Самолет кренит вправо».

Он кладет перо и думает: «Я хочу только спать». Дремота стягивает ему виски, его одолевает сон.

Светлый пейзаж под ярким янтарным солнцем. Аккуратно разделанные поля и луга. Направо — деревенька, налево — крошечное стадо, и надо всем — голубой свод неба. «Дом»,— думает Бернис. Он вспоминает, с какой ясностью он внезапно почувствовал: этот пейзаж, это небо, эта земля построены, как дом. Родной, хорошо прибранный дом. Каждая вещь в правильном вертикальном положении. Никакой угрозы, ни единой трещинки в этой цельной картине: словно сам он слит с этим пейзажем.

Так старым дамам, сидящим у окна своей гостиной, кажется, что они бессмертны. Свежая зеленая лужайка, садовник неторопливо поливает цветы. Они водят глазами за его спиной, внушающей им такую уверенность. Натертый паркет пахнет воском, и этот запах восхищает их. Как хорошо, когда в доме по-

рядок: прошел день со своими ливнями, ветром и солнцем, и после всего этого разве что осыпалось несколько роз.

— Пора. Прощайте.

И Бернис вылетает.

Бернис входит в бурю. Она бьет по самолету, словно кирка каменотеса: ему не впервой, он пройдет. В голове Берниса только самые элементарные мысли, мысли, управляющие действиями: выйти из кольца гор, куда его засасывает торнадо, где стена налетающего порывами дождя до того непроницаема, что вокруг не видно ни зги. Прорваться через эту завесу, пробиться к морю!

Толчок! Авария? Самолет внезапно накренился влево. Бернис удерживает его сперва одной рукой, потом обеими руками, потом всем телом. О, черт! Машина всей тяжестью устремляется к земле. Все пропало! Еще мгновение, и из этого опрокинутого дома, который он едва успел обжить, он будет выброшен навсегда. Равнины, леса, деревни взовьются к нему по спирали. И весь видимый мир растворится в дыму, улетучится вихрями дыма. Дым! Детская игрушка, развеянная по ветру...

— Ну и натерпелся же я страху!

Бернис ногой ударяет по тросу педали: что? Заклинилась? Отказала? Нет. Все в порядке. Движение ноги восстанавливает мировое равновесие. Ну и приключение!

Приключение? От этой секунды ничего не осталось, кроме какого-то привкуса во рту, кисловатого привкуса мяса. Но он успел взглянуть в лицо смерти. И все стало обманчивой иллюзией: дороги, каналы, дома — игрушки взрослых людей!..

Обошлось. Кончено. Здесь ясное небо. Как и предсказывала метеосводка. «Небо на одну четверть затянуто перистыми облаками». Метеосводка? Изобары? «Облачные системы» профессора Бьеркнеса? Да это же небо народного гулянья: ну конечно. Небо 14-го июля. Лучше бы просто сказать: «В Малаге праздник». Каждому жителю отпущено по десять тысяч метров чистого неба над головой. Неба, возносящегося вплоть до перистых облаков. Никогда еще этот аквариум не был таким прозрачным, таким огромным. Как в заливе, в вечер регаты: синее небо, синее море, синие утесы и синие глаза капитана. Лучезарный праздник!

Готово. Тридцать тысяч писем спасены.

Авиационная компания наставляла: почта — драгоценность, почта — дороже жизни. Еще бы! Ею живы тридцать тысяч любовников... Потерпите, любовники! Письма летят к вам в вечерних огнях. За спиной Берниса плотные облака, сбитые циклоном в густое месиво. А впереди нарядная солнечная земля, яркий ситец полей, ворсистая шерсть лесов, морщинистая парусина моря.

Над Гибралтаром будет ночь. И тогда левый разворот в сторону Танжера оторвет Берниса от Европы — огромного ледяного затора, сносимого течением...

Еще несколько городов, выросших на бурой земле, и потом — Африка. Опять несколько городов из черного теста, и — Сахара. Сегодня Бернис будет присутствовать при вечернем туалете земли.

Бернис устал. Два месяца тому назад он летел в Париж на завоевание Женевьевы. Вчера он вернулся на работу, осмыслив свое поражение. Эти равнины, эти города, эти уплывающие вдаль огни ему уже не принадлежат. Он сбрасывает их с себя. Через час покажется свет танжерского маяка: и до самого танжерского маяка Бернис будет вспоминать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Я должен вернуться назад и рассказать о двух прошедших месяцах, иначе что же останется? Когда слабое волнение, поднятое событиями, о которых я поведаю, уляжется; когда расходящиеся, как на озерной глади, круги сомкнутся над героями этих событий, которых они просто вычеркнули; когда притупится сначала острая, потом менее острая и, наконец, слабая боль,— мир снова покажется мне прочным. Может быть, я уже решусь побывать в местах, которые связаны с такими жестокими воспоминаниями о Женевьеве и Бернисе и которые теперь уже не вызовут во мне ничего, кроме легкого сожаления.

Два месяца тому назад он летел в Париж, но после такого долгого отсутствия уже не находишь своего места: словно ты загромождаешь собой весь город. Он был теперь всего лишь Жаком Бернисом, одетым в пропахший нафталином пиджак. Его тело казалось ему неуклюжим, неповоротливым, а багаж, аккуратно составленный в уголок, подчеркивал всю ненадежность недолговечность его пристанища: эта комната еще не была обжита, она не была завоевана белым бельем, книгами.

— Алло... Это ты?

Он ведет перекличку друзьям. Возгласы, поздравления.

— А, выходец с того света! Браво!

— Ну что? Когда увидимся?

Как нарочно сегодня друг его занят. Завтра? Завтра гольф. Не хочет ли он присоединиться? Нет! Ну тогда послезавтра. Увидимся за обедом. Ровно в восемь.

Тяжелой походкой он входит в дансинг, пробирается среди «жиголо», пальто сковывает его, как скафандр. Они проводят

ночь в этих стенах, как пескари в аквариуме, они сочиняют мадригалы, танцуют, то и дело подходят к стойке выпить. В этой зыбкой среде, где он один не потерял рассудка, Бернис чувствует себя крепко стоящим на ногах грузчиком-атлетом. Его мысли не встречают отклика. Он протискивается между столиками к свободному месту. Глаза женщин, на которых задерживается его взгляд, опускаются, словно гаснут. Молодые люди ловко отстраняются, уступая ему дорогу. Так ночью по мере приближения дежурного офицера из рук часовых падают сигареты.

Мы каждый раз снова обретали этот мир, как бретонские моряки обретают свою деревушку с почтовой открытки и свою слишком верную невесту, почти не постаревшую за время их отсутствия. Та же картинка из детской книжки. И когда мы находили все на прежнем месте, в таком слепом повиновении судьбе, нам почему-то становилось страшно. Справившись о друге, Бернис слышал:

— Ну что сказать? Он все такой же. Дела его идут помаленьку. Сам понимаешь... Жизнь...

Все были в плену у самих себя, послушные им самим неведомой узде; не то что он — беглец, бездомный мальчишка, волшебник.

Лица его друзей, пожалуй, чуть-чуть осунулись, чуть-чуть постарели за две зимы, за два лета. Вон женщина в уголке бара: Бернис ее узнает. На лице ее едва заметная усталость от стольких притворных улыбок. И бармен тот же. А Бернису стало бы страшно, если бы кто-нибудь, окликнув его, воскресил в нем того прежнего, уже умершего Берниса, Берниса без крыльев, Берниса до побега.

За время отпуска вокруг него мало-помалу строился пейзаж, подобно стенам тюрьмы. Пески Сахары, скалы Испании постепенно отходили, как бутафория, сквозь которую начинал проступать реальный мир. Как только он перелетал границу, Перпиньян расстилал перед ним свою равнину. Равнину, которую еще освещало солнце: оно лежало косыми вытянутыми лучами, с каждой минутой меркнущими, как сквозной парчовый покров, раскинутый то там, то сям по траве, становящийся все более тонким, все более прозрачным, и, наконец, эти лучи даже не гасли, а улетучивались. И тогда равнину затягивал зеленый ил, темный и мягкий под синим небом. Как спокойное морское дно. И вот, приглушая мотор, Бернис погружался на это морское дно, где все недвижно, где все обретает реальность и долговечность стены.

А потом переезд в автобусе из аэропорта на вокзал. Сидящие против него люди с замкнутыми суровыми лицами. С положенными плашмя на коленях заскорузлыми руками, в которых запечатлелась вся жизнь этих людей. Он сидел рядом с кре-

стьянами, возвращавшимися с поля. А вон девушка в дверях, поджидающая какого-то мужчину: одного из сотни тысяч; она уже похоронила сотни тысяч надежд. А там мать, баюкающая младенца, уже отдавшаяся ему в неволю; у нее отрезаны все пути к бегству.

Вернувшись на родину самой потаенной тропой, заложив руки в карманы, без чемоданов, простым пилотом почтовой линии, Бернис сразу же оказывался в самом сердце вещей. В самом незыблемом мире; чтобы перенести здесь какую-нибудь стену или прирезать кусок земли, потребовалось бы двадцать лет судебной волокиты.

И это после двухлетнего пребывания в Африке, после всех ландшафтов, вечно меняющихся и подвижных, как морская зыбь; но за ними постепенно проступал тот древний ландшафт, единственный, вечный, тот, из которого он однажды возник и в котором он — скорбный архангел — обретал истинную родину.

— А тут все по-старому...

Он боялся, что найдет все изменившимся до неузнаваемости, а теперь страдал оттого, что все осталось прежним. Ни от встреч, ни от друзей он уже не ждал ничего, кроме безотчетной скуки. В разлуке воображение разыгрывается. При расставании отрываешься от привязанностей с болью в сердце и вместе с тем с непонятным чувством, будто оставляешь за собой клад, сокровище, припрятанное впрок. Эти расставания изобличали порой такую неутоленную жажду любви! А потом, звездной ночью в Сахаре, как он мечтал об этой далекой ласке, все еще теплящейся под покровом ночи и времени, словно зерно; ему иной раз казалось, что он только чуть отошел в сторонку, чтобы посмотреть на свое спящее сокровище. Опершись на разбитый самолет, перед волнистой грядой дюн, перед этим убегающим горизонтом он стерег свою любовь, как пастух...

— И вот что я нахожу!

Однажды Бернис написал мне:

«...Не стану рассказывать тебе о моем возвращении: я в своем мире, когда мне откликаются чувством на чувство. Но никто не откликнулся. Я был похож на того паломника, который добрел до стен Иерусалима с опозданием на одну минуту. Его порыв и вера угасли: и он уперся в немую стену. Этот город вокруг как стена. Мне хочется снова уехать. Помнишь наш первый вылет? Мы летели вместе, Мюрси, Гренада выглядели безделушками в витринах, и, так как мы там не останавливались, они безвозвратно уходили в прошлое. Памятники минувших веков. Живым был только несмолкаемый гул мотора, и под этот гул безмолвно, как фильм, развертывался пейзаж. И еще холод — мы летели на большой высоте: города казались скованными льдом. Помнишь?

Я сохранил твои записочки, которые ты мне передавал:

«Следи за этим странным дребезжаньем... Если оно усилится, не углубляйся в ущелье».

Через два часа, над Гибралтаром: «Доберись до Тарифы: там легче пересекать».

В Танжере: «Не планируй слишком поло́го: аэродром скользкий».

Как просто. Но с такими советами завоевываешь мир. Я постигал стратегию, всесильную благодаря этим кратким приказам. Танжер, маленький, ничем не замечательный городишко, был моей первой победой. Ты понимаешь, это был мой первый трофей. Ну да. Я прицеливался к нему, сначала издалека. Потом, по мере снижения, подо мной распускались поля, цветы, дома. Я пробуждал к жизни и откапывал город. И вдруг чудесное открытие: в пятистах метрах подо мной пашущий землю араб, которого я постепенно притягивал к себе, из которого делал человека своего масштаба, который и впрямь становился моей военной добычей, моим созданием, моей игрушкой. Я брал в плен заложника, и отныне Африка принадлежала мне.

Через две минуты, стоя в траве, я был юным, словно спустился на какую-то звезду, где заново начиналась жизнь. И в этом новом климате, на этой почве, под этим небом я чувствовал себя молодым деревцем. Я потягивался с дороги, одолеваемый чудесным голодом. И шагал широкими пружинящими шагами, чтобы размяться после полета, и радовался, что соединился с собственной тенью: вот что такое приземление.

А весна! Помнишь ли ту весну после моросящих дождей в Тулузе? Этот совсем новый воздух, омывающий все вещи. И в каждой женщине своя тайна: свой акцент, свой жест, свое молчание. И каждая манила и влекла. А потом,— ты же знаешь меня,— я снова был охвачен горячкой отъезда, меня снова тянуло в поиски чего-то, что я предчувствовал, но не понимал, потому что я был тем искателем подземного родника, который, бредя с подрагивающей тростинкой в руке, разыскивает по свету свое сокровище.

Так скажи мне, чего я ищу, почему, сидя у окна и глядя на город моих друзей, моих стремлений, моих воспоминаний, я тоскую? Почему впервые в жизни я не нахожу родника и мое сокровище кажется мне таким недостижимым? Что это за непонятное обетование, которое мне было дано и которое не исполняет неведомый бог?

Я снова обрел родник. Помнишь? Это Женевьева...»

Женевьева, читая эти слова Бернtса, я закрыл глаза и увидел вас девчонкой. Вам было пятнадцать лет, а нам — по тринадцати. Разве вы могли состариться в наших воспоминаниях?

Вы так и остались для нас хрупким ребенком, и именно такой вы нам представлялись, когда нам рассказывали о вас, когда мы, пораженные, сталкивались с вами в жизни.

В то время как другие подводили к алтарю уже взрослую женщину, мы — Бернис и я — из глубин Африки обручались с маленькой девочкой. Пятнадцатилетней девчонкой, вы были самой молодой из матерей. В возрасте, когда еще обдирают о ветки голые икры, вы требовали королевской игрушки — настоящей колыбели. В то время как в кругу близких, не догадывавшихся о чуде, вы были простой женщиной, для нас вы воскрешали волшебную сказку и проникали в мир через заколдованную дверцу — как на маскарад, как на детский бал — переодетая женой, матерью, феей...

Потому что вы были феей. Я вспоминаю. Вы жили за толстыми стенами старого дома. Вы сидели облокотившись у окна, пробитого, как бойница, в стене: вы подкарауливали луну. И луна вставала. Равнина начинала звучать, гремя, как трещотками, крыльями цикад, и бубенчиками — в зобу лягушек, и колокольчиками — на шее возвращавшихся в стойла волов. Луна вставала. Иногда из деревни доносился погребальный звон, извещавший сверчков, поля и цикад о чьей-то непостижимой смерти. И вы высовывались из окна, беспокоясь только за обрученных, потому что на свете нет ничего более хрупкого, чем надежда. А луна поднималась. И тогда, заглушая погребальный звон, кричали совы, призывая друг друга к любви. Бездомные собаки, усевшись в круг, выли на луну. И каждое дерево, каждая былинка, каждый розовый куст были живыми. И луна поднималась. Тогда вы брали нас за руки и заставляли слушать голоса земли; они успокаивали, и это было хорошо.

Этот дом, весь этот живой покров земли вокруг него служили вам такой надежной защитой. У вас было заключено столько пактов с липами, дубами, с животными, что мы звали вас их принцессой. К вечеру, когда мир отходил ко сну, ваше лицо постепенно успокаивалось.

«Фермер загнал свое стадо». Вы догадывались об этом по дальним огонькам в стойлах. Слышался глухой шум: «Запирают шлюзы». Все было в порядке. Наконец семичасовой скорый проносился грозой, огибая местность, и исчезал, окончательно очищая ваш мир от всего беспокойного, неверного и неустойчивого,— как чужое лицо в окне спального вагона. Потом был ужин в просторной и слабо освещенной столовой, где ты становилась королевой ночи: мы следили за тобой без устали, как шпионы. Ты молча усаживалась между стариками на фоне деревянных панелей, чуть наклонившись вперед, подставляя под золотой сноп абажура только волосы, и в короне из света ты царила. Ты нам казалась бессмертной, так прочно ты была слита с вещами, так уверена в них, в своих думах, в своем будущем. Ты царила...

Но нам хотелось знать, можно ли причинить тебе страдание, нам хотелось стиснуть тебя в объятиях так крепко, чтобы ты задохнулась, потому что мы чувствовали в тебе душу, которую мы старались выманить наружу; чтобы твои глаза наполнились лаской или печалью. И Бернис обнимал тебя, и ты краснела. Бернис сжимал тебя крепче, и глаза твои становились блестящими от слез, но губы не искажала уродливая гримаса, как у плачущих старух. Бернис говорил, что эти слезы — от внезапно переполнившегося сердца, что они драгоценнее алмазов и что тот, кто выпьет их, станет бессмертным. Он говорил мне еще, что ты живешь в своем теле, как фея под водой, и что ему известны тысячи колдовских способов, которыми он может выманить тебя на поверхность, и самый верный из них — заставить тебя плакать. Так мы крали у тебя любовь. Но когда мы тебя отпускали, ты смеялась, и этот смех приводил нас в смущение. Так выпархивает пойманная птица, стоит только чуть приоткрыть руки.

— Женевьева, почитай нам стихи.

Ты читала совсем немного, а нам казалось, что ты знаешь все. Мы никогда не видели тебя удивленной.

— Почитай нам еще...

Ты читала еще, и эти стихи были для нас откровением о мире, о жизни, но мы слушали не поэта, а твою мудрость. И отчаяние любовников, и печали королев становились такими глубокими и важными вещами. А смерть от любви приобретала такой покой в твоем голосе...

— Женевьева, правда ли, что от любви умирают?

Ты прерывала чтение, ты важно раздумывала. Ты, конечно, искала ответа у папоротников, у цикад, у пчел, и ты отвечала «да», потому что пчелы умирают от любви. Это было необходимо и естественно.

— Женевьева, что такое любовник?

Мы хотели, чтобы ты покраснела. Но ты не краснела. Разве что лицо твое становилось строже; ты смотрела на дрожащую под луной поверхность пруда. И нам казалось, что твой любовник — лунный свет.

— Женевьева, у тебя есть любовник?

Уж теперь-то ты покраснеешь! Нет. Ты улыбалась без малейшего смущения. Ты качала головой. В твоем королевстве одно время года приносило цветы, осень приносила плоды; и было время года для любви: жизнь проста.

— Женевьева, знаешь ли ты, кем мы станем, когда вырастем?

Нам хотелось тебя ошеломить, и мы называли тебя «слабой женщиной».

— Мы будем завоевателями, слабая женщина.

Мы по-своему объясняли тебе жизнь. Мы будем завоевате-

лями, возвращающимися со славой и берущими в наложницы своих подруг.

— И тогда мы будем твоими любовниками. Читай нам стихи, рабыня!..

Но ты больше не читала стихов. Ты отодвигала книгу. Ты внезапно ощущала свою жизнь такой прочной, как молодое деревцо, которое уверенно растет и наливается соками. В жизни не было ничего лишнего. Мы были завоевателями выдуманными, а тебе служили опорой твои папоротники, твои пчелы, твои цикады, твои звезды, ты прислушивалась к кваканью лягушек, ты черпала уверенность во всем, что жило вокруг тебя в ночной тиши, что росло и тянулось в тебе самой навстречу такой непостижимой и неизбежной судьбе.

И так как луна стояла уже высоко и приходило время сну, ты затворяла окно, и луна отражалась в стекле. И мы говорили, что ты захлопнула небо, как окно, и заперла в нем луну и горсточку звезд, потому что с помощью всех символов, всех ловушек мы старались завлечь тебя в мир, скрывающийся под видимостью вещей, на дно океанов, куда нас влекло наше беспокойство.

«...Я снова обрел родник. Чтобы отдохнуть с дороги, мне необходима была она. Она есть. Другие... Есть женщины, которых после любовных ласк мы отбрасываем далеко к звездам, о которых говорим, что они всего лишь создания нашего сердца. А Женевьева... ты помнишь, мы называли ее обитаемой. Я обрел ее, как обретают смысл вещей, и я иду рядом с ней в мире, открывающемся мне в своей внутренней сути...»

Она приходила к нему из вещей. После тысячи разводов она служила ему посредницей в тысяче браков. Она возвращала ему эти каштаны, этот бульвар, этот фонтан. В каждой вещи опять была заключена тайна, которая была ее душой. Этот парк не был больше причесан, подстрижен и подметен, как для американского туриста: в его аллеях царил беспорядок — сухие листья, потерянный носовой платок, который оставляют после себя любовники. И этот парк становился западней.

II

Она никогда не говорила Бернису о своем муже Эрлене, но в тот вечер:

— Жак, у нас сегодня скучный обед, много людей: приходите, мне будет не так одиноко.

Эрлен любит жесты. Слишком. К чему эта маска самоуверенности, которую он сбрасывает с близкими? Она с раздраже-

нием наблюдает за ним. Этот человек играет роль, которую сам сочинил. И не из тщеславия, а чтобы уверовать в себя.

— Ваше замечание, мой друг, весьма справедливо.

Женевьева отворачивается: ей противны этот закругленный жест, этот тон, этот напускной апломб!

— Гарсон! Сигар!

Она никогда не видела его таким деятельным, словно опьяненным собственной властью. Можно подумать, что с ресторанных помостков он правит вселенной. Одно его слово родит истину и опровергает ее. Одно его слово, доходя до гарсона, до метрдотеля, приводит их в действие.

Женевьева чуть морщит в полуулыбке губы. К чему этот званый обед? К чему вот уже полгода это увлечение политикой? Эрлену кажется, что достаточно зарядиться какими-то сильными идеями, усвоить какие-то сильные принципы, и он уверует в свои силы. И тогда, в восхищении, он чуть отходит от собственной статуи и любуется собой.

Она не принимает участия в этой игре, она обращается к Бернису:

— Ну, блудный сын, расскажите мне о пустыне... Когда же вы наконец вернетесь к нам навсегда?

Бернис смотрит на нее.

Бернис угадывает в ней ту пятнадцатилетнюю девчонку, которая, как в волшебных сказках, улыбается ему сквозь черты этой незнакомой женщины. Того ребенка, который хочет притаиться, но каждым движением выдает себя: Женевьева, я не забыл своего колдовства. Вас надо обнять, стиснуть так, чтобы вам стало больно, и тогда та девочка всплывет на поверхность и будет плакать...

Теперь мужчины склоняют к Женевьеве свои белые манишки, они играют в обольстителей, словно женщину можно завоевать идеями, принципами, словно она может быть наградой в таком соревновании. Ее муж тоже пускается в любезности, и ночью он опять воспылает к ней страстью. Он снова влюблен в нее, когда она вызывает желание в других. Когда, благодаря вечернему платью, оживлению, желанию нравиться, в женщине чуть проступает куртизанка. И Женевьева думает: его привлекает все посредственное. Почему не любят ее всю, как она есть? Любят какие-то ее внешние черты, а ее внутренняя жизнь остается в тени. Ее любят, как любят музыку, роскошь. Она остроумна или нежна, и она возбуждает желание. А во что она верит, что она чувствует, что она несет в себе... до этого никому никакого дела нет. Ее привязанность к ребенку, ее самые естественные заботы, вся эта незримая часть ее существа: ею пренебрегают.

Каждый мужчина, очутившись рядом с ней, перестает быть самим собой. Он готов в угоду ей делить с ней ее печали и радости, он словно говорит: «Я буду таким, каким вы пожелаете».

И это правда. Собственное лицо не имеет для него значения. Значение имеет лишь обладание ею.

А для нее жизнь не исчерпывается любовью: у нее много других забот.

Она вспоминает о первых днях после помолвки. Она усмехается: иногда Эрлен вдруг спохватывался и вспоминал, что он влюблен (он, конечно, забывал об этом!). Он хочет с ней поболтать, приручить ее, покорить: «Ах, мне некогда...» И она шла впереди него по дорожке и нервным движением, в такт песенке, сбивала палочкой молодые ветки. Пахло влажной землей. И ветки, как дождь, хлестали ее по щекам. А она повторяла про себя: «Мне некогда... некогда!» Нужно было сначала заглянуть в теплицу и проведать цветы.

— Женевьева, вы жестокий ребенок!

— Да, да! Конечно! Взгляните на мои розы, какие они тяжелые. Как прекрасен цветок, который клонится под собственной тяжестью!

— Женевьева, позвольте вас поцеловать...

— Ну что ж, пожалуйста. Вам нравятся мои розы?

Мужчины всегда восторгаются ее розами.

«Да нет же, нет, мой милый Жак, я не печальна». И она чуть склоняется к Бернису: «Я помню... я была смешная девчонка. Я сотворила себе бога по собственному вкусу. И когда у меня случалось детское горе, я целый день плакала над непоправимым. А ночью, как только гасили лампу, я призывала своего утешителя. Я молилась ему и говорила: вот какая у меня беда, и я бессильна исправить мою загубленную жизнь. Я отдаюсь в ваши руки: вы сильнее меня. Выпутывайтесь как знаете. И я засыпала».

И потом среди всех малонадежных вещей было столько вещей, ей покорных. Она царила среди книг, среди цветов, среди друзей. Она заключала с ними пакты. Ей были ведомы слова, которые заставляли улыбаться, которые примиряли с жизнью,— самые простые слова: «Ах это вы, мой старый астролог...» Или вернувшемуся Бернису: «Ну, присядьте же, блудный сын...» И каждый был связан с ней какой-то тайной, каждый был счастлив, что он узнан и разоблачен. И самая чистая дружба становилась содержательной и богатой, как заговор.

— Женевьева,— говорил Бернис,— вы по-прежнему царите среди вещей.

Стоило ей переставить мебель в гостиной, чуть передвинуть кресло, и друг с удивлением обретал свое истинное место в мире после прожитого дня, после нестройного гула да вороха смятых цветов — после всего, что дружба губит на земле. А Женевьева без слов водворяла мир в своем королевстве. И Бернис чувствовал в ней ту далекую, глубоко запрятанную, заколдованную девочку, которая когда-то его любила...

Но однажды вещи взбунтовались.

III

— Не мешай мне спать...

— Нет, это просто непостижимо! Встань же. Ребенок задыхается.

Проснувшись, она бросилась к кроватке. Ребенок спал. Разметавшись в жару, он дышал часто, но ровно. Спросонья Женевьеве показалось, что, захлебываясь, пыхтит грузовик. Она думала: «Какой тяжкий труд!» И это продолжалось уже три дня! Она стоит, склонившись над больным, не в силах ни о чем думать.

— Почему ты сказал, что он задыхается? Зачем ты меня напугал?..

Сердце ее все еще колотилось от испуга.

— Мне показалось.

Она знала, что он лгал. Он сам был напуган, но страдать в одиночку он не мог и хотел, чтобы она тоже испытала страх. Когда он страдал, весь мир должен был страдать вместе с ним. А Женевьева после трех бессонных ночей так нуждалась в покое. Она уже почти не сознавала, где она.

Она прощала ему этот шантаж, потому что слова... какое они имеют значение? И потом, смешно же дорожить собственным сном!

— Будь благоразумнее,— успокаивала она его и потом еще мягче: — Ты как малое дитя...

И тут же спросила у сиделки, который час.

— Двадцать минут третьего.

— Не может быть!

Женевьева повторила: «Двадцать минут третьего...» Словно у нее было какое-то неотложное дело. Да нет, в том-то и мука, что она обречена на бездействие, как в поезде. Она оправила кроватку, расставила пузырьки, притронулась к окну. Она наводила незримый и таинственный порядок.

— Вам надо немного поспать,— сказала сиделка.

И опять тишина. И снова гнетущее чувство, как в поезде, когда за окном вагона проносится невидимый ландшафт.

— Малыш, которому мы так радовались, которого так баловали...— декламировал Эрлен. Он добивался сострадания Женевьевы. В этой роли безутешного отца...

— Найди себе дело, дорогой, займись чем-нибудь,— ласково советовала Женевьева.— У тебя, кажется, деловое свидание, почему бы тебе не пойти?

И она подталкивала его в спину, но он растравлял свое горе:

— Что ты говоришь! В такую минуту...

«В такую минуту»,— мысленно повторяла Женевьева. Но... но больше чем когда-нибудь она испытывала странную потребность в порядке. Передвинутая ваза, брошенное на кресло паль-

то Эрлена, пыль на тумбочке — все это... все это позиции, шаг за шагом завоеванные врагом. Признаки какой-то непонятной беды. И она боролась с этой надвигающейся бедой. Позолота безделушек, расставленная в порядке мебель — светлая, осязаемая реальность. Женевьеве казалось, что все здоровое, блестящее и ясное защищало от непонятной смерти.

Врач говорил: «Все еще может обойтись: ребенок крепкий». Ну конечно же. Когда он спал, он хватался за жизнь всей силой своих сжатых кулачков. И это было так хорошо. Это вселяло надежду.

— Вы бы немного прошлись,— уговаривала сиделка.— Потом пройдусь и я. А то мы не выдержим.

Странно было видеть, как этот малыш высасывает силы двух женщин. С закрытыми глазами, прерывисто дыша, он доводил их до изнеможения.

И Женевьева выходила, чтобы только избавиться от Эрлена. Он читал ей проповеди: «Мой естественнейший долг... Твое достоинство...» Она ничего не понимала в этих фразах: ей просто хотелось спать, но иные слова доходили до ее сознания и поражали: «Достоинство». Почему достоинство? При чем тут достоинство?

Врач не мог надивиться на молодую женщину, которая не плакала, не произносила ни одного лишнего слова и помогала ему, как самая исполнительная сиделка. Он любовался этой маленькой служанкой жизни. А для Женевьевы его посещения были лучшими минутами дня. Не потому что он ее утешал: он ничего не говорил. Но потому что в его присутствии это детское тельце обретало какое-то определенное место в жизни. Потому что все страшное, непонятное, больное было названо. Какая подмога в этой борьбе с мраком! Даже позавчерашняя операция... Эрлен стонал в гостиной. Она осталась. Хирург вошел в комнату в белом халате, словно спокойное могущество дня. Хирург и ассистент бросились в стремительную атаку. Она слышала короткие слова военной команды: «Хлороформ!», «Стяните!», «Йод!» Слова, произносимые шепотом и лишенные каких бы то ни было эмоций. И вдруг, как Бернису в его самолете, ей открылась сила этой стратегии: ребенка спасут.

— Как ты можешь смотреть на это?— говорил Эрлен.— Ты бессердечная мать.

Однажды утром в присутствии врача она потеряла сознание и соскользнула с кресла. Когда она пришла в себя, он не стал говорить ей ни о мужестве, ни о надежде, он и не выразил никакого сочувствия. Он строго посмотрел на нее и сказал:

— Вы переутомляетесь. Это легкомысленно. Я вам приказываю сегодня вечером погулять. В театр не ходите, люди слишком ограниченны, они вас осудят, но постарайтесь все-таки отвлечься!

И подумал:
«Вот самое правдивое горе, какое я когда-либо видел в жизни».

На бульваре ее охватила свежесть. Она шла, и ее переполнял огромный покой от нахлынувших воспоминаний детства. Деревья, лужайки. Такие простые вещи. Потом, когда она стала взрослой, у нее родился ребенок, и его появление было чем-то непостижимым и вместе с тем еще более простым. Еще более явной очевидностью, чем все остальное. И она служила этому ребенку в мире таких же простых и очевидных вещей, не углубляясь в их суть. И не было слов, чтобы выразить то, что она тогда почувствовала. Она почувствовала... ну да, именно так: она почувствовала себя умной. И уверенной в себе, и связанной со всем частью какого-то огромного целого. После родов она попросила поднести ее вечером к окну. Деревья жили, поднимались к небу, тянули из земли весну: она была их ровней. Ее ребенок рядом с ней слабо дышал, он был движущей силой мира, и его слабое дыхание наполняло жизнью вселенную.

Но вот уже три дня, как все смешалось. Малейшее движение — растворить ли окно, закрыть ли его — вело к каким-то непоправимым последствиям. Не смеешь шевельнуться. Она прикасалась к пузырькам, к простыни, к малышу и не в состоянии была постичь значение ни одного поступка в этом темном, непонятном мире.

Женевьева проходила мимо антикварного магазина. Ей казалось, что безделушки в гостиной ловят солнечный свет. Ей нравилось все, что притягивает солнце, все, что всплывает, ярко освещенное, на поверхность. Она остановилась, чтобы порадоваться молчаливой улыбке солнца в кристалле: такой же улыбкой светится старое доброе вино. В ее усталом сознании смешивались свет, здоровье, уверенность в жизни, и ей так захотелось украсить комнату уходящего из жизни ребенка этим немеркнущим, прочто вбитым, как золотой гвоздь, отсветом солнца.

IV

Эрлен снова набросился на нее:
— У тебя нет сердца! Как ты можешь гулять и шататься по антикварам? Никогда тебе этого не прощу! Это...— он подыскивал слова,— это чудовищно, это непостижимо, это недостойно матери!

Машинально взяв сигарету, он размахивал красным портси-

гаром. Женевьева слышала: «Чувство собственного достоинства!» — и думала: «Закурит он или нет?»

— Да, да...— медленно ронял Эрлен, приберегая к концу последнее откровение:— Да... пока мать развлекается, ребенок харкает кровью!

Женевьева побледнела.

Она бросилась вон из комнаты, но он преградил ей дорогу:

— Останься!

Он дышал тяжело, как зверь. Она заплатит ему за весь тот ужас, который он перенес в одиночестве!

— Ты сделаешь мне больно, а потом сам же пожалеешь об этом,— просто сказала Женевьева.

Но разве перед ней был человек? Перед ней было надутое ничтожество, бессильное перед лицом реальности, и ее слова оказались лишь последним ударом хлыста, подстегнувшим его пафос. Он пустился в декламацию. Да, ей всегда были безразличны его интересы, она кокетка, пустельга. Она долго его дурачила, его, Эрлена, отдававшего ей всего себя. Но это было не так уж важно, пока от этого страдал он один, человек всегда одинок в жизни... Женевьева в изнеможении потянулась к двери, но Эрлен повернул ее к себе и выпалил:

— Дурную жену ждет возмездие...

И так как она опять пыталась вырваться, он решил доконать ее, бросив ей страшное обвинение:

— Ребенок умирает: это божий перст.

Его гнев мгновенно стихает, как после совершенного убийства. Эрлен ошеломлен собственными словами. Женевьева без кровинки в лице идет к двери. Он понимает, как он уронил себя в ее глазах, а он-то хотел выставить себя в самой благородной роли. И вот он пытается стереть невыгодное впечатление, исправить его, силой уверить ее в своей доброте.

— Прости... вернись... я сошел с ума!— говорит он упавшим голосом.

Ее рука на дверной ручке; она стоит вполоборота к Эрлену, и он понимает, что она готова, как дикий зверек, убежать при малейшем его движении. Но он недвижим.

— Подойди... мне нужно с тобой поговорить... это так тягостно...

Она стоит как вкопанная: чего она боится? Его бесит этот беспричинный страх. Он хочет объяснить ей, что был безумен, жесток, несправедлив, что она права, но нужно же, чтобы сначала она подошла к нему, проявила доверие, сдалась. Тогда он унизится перед нею. И она поймет... Но она уже у двери.

Он резко хватает ее за руку. Она смотрит на него с уничтожающим презрением. Он упорствует: именно теперь-то и нельзя

выпускать её из-под своей власти, нужно проявить силу, нужно сказать: «Смотри: я не держу!»

И он слабо, потом сильнее сдавил эту хрупкую руку. Она размахнулась, чтобы дать ему пощечину, но он завладел и другой рукой. Теперь он уже причинял ей боль. Он чувствовал, что причиняет ей боль. Он понял, что похож на ребенка, старающегося силой приручить кошку, которая рвется из рук и бежит от его насильственных ласк. А ребенку так хочется быть ласковым. Эрлен тяжело дышал: «Я сделал ей больно, все пропало». И на несколько секунд его охватило безумное желание вместе с Женевьевой задушить свой собственный образ, запечатлевшийся в ее сознании и приводивший в ужас его самого.

С необъяснимым ощущением бессилия и пустоты он наконец разжал пальцы. Она неторопливо отстранилась, словно и впрямь ей уже нечего было его бояться, словно она вдруг стала недосягаемой. Его не существовало. Она помедлила, не спеша поправила волосы и, не обернувшись, вышла из комнаты.

Вечером, когда Бернис пришел ее навестить, она ему ни о чем не рассказала. В таких вещах не признаются. Но она перебирала с ним общие воспоминания детства и расспрашивала о его жизни там, в далеких краях. Потому что она доверяла ему маленькую девочку, которая нуждалась в утешении, и потому что девочек утешают сказками.

Она уткнулась головой в его плечо, и Бернису казалось, что Женевьева, вся целиком, умещалась в этом прибежище. И ей, конечно, казалось то же самое. Им было неведомо, как мало в ласке человек отдает самого себя.

V

— Вы у меня, в этот час... Как вы бледны. Женевьева!..

Женевьева молчит. Невыносимо громко тикают часы. Свет лампы уже мешается с предутренней белизной, и этот двойной свет словно лихорадящее горькое питье. Ее мутит. Она делает над собой усилие.

— Я увидела свет в вашем окне и пришла...

Больше она не находит слов.

— Да, да, Женевьева, а я вот роюсь в старых книгах...

Обложки книг лежат желтыми, белыми, красными бликами. «Как лепестки цветов»,— думает Женевьева. Бернис ждет. Женевьева не двигается.

— Я мечтал в этом кресле, Женевьева, я листал то одну, то другую книгу, и мне показалось будто я их прочитал.— Чтобы скрыть волнение, он говорит нарочито невозмутимым, чуть стариковским тоном.— Вы хотите что-то сказать?

«Ее приход — чудо любви»,— думает он.

Женевьеву гнетет только одна мысль: он не знает... Она растерянно смотрит на него и произносит:

— Я пришла, чтобы...

Она проводит рукой по лбу.

Окно белеет, и комната похожа на залитый голубоватым светом аквариум. «Лампа вянет»,— думает Женевьева.

И потом вдруг с отчаянием:

— Жак, Жак, увезите меня!

Бернис бледен. Он берет ее на руки, баюкает ее.

Женевьева закрывает глаза:

— Вы увезете меня...

И время для нее, прижавшейся к его плечу, летит, не причиняя боли. Ей почти радостно отрешиться от всего: словно отдаешься течению, и оно несет тебя, и кажется, что собственная жизнь уходит... уходит...

— Не причиняя боли...— бредит она вслух.

Бернис гладит ее лицо. Она вспоминает о чем-то. «Пять лет, пять лет... да нет, это невозможно! Я столько отдала ему...» — продолжает она про себя.

— Жак... Жак... Мой сынишка умер...

— Знаете, я ушла из дому. Мне так хочется покоя. Я еще не осознала, я еще не страдаю. Может быть, я и вправду бессердечная женщина? Друзья плачут и стараются меня утешить. Их умиляет собственная доброта. Но пойми... у меня нет еще воспоминаний. Тебе я могу рассказать все. Смерть приходит среди полного разгрома: уколы, перевязки, телеграмма. После нескольких бессонных ночей кажется, что все это сон. На консилиумах стоишь, прислонившись головой к стене, и голова пустая...

А столкновения с мужем, какой ужас! Сегодня утром, перед самым концом... он схватил меня, и мне показалось, что он сломает мне руку. И все из-за укола. Я же прекрасно знала... что не время. Потом он вымаливал прощение, а это было так неважно! Я сказала ему: «Полно... полно... Пусти меня к сыну!» Он загородил дверь. «Прости... мне нужно, чтобы ты простила!» Чистая блажь. «Послушай, пусти меня. Я прощаю». А он: «Да, на словах, но не от души». И так без конца, я чуть с ума не сошла.

Ну а потом, что ж, когда все кончено, никакого отчаяния не испытываешь. Даже удивляешься тишине, молчанию. Я думала... думала: малыш спит. Вот и все. И мне тоже представилось, что я причалила на рассвете к какой-то далекой неведомой гавани и я не знала, что делать. Я думала: «Вот мы и приехали». Я смотрела на шприцы, на микстуры и говорила себе: «Все это уже не нужно... мы приехали». И я потеряла сознание.— Она спохватывается:— Как я могла прийти, это безумие.

Она вдруг представляет себе, как там над огромной катастрофой встает солнце. Холодные скомканные простынки. Разбросанные по стульям и креслам полотенца, опрокинутый стул. Ей надо скорее помешать этому развалу вещей. Надо скорее поставить на место кресло, вазу, положить книгу на полку. Ей надо изо всех сил постараться восстановить положение вещей, обременяющих жизнь.

VI

К Женевьеве приходили, чтобы выразить соболезнование. С ней обращались как-то особенно осторожно. В ее присутствии люди боялись заговорить, чтобы не вызвать горестных воспоминаний, которые они же сами пробуждали, но их молчание было еще более бестактным... Она словно окаменела. Она без запинки произносит слово, которого все стараются избегать, слово «смерть». Она не хочет, чтобы в ней подслушали отзвук, вызываемый их фразами. Она глядит людям прямо в лицо, чтобы они не смели за ней подсматривать, но как только она опускает глаза...

А иные... До самого вестибюля они идут совершенно спокойно, но в дверях гостиной вдруг делают несколько стремительных шагов и, пошатнувшись, падают в ее объятия. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они хотят задушить ее горе. Но они прижимают к груди скорчившегося ребенка.

А ее муж разглагольствует с ними о продаже дома. «Воспоминания так мучительны!» Он лжет: страдание — это почти друг. А он суетится, он любит красивые жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Она поедет вслед за ним. «Вы представить себе не можете, какой разгром в доме...»

Ее прошлое рухнуло. Эта гостиная, создававшаяся с таким терпением. Вся эта мебель, расставленная здесь не человеком, не продавцом, а самим временем. Этой мебелью была обставлена не гостиная, а ее жизнь. Стоит чуть отодвинуть от камина кресло, от окна — столик, и вот все впервые предстанет в обнаженном виде, в разрыве с прошлым.

— И вы тоже уезжаете?

Ее руки бессильно падают.

Тысяча пактов порвано. Стало быть, нити всего мира сходились в руках этого малыша, он был центром, вокруг которого строилась вселенная? Его смерть для Женевьевы — такое крушение. И она дает волю своему горю:

— Как мне тяжело...

Бернис ласково утешает ее:

— Я возьму вас с собой. Я увезу вас. Помните, я же всегда говорил вам, что обязательно вернусь. Я вам говорил...

Бернис сжимает ее в объятиях, а Женевьева чуть запрокидывает голову, глаза ее блестят от слез, и вот уже Бернис держит в плену своих рук всего лишь маленькую заплаканную девочку.

«Кап-Джуби...

Бернис, старина, сегодня почтовый день. Самолет вылетел из Сиснероса. Скоро он приземлится у нас и захватит для тебя несколько моих горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Бродя вчера по берегу, такому голому и пустынному, вечно омываемому морем, я подумал, что мы похожи на этот берег. Я даже не совсем уверен в реальности собственного бытия. В иные вечера, когда закаты солнца бывали такими трагическими, ты видел, что весь испанский форт словно погружался в море, отражаясь в блестящем, как зеркало, пляже. Но это таинственное голубоватое отражение совсем не той природы, что самый форт. Это отражение и есть твое царство. Не очень реальное, не очень прочное... А Женевьева... предоставь ей жить своей жизнью.

О, я знаю, сегодня она в смятении. Но трагедии в жизни редки. В жизни так мало настоящей дружбы, привязанностей, любви, потеря которых оставляла бы неизгладимые следы. Несмотря на все, что ты рассказываешь об Эрлене, человек не так уж много значит. Мне кажется... жизнь строится на чем-то другом.

Привычки, условности, традиции — все, в чем ты не нуждаешься, все, от чего ты бежал... Вот что образует ее рамки. Чтобы жить, надо опираться на долговечные реальности. Пусть они нелепы или ложны,— это слова какого-то языка... Вырванная из этих рамок, Женевьева уже не будет сама собой.

И потом, понимает ли она, что ей нужно? Взять хотя бы ее привычку к богатству, которой она не сознает. Деньги окружают человека роскошью и дают чисто внешний размах жизни, а она живет жизнью внутренней; но вместе с тем именно богатство сообщает долговечность вещам. Это невидимые, грунтовые воды, которые веками питают стены дома, воспоминания — душу. Ты же опустошишь ее жизнь, как опустошают дом, когда из него вывозят тысячу предметов, которых не замечали, но которые были его душой.

Я понимаю, что для тебя любить — значит заново родиться. И тебе кажется, что ты увезешь с собой возродившуюся Женевьеву. Любовь для тебя — это сияние ее глаз, которое ты подмечал и которое легко поддерживать, как свет лампы. Ну ко-

нечно же, в иные минуты самые простые слова кажутся наделенными этой силой и могут зажечь любовь.

Но жить, это совсем другое дело».

VII

Женевьева не решается потрогать занавеску, кресло, хоть украдкой прикоснуться к ним, боясь внезапно обнаружить, что она в клетке. До сих пор все ее легкие прикосновения к этим вещам были лишь игрой. До сих пор вся эта декорация могла появиться по ее желанию и в любую минуту исчезнуть, как в театре. Она, обладавшая таким безупречным вкусом, никогда не задавалась вопросом, чего стоит этот персидский ковер, эта набойка из Жуи. До сих пор они были всего лишь образом дома, столь милым для нее, теперь же они будут сопутствовать ее собственной жизни.

«Ничего,— думала Женевьева,— я еще чужая в этой жизни, она еще не стала моей». И она усаживалась поглубже в кресло и закрывала глаза. Как в купе экспресса. Кажется, прожитая минута отбрасывает назад дома, леса, деревни. А когда, лежа на полке, открываешь глаза, видишь все то же неизменное медное кольцо. А ты, сам того не ведая, подвергся какому-то превращению. «Через неделю я раскрою глаза и буду уже другой: он увезет меня».

— Как вам нравится наш дом?

Зачем будить ее так рано? Она осматривается. Ей трудно выразить свои чувства: эта декорация слишком эфемерна. Ее остов не прочен...

— Жак, подойди ко мне, ты-то ведь настоящий...

В комнате полумрак, вдоль стен низкие тахты, обстановка холостяцкой квартиры. На стенах марокканские ткани. Все это развешивается за пять минут и так же быстро может быть убрано.

— Жак, почему вы прячете стены, почему вы не даете их погладить?..

Она любит ласкать рукой камень, гладить в доме самые прочные и долговечные вещи. Те, что могут вас долго куда-то везти, как корабль...

Он показывает ей свои сокровища: «сувениры»...

Она понимает. Она была знакома с офицерами из колониальных войск, которые, приезжая в Париж, вели призрачную жизнь пришельцев из иного мира. Встречаясь на бульварах, они сами едва верили тому, что они живые. Их квартиры были более или менее точной копией их домов в Сайгоне или в Марракеше. Здесь велись разговоры о женщинах, о товарищах, о карьере; но

все эти драпировки, которые там, может быть, составляли самую плоть стен, тут были мертвы.

Она перебирала в руках медные филигранные вещицы.

— Вам не нравятся мои безделушки?

— Простите меня, Жак... Они немного...

Она не решалась сказать «вульгарны». Уверенность в непогрешимости собственного вкуса, приобретенная благодаря тому, что она знала и ценила только подлинного Сезанна, а не копии, только настоящую стильную мебель, а не имитацию, рождала в ней невольное пренебрежение ко всему поддельному. Она со всем великодушием готова была пойти на любые лишения; ей казалось, что она согласилась бы жить в беленной известью каморке, но здесь что-то оскорбляло собственное ее достоинство. Здесь в ней страдал не избалованный роскошью ребенок, но, как это ни странно, страдала ее правдивость. Он угадал, что ей не по себе, не понимая причины ее состояния.

— Женевьева, я не могу окружить вас прежним комфортом, я не...

— Жак! Вы с ума сошли! Что вам пришло в голову! Мне это так безразлично.— И она прижималась к нему.— Просто всем вашим коврам я предпочитаю простой, хорошо натертый паркет... Я займусь этим...

И она замолкла, вдруг сообразив, что простота, к которой она стремилась, была куда большей роскошью и стоила много дороже, чем вся эта мишура. Вестибюль, где она играла в детстве, блестящие ореховые паркеты, массивные столы, служившие века, не выходя из моды и не изнашиваясь...

Ее охватила странная печаль: нет, не сожаление об утраченном богатстве, о всех тех вещах, которыми богатство окружает человека,— ей, конечно, еще в меньшей степени, чем Жаку, были ведомы излишества, но теперь она ясно поняла, что именно излишества составят ее богатство в новой жизни. А она в них не нуждалась. Но зато веры в долговечность — вот чего в ее жизни больше не будет. Она подумала: «До сих пор вещи оказывались долговечнее меня. Они встретили мое появление на свет, они сопутствовали мне в жизни, и я могла быть уверена, что они окружат меня заботой под старость; а теперь мне придется пережить вещи».

Она продолжает вспоминать: «Когда я уезжала в деревню...» И сквозь густую листву лип она снова видит тот дом. Из всего видимого в мире он был вещью самой прочной: его подъезд из каменных плит, словно выраставший из земли.

О, там... И она вспоминает зиму. Зима убирает в лесу каждую сухую ветку и обнажает каждую линию дома. И перед тобой самый костяк вселенной.

Женевьева выбегает и свистит собак. Под ее ногами хрустят

листья, но она знает, что после всей уборки, которую проделала зима, после всей этой капитальной чистки весна снова затянет нитями пустой уто́к, поднимется по ветвям и распустится в почках, заново возведет зеленые своды, таинственные и непрестанно колышущиеся, как морские глубины.

Там ее сынишка не исчез бесследно. Она спустилась в кладовую, чтобы перевернуть дозревающие фиги, а он только что ускользнул отсюда; нарезвившись и наигравшись, малыш послушно отправился спать.

Там ей ведом символ смерти, и она не страшится его. Просто каждый соединяется в своем молчании с молчанием дома. Ты поднимаешь глаза от книги, удерживаешь вздох, и ты слышишь зов, который только что отзвучал.

Они исчезли? Ведь среди всего, подверженного превращениям, только они одни и остаются неизменны, ведь их лицо, которое видел в последний раз, было таким подлинным, что в нем ничто и никогда не обманет!

«А теперь я пойду за этим человеком, и я буду страдать и сомневаться в нем!» Потому что весь клубок человеческой нежности и обид она сумела распутать только в них, в мертвых, которых уже не раздирают противоречия.

Она открывает глаза: Бернис задумался.

— Жак, будь мне защитой, я ухожу нищей, такой нищей!

Она готова примириться и с домом в Дакаре, и с толпой в Буэнос-Айресе — со всем тем миром, где все будет спектаклем, ненужным и призрачным, лишь бы сам Бернис был достаточно сильным, лишь бы он не оказался книжным героем...

Но он склоняется и ласково заговаривает с ней. И она так хотела бы поверить этому его образу, этой нездешней его нежности. О, она так готова полюбить самый образ любви: у нее нет иной защиты, кроме этого бледного образа...

Сегодня ночью в любовных ласках она найдет его слабое плечо, это ненадежное убежище, и, как зверек, уткнется в него головой, чтобы умереть.

VIII

— Куда вы меня везете? Зачем вы меня завезли сюда?

— Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Вы хотите отсюда уехать?

— Да, уедем,— говорит она с ужасом.

Фары плохо освещали дорогу. Они с трудом углублялись во мрак, как в провал. Бернис то и дело посматривал на Женевьеву — она была бледна как полотно.

— Вам холодно?

— Немножко, пустяки. Я забыла взять мех.

Она была легкомысленной девчонкой. Она улыбнулась.

Потом пошел дождь. «Чертова слякоть!» — выругался Жак. И тут же подумал, что таковы подступы к земному раю.

Под Саноом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарик: еще одна оплошность. Впотьмах, под дождем он тыкал наугад непослушным ключом. «Надо было ехать поездом»,— упрямо твердил он про себя. Он предпочел машину, потому что она давала иллюзию свободы: хорошенькая свобода! К тому же с самого начала их бегства он делал одни только глупости. А сколько забытых вещей!

— Ну как, наладил?

Женевьева вышла из машины и стала рядом с ним. Она внезапно почувствовала себя узницей: деревья, одно за другим, выстроились как конвойные, и эта дурацкая сторожка дорожного мастера. Боже, какая глупая мысль... Да разве она думала поселиться здесь навсегда?

Все было готово, он взял ее руку:

— У вас жар!

Она улыбнулась...

— Да... Я немного устала, я бы хотела соснуть.

— Так зачем же вы вышли под дождь?

Мотор тянул с перебоями и дребезжал.

— Жак, милый, когда же мы доедем? — Она уже дремала, усыпляемая жаром.— Когда мы доедем?

— Скоро, любимая, скоро будет Санс.

Она вздохнула. Эта попытка к бегству оказалась ей не по силам. И все из-за мотора, который то и дело задыхался. Так трудно было подтаскивать к себе тяжелые деревья. Одно за другим. Каждое. И так без конца.

«Это немыслимо,— думал Бернис,— но мне не миновать еще одной остановки!» И он с ужасом представил себе эту новую вынужденную остановку. Его страшила неподвижность окружающего ландшафта. Она будила мысли, которые только еще дремали в зародыше. Он боялся какой-то силы, которая пробивалась к жизни.

— Женевьева, любимая, не думайте об этой ночи... Думайте о будущем... Думайте об... об Испании. Как вам понравится Испания?

Далекий голос ему отвечал: «Да, да, Жак, я счастлива, но... я немного боюсь разбойников!» Она слабо улыбнулась. От этих слов Бернису стало горько; он понял, что для нее путешествие в Испанию было так же нереально, как детская сказка... Она не верила. Армия без веры. Армия без веры не может победить.

— Женевьева, это ночь, это дождь лишает нас веры...

И вдруг он понял, что нынешняя их ночь похожа на неизлечимую болезнь. Вкус болезни он словно чувствовал на языке. Это была одна из тех ночей, когда нет надежды на рассвет. Он боролся с этим чувством, он твердил про себя: «Рассвет принесет исцеление, лишь бы кончился дождь... Лишь бы...» Что-то

было безнадежно больным в них самих, но он не сознавал этого. Ему казалось, что земля заражена, что больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как приговоренные к казни, которые мечтают: «С рассветом я вздохну свободно» или: «С весною я помолодею...»

— Женевьева, подумайте о нашем новом доме, там...

Он тотчас же понял, что этого говорить не следовало. Ничто не могло вызвать в Женевьеве образ того дома.

— О да, наш дом...

Она прислушалась, как звучит это слово. Его уют ускользал, его тепло не грело. Ничто не могло вызвать в Женевьеве образ этого дома. В ней всколыхнулось множество мыслей, которых она в себе не подозревала и которые стремились облечься в слова,— множество мыслей, пугавших ее.

Бернис не знал ни одной гостиницы в Сансе и потому остановил машину под фонарем, чтобы справиться в путеводителе. В сумрачном свете газового рожка двигались тени, на белесой стене выступала размытая, стершаяся вывеска: «Вело...» И ему показалось, что он не слышал более мрачного и более вульгарного слова. Символа серенькой жизни. Он подумал, что многое в его жизни там было тоже сереньким, но прежде он этого не замечал.

— Огоньку, приятель...

Трое здоровых парней, посмеиваясь, рассматривали его.

— Американцы, заблудились...

Потом они уставились на Женевьеву.

— Подите к черту,— проворчал Бернис.

— А твоя милашка недурна. Но если бы ты видел нашу, из двадцать девятого!..

Женевьева, оторопев, высунулась из машины:

— Что они говорят?.. Ради бога, уедем.

— Но, Женевьева...

Он сдержался и замолчал. Надо же было найти гостиницу... Подумаешь, пьяное хулиганье... что тут особенного? Потом он вспомнил, что у нее жар, что ей нездоровится, что он должен бы избавить ее от подобных столкновений. И он с болезненным упорством корил себя за то, что впутал ее в эту грязь. Он...

Гостиница «Глобус» была закрыта. Ночью все эти маленькие гостиницы выглядели, как мелочные лавчонки. Он долго стучал в дверь, пока наконец за нею не послышались неторопливые шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь:

— Все занято.

— Умоляю вас, моя жена больна!— упрашивал Бернис.

Дверь захлопнулась. Шаги удалялись по коридору.

Все было в заговоре против них...

— Он ответил?— спрашивала Женевьева.— Почему, почему он даже не ответил?

Бернис еле удержался, чтобы не сказать, что они здесь не

на Вандомской площади и что, как только нутро этих маленьких гостиниц плотно набивается постояльцами, все ложатся спать. Это естественно. Он сел, не говоря ни слова. Его лицо блестело от пота. Он уставился на мокрую мостовую и не заводил мотора; дождь стекал ему за воротник; ему казалось, что он должен преодолеть инерцию всего земного шара. И снова эта идиотская мысль: когда рассветет...

В эту минуту они действительно нуждались в человеческом слове. И вот Женевьева решилась.

— Все это пустяки, милый,— сказала она.— Должны же мы заработать наше счастье.

Бернис взглянул на нее.

— Вы очень великодушны.

Он был растроган. Ему захотелось расцеловать ее: но этот дождь, это неуютное окружение, эта усталость... Он взял ее руку, почувствовал, что жар усиливается. Каждая минута подтачивала это тело. Он успокаивал себя мечтами: «Я закажу для нее грог. Все пройдет. Она выпьет горячего грога. Я закутаю ее в одеяла. И, взглянув друг на друга, мы посмеемся над этим злополучным путешествием». Его наполнило смутное счастье. Но как не похоже было их теперешнее бытие на его мечты. В двух других гостиницах на их стук просто не отозвались. А мечты? Их приходилось каждый раз подновлять. И с каждым разом они утрачивали какую-то долю правдоподобия, какую-то чуть теплившуюся в них возможность воплотиться и стать жизнью.

Женевьева молчала. Он понял, что она больше не пожалуется и не проронит ни слова. Он мог ехать целыми часами, целыми днями: она не скажет ничего. Никогда. Он мог бы скрутить ей руки: она не вымолвит ни слова... «Я брежу, я сплю!»

— Женевьева, маленькая моя, вам нехорошо?

— Да нет же, все прошло, мне лучше.

Она уже разуверилась во многом. На многом поставила крест. Ради кого? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. Это «мне лучше» означало просто, что в ней что-то надломлено. Она покорилась. Теперь ей будет все лучше и лучше: она поставила крест на счастье. А когда ей станет совсем хорошо... «Какого же дурака я валяю: я все еще грежу!»

Гостиница «Надежда и Англия». Особая такса для коммивояжеров.

— Обопритесь на мою руку, Женевьева... Да-да, комнату. Жена нездорова: поскорее приготовьте ей грогу! Горячего грогу!

Особая такса для коммивояжеров. Почему так грустно звучит эта фраза?

— Сядьте в кресло, вам будет лучше.

Почему все еще не подают грогу? Особая такса для коммивояжеров.

Старая служанка суетилась:

— Что с вами, дамочка! Бедняжка! Она вся дрожит и такая бледная. Я налью грелку! Вам в четвертый, это прекрасная большая комната... Будьте добры заполнить бланк.

Взяв в руки грязную ручку, он вспомнил, что у них разные фамилии. Ему придется подвергнуть Женевьеву лакейским пересудам. «И все из-за меня. Какая безвкусица!» Но она и на этот раз пришла ему на выручку:

— Любовники! Разве это не трогательно?

Им представился Париж, скандал. Они вообразили себе возбужденные лица знакомых. Трудности для них только еще начинались, но они избегали говорить об этом, боясь, что их мысли встретятся.

И Бернис понял, что до сих пор они еще ничего особенного не пережили: ну подумаешь, мотор плохо тянул, моросил дождь, и они потеряли десять минут в поисках гостиницы. Но непосильные трудности, которые, как им казалось, их ждали, коренились в них самих. Женевьева пыталась побороть самое себя, и то, с чем она боролась в себе, сидело в ней так прочно, что она уже надорвалась от одной этой борьбы.

Он взял ее руки и в который раз понял, что словами ничему не помочь.

Она спала. Он не думал о любви. В душе всплывали странные образы. Реминисценции. Пламя лампы. Надо бы как можно скорее подлить в лампу масла. И надо защитить пламя от порывов ветра.

А главное — эта отрешенность. Он бы обрадовался ее жадности к вещам. Ее слезам из-за вещей, ее пристрастию к ним; он был бы счастлив, если бы она была требовательна, как голодный ребенок. Тогда, несмотря на всю свою нищету, он сумел бы утолить ее голод. Но он стоял на коленях с пустыми руками перед ребенком, который ничего не просил.

IX

— Нет, ничего... Оставь меня... Ах, уже пора?

Бернис встал. Все его движения во сне были медлительны, как у грузчика. Как жесты апостола, извлекающего вашу душу из глубины подсознания. Каждый его шаг был исполнен смысла, словно в танце. «Любовь моя...»

Он ходит взад и вперед по комнате: до чего все нелепо.

Рассвет грязнит окно. А ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно светилось такой глубокой, сапфировой синевой. Этой ночью окно было раскрыто в звездные дали. Он думал. Он грезил. Он на носу корабля.

Она поджимает колени, собственное тело кажется ей безволь-

ным и осевшим, как плохо пропеченный хлеб. Сердце бьется часто и ноет. Так бывает в поезде. Вагонные оси выстукивают ритм бегства. Вагонные оси выстукивают биение сердца. Прижимаешься лбом к стеклу, и перед твоими глазами проносится ландшафт: какие-то черные силуэты, которые наконец стягивает горизонт и обводит покоем, сладостным, как смерть.

Ей хотелось бы крикнуть ему: «Удержи меня!» Ведь руки любви связывают вас с вашим настоящим, с вашим прошлым, с вашим будущим, руки любви собирают вас...

— Не надо. Оставь меня.

Она подымается.

X

«Это решение,— думал Бернис,— это решение было принято помимо нашей воли. Все произошло без слов». Как будто об этом возвращении они условились заранее. Она заболела, и о дальнейшем путешествии нечего было и думать. А там будет видно. Она так недолго отсутствовала. Эрлен в отъезде, все образуется. Бернис удивлялся тому, как легко все обошлось. Но он прекрасно понимал, что это не так. Просто теперь каждый шаг не стоил им никаких усилий.

Впрочем, он не был уверен в себе. Он сознавал, что и на этот раз уступил каким-то внутренним образам. Но из каких глубин встают эти образы? Сегодня утром, проснувшись под низким, темным потолком, он вдруг подумал: «Ее дом был ковчегом. Он переправил с одного берега на другой много поколений. Путешествие само по себе смысла не имеет, но какая уверенность преисполняет человека, когда у него есть собственный билет, собственная каюта и чемодан из рыжей кожи. Взойти на корабль...»

Жак еще не понимал, страдает ли он, он отдавался судьбе, и будущее надвигалось независимо от его воли. Человек не страдает, отдаваясь чему-то. Даже отдаваясь печали, он не страдает. Страдание придет позже, когда Бернис останется лицом к лицу с теми внутренними образами. Он понял, что им легко дается эта вторая, заключительная глава их повести, потому что роли их были предопределены внутри их самих. Он твердил это себе, ведя машину, которая по-прежнему плохо слушалась. Уж как-нибудь они доедут. Они положатся на судьбу. Вечно этот образ судьбы.

Когда они подъезжали к Фонтенбло, ей захотелось пить. Они узнавали малейшие подробности пейзажа. Он спокойно располагался вокруг. Он вселял уверенность. Это было то привычное окружение, которое вновь обрамляло их жизнь.

В закусочной им подали молока. Куда им торопиться? Она маленькими глотками пила молоко. Им некуда было торопиться.

Все происходящее надвигалось с неотвратимой необходимостью: и вечно этот образ необходимости.

Она нежна. Она признательна ему за многое. Теперь их отношения непринужденнее, чем вчера. Она улыбается, показывая на птичку, клюющую крошки перед дверью. Ее лицо кажется ему новым. Где он видел это лицо?

У попутчиков. У попутчиков, с которыми жизнь через несколько минут разлучит вас. На перронах. Это лицо уже может улыбаться, оно способно жить какими-то неведомыми вам чувствами.

Он снова взглянул на нее. Он видел ее склоненный профиль, она задумалась. Он терял ее, едва она поворачивала голову.

Она все еще любила его, конечно, но не надо слишком многого требовать от слабенькой девочки. Он, разумеется, не мог сказать ей: «Я возвращаю вам свободу» — или какую-нибудь подобную же банальность, но он заговорил о своих планах на будущее. И она уже не была пленницей в той новой жизни, которую он себе придумывал. Она благодарно положила свою маленькую руку ему на плечо.

— Вы мой самый, самый любимый...

И это была правда, но в то же время эти слова означали, что они не созданы друг для друга.

Упрямая и нежная. И ежеминутно готовая стать, сама того не ведая, черствой, жестокой, несправедливой. Ежеминутно готовая любой ценой отстаивать какое-то свое непостижимое достояние. Твердая и нежная.

Но она не была создана и для Эрлена. Он это знал. Та жизнь, к которой, по ее словам, она возвращалась, всегда была ей только в тягость. Для чего же она была создана? Она, казалось, не страдает.

Они снова пустились в путь. Бернис чуть отворачивался влево. И он тоже умел справляться со своим страданием, но какой-то раненый в нем зверь плакал, и Бернис был не волен в этих слезах.

В Париже никакой суеты: стоит ли подымать шум по таким пустякам.

XI

Зачем? Город вокруг него продолжал жить своей бессмысленной толчеей. Бернису было ясно, что это смятение ни к чему уже не приведет. Он медленно продвигался навстречу потоку чужих людей. Он думал: «Меня словно и нет». Он должен был вскоре уехать, и это было хорошо. Он знал — работа так прочно свяжет его со всем окружающим миром, что он сам снова станет реальностью. Он прекрасно знал, что в повседневном обиходе малейший шаг приобретает значительность реального факта, а ду-

шевные драмы в какой-то мере утрачивают свою трагичность. Даже шутки товарищей сохранят для него свою прелесть. Это было странно, но это было так. Впрочем, он не слишком интересовался собой.

Проходя мимо Нотр-Дам, Бернис зашел в собор. Его поразила огромная толпа молящихся; он прислонился к колонне. «Почему я вдруг оказался здесь?» — недоумевал он. Да хотя бы потому, что здесь каждая минута вела куда-то. А там, снаружи, они уже никуда не вели. Именно: «Там минуты уже никуда не ведут». И, кроме того, ему захотелось разобраться в себе, отдаться вере, как некой философской концепции. Он думал: «Если я найду здесь формулу, которая выразит мои мысли, которая будет мне близка, она станет для меня истиной». И тут же устало договаривал: «И все-таки я не уверую в нее».

Ему внезапно показалось, что он снова стоит на перепутье и что вся жизнь его прошла вот в таких попытках к бегству. Первые слова проповеди взволновали его, как сигнал к отплытию.

— Царство небесное,— начал проповедник,— царство небесное...

Опершись вытянутыми руками на широкие перила кафедры, проповедник склонился над толпой. Над голодной толпой, жаждавшей любой пищи. Надо насытить ее. Перед ним вставали образы необычайной убедительности. Ему представилась пойманная в верши рыба, и он, без всякой связи, продолжал:

— Когда рыбак из Галилеи...

Проповедник бросал в толпу бессвязные слова, которые тянули за собой вереницы ассоциаций, оставлявших долгий отзвук. Ему казалось, что он медленно и упорно расшевеливает толпу, постепенно разжигая ее порыв, словно подстегивая скакуна.

— Если бы вы знали... Если бы вы знали, сколько любви...

Он запнулся, задыхаясь: он был слишком взволнован, чтобы выразить все, что его переполняло. Самые ничтожные, самые избитые слова казались ему насыщенными таким глубоким смыслом, что он уже не в состоянии был выбирать среди них самые весомые. При свете зажженных свечей лицо его было восковым. Он вытянулся, опираясь руками на кафедру, подняв голову, весь устремленный ввысь. Он умолк, и толпа всколыхнулась, как море.

Потом он нашел нужные слова и заговорил. Он говорил с поразительной убежденностью, орудуя словами, как грузчик, уверенный в своей силе. В то время как он заканчивал последнюю фразу, его осеняли мысли, возникавшие где-то вне его, и он подхватывал их, словно перекидываемый ему груз, уже за-

ранее смутно предугадывая тот образ, в который он эти мысли воплотит, ту формулу, в которой он передаст их толпе.

Бернис слушал проповедь.

— Я — источник всяческой жизни. Я — морской прилив, заливающий и животворящий вас и снова отступающий. Я зло, заливающее вас, и раздирающее вас, и отступающее. Я любовь, заливающая вас и не преходящая вовек.

А вы выдвигаете против меня Марсиона и Четвертое Евангелие. А вы говорите мне об апокрифах. Вы противопоставляете мне вашу жалкую человеческую логику, я же тот, кто выше ее законов, и я пришел избавить вас от нее.

Поймите меня, невольники! Я избавляю вас от ига науки, от ваших формул и законов, от оков разума, от детерминизма, более жестокого, чем рок древних. Я — трещина в броне, я — лазейка в темнице. Я — ошибка в расчете: я — жизнь.

Вы проинтегрировали орбиту звезды, о жалкий род исследователей, и звезда перестала быть для вас живым светочем. Она стала знаком в ваших книгах, но она больше не светит вам, и вы знаете о ней меньше несмышленого младенца. Вы открыли все, вплоть до законов, управляющих человеческой любовью, но сама любовь ускользает из ваших уравнений: вам ведомо о ней меньше, чем невинной девушке! Придите же ко мне! Я возвращу вам сладость света, я возвращу вам свет любви! Я не порабощаю вас: я вас спасаю. Я освобождаю вас от власти человека, впервые исчислившего закон падения яблока и обратившего вас в рабство. Моя обитель — единственное прибежище. Что станется с вами, если вы отринете эту обитель?

Что станется с вами, если вы отринете мою обитель, этот ковчег, где ход времени проступает в своем истинном смысле, как под морской струей — блестящий форштевень корабля. Как морское течение, которое незаметно и бесшумно выносит на поверхность острова. Морское течение...

Придите ко мне, все отчаявшиеся в бесплодных усилиях.

Придите ко мне, все отчаявшиеся в логике, не приводящей ни к чему, кроме мертвых законов...

Он раскрыл руки:

— Потому что я тот, кто приемлет вас. Я взял на себя грехи мира. Я взял на себя его зло. Я взял на себя ваше отчаяние — отчаяние зверей, оплакивающих смерть своих детенышей, и ваши неизлечимые недуги, и вы утешились. Но твой нынешний недуг, о мой народ, еще страшнее и неизлечимее, и все-таки и его я возьму на себя. Я приму еще более тяжкие оковы — оковы духа.

Я тот, кто несет бремя мира.

В словах этого человека Бернису слышалось отчаяние, потому что он не молил о знамении. Он не нуждался в знамении. Он сам отвечал себе.

— Вы будете беспечны, как дети. Вы изнемогаете под гнетом

ваших наждодневных напрасных усилий. Придите ко мне: я наделю их смыслом, и они преобразят ваше сердце, и ваше сердце станет человеческим.

Его слова овладевают толпой. Бернис уже не слышит слов, до него доходят только какие-то интонации, непрестанно повторяющиеся, как припев.

...И ваше сердце станет человеческим.

Проповедник взволнован.

— Из ваших страстей, скупых, жестоких и безнадежных, о нынешние любовники, я сотворю человеческие чувства,— придите ко мне.

Из ваших плотских влечений, из вашей неудовлетворенности, я сотворю человеческое... придите ко мне...

Бернис чувствует глубокое отчаяние этого человека.

— ...Потому что я тот, кто возлюбил вас...

Бернису хочется уйти.

— ....Один лишь я могу вернуть человека самому себе.

Священник умолк. В изнеможении он повернулся к алтарю. И поклонился богу, которого только что сам сотворил. Он чувствовал себя нищим, словно отдал все, что имел, словно приносил в дар свое телесное изнурение. Сам того не сознавая, он приравнял себя к Христу. Стоя лицом к алтарю, он снова заговорил с ужасающей медлительностью:

— Отче, я поверил в них, вот почему я отдал свою жизнь...

И в последний раз, склонившись над толпой, он произнес:

— Ибо я возлюбил их...

Его охватила дрожь.

Молчание показалось Бернису нестерпимым.

— Во имя отца...

Бернис думал: «Какое отчаяние! Где же вера? Я не слышал слов веры: это был вопль отчаяния».

Он вышел. Скоро зажгутся дуговые фонари. Бернис шел по набережным Сены. Деревья стояли неподвижные, с разметавшимися и словно застывшими в сумерках кронами. Бернис шел. Его охватил покой, потому что день завершился; такой покой охватывает иной раз, когда разрешишь давно мучившую тебя задачу.

И все-таки эти сумерки... Они слишком похожи на театральный задник, который уже не раз послужил декорацией в сценах развала Империи, проигранных битв, развязок неглубокой любви; завтра эти декорации пригодятся для других комедий. Театральный задник, который так волнует, когда вечер тих, когда жизнь замедляет ход, потому что еще неизвестно, какая идет драма. О, хоть что-нибудь, что спасло бы его от такой человеческой тоски...

Дуговые фонари вспыхнули все сразу.

XII

Такси. Автобусы. Бессмысленная суета, в которой так хорошо затеряться, не правда ли, Бернис? Какой-то увалень загородил весь тротуар.

— А ну, поворачивайся!

Женщины, с которыми сталкиваешься раз в жизни: единственная, неповторимая возможность. Выше — яркие огни Монмартра. Его уже зазывают.

— Да ну тебя! Отстань!..

Другие женщины. В «испано-суизах», как в роскошной оправе, превращающей в драгоценность даже самую безобразную женщину. На животе — на пятьсот тысяч франков жемчугов, руки в кольцах. Тела, приправленные, как самое изысканное блюдо. А вот еще одна робеющая девка.

— Отвяжись ты! Знаю я тебя, хлыща, катись к чертям! Да пропусти же, отвяжись, говорят!

Эта женщина ужинала за соседним столиком; она в вечернем платье, с глубоким треугольным вырезом на спине. Ему видны только ее затылок, плечи и непроницаемая спина, по которой пробегает судорожный трепет. Трепет плоти, этой вечно восстанавливающейся и неуловимой материи. Так как женщина курила, опершись на руку и наклонив голову, он видел лишь безликое тело.

«Глухая стена»,— подумал он.

Танцовщицы начали свой номер. Их шаги были упруги, и душа танца наделяла душой их самих. Бернису нравился этот ритм, державший их тело в подвижном равновесии. Это равновесие могло ежеминутно нарушиться, но танцовщицы снова с поразительной уверенностью восстанавливали его. Они волновали чувственность, непрестанно намечая образ, который вот-вот должен был на ваших глазах завершиться и который на пороге этого завершения, на пороге смерти, переходил в новое движение. Это было само воплощенное желание.

А перед ним все та же загадочная, неподвижная, как озерная гладь, спина. Вот от какого-то жеста или мысли по этой глади волной пробегает тень. «Я хочу того неведомого, что движется под этой гладью»,— думает Бернис.

Танцовщицы раскланивались, начертив и стерев таинственные арабески на песке. Бернис подозвал самую стройную.

— Ты хорошо танцуешь.

Он чувствовал, что ее тело клонится, как налившийся соком плод. И эта его тяжесть показалась ему откровением. Богатством. Она присела. У нее был неподвижный взгляд и что-то бычье в подбритом затылке,— наименее гибкой части этого тела.

Ее лицо не отличалось тонкостью, но все тело казалось его естественным разрешением и дышало спокойствием.

Потом Бернис заметил слипшиеся от пота волосы. Морщинку, прорезавшую слой грима. Поношенный наряд. Выхваченная из танца, она казалась надломленной и неловкой.

— О чем ты задумалась?

Она ответила неопределенным жестом.

И вот все это ночное возбуждение приобретало смысл. Суета портье, водителей такси, метрдотелей. Они занимались своим ремеслом, которое в конечном счете сводилось к тому, чтобы подать ему шампанское и свести с этой усталой девкой. Бернис видел жизнь из-за кулис, где все — ремесло. Где нет ни порока, ни добродетели, ни смутных волнений, где все — только работа, исстари заведенная и бесстрастная, как труд чернорабочего. Даже танец, каждым движением строивший новый язык, мог что-то сказать только человеку постороннему. Только чужой был в состоянии обнаружить в этом танце структуру, о которой создатели ее давно уже забыли. Так музыкант, в тысячный раз исполняющий одну и ту же мелодию, утрачивает ее смысл. А здесь танцовщицы в ярком свете прожекторов выполняли па, старались что-то выразить мимикой, но один бог ведает, с каким подтекстом. Одна была поглощена своей больной ногой, другая — свиданием,— о, совершенно пустяковым,— после выступления. Третья мысленно подсчитывала свои долги: «Я должна триста франков...» А еще какая-то, может быть, только и твердила: «Мне больно...»

И вот в нем уже угас весь порыв. Он думал: «Ты не дашь того, что мне нужно». Но одиночество его было так нестерпимо, что она все-таки понадобилась ему.

XIII

Она боится этого молчаливого человека. Когда ночью она просыпается рядом с ним, спящим, ей кажется, что она брошена на пустынном берегу.

— Обними же меня!

И все-таки в ней поднимается нежность... но эта неведомая, заключенная в его теле жизнь, эти недоступные мысли под его черепной коробкой! Лежа на его груди, она чувствует, как дыхание, словно морская волна, вздымает и опускает эту грудь, и ей страшно, ее качает, словно она в лодке, перевозящей ее над неведомой пучиной. Прижимаясь ухом к его сердцу, она слышит жесткий стук мотора или молота, рушащего породу; у нее ощущение какого-то неудержимого бегства. А это молчание, когда она старается разбудить его, заговаривая с ним! Она считает секунды между своим словом и его ответом, как отсчитывают промежутки между молнией и ударом грома во время грозы: раз,

два... три... Гроза еще далеко, за теми полями. Если он закрывает глаза, она обеими руками, словно булыжник, приподымает его голову, тяжелую, как у мертвеца.

— Милый мой, какая мука...

Таинственный спутник.

Вытянувшись бок о бок, они молча лежат. И жизнь пронизывает их, как поток. Головокружительное бегство. Тело — несущаяоя пирога...

— Который час?

Вот и конец: странное путешествие.

— Милый мой!

Она прижимается к нему, запрокинув голову, растрепанная, словно вынырнувшая из воды. Так выглядит женщина после сна или ночи любви: с приставшей ко лбу прядью волос, с помятым лицом, словно ее вытащили из морской пучины.

— Который час?

Ах, зачем? Часы мелькают, как полустанки,— полночь, час, два,— они отброшены назад, их не вернуть. Что-то просачивается сквозь пальцы, чего не удержать. Стареть — это совсем не страшно.

— Я представляю тебя седым и себя — твоей верной подругой...

Стареть — это совсем не страшно.

Жаль только этой погубленной минутки, этого отсроченного еще на какое-то время покоя, вот чего жаль.

— Расскажи мне о своей стране?

— Моя страна...

Бернис понимает, что он ничего не может рассказать. Города, моря, родные страны — все одинаковы. Но порой за ними промелькнет смутный образ, который угадываешь, не постигая его, и который нельзя выразить словами.

Он прикасается рукой к животу этой женщины, к тому месту, где тело беззащитно. Женщина: самое обнаженное из всех живых тел, светящееся самым нежным светом. Он задумывается над таинственной жизнью, пронизывающей это тело, согревающей его, как солнце, творящей его внутреннюю атмосферу. Бернис не назвал бы ее нежной или красивой: он сказал бы — она теплая. Теплая, как зверь. Живая. С сердцем, этим источником жизни, отличным от его собственного, без устали бьющимся в ее теле.

Он вспоминает, как в нем в течение нескольких мгновений трепетала страсть: безумная птица, которая бьет крылами и умирает. А теперь...

Теперь за окном брезжит рассвет. О, женщина после ночи любви, женщина, которую уже не венчает и не окутывает мантией желание мужчины! Отброшенная к холодным звездам. Сердечные ландшафты сменяются так быстро... Прошло желание,

прошла нежность, прошел пламенный вихрь. Теперь ты, чистый, холодный, неподвластный телу, стоишь на носу корабля и держишь курс в открытое море.

XIV

Этот неуютный салон похож на дебаркадер. Бернис, в ожидании скорого, проводит в Париже несколько пустых часов. Он прижался лбом к оконному стеклу и смотрит на текущую толпу. Он в стороне от этого потока. У каждого человека свои планы, каждый торопится. Завязываются интриги — они развяжутся без его участия. Проходит женщина и, едва проделав десять шагов, уходит в бесконечность. Эта толпа была живым телом, она питала тебя, вызывая то слезы, то смех, а теперь она подобна призракам давно вымерших народов.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Европа, Африка одна за другой готовились к ночи, гася то тут, то там последние дневные бури. Та, что бушевала в Гренаде, стихала; буря в Малаге — пролилась дождем. Кое-где последние вихри еще путались среди ветвей, словно в волосах.

Тулуза, Барселона, Аликанте, отправив почту, приводили в порядок свое хозяйство, убирали самолеты, запирали ангары. В Малаге почтового ждали засветло и поэтому не заботились о посадочных огнях. Впрочем, здесь самолет приземляться не будет: снизившись и сбросив почту, он пролетит прямо к Танжеру. Ему сегодня предстоит еще, не видя африканского берега, по компасу, перелететь на двадцати метрах пролив. Сильный западный ветер взрывал воду. Волны пенились белыми гребешками. Корабли, стоявшие на якоре носом против ветра, работали всеми заклепками, как в открытом море. Скалы английской крепости образовали на востоке глубокую бухту, в которой дождь лил как из ведра. К западу тучи поднялись этажом выше. На том берегу Танжер дымился под сплошным ливнем, прополаскивавшим город. У горизонта сгрудились кучевые облака. Но в направлении Лараша небо уже прояснялось.

Касабланка дышала под чистым небом. В порту сбились потрепанные, как после боя, парусники. А на море, вспаханном бурей, от нее уже не осталось никаких следов, кроме длинных, ровных, расходящихся веером борозд. Зелень полей на закатном солнце казалась ярче и темнее, как морская глубь. То тут, то там поблескивали непросохшие крыши домов. В бараке электросварочной бригады электрики бездельничали в ожидании са-

молета. Агадирская бригада отправилась обедать в город: в ее распоряжении было еще целых четыре свободных часа. В Порт-Этьене, в Сен-Луи, в Дакаре можно было спать.

В восемь вечера радиостанция Малаги сообщила:

«Почтовый пролетел без посадки».

В Касабланке проверяли посадочные огни. Рампа с прожекторами вырезала из ночного мрака и обвела красным контуром черный квадрат. В нескольких местах в ней зияли дыры, словно от выпавших зубов; в рампе не хватало ламп. Потом второй выключатель засветил фары. В середине квадрата образовалось белое молочное пятно. В этом мюзик-холле недоставало только актера.

Рефлектор передвинули. Сноп лучей выхватил из темноты мокрое дерево. Оно чуть переливалось, как кристалл. Потом осветился белый барак, разросшийся вдруг до неправдоподобных размеров; тень от него побежала по кругу и рассыпалась. Наконец световой диск снизился и установился в надлежащем месте, расстелив для самолета белый коврик.

— Хорошо,— сказал начальник аэродрома,— выключите.

Он поднялся в контору, перелистал последние донесения, выжидательно посматривая на телефон. Скоро заговорит Рабат. Все было готово. Механики рассаживались по бидонам и по ящикам.

Агадир терялся в догадках. По его расчетам, почтовый уже должен был вылететь из Касабланки. Его ждали с минуты на минуту. За бортовой огонь самолета уже десятки раз принимали Звезду Пастухов, а потом Полярную звезду, всходившую как раз на севере. И вот, для того чтобы включить прожекторы, все ждали появления еще одной звезды, которая будет плутать, не находя себе места среди созвездий.

Начальник аэродрома был в нерешительности. Отправлять ли ему самолет в дальнейший рейс? Его смущал туман на юге, расстилавшийся вплоть до ручейка Нун и, может быть, даже до самого Джуби, а Джуби молчал, несмотря на все запросы. Нельзя же было выпустить почтовый Франция — Америка ночью в такую вату! А этот пост в Сахаре не хотел делиться своей тайной.

В то же время в Джуби, оторванные от всего мира, мы посылали сигналы бедствия, как тонущий корабль:

«Сообщите сведения почтовом, сообщите...»

Мы уже не отвечали Сиснеросу, который донимал нас тем же вопросом. Так, разделенные тысячей километров, мы бросали в пространство наши безответные жалобы.

В двадцать пятьдесят напряжение разрядилось. Касабланке

и Агадиру удалось связаться по телефону. А потом к нам присоединились и наши рации. Говорила Касабланка, и каждое ее слово повторялось вплоть до Дакара:

«Почтовый 22.00 вылетит Агадир».

«Из Агадира в Джуби: почтовый прибывает Агадир 0.30. Точка. Сообщите возможность продолжать рейс Джуби».

«Из Джуби в Агадир: туман. Ждать рассвета».

«Из Джуби в Сиснерос, Порт-Этьен, Дакар: почтовый ночует Агадире».

В Касабланке пилот расписывался в бортовом журнале и щурился от яркого света лампы. Глаза так уставали, что иной раз Бернис был счастлив, когда мог ориентироваться на белую линию прибоя — границу земли и воды. Сейчас в конторе перед ним были ящики, белая бумага, грубая мебель: прочный, осязаемый мир. А в раскрытую дверь он видел мир, опустошенный ночью.

Лицо Берниса раскраснелось от ветра, в продолжение десяти часов массировавшего его щеки. С головы стекала вода. Он вылез из ночного мрака, упрямо жмурясь, как водопроводчик из сточной трубы: в тяжелых сапогах, в кожаной куртке, с прилипшими ко лбу волосами. Вдруг он встрепенулся:

— Вы что же... хотите, чтобы я летел дальше?

Начальник аэродрома угрюмо листал бумаги.

— Вы будете делать то, что вам прикажут.

Он уже решил не давать приказа к вылету, а пилот, со своей стороны, решил на нем настаивать. Но каждый считал себя единственным судьей в этом деле.

— Засадите меня с завязанными глазами в гардероб с рукояткой газа и прикажите лететь в нем до Агадира: вот что означает ваш приказ.

Полнота внутренней жизни не позволяла ему ни минуты думать о собственной безопасности: такие мысли приходят только в праздные души, но образ гардероба привел его в восторг. Есть вещи невозможные... но он с ними все-таки справится.

Начальник аэродрома приоткрыл дверь, чтобы выбросить в ночь окурок.

— Смотрите-ка! Все видно...

— Что видно?

— Звезды.

Пилот разозлился:

— Плевать я хотел на ваши звезды, подумаешь, показались три штуки! Не на Марс же вы меня посылаете, а в Агадир.

— Через час взойдет луна.

— Луна... луна...

Упоминание о луне взбесило его еще больше: разве для ночного полета он когда-нибудь дожидался луны? Что он, новичок, что ли?

— Ладно. Договорились. Ночуйте.

Пилот успокоился, достал сандвичи, заготовленные еще накануне вечером, и принялся мирно закусывать. Он вылетит через двадцать минут. Начальник аэродрома улыбался. Он похлопывал по телефонному аппарату, понимая, что скоро даст сигнал к вылету.

Вдруг, когда все было готово, жизнь замерла, словно оборвалась. Так иной раз останавливается время. Летчик застыл на стуле, чуть наклонившись вперед, зажав между коленями черные от мазута руки. Его глаза уставились в какую-то точку между ним и стеной. Начальник аэродрома сидел в сторонке, разинув рот, словно ждал тайного знака. Машинистка зевнула, подперла кулаком подбородок, одолеваемая сном. Только песок в часах продолжал пересыпаться. Потом чей-то дальний крик оказался толчком, который снова привел в движение весь механизм. Начальник аэродрома поднял палец. Пилот усмехнулся, распрямился, вздохнул полной грудью.

— Ну, прощайте!

Так иногда обрывается кинолента. И тогда неподвижность с каждым мгновением приобретает все более глубокий смысл музыкальной паузы, потом жизнь опять возобновляется.

Сначала Бернису показалось, что, вместо того чтобы взлететь, он под оглушительный, как морской прибой, рев мотора заползает в сырую, холодную пещеру. Потом он понял, что ему ни в чем нет опоры. Днем округлая выпуклость холма, линия залива, синее небо строили вокруг него мир, в котором он чувствовал себя уверенно; а сейчас он находился вне всего этого, в мире, только еще становящемся из первозданного хаоса. Равнина под ним вытягивалась, унося последние города — Мазаган, Сафи, Могадор,— которые переливались, как подсвеченные снизу витражи. Потом мелькнули огни последних пригородов, последние бортовые огни земли. Внезапно он ослеп.

— Ну вот, я вхожу в молоко!

Пристально следя за указателем поворота, за высотомером, он начал снижаться, чтобы выйти под облака. Его слепил слабый красный свет бортовой лампочки: он ее выключил.

— Что это значит: из тумана я вышел и все-таки ничего не вижу?!

Первые вершины Малого Атласа ускользнули — невидимые, погруженные в воду, молчаливые, как плывущие айсберги: он их угадывал за спиной.

— Дело дрянь.

Он обернулся. Механик, его единственный пассажир, положив на колени карманный фонарик, читал книгу. Из кабины вы-

ступала только его склоненная голова, бросавшая опрокинутую тень. Голова светилась, словно изнутри освещенная фонарем, похожая на призрак. Он крикнул: «Эй!» — но голос его затерялся. Он ударил кулаком по обшивке: механик, всплывая в свете фонаря, продолжал читать. Когда он перевернул страницу, лицо его показалось Бернису прозрачным. «Эй!» — крикнул еще раз Бернис: человек, сидевший на расстоянии всего двух вытянутых рук, был недосягаем. Так и не дозвавшись его, Бернис отвернулся.

— Я где-то около Кап-Гира, но пусть меня повесят... дело дрянь...

— Я, должно быть, слишком подался в море,— соображал он.

Он выправил курс по компасу. Он сознавал, что его невольно тянет вправо, к морю, как пугливую кобылу: будто горы слева и вправду теснили его.

— Должно быть, пошел дождь.

Он высунул руку, и она покрылась изморосью.

— Я вернусь к берегу через двадцать минут, когда миную горы, это будет вернее...

И вдруг прояснение! Тучи с неба словно смело, и на нем проступили вымытые, подновленные звезды. И показалась луна... луна — самая надежная из всех ламп? Трижды вспыхнул, как световая реклама, аэродром Агадира.

— На черта мне это нужно! Теперь я с луной!..

II

В Кап-Джуби день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой. Декорации без тени, без второго плана. Как всегда, на своих местах маячили и эта дюна, и этот испанский форт, и эта пустыня. Здесь недоставало почти неуловимого движения, которое даже в тихую погоду наполняет богатством жизни степь и море. Караваны кочевников, бредущие по пустыне, видят, как у них на глазах пересыпаются крупинки песка, и вот по вечерам они раскидывают свои палатки каждый раз среди девственного ландшафта. Так и мне малейшее перемещение в пейзаже позволило бы почувствовать всю безмерность пустыни, но недвижные, бессменные декорации сковывали мысль, как хромолитография.

С этим колодцем перекликался колодец в трехстах километрах отсюда. По видимости все такой же колодец, такой же песок, такие же, навеянные ветром складки земли. Но там была уже иная, новая ткань вещей. Так ежесекундно обновляется пена морского прибоя. И, только дойдя до второго колодца, я ощутил бы свое одиночество, а у следующего — непокоренная страна показалась бы мне действительно таинственной.

День протекал пустой, не ознаменованный никакими событиями. Время было абстракцией, как космическое время астрономов. Этот день означал только, что земное нутро было на несколько часов выставлено под палящий жар солнца. Здесь все слова мало-помалу утрачивали человеческий смысл. В них уже ничего не содержалось, кроме песка. Самые насыщенные слова, как «нежность», «любовь», не откладывали в сердце никакого балласта.

«Если из Агадира ты вылетел в пять часов, ты бы уже должен приземлиться».

— Если из Агадира он вылетел в пять часов, он бы уже должен приземлиться.

— Да, старина... но ветер-то юго-восточный.

Небо желтое. Этот ветер за несколько часов перевернет и переформует всю пустыню, месяцами строившуюся северным ветром. Сегодня день перестройки: дюны, подхлестываемые косым ветром, разматываются, как катушки, длинными прядями, чтобы заново смотаться чуть подальше.

Мы прислушиваемся. Нет. Это море.

Что такое почтовый самолет в пути? Это ничто. Между Агадиром и Кап-Джуби, над непокоренной, неведомой землей это товарищ, затерявшийся неизвестно где. Вот сейчас в нашем небе, быть может, возникнет неподвижный знак.

«Если из Агадира он вылетел в пять часов...»

Вас охватывает смутное предчувствие беды. Что значит авария почтового самолета? Это всего лишь затянувшееся ожидание, это чуть повышенный тон в замирающем споре. Потом время становится бесконечным, и его уже трудно заполнить мелкими жестами, обрывочными словами...

Потом кто-то внезапно ударяет кулаком по столу.

— Ах черт! Ведь уже девять часов...

Люди вскакивают, и это значит, что товарищ попал к маврам.

Радист связывает нас с Лас-Пальмас. Дизель громко пыхтит. Альтернатор гудит, как турбина. Радист не сводит глаз с амперметра, который отмечает каждый разряд.

Я стою и жду. Радист, работая правой рукой, наискось протягивает мне левую. Потом он выкрикивает:

— А? Что?

Я молчу. Проходит двадцать секунд. Он опять что-то кричит, а я ничего не слышу, я говорю:

— А, да?

Вокруг меня все светится, через приоткрытые ставни прорывается солнечный луч, шатуны дизеля искрят, и длинные молнии скрещиваются с солнечным лучом.

Наконец радист всем корпусом поворачивается ко мне, сни-

мает шлем. Мотор затихает и останавливается. Я слышу последние слова: удивленный моим молчанием, радист выкрикивает их, словно я нахожусь в ста метрах от него.

— ...Им на все наплевать!

— Кому?

— Да им.

— Ах вот оно что! А можете вы связаться с Агадиром?

— Сейчас не его время.

— А вы все-таки попытайтесь.

Я царапаю на листке блокнота:

«Почтовый не прибыл. Состоялся ли вылет? Точка. Подтвердите час вылета».

— Передайте им вот это.

— Постараюсь.

И грохот возобновляется.

— Ну что?

— ...дите.

Я задумался, я не расслышал. Он хотел сказать «подождите». Кто ведет почтовый? Неужели ты, Жак Бернис, которого не сыщешь ни во времени, ни в пространстве?

Радист приглушает дизель, включается на прием, снова надевает шлем. Он стучит по столу карандашом, смотрит на часы и зевает.

— Неужели авария?

— Откуда мне знать?

— Вы правы. Да нет же... Агадир не слышит.

— Попробуем еще?

— Давайте.

И мотор снова включен.

Агадир по-прежнему молчит. Теперь мы стараемся уловить его голос. Если он переговаривается с другой станцией, мы вмешаемся в разговор.

Сажусь. От нечего делать беру наушники и попадаю в вольеру, полную птичьего гама.

Длинные, короткие, частые трели,— я плохо разбираюсь в этом языке. Сколько же голосов звенят в небе, которое я считал безмолвным!

Говорят три станции. Как только умолкает одна, в хор вступает другая.

— Ага! Бордо на автоматической.

Высокая рулада, скороговоркой, вдалеке. Потом более спокойный, более медлительной тон.

— А это кто?

— Дакар.

Вот слышится чей-то расстроенный голос. Он смолкает, снова говорит, потом молчание, и опять он вступает.

— ...Барселона зовет Лондон, а Лондон не откликается.

Очень далеко под сурдинку что-то рассказывает Сент-Ассиз. Сколько встреч в Сахаре! Здесь собралась вся Европа, все ее столицы, обменивающиеся признаниями на птичьем языке.

Внезапно врывается близкий гул. Поворот выключателя, и все остальные голоса смолкают.

— Это Агадир?

— Агадир.

Радист, почему-то не сводя глаз с часов, дает позывные.

— Он услышал нас?

— Нет. Но он говорит с Касабланкой. Мы подслушаем.

И вот мы перехватываем секреты ангелов. Карандаш в руке радиста в нерешительности замирает, упирается в бумагу, торопливо выводит одну букву, потом другую, потом десять. Гул складывается в слова, распускающиеся, как цветы.

— К сведению Касабланки...

Ах, негодяй! Тенерифе перебивает Агадир! Его могучий голос гудит в наушниках. И вдруг разом смолкает.

— ...землился шесть тридцать. Вылетел в...

Непрошеный Тенерифе снова заглушает Агадир.

Но я уже узнал все, что нужно. В шесть тридцать почтовый вернулся в Агадир. Туман! Неполадки с мотором? Значит, он должен был вылететь только в семь часов... Значит, почтовый не запаздывает.

— Ну, спасибо!

III

Жак Бернис! На этот раз я хочу до твоего прибытия рассказать о тебе. Ты, чье местонахождение со вчерашнего дня со всей точностью устанавливают радиостанции. Кто пробудет здесь положенные двадцать минут, для кого я открою банку консервов и откупорю бутылку вина; кто не будет рассказывать нам ни о любви, ни о смерти, ни о каких высоких материях,— кого интересуют только направление ветра, состояние неба, мотор; кто посмеется острому словцу механика, пожалуется на жару и будет похож на любого из нас...

Я расскажу, какое путешествие ты совершаешь. Как ты приподнимаешь видимость вещей, чем твои шаги, когда ты идешь рядом с нами, отличаются от наших.

Мы вышли с тобой из одного и того же детства, и вот сейчас в моей памяти внезапно встает та ветхая, полуразрушенная, обвитая плющом стена. Мы были бесстрашными детьми.

— Не трусь! Открой калитку...

Ветхая, полуразрушенная, обвитая плющом стена. Прокаленная, выветрившаяся, пронизанная солнцем, пронизанная живой

жизнью. В траве шуршали ящерицы, мы называли их змеями, тогда уже любя самый символ того бегства, которое означало смерть. Снаружи каждый камень стены был теплым, как яйцо из-под наседки, и таким же округлым, как яйцо. Солнце изгнало тайну из каждой крупинки земли, из каждой травинки. По эту сторону стены во всей полноте, во всем богатстве царило деревенское лето. Мы видели колокольню. Крестьяне жали хлеб, кюре опрыскивал купоросом виноград, взрослые в гостиной играли в бридж. Всех тех, кто вот уже более полувека обрабатывал этот уголок земли, кто с рождения и до самой смерти хранил это солнце, этот хлеб, этот дом, мы называли «сторожевой командой». Потому что нам нравилось воображать себя на самом ненадежном островке, между двумя страшными океанами — между прошлым и будущим.

— Поверни ключ...

Детям запрещалось открывать эту маленькую заплесневевшую, словно ветхая баржа, калитку, запрещалось прикасаться к огромному замку, проржавевшему от времени, как старый корабельный якорь.

Взрослых, конечно, страшил этот открытый водоем, их преследовал, как кошмар, рассказ о ребенке, утонувшем в омуте. А за калиткой спала вода; мы говорили, что вот уже тысячу лет, как она замерла в неподвижности, и когда мы слышали слова «мертвая вода», нам представлялся наш водоем. Крошечные круглые листочки затянули его зеленой тиной; мы бросали камни, и они пробивали дырочки в этой плотной ткани.

А какая царила прохлада под старыми ветвями, такими могучими, несшими на себе всю тяжесть солнечных лучей! Никогда ни один луч не прикасался к этому хрупкому покрову, не задевал этой драгоценной парчи. Камешек, который мы швыряли, отправлялся в бесконечное странствие, как звезда, потому что мы считали этот водоем бездонным.

— Давай присядем...

До нас не долетал ни один звук. Мы наслаждались прохладой, запахами, сыростью, обновлявшими наше тело. Мы были затеряны где-то на краю света, потому что мы уже знали, что странствовать — это прежде всего менять тело.

— Здесь оборотная сторона всех вещей...

Оборотная сторона этого лета, такого уверенного в себе, этого деревенского приволья, всего внешнего мира, державшего нас в плену. И мы ненавидели навязанный нам, принудительный покой. В обеденный час мы возвращались в дом, отягощенные тайнами, как те индийские искатели жемчуга, которым удалось прикоснуться к сокровищу. И в минуту, когда солнце тонуло за горизонтом и скатерть на нашем обеденном столе розовела, мы слышали слова, от которых больно сжималось сердце:

— Дни стали прибывать...

Мы были захвачены в этот извечный круговорот, в жизнь, сотканную из времен года, из каникул, свадеб, смертей. Из всей этой пустой, поверхностной суеты.

Бежать — вот самое главное. И в десять лет мы находили прибежище среди чердачных стропил. Мертвые птицы, развороченные сундуки, старомодные платья: это был кусочек оборотной стороны жизни. Здесь-то и находилось сокровище, которое, по нашим представлениям, было, как клад, замуровано в старых домах и о котором с такой убедительностью рассказывалось в сказках: сапфиры, опалы, алмазы. Это тускло мерцавшее сокровище наделяло смыслом каждую стену, каждую балку,— эти огромные балки, бог весть от чего защищавшие дом. Впрочем, нет. Они защищали его от времени. Потому что время было нашим самым страшным врагом. От него защищались традициями. Культом прошлого. Огромными балками. Но только одни мы знали, что этот дом спущен на воду, как корабль. Только мы, залезавшие в его трюмы, в его подводную часть, знали, что он дал течь. Нам были известны все отверстия в крыше, через которые проникали птицы, чтобы здесь умереть. Мы знали каждую щель в корпусе этого судна. Внизу в гостиных болтали гости, танцевали красивые женщины. Они чувствовали себя в безопасности. Какое легковерие! Там, конечно, подавали ликеры. Черные лакеи, белые перчатки. О, странники! А мы тут, наверху, видели, как в раздавшиеся швы крыши просачивалась синяя ночь. Этого крошечного отверстия было достаточно, чтобы через него могла просочиться одна-единственная звезда. Процеженная для нас сквозь все небо. Эта звезда приносила болезнь. Мы отворачивались: от нее умирали.

Мы вскакивали, потрясенные потайной работой внутри вещей. Сокровище взрывало балки. При каждом треске мы бросались выстукивать дерево. Здесь все было скорлупой, готовой отдать свое ядро. Древняя скорлупа вещей, под которой, мы знали, таилось что-то совсем другое. Быть может, эта звезда, этот маленький твердый алмаз. В один прекрасный день мы отправимся в поиски за ним на север, или на юг, или внутрь самих себя. Бежать.

Ясная, как знак, звезда, возвещавшая час сна, отодвигала заслонявшую ее черепицу. И мы спускались в детскую: мы уносили в наше дальнее странствие в полусне все, что мы знали о мире, где таинственный камень скользит по водам, подобно тем световым щупальцам в пространствах вселенной, которые тысячелетиями тянутся к нам,— о мире, где над домом, поскрипывающим под ветром, нависает угроза, как над кораблем; где вещи одна за другой трещат, распираемые невидимым сокровищем.

— Присядь. Я думал, что ты разбился. Выпей! Я думал, что у тебя авария, и уже собирался вылететь на поиски. Ты видишь:

самолет на дорожке. Племя аит-тусса напало на изаргуинов. Я боялся, что ты угодил в перепалку. Выпей. Чего ты съешь?

— Отпусти меня.

— У тебя еще пять минут. Взгляни на меня. Что с Женевьевой? Почему ты усмехаешься?

— Да ничего. Только что в кабине я вспомнил старинную песенку. И вдруг почувствовал себя таким молодым...

— А Женевьева?

— Не знаю. Отпусти меня.

— Жак... отвечай... Ты видел ее?

— Да...— Он колебался.— Проездом в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз...

И Жак Бернис рассказал мне свою историю.

IV

Это был не захолустный полустанок: это была потайная дверца. По видимости она выходила в поля. Безмятежный контролер стоял у выхода на белую дорогу, не скрывавшую никакой тайны: вдоль дороги журчал ручей, цвел шиповник. Начальник станции ухаживал за розами, носильщик с преувеличенным усердием толкал перед собой пустую тачку. Но все это было маскировкой, за которой скрывались три стража запретного мира.

Контролер помахивал билетом:

— Вы следуете из Парижа в Тулузу, почему же вы сошли здесь?

— Я поеду со следующим поездом.

Контролер разглядывал Берниса. Он не решался пропустить его — не на дорогу, к ручью и шиповнику,— но в царство, куда со времен волшебника Мерлина проникают, преодолевая видимость вещей. Но вот он, должно быть, угадал в Бернисе те три добродетели, которые, начиная с Орфея, требовались для таких путешествий: мужество, молодость, любовь...

— Проходите,— сказал он.

Скорые поезда молнией проносились мимо полустанка: он существовал лишь для отвода глаз, как те маленькие тайные кабачки с переодетыми гарсонами, переодетыми музыкантами, переодетым барменом. Уже сидя в омнибусе, Бернис почувствовал, что жизнь замедляет ход, меняет смысл. А в повозке, рядом с крестьянином-возницей, он уходил от нас еще дальше. Он погружался в тайну. Лицо возницы в тридцать лет избороздили такие глубокие морщины, что с тех пор оно больше не старилось. Он указывал на поле и говорил:

— Ишь как подымаются всходы...

Действительно, с какой невидимой скоростью тянулись к солнцу зеленя.

— Это построил мой прапрадед! — говорил крестьянин, указывая на стену, и мы показались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными.

Бернис прикасался уже к вечной стене, к вечному дереву: и он догадался, что прибыл.

— Вот и поместье. Прикажете подождать?

Так вот оно, легендарное королевство, заснувшее под водой, где Бернис проведет сто лет, состарившись всего на один час.

В тот же вечер повозка, омнибус, скорый поезд позволят Бернису тайком осуществить бегство, которое со времен Орфея, со времен Спящей Красавицы возвращало людей в мир живых. И, прижавшись бледной щекой к вагонному окну, он снова станет похожим на всех остальных пассажиров, направляющихся в Тулузу. Но в глубине души он унесет воспоминание, о котором нельзя поведать, «цвета луны», «цвета времени».

Странное посещение: ни единого звука, ни одного удивленного возгласа. Только на дороге глухо отдаются шаги. Он, как бывало, перепрыгнул через ограду: аллеи заросли травой... Вот и вся разница. Сквозь листву на него глянул белый дом, но словно во сне, словно из недостижимой дали. Не мираж ли это, вставший перед ним у самой цели? Вот он поднимается по ступенькам, выложенным из широких плит. Эти уверенные спокойные линии порождены не прихотью, а необходимостью.

«Здесь нет ничего поддельного...» В вестибюле было темно, на стуле белела шляпа: не ее ли? Какой милый беспорядок: не запущенность, а умный беспорядок — знак присутствия. Он хранит еще отпечаток жизни. Чуть отодвинутое кресло, с которого кто-то встал, опираясь рукой о стол: он видит этот жест. Раскрытая книга: кто читал ее только что и бросил? Последняя прочитанная фраза, может быть, еще звучала в чьем-то сознании.

Бернис улыбнулся, подумав о множестве мелких забот, о множестве домашних дел. Здесь целый день царило движение, здесь хлопотали о каких-то насущных нуждах, восстанавливали раз навсегда заведенный порядок. Здесь так мало значения придавалось драмам: достаточно было стать путешественником, чужестранцем, чтобы все это вызвало улыбку...

«И все-таки,— думал Бернис,— здесь, как и всюду, день круглый год завершался вечером. Это был законченный цикл. А завтра... завтра опять начиналась жизнь. И шла, постепенно близясь к вечеру. И тогда можно было снова отложить все попечения: занавески были спущены, книги расставлены по полкам, экраны подвинуты к каминам. И этот водворенный покой мог бы легко перейти в вечность, он хранил ее печать. Мои же ночи, они — даже не передышка...»

Бернис тихо присел. Он боялся чем-нибудь выдать свое присутствие: здесь все казалось погруженным в такую тишину, в такую неподвижность. Вот сквозь заботливо спущенную штору

пробился солнечный луч. «Может быть, порвалась штора,— подумал Бернис.— Здесь старятся, не замечая этого...»

«Что меня ждет?..» Шаги в соседней комнате наполнили дом жизнью. Спокойные шаги монашенки, украшающей цветами алтарь. «Как незаметен выполняемый здесь труд! Моя жизнь сжата, как драма. А здесь столько пространства, столько воздуха, овевающего каждое движение, каждую мысль...» Он высунулся в окно, выходившее на поля. Они расстилались под солнцем, пересекаемые то тут, то там белой дорогой, по которой люди шли помолиться, или ехали на охоту, или спешили с письмом на почту. Вдалеке тарахтела молотилка: нужно было усилие, чтобы расслышать ее шум — слабый голос актера настораживает зрительный зал.

Снова раздались шаги: «Прибирают безделушки, постепенно скопившиеся в витринах. Каждая эпоха, уходя, оставляет окаменелости...»

До Берниса долетали обрывки разговора:

— Как ты думаешь, протянет ли она хоть неделю? Доктор...

Шаги удалились. Потрясенный, он молчал. Кто здесь умирал? Его сердце сжалось. Он призвал на помощь все свидетельства жизни: белую шляпу, раскрытую книгу...

Снова послышались голоса. Они были согреты любовью, но спокойны. Смерть поселилась в доме, и об этом знали, но ее принимали запросто, не отворачиваясь. Никакой аффектации. «Как все просто,— думал Бернис,— жить, прибирать безделушки, умирать...»

— Ты нарвала цветов для гостиной?

— Да.

Говорили тихо, приглушенно, но спокойно. Говорили о множестве мелочей, и близкая смерть только набрасывала на все эти мелочи сероватый флер. Раздался смех и сам собою замер. Смех не очень громкий и веселый, но и не сдерживаемый ради театральной торжественности.

— Не ходи к ней,— сказал голос,— она спит...

Бернис был в самом сердце страдания, он притаился в его непосредственной близости. Ему стало страшно, что его обнаружат. В присутствии постороннего людям хочется излить свое горе, и оно утрачивает смиренную безыскусственность. Ему жалуются: «Вы, знавший и любивший ее...» Он вызывает в них образ умирающей во всем ее очаровании, и это невыносимо.

Но он-то не был посторонним ...«потому что я ее любил».

Ему захотелось ее видеть, и он потихоньку поднялся по лестнице, вошел в комнату. Здесь царил летний день. Светлые стены, белая постель. В раскрытые окна потоком вливался солнечный свет. Дальний звон колокола, мирный и медлительный, с точностью отбивал ритм сердца, здорового, не лихорадящего сердца. Она спала. Какой светлый сон среди лета!

«Она умрет...» Он сделал шаг по натертому сияющему паркету. Он не понимал собственного спокойствия. Вдруг она застонала: Бернис замер, не смея шевельнуться.

Он угадывал присутствие чего-то безмерного: душа больных располагается в комнате, заполняя ее, и комната становится огромной раной. Страшно двинуть стул, сделать шаг.

Ни звука. Только слышалось жужжание мух. Чей-то зов раздался вдалеке. Мягкая волна свежего воздуха ворвалась в комнату. «Вечереет»,— подумал Бернис. Он подумал, что скоро закроют ставни, зажгут лампу. И тогда ночь — еще один неизбежный этап — подступит к больной. Ночник будет неустанно воздвигать перед ней навязчивые и ускользающие миражи, а вещи, неподвижно стоящие в течение двенадцати часов перед ее глазами, будут врезаться в мозг и давить невыносимой тяжестью.

— Кто здесь?— спросила она.

Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. Помочь ей. Взять ее на руки. Стать ее силой.

— Жак...— Она в упор смотрела на него.— Жак...

Она призывала его из глубины своей памяти. Она не искала его плеча, она рылась в собственных воспоминаниях. Она цеплялась за его рукав, как тонущий, который надеется выплыть. Но она не нуждалась ни в его присутствии, ни в его помощи,— ей нужен был образ того... Она смотрит...

И вот мало-помалу он становится ей чужим. Она не узнает этой морщинки, этого взгляда. Она сжимает его пальцы, чтобы позвать: но он ничем не может ей помочь. Он не тот друг, который живет в ее памяти. И, уже устав от его присутствия, она отталкивает его, отворачивается...

Расстояние между ними непреодолимо.

Бернис бесшумно вышел, снова прошел через вестибюль. Он возвращался из дальнего странствия, из странствия смутного, о котором с трудом вспоминаешь. Что уносил он с собой: страдание? Печаль? Он остановился. Вечер просачивался в трюм корабля, давшего течь; луч заката на безделушках померк. Прислонившись лбом к окну, он заметил, как удлинились тени лип, как они сомкнулись и залили тьмой газоны. В дальней деревне зажглись огни, несколько огоньков: их можно было собрать в пригоршню. Исчезли расстояния: он мог бы потрогать рукой дальние холмы. Голоса в доме умолкли: ее прибрали на ночь. Бернис не двигался. Ему приходили на память такие же вечера. Когда, заглянув в лицо смерти, он снова с усилием возвращался в мир живых, как водолаз в тяжелом скафандре со дна океана. Разгладившееся лицо женщины гасло, и вдруг становилось страшно будущего, страшно смерти.

Он вышел. Он обернулся: ему мучительно захотелось, чтобы его заметили, чтобы его окликнули; его сердце растаяло бы в печали и в радости. Но нет. Его ничто не задерживало. Он беспре-

пятственно пробирался между деревьями парка. Перепрыгнул через ограду: путь был трудный. Все кончено, он не вернется больше никогда.

V

И перед вылетом Бернис подвел итог всей истории:

— Видишь ли, я пытался увлечь Женевьеву в свой мир. Но все, что я ей показывал, становилось бесцветным, серым. Первая же ночь была до того непроницаемой, что мы так и не смогли ее преодолеть. Я вынужден был вернуть ей ее дом, ее жизнь, ее душу. Один за другим все придорожные тополя. По мере того как мы приближались к Парижу, стена между нами и миром становилась все тоньше. Словно я затянул ее на дно моря. А когда позднее я пытался с ней встретиться, я мог к ней подойти, прикоснуться к ней: нас разделяло уже не пространство. Между нами стояло что-то большее. Я не знаю, как это передать: нас разделяли тысячелетия. Человек так далек от жизни другого! Она судорожно хваталась за свои белоснежные простыни, за свое лето, за свою действительность. И я не смог ее увезти. Отпусти меня.

Куда же ты кинешься теперь на поиски своего сокровища, искатель жемчужин,— ты умеешь дотронуться до них на дне океана и не знаешь, как их поднять на поверхность. Я, словно свинцовой гирей притянутый к земле, я ничего не смог бы открыть в этой пустыне, по которой бреду. А для тебя, волшебника, она лишь песчаный покров, лишь видимость...

— Жак, тебе пора.

VI

А теперь, застыв, он грезит. С такой высоты земля кажется неподвижной. Желтый песок Сахары бесконечным тротуаром врезается в синий океан. Бернис, опытный мастер, точным движением подтягивает выступающий вправо берег, пересекает этот мыс и выравнивает курс по оси мотора. При каждом сдвиге Африки он слегка накреняет самолет. До Дакара еще две тысячи километров.

Перед ним расстилается ослепительная белизна непокоренной страны. Иногда всплывает голая скала. То тут, то там, навеянные ветром, ровными рядами тянутся дюны. Самолет, как руда в пустой породе, замкнут в неподвижном воздухе. Ни килевой, ни бортовой болтанки, никаких смещений в ландшафте. Зажатый ветром, самолет висит неподвижно. Порт-Этьен — первый аэродром — вписан не в пространство, а во время, и Бернис смотрит на часы. Еще шесть часов неподвижности и безмолвия;

потом он выйдет из самолета, как из кокона. И мир покажется ему новым.

Бернис смотрит на часы, которые творят это чудо. Потом на неподвижный счетчик оборотов. Если стрелка сорвется с места и побежит по циферблату, если авария сбросит человека на пески, время и пространство приобретут совсем новый смысл, который сейчас ему даже недоступен. Сейчас он движется в четвертом измерении.

И все-таки ему ведомо это обмирание. Оно ведомо нам всем. Столько образов проносилось перед нашими глазами, но мы были в плену одного-единственного, воплощавшего истинную тяжесть этих дюн, этого солнца, этого безмолвия. На нас низвергался целый мир. А мы были так слабы, что с наступлением ночи могли разве что обратить в бегство газель; наш крик не был бы услышан и за триста метров и не достиг бы человеческого слуха. Всем нам однажды довелось упасть на эту неведомую планету.

И на этой планете время оказывалось несоизмеримо с ритмом нашей жизни. В Касабланке мы измеряли время часами любовных свиданий — там час за часом менялось наше сердце; в самолете мы через каждые полчаса меняли климат: меняли тело. А здесь мы вели счет на недели.

Товарищи спасали нас с этой планеты. Если у нас не хватало сил, они втискивали нас в кабину: благодаря железной хватке товарищей, мы снова возвращались в их мир.

И вот в неустойчивом равновесии, над бездной, таящей столько неведомого, Бернису становится ясно, как мало он знает самого себя. Что пробудит в нем жажда, беспомощность, жестокость мавров? Что он испытает, когда аэродром Порт-Этьена окажется отброшенным на расстояние месяца?

«Мне ни к чему мужество»,— думает он.

Все — абстракция. Отважившись на мертвые петли, молодой летчик опрокидывает себе на голову,— как бы они ни были близки,— не твердые предметы, из которых малейший мог бы его раздавить: на него низвергаются расплывающиеся, как во сне, стены и деревья. Мужество, Бернис?

И все-таки, помимо его воли, из-за того, что мотор вздрагивает, это неведомое, до времени дремавшее, завладеет своим местом.

Но вот наконец этот мыс, этот залив после часового полета уже не представляют опасности; они отброшены к нейтральным странам, словно спущены с винта. Но впереди еще каждая точка чревата тайной угрозой.

Еще тысячу километров надо тянуть на себя эту огромную скатерть.

«Из Порт-Этьена в Кап-Джуби: почтовый прибыл благополучно 16.30».

«Из Порт-Этьена в Сен-Луи: почтовый вылетел 16.45».

«Из Сен-Луи в Дакар: почтовый вылетает Порт-Этьена 16.45. Полет будет продолжаться ночью».

Восточный ветер. Он дует из глубин Африки и поднимает желтые вихри песка. На рассвете от горизонта оторвалось бледное солнце, деформированное горячим маревом. Оно похоже на бледный мыльный пузырь. Поднимаясь к зениту, оно постепенно сокращается до обычных размеров и становится раскаленной стрелой, жгучим острием, которое вонзается в затылок.

Восточный ветер. Из Порт-Этьена вылетаешь почти при свежем безветрии, но уже на высоте ста метров сталкиваешься с потоком огненной лавы. И сразу:

Температура масла — 120.

Температура воды — 110.

Надо подняться на две, на три тысячи метров: это единственный выход! Подняться над этой песчаной бурей: конечно! Но после пятиминутного набора высоты все в моторе перегреется. И потом: легко сказать — подняться. В воздухе, не оказывающем никакого сопротивления, самолет проваливается, самолет тонет.

Восточный ветер. Слепит глаза. Солнце заволокла желтая пелена, сквозь которую изредка проступает его бледный диск и обжигает. Землю видишь только под собой, да и то!.. Я кабрирую? Пикирую? Валюсь в крен? Поди-ка разберись. На высоте ста метров упираешься в потолок. Тем хуже. Надо снизиться.

На уровне земли поток северного ветра. Здорово! Свешиваешь из кабины руку. Так в быстрой лодке перебираешь пальцами прохладную воду.

Температура масла — 110.

Температура воды — 95.

Прохладный поток! Относительно. Чуть подпрыгиваешь, каждая складка земли награждает тебя шлепком. Надоело лететь вслепую.

Но у мыса Тимерис восточный ветер стелется по самой земле. И от него уже нигде нет спасения. Пахнет горелой резиной. Магнето? Соединения? Стрелка тахометра пошатнулась, сместилась на десять оборотов. Этого еще не хватало!

Температура воды — 115.

Невозможно подняться хотя бы на десять метров. Еле успеваешь заметить дюну, которая подбрасывает тебя, как трамплин. Еле успеваешь взглянуть на приборы. Гоп! Перемахнул через дюну. Ведешь самолет, всем телом налегая на штурвал: долго

так не выдержать. Несешь самолет в руках, словно переполненную до краев чашу, еле сохраняя равновесие.

В десяти метрах под колесами Мавритания катит навстречу свои пески, солончаки, гальку: целый поток балласта.

1520 оборотов.

Мотор дает перебой, и тебя сотрясает здоровая затрещина. В двадцати километрах французский пост: единственный. Только бы долететь!

Температура воды — 120.

Дюны, скалы, солончаки отстали. Пропущены через колеса, как через прокатный стан. Только держись! Контуры растянулись, разорвались и снова сомкнулись. На уровне колес целое столпотворение. Сбившиеся в кучу и, казалось, медленно подступавшие черные утесы вдруг угрожающе вскидываются. Но ты обрушиваешься на них сверху и рассеиваешь.

1530 оборотов.

«Если я разобьюсь...» До обшивки нельзя дотронуться — жжет. Из радиатора клубами валит пар. Самолет, как перегруженную шлюпку, тянет ко дну.

1400 оборотов.

Последние вихри песка, взлетающего в двадцати сантиметрах от колес. Словно подкинутое лопатой золото. Дюна, заслонявшая пост, отскакивает. Бернис садится. Наконец!

Разбег ландшафта затормаживается и замирает. И снова из песчаной пыли восстанавливается привычный мир.

Французский форт в Сахаре. Берниса встретил старый сержант; он смеялся от радости при виде брата. Двадцать сенегальцев взяли на караул, таким гарнизоном командует один белый в чине сержанта или лейтенанта, если он помоложе.

— Здорово, сержант!

— Добро пожаловать, я так счастлив! Я из Туниса...

Свое детство, свои воспоминания, свою душу — сержант разом выкладывает Бернису все.

Маленький стол, приколотые к стене фотографии.

— Да-да, это карточки родственников. Я еще не со всеми знаком, но на будущий год я поеду в Тунис. Эта? Это подружка моего товарища. Она всегда стояла у него на столе. Он постоянно рассказывал о ней. Когда он умер, я взял карточку себе и продолжаю за него, у меня-то своей подружки нет...

— Мне бы попить, сержант.

— О, пожалуйста! Я так рад, что могу угостить вас вином. Для капитана у меня вина не было. Он пролетел здесь полгода назад. Потом меня, конечно, долго терзали мрачные мысли. Я писал, чтобы меня уволили: мне было так стыдно. Что я делаю? Целыми ночами пишу письма: я не сплю, у меня есть свечи. Но когда я раз в полгода получаю почту, мои письма уже не могут служить ответами. И я начинаю все сызнова.

Бернис со старым сержантом поднимаются покурить на плоскую кровлю форта. Как мертва пустыня при лунном свете! Что сторожит он здесь на своем посту? Быть может, звезды. Быть может, луну...

— Вы звездный пастух, сержант?

— Не стесняйтесь, курите, у меня есть табак. Вот для капитана у меня табаку не хватило...

Бернис узнал все, до мельчайших подробностей, об этом лейтенанте, о том капитане. Он мог бы назвать их единственный недостаток, их единственное достоинство; один был чересчур азартным, а другой слишком мягкосердечным. И Бернис постигал при этом, что для затерянного в песках старого сержанта последний визит молодого лейтенанта был почти любовным воспоминанием.

— Он учил меня узнавать звезды...

— Он передавал их вам под надзор,— замечает Бернис.

А теперь он сам учил сержанта узнавать звезды. И сержант, постигая расстояния, думал о таком далеком Тунисе. А познакомившись с Полярной звездой, он клялся, что сразу узнает ее в лицо, стоит лишь держать ее чуть левее. И он думал о Тунисе. таком близком.

— И мы летим к ним с головокружительной быстротой...

Сержант предусмотрительно хватался за стенку.

— Так вы все знаете!

— Да что вы! Один сержант муштровал меня: «Как же вам не стыдно, вы мальчик из хорошей семьи, такой образованный, такой воспитанный, и вы не умеете делать полуоборотов!»

— О, не стыдитесь, это же так трудно...

Он утешал его.

— Сержант, сержант! Смотри, твой сторожевой фонарь...

И Бернис указывал на луну.

— Ты знаешь эту песенку, сержант?

> Jl pleut, il pleut, bergére...[1]

Бернис напевал мотив.

— Еще бы не знать: это же тунисская песенка...

— Сержант, подскажи, как дальше. Не могу вспомнить.

— Послушайте:

> Rentre tes blancs moutons
> Là-bas dans la chaumière...[2]

— Вспомнил, вспомнил, сержант...

> Entends sous le feuillage
> L'eau qui coule à grand bruit,
> Dèjà voici l'orage...[3]

---

[1] Идет дождь, идет дождь, пастушка... (франц.)

[2] Загоняй своих белых ягнят в хижину... (франц.)

[3] Послушай, как под листвой громко шумит вода, вот уже и гроза... (франц.)

— Ах, как верно!— сказал сержант.

Они любили одно и то же...

— Вот и рассвет, сержант, пора за работу.

— Пора!

— Дай мне свечной ключ!

— Вот он.

— Прихвати-ка щипцами!

— Приказывайте... я в вашем распоряжении.

— Видишь — сущие пустяки. Ну, сержант, я лечу дальше!

И сержант созерцает молодого бога, появившегося неизвестно откуда, чтобы снова улететь.

Появившегося, чтобы напомнить ему песенку, Тунис, его молодость. Из какого же рая за песками бесшумно спускаются эти прекрасные вестники?

— Прощай, сержант...

— Прощайте...

Сержант, не помня себя, беззвучно шевелит губами. Он не в состоянии выразить словами, что сохранит в сердце запас любви на полгода.

VII

«Из Сен-Луи (Сенегал) в Порт-Этьен: почтовый Сен-Луи не прибыл. Точка. Срочно сообщите сведения».

«Из Порт-Этьена в Сен-Луи: никаких сведений после вылета 16. 45. Точка. Немедленно предпринимаем розыски».

«Из Сен-Луи (Сенегал) в Порт-Этьен: самолет 632 вылетает Сен-Луи 7. 25. Точка. Задержите вылет, ждите прибытия Порт-Этьен».

«Из Порт-Этьена в Сен-Луи: самолет 632 благополучно прибыл 13. 40. Точка. Пилот ничего не обнаружил, несмотря на удовлетворительную видимость. Точка. Полагает, разыскал бы самолет, если бы тот шел своим курсом. Точка. Необходим третий летчик: совместных розысков глубине».

«Из Сен-Луи в Порт-Этьен: согласны. Даем команду».

«Из Сен-Луи в Джуби: южном почтовом Франция — Америка никаких сведений. Срочно вылетайте Порт-Этьен».

Джуби.

Ко мне подходит механик.

— Я погрузил бак с водой в передний отсек, провизию в

правый, запасное колесо и аптечка сзади. Через десять минут. Идет?

— Идет.

Блокнот. Распоряжения:

«За мое отсутствие выправить ежедневные отчеты. В понедельник расплатиться с маврами. Погрузить на парусник пустые бидоны».

И я присаживаюсь у окна. Парусник, раз в месяц снабжающий нас пресной водой, легко покачивается на волнах. Он очарователен. Он пронизал трепетной жизнью, благоуханием свежего белья всю мою пустыню. Я — Ной, которого навестила в ковчеге голубка.

Самолет готов.

«Из Джуби в Порт-Этьен: самолет 236 вылетает Джуби Порт-Этьен 14.20».

Путь караванов отмечен скелетами, наш путь отмечен разбившимися машинами. «Еще час до бохадорского самолета...» Останки, ограбленные маврами. Ориентиры.

Тысяча километров песка, потом Порт-Этьен: четыре строения в пустыне.

— Мы ждали тебя. Летим немедленно, пока не стемнело. Один пойдет вдоль берега, другой — в двадцати, третий — в пятидесяти километрах. На ночь приземлимся в форте. Ты что — берешь другой самолет?

— Да. Клапан отказал.

Пересадка.

Вылет.

Ничего. Это всего лишь темная скала. Я продолжаю прочесывать пустыню. В каждой черной точке мне что-то мерещится, и я волнуюсь. Но пустыня катит на меня только темные скалы.

Я уже не вижу товарищей. Они кружат в своей части неба. С упорством ястребов. Я уже не вижу моря. Подвешенный над раскаленным добела горнилом, я не вижу ничего живого. Вдруг сердце мое замирает: обломки вдали...

Темная скала.

Мой мотор ревет, как бурный поток. И этот бурный поток заливает меня и изматывает.

Как часто я видел тебя, Бернис, погруженным в свою непостижимую мечту. Я не умею это выразить. Мне приходит на память твоя любимая строчка из Ницше: «Мое знойное, короткое, печальное и блаженное лето».

От поисков устали глаза. Ничего, кроме танцующих черных точек. Я уже сам не знаю, куда лечу.

— Так вы его видели, сержант?

— Да, он вылетел на рассвете...

Мы садимся у стены форта. Сенегальцы смеются; сержант дремлет; спускаются светлые и пустые сумерки.

Один из нас нерешительно замечает:

— Если самолет разбился... ты понимаешь... почти никаких надежд обнаружить...

— Очевидно.

Один из товарищей встает, делает несколько шагов.

— Плохо дело. Сигарету?

И мы погружаемся в ночь: звери, люди, вещи.

Мы погружаемся в ночь, освещенные бортовым огнем сигареты, и мир возвращается к своим истинным измерениям. Караваны состарятся, пока дойдут до Порт-Этьена. Сенегальский Сен-Луи на грани сна и яви. Только что эта пустыня была просто песком, не скрывавшим никакой тайны. Только что, в самолете, на каждом шагу появлялись города, а сержант, приготовившийся к долгому терпению, молчанию и одиночеству, сознавал всю ненужность такой доблести. Но вот завыла гиена, и песок оживает, чей-то зов воссоздает тайну, что-то родится, куда-то устремляется, возвращается вновь...

А для нас истинные расстояния измеряются звездами. Над мирной жизнью, над верной любовью, над любимой снова стоит Полярная звезда.

А Южный Крест стоит над сокровенным кладом.

К трем часам ночи наши одеяла становятся тонкими и прозрачными: это козни луны. Я просыпаюсь оледеневший. Поднимаюсь покурить на плоскую кровлю форта. Сигарета... другая... Так я дождусь зари.

В лунном свете эта маленькая крепость похожа на тихую гавань. Надо мной переливаются звезды — все кормчие звезды пилота. Компасы наших трех машин по всем правилам обращены на север. И все-таки...

Не здесь ли ты сделал свой последний шаг на земле, Жак Бернис? Здесь кончается осязаемый мир. Эта маленькая крепость — дебаркадер. Порог, за которым только этот лунный мир, где все призрачно.

Ночь похожа на сказку. Где ты, Жак Бернис? Быть может, здесь, быть может, там? Твое присутствие уже почти неощутимо! Меня со всех сторон обступает Сахара, такая призрачная,

что она едва-едва выдержит прыжок антилопы и на самой плотной складке песка — вес легкого ребенка.

Ко мне подходит сержант:

— Добрый вечер.

— Добрый вечер, сержант.

Он прислушивается. Ничего. Безмолвие, сотворенное твоим безмолвием, Бернис.

— Сигарету?

— Не откажусь.

Сержант жует сигарету.

— Сержант, я завтра найду своего товарища: где он, как ты думаешь?

И сержант уверенным жестом обводит горизонт.

Потерянный ребенок наполняет собой всю пустыню.

Бернис, однажды ты признался мне: «Я любил жизнь, которую не очень-то понимал, может быть, не совсем верную жизнь. Я и сам не знаю толком, что мне было нужно, какая-то странная неудовлетворенность...»

Бернис, однажды ты признался мне: «То, чего я допытывался, таилось за каждой вещью. Мне казалось: еще усилие, и я все пойму, разгляжу наконец и унесу с собой. И вот я ухожу, взволнованный присутствием друга, лицо которого мне так никогда и не удалось раскрыть...»

Мне чудится, где-то тонет корабль. Мне чудится, где-то затих ребенок. Мне чудится, что весь этот трепет парусов, мачт и надежд идет ко дну.

Рассвет. Гортанные крики мавров. На земле валяются их изнуренные верблюды. По-видимому, отряд в триста ружей подкрался с севера и перебил караван.

Может быть, нам поискать вблизи побоища?

— Тогда — веером, идет? Тот, что в середине, полетит прямо на восток...

Самум: уже на высоте пятидесяти метров этот ветер иссушает нас, как вентилятор.

Мой Товарищ...

Так вот где был твой клад: так вот что ты искал!

Лежа на дюне, с раскинутыми крестом руками, лицом к темно-синему заливу, лицом к звездным мирам, этой ночью ты был почти невесом...

Сколько порванных связей в твоем полете к югу, крылатый Бернис: ты уже не тяготел к земле, тебя связывала с ней тончайшая паутинка — один-единственный друг.

Этой ночью ты весил еще меньше. У тебя закружилась голова. Беглец, твой клад блеснул тебе со звезды, стоявшей в самом зените.

Паутинка моей дружбы тебя еле удерживала: нерадивый пастух, я, должно быть, заснул.

«Из Сен-Луи (Сенегал) в Тулузу: южный почтовый Франция — Америка найден восточнее Тимериса. Точка. Поблизости вражеский отряд. Точка. Пилот погиб, самолет разбился, почта цела. Точка. Следуем Дакар».

VIII

«Из Дакара в Тулузу: почта благополучно доставлена Дакар. Точка».

НОЧНОЙ ПОЛЕТ



Посвящается
Дидье Дорá



I

Холмы под крылом самолета уже врезáли свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют снежную белизну.

И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вел почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнáют об этом воды в гавани: по спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.

Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он — пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу — он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах.

Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой; казалось, она плывет ему навстречу по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль.

«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдем на посадку».

Бортрадист передал это сообщение по всей линии.

На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.

Радист передал пилоту записку:

«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?»

Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил:

— Полетим дальше.

А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы: ночь казалась прекрасной, но кое-где начи-

нала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение.

Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи,— все это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела — ведь и в тяготах есть своя отрада — и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома неизменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав — полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке — словно любовь — умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти — обо всем, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия.

Десять минут — и снова в путь.

Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огней; потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его еще раз, рассеялась пылью.

«Уже не видно приборов, надо включить свет».

Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднес руку к лампочке — пальцы почти не окрасились.

«Слишком рано».

А ночь поднималась темными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый

дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд,— легко и плавно. И Фабьен был счастлив.

Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов — и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал — он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи — холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.

Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее.

Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет — и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора — все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды.

И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке — это дом, и в нем — одиночество. А та, что погасла,— это дом, приютивший любовь...

Или тоску. Дом, который не шлет больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомек, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесенные из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь; он пробился — как сквозь десять

войн — сквозь десять гроз, прошел по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет ее, пролетев восемьдесят километров, уже достиг кого-то — как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.

II

Итак, три почтовых самолета — из Патагонии, из Чили и из Парагвая — возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу.

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.

Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трех самолетов еще не приземлился — и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег.

Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму:

— Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.

— Хорошо.

Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдает ему один самолет; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета.

Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черед тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею...» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда еще его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя,— волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, все это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришел он

к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грезах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолеты...

Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее». Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его:

— Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь?

— О, любовь, господин директор... знаете ли...

— Вам, как и мне, всегда не хватало времени...

— Да, не очень-то хватало...

Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: «Вот и все! Готово!»

«Вот и все!— подумал Ривьер.— Моя жизнь тоже готова!»

Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолет уже гудел в воздухе.

III

Отдаленный гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид.

— Вот он!

Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, что казался совсем новым. Вот он остановился наконец перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился.

— Эй! Чего вы ждете? Выходите!

Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще не угасшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то

ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достояние. Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил все это: и дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности — стоят и любуются луной. Но он сменил гнев на милость:

— За выпивку платите вы...

И вылез из кабины.

Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете.

— Если б вы только знали!..

Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку.

Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что может быть приятнее — выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело!.. И все же, как вспомнишь, становится не по себе.

Сражение с циклоном — это, по крайней мере, нечто реальное, откровенное. Иное дело — облик вещей, когда им кажется, что они одни.

«Будто в дни восстания,— подумал Пельрен,— лица людей только чуть бледнеют — но как все кругом меняется!»

Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом.

Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внес покой — как вносят его века в мертвые старинные замки. На две сотни километров — ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг.

Это произошло вблизи пика Тупунгато...

Пельрен задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда.

Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство. Как человек, который думал, что он один, и вдруг чувствует: нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен — слишком поздно и не понимая еще, что к чему — ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев?

И как угадал пилот, что гнев источают и камни и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало — как народ.

Пельрен еще не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы,— но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно,— но в этом спокойствии таилась странная мощь.

Потом все вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай если придется отступить, Пельрен посмотрел назад — и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение.

— Теперь мне крышка.

Впереди остроконечная вершина, словно вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики; казалось, их зажигает один за другим невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух. И горы вокруг пилота закачались...

Неистовая схватка почти не оставляет следов; Пельрен искал и больше не находил в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени.

Он задумался.

«Циклон — это ничего. Тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он еще не начался! Эта первая встреча!..»

Ему казалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо; и, однако, он уже забыл его.

IV

Ривьер смотрел на Пельрена. Через двадцать минут тот выйдет из машины и, утомленный, отяжелевший, смешается с толпой. Может быть, он подумает: «Ну, и устал же я... Гнусная работенка!» И скажет жене: «А ведь здесь, пожалуй, лучше, чем над Андами»,— или что-нибудь в этом роде... И, однако, Пельрен почти отрешился от всего, за что так цепко держатся люди; он только что узнал, как все это мелко. Он прожил не-

сколько часов по ту сторону декораций, прожил, не зная, будет ли ему дано вновь обрести этот город, с его огнями, увидит ли он еще раз пусть скучноватых, но таких дорогих спутников детства — свои маленькие человеческие слабости.

«В любой толпе,— думал Ривьер,— есть люди, которые ничем из нее не выделяются. Но они вестники Чудесного и сами того не знают. Разве что...»

Ривьер боялся иных поклонников авиации. Они не понимали сокровенного смысла трудной жизни летчиков; их восторги извращали самое существо приключения и принижали людей. Но в Пельрене было благородное величие человека, который просто лучше других знает, чего сто́ит наш мир, если взглянуть на него под определенным углом зрения,— величие человека, который грубовато пренебрегает пошлыми знаками одобрения...

Ривьер поздравил его по-своему:

— Как вам удалось?..

Ему нравилось, что Пельрен говорил о своем ремесле просто, говорил о полетах, как кузнец о своей наковальне.

Пельрен, чуть ли не извиняясь, начал объяснять: «Путь к отступлению оказался отрезан; у меня не было выбора». К тому же он ничего не видел: снег слепил глаза. Его спасли бешеные токи воздуха — они подбросили самолет на высоту семи тысяч метров. «Все время, пока я переваливал через горы, мне приходилось лететь вровень с вершинами». Он сказал также, что следовало бы переместить воздухозаборник гироскопа, а то его забивает снегом: «Понимаете, образуется ледяная корка...»

Потом новые воздушные потоки завертели Пельрена, отбросили его вниз, до трех тысяч метров. И как он только не наткнулся на скалы! Вдруг оказалось, что он летит уже над равниной. «Смотрю, а вокруг самолета — чистое небо!» Пельрену показалось в тот миг, что он вышел из темной пещеры...

— В Мендосе — тоже буря?

— Нет. Когда я сел, небо было совсем чистое; никакого ветра. Но буря шла за мной по пятам.

Он описал ее, эту бурю, потому что, сказал он, «как-никак все это было довольно странно». Вершина бури терялась где-то в вышине, среди снежных туч, а основание катилось по равнине, как черный поток лавы. Он поглощал город за городом. «Отродясь не видал ничего подобного...» И Пельрен замолчал, настигнутый каким-то воспоминанием.

Ривьер обернулся к инспектору:

— Это циклон с Тихого океана; нас предупредили слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не переваливают через Анды.

Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон продолжит свой путь на восток...

Инспектор, ничего не понимавший в этих вещах, согласился с Ривьером.

Будто собираясь что-то сказать, инспектор обернулся к Пельрену; под кожей у инспектора заходил кадык. Но он промолчал и, словно передумав, опять стал смотреть прямо перед собой с меланхолическим достоинством.

Свою меланхолию инспектор возил с собой, как багаж. Он приехал в Аргентину накануне, вызванный Ривьером для выполнения довольно неопределенных обязанностей, и не знал, куда девать свои большие руки и свое инспекторское достоинство. Он не имел права ни на выражение восторга, ни на фантазию, ни на остроумие; по своей должности он должен был восхищаться лишь одним качеством: пунктуальностью. Он не имел права выпить стаканчик-другой в компании приятелей, не имел права быть с товарищами на «ты», не мог отважиться на каламбур — разве только свершится невозможное и судьба пошлет ему в каком-нибудь аэропорту встречу с другим инспектором.

«Трудно быть судьей»,— думал он.

Говоря откровенно, суда он не вершил — он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и способствовало исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. Он отказался от мысли предлагать в рапортах какие-либо новые методы или технические усовершенствования — отказался, с тех пор как Ривьер написал: «Инспектора Ро́бино просят представлять не поэмы, а рапорты. Инспектору Ро́бино надлежит употреблять свои знания для того, чтобы стимулировать служебное рвение персонала». И с той поры человеческие слабости стали его хлебом насущным. Он охотился за любившим выпить механиком, и за начальником аэродрома, явившимся на работу после разгульной ночи, и за пилотом, неумело посадившим самолет.

Ривьер говорил о нем: «Он не очень умен, поэтому приносит большую пользу». Правила, установленные Ривьером, были для самого Ривьера результатом изучения людей; для Робино существовало лишь изучение правил.

— Робино,— сказал ему как-то Ривьер,— во всех случаях, когда самолет вылетает с опозданием, вы должны лишать виновных премии за точность.

— Даже тогда, когда задержка от них не зависит? Даже в случае тумана?

— Даже в случае тумана.

И Робино испытал своего рода гордость: значит, человек, под чьим началом он служит, так силен, что не боится быть несправедливым. Значит, на Робино тоже падает отблеск величия этой власти, не боящейся обижать людей.

— Вы дали отправление в шесть пятнадцать,— повторял он

потом начальникам аэропортов.— Мы не можем выплатить вам премию.

— Но, господин Робино, ведь в пять тридцать за десять шагов не было видно ни зги!

— Правила есть правила.

— Господин Робино, не можем же мы разогнать туман!

Но Робино напускал на себя таинственность и молчал. Он представлял дирекцию. Из всех этих пешек он один понимал, что, наказывая людей, можно улучшать погоду.

«Он вообще не думает,— говорил о нем Ривьер,— это лишает его возможности думать неверно».

Пилот, калечивший машину, лишался премии за безаварийные полеты.

— А если пилот терпит аварию над лесом?

— Безразлично, хотя бы и над лесом.

И Робино неукоснительно следовал этому указанию.

— Я очень сожалею,— говорил он пилотам, упиваясь собственными словами,— я бесконечно сожалею, но старайтесь терпеть аварии не над лесом.

— Но, господин Робино! Ведь это от нас не зависит!

— Правила есть правила.

«Правила,— думал Ривьер,— похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей». Ривьеру было безразлично, справедлив он в глазах людей или несправедлив. Быть может, слова «справедливость» и «несправедливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В маленьких городках обыватели кружатся вечерами вокруг беседки, в которой играет музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о справедливости или несправедливости по отношению к ним: они пока еще не существуют». Человек был для него девственным воском, из которого предстояло что-то вылепить. В эту материю надо вдохнуть душу, наделить ее волей. Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал несправедливость,— но тем самым он устремлял волю людей, их помыслы на одно: на то, чтобы в каждом аэропорту самолеты вылетали без опозданий; он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелетной погоде как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать минуты, когда небо прояснится; и каждый — вплоть до последнего подсобного рабочего — в душе воспринимал это ожидание как что-то унизительное. И они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. «На севере — окно! В путь!» Благодаря Ривьеру, на всей линии в пятнадцать тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты.

Ривьер говорил иногда:

— Эти люди счастливы: они любят свое дело, и любят его потому, что я строг.

Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. «Нужно заставить их жить в постоянном напряжении,— размышлял Ривьер,— жизнью, которая приносит им и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь».

Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пельреном, Робино посмотрел на летчика и заговорил.

V

В тот вечер Робино охватила тоска. Перед лицом Пельрена-победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, Робино, несмотря на свое звание инспектора, на свою власть, стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с черными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые Робино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство. А больше всего — потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач; он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него подсчеты. Больше того, заявив, что масляный насос типа «Б-6» установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа «Б-4», и коварные механики позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором «невежество, которому нет оправдания»,— его собственное невежество.

К тому же он боялся своей комнаты в гостинице. Везде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, он шел после работы в свой неизменный номер. Обремененный переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «Рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании никакая опасность не угрожала. До сих пор ему удалось спасти одну лишь втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома; тот ответил: «Обратитесь в посадочный пункт, откуда этот самолет только что прибыл...» Робино начинал сомневаться в значительности своей роли.

Желая сблизиться с Пельреном, он отважился предложить:

— Не пообедаете ли со мной? Мне хочется немного поболтать... Мои обязанности не так уж легки...— Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился:— На мне лежит такая ответственность!

Подчиненные не любили допускать Робино в свою частную жизнь. Каждый думал: «Пока он еще ничего не нашел для своего рапорта, но как только он проголодается, он меня съест».

Однако в тот вечер Робино думал лишь о своих бедах: его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели: не находя больше утешения в гордости, он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница; возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности,— это был его способ обольщения,— но он знал, что она не любит его, и сегодня ему было просто необходимо поговорить о ней.

— Так вы пообедаете со мной?

Пельрен великодушно согласился.

VI

Служащие дремали за столами буэнос-айресской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания — так мало места он занимал, невысокий, сухощавый, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив рвения. Зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки.

Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм.

Ривьер сел и стал читать.

Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание: перед Ривьером проходили события удачного дня, когда все както устраивается само собой, когда донесения, которые, облегченно вздыхая, посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шел быстро вперед; он даже опережал расписание: ветры гнали с юга на север огромную попутную волну.

— Дайте метеосводки.

Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию природы. Где-то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу.

Ривьер отодвинул тетрадь.

— Хорошо!

И вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди,— ночной страж, бодрствующий над доброй половиной мира.

Он остановился перед открытым окном — и постиг ночь, эту ночь, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо

Сантьяго — небо чужой страны; но самолет идет в Сантьяго, люди по всей линии, из конца в конец, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолет, тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов; еще недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полете самолет ложится грузом не только на плечи Ривьера: услышав рокот мотора, столичные города и провинциальные городишки чувствуют ту же тревогу.

Радуясь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, будто самолет погружается в хаос и спасти его невообразимо трудно... В такие ночи радиостанция Буэнос-Айреса слышит, как к жалобе самолета примешивается хруст гроз; за глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И какая скорбь звучит в минорной песне самолета, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасностям ночи!

«В ночь дежурства место инспектора — в конторе»,— подумал Ривьер.

— Разыщите Робино!

Тем временем Робино старался завоевать дружбу пилота. В гостинице он распаковал перед Пельреном свой чемодан; из недр чемодана явились на свет те малозначительные предметы, которые сближают инспекторов с остальной частью человечества: несколько безвкусных сорочек, несессер с туалетными принадлежностями, фотография тощей женщины (инспектор приколол ее к стене). Так он смиренно исповедовался перед Пельреном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих печалях. Раскладывая перед летчиком эти жалкие сокровища, он выставлял напоказ свою нищету. Свою нравственную экзему. Он показывал свою тюрьму.

Но у Робино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С бесконечной нежностью он извлек с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал наконец руки:

— Я привез это из Сахары...

Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности; он был несчастлив в браке; жизнь его была безотрадной, и он находил утешение в маленьких черных камешках: они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны.

— Точно такие же попадаются иногда и в Бразилии,— сказал он и покраснел еще больше.

Пельрен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой...

Что-то похожее на стыдливость заставило Пельрена спросить:

— Вы интересуетесь геологией?

— Это моя страсть.

Во всем мире только камни были к нему мягки.

Робино вызвали в контору; он стал грустен, но обрел при этом свое обычное достоинство.

— Я вынужден вас покинуть: господин Ривьер требует меня по весьма важному делу.

Когда Робино вошел в контору, Ривьер успел о нем забыть. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил:

— Что вы думаете об этой карте, Робино?

Возвращаясь из мира грез, Ривьер предлагал иногда своим подчиненным подобные ребусы.

— Эта карта, господин директор...

Честно говоря, инспектор ничего о ней не думал; с суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку. А Ривьер между тем продолжал свои раздумья: «Лицо этой сети прекрасно, но грозно. Красота, стоившая нам многих людей,— молодых людей. На этом лице гордое достоинство отлично сработанной вещи; но сколько еще проблем ставит оно перед нами!..» Однако важнее всего для Ривьера всегда была цель.

Робино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту; он понемногу приходил в себя. От директора он не ждал сочувствия.

Однажды он попытался было разжалобить Ривьера, рассказав о своем нелепом, портившем ему жизнь недуге, но тот ответил насмешкой:

— Экзема мешает вам спать,— значит, она побуждает к действию.

В этой шутке Ривьера была большая доля правды. Он утверждал:

— Если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения — это прекрасная бессонница!

Как-то он сказал, указывая на Леру:

— Подумайте, как прекрасно уродство: оно гонит прочь любовь...

Может быть, всем тем высоким, что жило в Леру, он был обязан обидчице судьбе, которая свела его жизнь к одной лишь работе...

— Вы очень близки с Пельреном?

— Гм...

— Я не упрекаю вас.

Ривьер повернулся и, нагнув голову, стал ходить по комнате мелкими шагами, увлекая за собой Робино. На устах директора заиграла печальная улыбка, значения которой Робино не понял.

— Только... Только помните, что вы — начальник.

— Да,— сказал Робино.

А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. Ослабнет воля людей — жди поражения; а предстоит, быть может, тяжелая борьба.

— Вы не должны выходить из роли начальника,— Ривьер будто взвешивал каждое слово.— Возможно, ближайшей ночью вы отправите этого летчика в опасный рейс; он должен вам повиноваться.

— Да...

— В ваших руках, можно сказать, жизнь людей, и эти люди — лучше, ценнее вас...— Он запнулся.— Да, это важно.

Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами; несколько секунд он помолчал.

— Если они повинуются вам из дружбы,— значит, вы их обманываете. Ведь вы, вы лично, не имеете права требовать от людей никаких жертв.

— Да, конечно...

— Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете: они обязаны повиноваться в любом случае. Сядьте-ка.

Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу.

— Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Робино. Если вы устали, не у этих людей вам искать поддержки. Вы — начальник. Ваша слабость — смешна. Пишите.

— Я...

— Пишите: «Инспектор Робино налагает на пилота Пельрена такое-то взыскание за такой-то проступок». Проступок найдете сами.

— Господин директор!

— Исполняйте, Робино. Действуйте так, как если бы вы поняли. Любите подчиненных. Но не говорите им об этом.

Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины.

Один из аэродромов линии сообщил по радио: «Показался самолет. Летчик дает сигнал: «Неисправность в моторе. Иду на посадку».

Значит, будут потеряны полчаса. Ривьер обозлился; так бывает при внезапной остановке курьерского поезда в пути, когда минуты начинают бежать вхолостую, уже не отдавая своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мертвое пространство... А сколько событий могло бы вместиться в этот раствор циркуля!

Чтобы обмануть тягостное ожидание, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актеров. «И такая ночь пропадает зря!» Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звездами, на эти божественные сигнальные огни, на луну,— смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи.

Но как только самолет поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующе прекрасной. Она несла в своем лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер.

— Запросите экипаж, какая у них погода.

Промелькнули десять секунд.

— Превосходная.

Последовали названия городов, над которыми пролетал самолет, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою.

VII

Часом позже бортрадист патагонского почтового ощутил легкий толчок, точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг — тяжелые тучи притушили свет звезд. Он наклонился к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но в этой черной траве ничто не сверкало.

Он с тоскою подумал, что предстоит трудная ночь: наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится возвращать врагу. Он не понимал тактики пилота; ему казалось, что они скоро врежутся в толщу ночи, как в стену.

Теперь он заметил впереди, на горизонте, какие-то едва уловимые отблески словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевельнулся.

Первые волны дальней грозы докатились до самолета. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, навис тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны.

Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи, под защитой одной только крохотной шахтерской лампы. Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, подавшись вперед к Фабьену, смотрел он в его угрюмый затылок.

В слабом свете вырисовывалась голова, неподвижные плечи. Большое темное тело чуть склонилось влево; обращенное к буре лицо омывалось, должно быть, отблесками грозы. Но этого ра-

дист не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на устремленном к буре лице — гримаса досады, воля, гнев,— все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозовых огней, все оставалось для радиста непостижимым.

Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой темной фигуры. Он восхищался мощью, которая неудержимо влекла его навстречу грозе, но и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как загривок зверя, а сильные, пока еще неподвижно застывшие плечи хранят огромный запас энергии.

Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на пилота. И, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятья пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди черной фигуры.

Слева, как маяк с мигающим огнем, слабо вспыхнул новый очаг.

Радист хотел было дотронуться до плеча Фабьена, предупредить его, но летчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу; потом, так же медленно, он принял прежнее положение: все те же неподвижные плечи, тот же прижатый к кожаной спинке затылок.

VIII

Ривьер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись, хотелось заглушить ту тревогу, которая снова овладела им. Он, чья жизнь всегда была посвящена только действию, действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной, его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд тихая, скользящая вокруг музыкальных павильонов,— подчас тоже таит в себе тяжкие драмы: болезнь, любовь, смерть, и, может быть... Собственная болезнь многому его научила. «Будто открылись какие-то новые окна»,— думал он.

Позже, часам к одиннадцати вечера, почувствовав себя лучше, Ривьер зашагал обратно, к конторе. Неторопливо пробирался он среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Он поднял глаза к звездам, которые сверкали над узкой улицей и, отступая перед огнями реклам, таяли в небе. «Сегодня в полете — два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за все небо. Далекая звезда подает мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя каким-то чужим, одиноким».

Вспомнилась музыкальная фраза — несколько нот из сона-

ты, которую слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки.

— Такое искусство наводит скуку. И на вас тоже, только вы не хотите в этом признаться.

— Возможно,— ответил он.

Как и теперь, он тогда почувствовал себя одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть — ему одному среди всех этих недалеких людей. Задушевно поверяла она свою тайну, как знак, что подает ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному.

На тротуарах Ривьера толкали. Он думал: «Стоит ли раздражаться? Я — как человек, у которого болен ребенок; медленно идет он в толпе и несет в душе великое безмолвие своего дома».

Ривьер смотрел на людей. Он пытался распознать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков.

Ривьеру была приятна тишина конторы. Медленно шел он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие машинки спали под чехлами. За сомкнувшимися дверцами огромных шкафов лежали ровные ряды канцелярских папок. Десять лет опыта и труда! Ему представилось: он ходит по подвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его ведомостей накопила в себе нечто более ценное, чем золото,— живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых.

В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека — дежурного секретаря. Тот работает, чтобы продолжалась жизнь, чтобы продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, не обрывалась цепь.

«И человек этот даже не догадывается о собственном величии».

Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолеты. Ночной полет тянется долго, словно болезнь. Возле самолета надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует — во всем мире не существует ничего, кроме зыбких невидимых стихий. Силой собственных рук, вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание: «Чтоб разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить...» В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявите-

лем. Это все, что остается от вселенной, и это необходимо спасти.

Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. Стрекотанье пишущей машинки придавало тишине какой-то особый смысл, но не нарушало ее. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок; дежурный секретарь вставал со своего места и шел навстречу этому зову, настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала; в затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу; выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых находятся в полете, каждый призыв, идущий оттуда, снаружи, из ночи, несет в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на сидящую вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, еще не выдает своей страшной тайны. Лишь пробегает по лицу легкая волна — такая спокойная, не похожая на крик о помощи... И каждый раз в приглушенном телефонном звонке Ривьеру слышалось глухое эхо этого крика. Одиночество замедляло движения дежурного, делало его похожим на пловца, который барахтается в волнах. Когда он возвращался из темного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека Ривьеру чудилась давящая тяжесть тайны.

— Сидите. Я подойду.

Ривьер снял трубку и услышал гуденье ночного мира.

— Говорит Ривьер.

Слабый шум, потом голос:

— Соединяю вас с радиостанцией.

Снова шум, треск переключаемых контактов; потом другой голос:

— Говорит радиостанция. Передаем телеграммы.

Ривьер записывал, кивая головой:

— Так... так...

Ничего существенного. Обычные служебные сводки. Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений, Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса о техническом оборудовании. Привычные, домашние звуки.

— А самолеты?

— Гроза. Самолетов не слышим.

— Понятно.

«Здесь ясная, звездная ночь,— думал Ривьер,— а радисты уже уловили в ней дыханье далеких гроз».

— До свидания.

Ривьер поднялся. К нему подошел секретарь.

— Бумаги на подпись, господин директор...

— Хорошо.

Ривьер вдруг ощутил прилив дружелюбия к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведем бой,— думал Ривьер.— А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение».

IX

Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя.

«Плохо дело».

На секунду прислонился к стене.

«Экая нелепость!»

Добрался до кресла.

И снова — в который раз — он, старый лев, ощутил на себе путы, и глубокая печаль охватила его.

«Столько трудов — и прийти к такому итогу! Мне за пятьдесят. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий,— и вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!»

Он отер пот, подождал, пока боль отпустит его, и принялся за работу.

Медленно перелистывал он бумаги.

«В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено... Наложить на виновного строгое взыскание».

Он подписал.

«На посадочной площадке Флюрианополиса вопреки инструкциям...»

Он подписал.

«В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который...»

Он подписал.

Боль в боку затаилась, но не уходила; она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл, и заставляла Ривьера думать о себе самом — думать с горечью:

«Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю — и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. Будь я всегда справедлив, каждый ночной полет превращался бы в игру со смертью».

Ривьера вдруг охватила усталость; большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал: «А как хорошо было бы пожалеть людей...»

Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги.

«...что до Робле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала».

Ривьер вспомнил старика Робле, вспомнил вчерашний разговор:

— Урок. Это будет хороший урок для остальных.

— Но, мсье!.. Взгляните, мсье!..

Потрепанный бумажник, в нем — старый газетный лист: молодой Робле сфотографирован рядом с самолетом.

Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы...

— Это было в девятьсот десятом, мсье... Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет! Я в авиации — с девятьсот десятого года... Двадцать лет, мсье! И как вы только можете говорить... А молодые!.. Они будут смеяться надо мной в цеху... Ох, как они будут смеяться!

— Это не относится к делу.

— А мои дети, мсье! У меня дети!..

— Я вам уже сказал: вы получите место подсобного рабочего.

— Но мое достоинство, мсье, мое достоинство! Подумайте, мсье, двадцать лет в авиации, старый рабочий — и вдруг...

— Место подсобного рабочего.

— Я отказываюсь, мсье, отказываюсь!

Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки.

— Место подсобного рабочего.

— Нет, мсье, нет... Я хочу вам сказать...

— Можете идти.

«Я прогнал с такой жестокостью не его,— думает Ривьер.— Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал.

Ибо обстоятельствами надо управлять — и они повинуются, и ты созидаешь. Да и людей созидаешь. Или устраняешь, если они — орудие зла».

«Я хочу вам сказать...»

Что хотел сказать ему несчастный старик? Что у него на старости лет отнимают единственную радость? Что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолета? Что его жизнь лишается великой поэзии? И потом... что нужно как-то жить?

«Я очень устал,— думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал: — Я так любил лицо этого старого товарища...» И снова увидел руки старика, снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать: «Ну ладно, ладно, оставайтесь»,— и по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало

бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки,— эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. «Разорвать бумагу?..» Семья старика, его возвращение вечером домой — и скромная гордость:

— Так, значит, тебя оставляют?

— Еще бы! Еще бы! Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет!

И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и к старику опять будут относиться с уважением...

«Разорвать?»

Позвонил телефон, Ривьер взял трубку.

Долгое молчание. Потом отголоски, гулкая глубина, которую придают человеческим голосам пространство и ветер. Наконец из трубки послышалось:

— Говорит аэродром. Кто у аппарата?

— Ривьер.

— Господин директор, шестьсот пятидесятому дано отправление.

— Хорошо.

— Наконец все в исправности. Но пришлось в последний момент чинить проводку: оказались поврежденными контакты.

— Хорошо. Кто монтировал цепь?

— Мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры: неисправность освещения на борту — вещь очень опасная!

— Разумеется.

Ривьер думал: «Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Знать орудия зла и не бороться со злом — преступление. Нет, Робле должен уйти».

Секретарь ничего не видел, он по-прежнему стучал на машинке.

— Что вы печатаете?

— Двухнедельный отчет.

— Почему он до сих пор не готов?

— Я...

— Придется проверить.

«Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная темная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растет, ширится, неистово бьет ключом повсюду, где только затевается большое дело». Ривьеру подумалось — под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы.

«Большое дело...»

Ривьер пытался убедить самого себя:

«Эти люди... Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них...»

Его сердце билось коротко, часто, больно.

«Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точной це-

ны ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека! Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласке...»

Он грезил наяву:

«Жизнь полна противоречий... Каждый выпутывается из них, как может... Но завоевать право на вечность, но творить — в обмен на свою бренную плоть...»

После краткого раздумья Ривьер позвонил.

— Передайте пилоту европейского почтового: пусть зайдет ко мне перед вылетом.

И подумал:

«Нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не избавятся от страха перед ночью».

X

Жена пилота, разбуженная телефонным звонком, посмотрела на мужа, подумала:

«Пусть еще немного поспит».

Она любовалась его могучей обнаженной грудью; он был словно красавец корабль.

Он спал в своей мирной постели, как в гавани, и, чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая легкую зыбь и успокаивая постель; так прикосновение божества смиряет море.

Она встала, распахнула окно, подставила лицо ветру. Из окна открывался весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме танцевали; ветер доносил обрывки мелодий — был час развлечений и отдыха. Город запрятал людей в свои сто тысяч крепостей; кругом все дышало спокойствием и уверенностью; но женщине казалось, что вот-вот раздастся призыв: «К оружию!» — и на этот клич отзовется один-единственный человек, ее муж. Он еще спал, но то был тревожный сон военных резервов, которые скоро будут брошены в бой. Дремлющий город не защищал его; жалкими покажутся летчику городские огни, когда он, молодой бог, взлетит над их пылью. Жена посмотрела на сильные ладони, которым через час будет вручена судьба европейского почтового, ответственность за что-то большое, подобное судьбе целого города. И в сердце закралась тревога. Этот человек — один среди миллионов — был предназначен для необычного жертвоприношения. Ей стало тоскливо. Он уйдет, ускользнет от ее нежности. Она лелеяла, ласкала, охраняла его не для себя, а для сегодняшней ночи, и эта ночь сейчас возьмет его — для битв, для тревог, для побед, о которых она ни-

когда не узнает. Ей удалось на краткий срок приручить эти ласковые руки, но она лишь смутно представляла себе их истинное назначение. Она знала улыбку этого человека, знала чуткость влюбленного; но она не знала, как божественно гневен бывает он, оказавшись в сердце грозы. Она обвивала его нежными путами любви, музыки, цветов; но в час отлета он неизменно сбрасывал эти путы и, видимо, ничуть об этом не сожалел.

Он открыл глаза:

— Который час?

— Полночь.

— Какая погода?

— Не знаю...

Он поднялся. Потягиваясь, медленно подошел к окну.

— Сегодня я, пожалуй, не замерзну. А какое направление ветра?

— Ты так спрашиваешь, словно я в этом что-нибудь смыслю...

Он выглянул в окно.

— Южный. Прекрасно! Такой ветер удержится по меньшей мере до Бразилии.

Он увидел луну и почувствовал себя совсем богатым. Потом перевел взгляд вниз, на город.

Город не был сейчас для него ни желанным, ни светлым, ни теплым. Он уже видел, как развеивается по ветру бесполезная пыль огней большого города.

— О чем ты думаешь?

Он думал о том, что возле Порто-Аллегре возможен туман.

— У меня своя тактика. Я знаю, как его обойти.

Он все еще смотрел, наклонившись, в окно и глубоко дышал, словно обнаженный пловец перед прыжком в море.

— Ты как будто не очень грустишь... На сколько дней ты улетаешь?

— Дней на восемь, на десять.

Он точно не знает. И отчего ему грустить?.. Равнины, горы, города — он отправляется их покорять. Он — вольная птица. Не пройдет и часа — он будет держать в руках весь Буэнос-Айрес, а потом отбросит его назад.

Он улыбнулся.

— Этот город... Скоро я буду далеко! Хорошо улетать ночью! Повернешь к югу, дашь газ, и через десять секунд весь ландшафт уже опрокинут и ты летишь на север. И город под тобой — как морское дно.

Она подумала: «От многого должен отказаться завоеватель...»

— Ты не любишь свой дом?

— Люблю...

Но жена знала: он уже далеко от нее. Его широкие плечи уже раздвигают небосвод.

Она показала ему на небо.

— Смотри, что за погода! Твоя дорога вымощена звездами.

Он рассмеялся.

— Да.

Положив руку ему на плечо, она с волнением почувствовала прохладу его кожи. И этому телу угрожает опасность!..

— Я знаю, ты сильный. Но будь благоразумен...

— Ну конечно, я благоразумен...

И опять рассмеялся.

Он начал одеваться. Отправляясь на свой праздник, он наряжался в самые грубые ткани, в самую тяжелую кожу; он одевался, как крестьянин. И чем тяжелее он становился, тем больше она любовалась им. Помогла застегнуть пряжку пояса, натянуть сапоги.

— Эти сапоги жмут.

— Вот другие.

— Отыщи-ка шнур, чтобы привязать запасной фонарик.

Она оглядела мужа, в последний раз проверила его доспехи. Все пригнано как следует.

— Какой ты красивый!

Он тщательно причесывался.

— Это для звезд?

— Это — чтоб не чувствовать себя стариком.

— Я ревную...

Он снова рассмеялся, обнял ее, прижал к своей тяжелой одежде. Потом взял ее, как маленькую, на руки и — все с тем же смехом — положил на кровать:

— Спи!

Закрыв за собой дверь, он вышел на улицу и среди преображенной мраком толпы сделал свой первый шаг к завоеванию ночи.

Она осталась одна. Печально смотрела она на цветы, на книги — на все то нежное, мягкое, что для него было лишь дном морским.

XI

Его принимает Ривьер.

— В последнем рейсе вы выкинули номер. Пошли в обход. А метеосводки были прекрасные, вы свободно могли пройти напрямик. Испугались?

Захваченный врасплох, пилот молчит, медленно трет ладони. Потом поднимает голову и смотрит Ривьеру прямо в глаза:

— Да.

В глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх.

Пилот оправдывается:

— Я больше ничего не видел. Конечно, радио сообщало, это верно... Может быть, дальше... Но бортовой огонь почти исчез, я даже не видел собственных рук. Хотел включить головную фару, чтобы хоть крыло разглядеть,— все такая же тьма. Показалось, что я на дне огромной ямы и из нее не выбраться. А тут еще мотор стал барахлить...

— Нет.

— Нет?

— Нет. Мы его потом осмотрели. Мотор в полном порядке. Но стоит испугаться — и сразу кажется, что мотор барахлит.

— Да как тут было не испугаться! На меня давили горы. Хотел набрать высоту — попал в завихрение. Вы сами знаете: когда ничего не видишь — и еще завихрения... Вместо того чтобы подняться, я потерял сто метров. И уже не видел ни гироскопа, ни приборов. И стало казаться, что мотор не тянет и что он перегрелся, что давление масла... И все это — в темноте. Как болезнь... Ну и обрадовался я, когда увидел освещенный город!

— У вас слишком богатая фантазия. Идите.

И пилот выходит.

Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам.

«Это самый отважный из моих людей. Он вел себя в тот вечер превосходно. Но я спасаю его от страха...»

И снова, как минутная слабость, возник соблазн:

«Чтобы тебя любили, достаточно пожалеть людей. Я никого не жалею — или скрываю свою жалость. А хорошо бы окружить себя дружбой, теплотой! Врачу это доступно. А я направляю ход событий. Я должен выковывать людей, чтобы и они направляли ход событий. Вечером, в кабинете, перед пачкой путевых листов особенно остро ощущаешь этот неписаный закон. Стоит только ослабить внимание, позволить твердо упорядоченным событиям снова поплыть по течению — и тотчас, как по волшебству, начинаются аварии. Словно моя воля — только она одна — не дает самолету разбиться, не дает ураганам задержать его в пути. Порою сам поражаешься своей власти».

Он продолжает размышлять:

«И тут нет, пожалуй, ничего странного. Так садовник изо дня в день ведет борьбу на своем газоне... Извечно вынашивает в себе земля дикий, первозданный лес; но тяжесть простой человеческой руки ввергает его обратно в землю».

Он думает о пилоте:

«Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то темное, цепкое, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, принимать всерьез его страхи — и он поверит, что и впрямь побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тайны — только ее — он и боится; нужно, чтобы не осталось никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, потом выбирались из него и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в ее толщу, не имея даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло,— и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь Неведомое».

Но даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы. Но Ривьер помнил и о других битвах, которые приходилось ему вести за покорение ночи.

В официальных кругах на мрачные владения ночи смотрели с опаской, как на неизведанные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться со скоростью двухсот километров в час навстречу бурям, туманам и всем тем угрозам, что таит в себе ночь, казалось рискованной авантюрой, допустимой лишь в военной авиации: вылетаешь с аэродрома в безоблачную ночь, проводишь бомбежку — и той же ночью возвращаешься на тот же аэродром. Но регулярные ночные рейсы обречены на неудачу.

«Ночные полеты — это для нас вопрос жизни и смерти,— отвечал Ривьер.— Каждую ночь мы теряем полученный за день выигрыш во времени — теряем наше преимущество перед железной дорогой и пароходом».

С досадой и скукой слушал Ривьер все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение... «Общественным мнением нужно управлять»,— возражал он. Он думал: «Сколько времени пропадает напрасно! И все же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и для того чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того чтобы жить, оно создает свои собственные законы. Оно неодолимо». Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полетами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это неизбежно и что готовиться к этому нужно уже сейчас.

Ему вспоминаются зеленые скатерти, за которыми он сидел, подперев кулаком подбородок и слушая со странным сознанием собственной силы бесконечные возражения. Эти возражения казались ему бесцельными, осужденными на гибель самой жизнью. И он чувствовал, как растет, наливаясь тяже-

стью, его сила. «Мои доводы неопровержимы; победа останется за мной,— думал Ривьер.— К этому ведет естественный ход событий».

Когда от него требовали каких-то гарантий, каких-то решений, устраняющих всякий риск, он отвечал:

— Законы выводятся на основании опыта; познание законов никогда не предшествует опыту.

После долгого года борьбы Ривьер добился своего. «Добился, благодаря своей убежденности»,— говорили одни. «Благодаря своему упорству, медвежьей силе, которая крушит все на пути»,— заявляли другие. «Просто потому, что я избрал верное направление»,— думал сам Ривьер.

Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале! Самолеты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже чем через час после захода солнца. И, только накопив некоторый опыт, Ривьер решился послать почтовые самолеты в ночные глубины. Почти лишенный последователей, осуждаемый чуть ли не всеми, он боролся теперь в одиночестве.

Ривьер звонит, чтобы узнать, каковы последние сообщения с борта самолетов.

XII

Тем временем патагонский почтовый вплотную подошел к буре, и Фабьен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство: линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. И он решил: «Попытаюсь пройти под грозой, нырнуть под нее, ну, а уж если не удастся — лягу на обратный курс».

Он посмотрел на высотомер. Тысяча семьсот метров. Дал ручку от себя, чтобы начать снижение. Мотор сразу стал сильно трясти, самолет задрожал. Фабьен на глаз выправил угол планирования, потом проверил по карте высоту холмов: пятьсот метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте семисот.

Фабьен жертвовал высотой; так игрок ставит на банк все свое состояние.

Самолет попал в завихрение, провалился вниз и задрожал еще сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Ему представилось — машина поворачивает назад и возвращается в мир ста тысяч звезд... Но Фабьен не меняет курса ни на один градус.

Пилот взвешивает... Возможно, гроза носит лишь местный характер. Ведь Трилью — ближайший аэропорт — сообщил, что небо закрыто на три четверти. Значит, в этой черной, плотной

как бетон, массе ему предстоит прожить всего каких-нибудь двадцать минут. И все же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную темь. Но сейчас нет даже проблесков — лишь едва заметно меняется плотность мрака. Быть может, его просто обманывает утомленное зрение.

Он развертывает записку радиста:

«Где мы?»

Дорого дал бы Фабьен за то, чтобы это знать. Он отвечает: «Не знаю. Идем по компасу сквозь грозу».

Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет; пламя так бледно, что, появись луна, оно тотчас растворилось бы в лунном свете; но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы.

Каждые тридцать секунд Фабьен нагибается к приборам, чтобы проверить гироскоп и компас. Он не рискует больше включать красные лампочки: они надолго ослепляют его: но от приборов со светящимися циферблатами льется бледное звездное сияние. Здесь, среди стрелок и цифр, пилот испытывает обманчивое чувство безопасности; подобное ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолет катится ночь и с нею все, что несет она в своем мраке: скалы, обломки, холмы...

«Где мы?» — снова спрашивает радист.

Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени, сколько усилий понадобится ему, чтобы сбросить эти мрачные узы. Быть может, он вообще никогда не освободится от них; он поставил свою жизнь на карту — на эту грязную и скомканную бумажку, которую он разворачивает и читает в тысячный раз, стремясь почерпнуть в ней надежду. «Трилью: небо закрыто на три четверти, ветер западный, слабый». Если Трилью закрыт на три четверти, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только...

Эта слабая надежда побуждает Фабьена лететь вперед, но сомнения не оставляют его; он кое-как царапает записку: «Не знаю, смогу ли пробиться. Спросите, по-прежнему ли ясно позади нас».

Ответ удручающий:

«Комодоро передает: вернуться сюда невозможно. Буря».

Фабьен начинает догадываться: невиданная буря, бушующая над Андийскими Кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон.

«Узнайте погоду в Сан-Антонио».

«Сан-Антонио отвечает: поднимается западный ветер; на западе — буря. Небо закрыто полностью. В Сан-Антонио плохая слышимость: помехи. Я тоже слышу плохо. Думаю, скоро придется убрать антенну — мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы?»

«Оставьте меня в покое. Запросите погоду в Байя-Бланке».

«Байя-Бланка отвечает: меньше чем через двадцать минут с запада обрушится на Байя-Бланку сильная гроза».

«Запросите Трилью о погоде».

«Трилью отвечает: с запада идет ураган скоростью тридцать метров в секунду. Шквалы дождя».

«Передайте в Буэнос-Айрес: заперты со всех сторон; фронт бури развертывается на тысячу километров; полная потеря видимости. Что нам делать?»

Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту (все они казались недоступными), ни к рассвету — через час сорок минут должен был кончиться бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рухнут в бездну.

Только б дождаться рассвета...

Утренняя заря представлялась Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. Под крылом попавшего в беду самолета возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, стада, холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно — как устремился бы он навстречу дню!..

Он подумал: «Кольцо замкнулось». Так или иначе — все должно решиться еще до рассвета, в плотной массе тьмы.

Только так... А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление...

Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце; между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи; из них — не выбраться.

XIII

— Асунсьонский почтовый идет хорошо. К двум часам будет здесь. Но ожидается серьезное опоздание почтового патагонского; видимо, ему приходится нелегко.

— Так, господин Ривьер.

— Весьма возможно, мы отправим европейский самолет, не

дожидаясь прибытия патагонского. Вы получите распоряжения, как только прибудет асунсьонский. Будьте наготове.

Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку: «Небо чистое, полная луна, ветра нет». Горы Бразилии, четко выделяясь на светящемся небе, окунали в серебристые воды моря свои поросшие черным лесом вершины. На этот лес, не скрашивая его, лились непрестанным дождем лунные лучи. И острова — тоже черные, как обломки кораблекрушения в морских волнах. И эта неистощимая луна на всем пути — брызжущий светом фонтан...

Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого, струящегося сияния. В мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света. В мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые — стоит им слегка покрепчать — могут в несколько часов забить все небо гнилыми облаками.

И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, точно золотоискатель у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но убежденность Ривьера осталась прежней; возможно, эта драма — следствие какого-то просчета, и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. «Быть может, следует установить наблюдательные пункты на западе... Нужно будет об этом подумать... Как бы то ни было, у меня все те же веские основания стоять на своем; теперь вероятность несчастных случаев уменьшится: одна из причин стала ясна». Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой почти не принимается в расчет истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин. И обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по рукам и ногам.

Ривьер позвонил.

— От Байя-Бланка по-прежнему нет радиограмм?

— Нет.

— Вызовите ее по телефону.

Пять минут спустя он спрашивал:

— Почему от вас нет сообщений?

— Мы не слышим самолета.

— Молчит?

— Неизвестно. Кругом грозы. Даже если он что-то передает, мы не слышим.

— А Трилью его слышит?

— Мы сами не слышим Трилью.
— Позвоните туда по телефону.
— Пытались. Линия повреждена.
— Какая у вас погода?
— Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душно.
— Какой ветер?
— Пока слабый. Но это не больше чем на десять минут. Молнии быстро приближаются.

Молчание.

— Байя-Бланка! Вы меня слышите? Хорошо. Позвоните мне через десять минут.

И Ривьер стал перелистывать телеграммы южных аэропортов. Все сообщали одно и то же: самолет молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу, и на карте расплывалось пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно заперты двери и каждый дом на темных улицах, подобно кораблю, отрезан от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесет им освобождение.

Но, склонившись над картой, Ривьер все еще не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба; он обратился по телеграфу к полиции трех десятков провинциальных городов, запрашивая о погоде, и ответы уже начинали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии в две тысячи километров, получила приказ: поймав позывные самолета, немедленно, в течение тридцати секунд, уведомить об этом Буэнос-Айрес, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться.

Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные полеты, возможно, будут прекращены и что даже европейский почтовый будет отныне вылетать лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о циклоне — и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь, совсем рядом, подавленный ураганом — этим враждебным выпадом самой природы.

Вдруг голоса смолкли: на пороге появился Ривьер — в пальто, в шляпе, неизменно надвинутой на глаза,— вечный путешественник. Он спокойно подошел к заведующему бюро:

— Уже десять минут второго. Документы европейского почтового оформлены?

— Я... я думал...

— Вам следует не думать, а исполнять.

Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошел к открытому окну.

Подбежал служащий:

— Господин директор, получено очень мало ответов. Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии...

— Хорошо.

Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь.

Итак, каждая новая весть несла в себе угрозы самолету. Каждый город, если линии связи еще не были разрушены и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. «Буря идет из глубины материка, с Кордильер. Она движется к морю, сметая все на пути...»

Звезды казались Ривьеру чересчур яркими, воздух — слишком влажным. Странная ночь! Она внезапно начинала подгнивать — подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над Буэнос-Айресом еще царили в полном своем составе звезды; но то был лишь оазис, притом недолговечный. К тому же этот порт был недосягаем для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко победить.

Где-то в ее глубинах затерялся самолет, и на его борту — беспомощные, охваченные тревогой люди.

XIV

Жена Фабьена позвонила по телефону.

В те ночи, когда он должен был вернуться, она всегда высчитывала время продвижения патагонского почтового. «Сейчас он вылетает из Трилью...» И опять засыпала. Немного позже: «Он приближается теперь к Сан-Антонио; он уже видит огни...» Тогда она вставала, раздвигала шторы и осматривала небо. «Эти облака мешают ему...» Иногда между тучами, как пастух, расхаживала луна. И молодая женщина возвращалась в постель, успокоенная луной и звездами: их тысячи, они, как живые существа, окружают ее мужа. Около часа ночи она обычно чувствовала, что он уже близко. «Должно быть, он недалеко... Он уже видит Буэнос-Айрес...» И снова вставала, готовила для него еду, варила кофе: «Там, наверху, холодно...» Каждый раз она встречала Фабьена так, словно тот спустился со снежных вершин: «Ты не замерз?» — «Да нет же!» — «Все равно согрейся немного...» К четверти второго у нее все бывало готово. Тогда она звонила.

В эту ночь она спросила, как всегда:

— Фабьен уже приземлился?

Секретарь, взявший трубку, замялся:

— Кто говорит?

— Симона Фабьен.

— Одну минуту...

Не осмеливаясь ничего сказать, секретарь передал трубку заведующему бюро.

— Кто у телефона?

— Симона Фабьен.

— А!.. Слушаю вас, сударыня.

— Мой муж приземлился?

Последовало молчание, показавшееся ей необъяснимым. Затем короткий ответ:

— Нет.

— Он опаздывает?

— Да...

Снова молчание.

— Да... опаздывает.

— О!..

Это был вздох раненой плоти. Опоздание — пустяк... пустяк... Но если оно затягивается...

— О!.. В котором часу он должен прибыть?

— В котором часу он должен прибыть?.. Мы... мы не знаем.

Теперь перед ней была стена. Она слыхала лишь эхо своих вопросов.

— Умоляю, ответьте мне! Где он сейчас?..

— Где он сейчас? Подождите...

Медлительность этих людей причиняла ей боль. Там, за стеной, что-то происходило.

Наконец они решились:

— Он вылетел из Комодоро в девятнадцать тридцать.

— И с тех пор?..

— С тех пор... сильно опаздывает... сильно опаздывает из-за плохой погоды...

— О! Из-за плохой погоды...

Какая несправедливость! И какое вероломство — в этой луне, праздно повисшей над Буэнос-Айресом!.. Молодая женщина вспомнила вдруг, что от Комодоро до Трилью каких-нибудь два часа полета, не больше.

— И целых шесть часов он летит до Трилью?! Но посылает же он вам радиограммы... Что он говорит?

— Он говорит? Но в такую погоду... Вы сами понимаете... его радиограммы до нас не доходят.

— В такую погоду!..

— Итак, решено, сударыня: мы позвоним вам, как только что-нибудь узнаем.

— О, вы ничего не знаете...

— До свиданья, сударыня.

— Нет! Нет! Я хочу говорить с директором!

— Господин директор очень занят, сударыня, он на совещании.

— Мне это безразлично! Совершенно безразлично! Я хочу с ним говорить!

Заведующий бюро вытер капли пота со лба:

— Одну минуточку...

Он открыл дверь Ривьера.

— С вами хочет говорить госпожа Фабьен.

«Вот оно,— подумал Ривьер,— вот начинается то, чего я боялся». На первый план драмы выступают чувства... Вначале Ривьеру хотелось их отвергнуть: матерей и жен не допускают в операционную. И на корабле в минуту опасности чувства должны молчать. Они не помогают спасать людей... Однако он решился:

— Соедините ее со мной.

Он услышал далекий голос, слабый, дрожащий, и тотчас понял, что не сможет сказать ей правду. Сойтись сейчас в поединке — разве хоть одному из них это принесло бы какую-нибудь пользу?

— Прошу вас, успокойтесь, сударыня! В нашем деле так часто приходится подолгу ждать вестей.

Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного, частного человека — возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное...

— Сударыня...

Она больше не слушала. Ему казалось — она рухнула у самых его ног, истощив силу своих слабых кулаков в борьбе с этой глухой стеной.

Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста: «Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чье-то лицо. И все же мосты строятся... Инженер тогда же добавил: «Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чем другом основана быть не мо-

жет».— «И все же,— ответил ему позже Ривьер,— хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь... Но что?...»

И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность — даже строительство мостов! — разбивает чье-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: «Во имя чего?»

«Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо»,— думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. «Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта?» Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно — все равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их еще безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе его деятельность лишена смысла.

«Любить, только любить — какой тупик!» Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова: «Задача в том, чтобы дать им бессмертие...» Где он их прочел? «Внутри самого себя бессмертия не найдешь». Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы... Не будь их — что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека? «Во имя какой суровой необходимости — или странной любви — вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?» И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок... «Этот вид счастья — что конская сбруя»,— подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти... Не смерти отдельных людей — он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна.

XV

Может быть, в этой сложенной вчетверо записке — спасение... Стиснув зубы, Фабьен разворачивает ее.

«Связаться с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом — искры бьют в пальцы».

Разозленный Фабьен хочет написать ответ; но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело: воздушные водовороты приподнимают его вместе с пятью тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать.

Его руки снова сходятся на загривке волн и усмиряют их.

Фабьен тяжело дышит. Если бортрадист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьет ему морду — дайте только приземлиться!.. Необходимо во что бы то ни стало, любой ценой связаться с Буэнос-Айресом! Как будто из Буэнос-Айреса, удаленного более чем на полторы тысячи километров, им могут бросить спасательную веревку сюда, в эту бездну... Увидеть хотя бы огонек, хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь постоялого двора? Даже это, в сущности бесполезное, мерцание могло бы сейчас послужить маяком; оно говорило бы о твердой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, кажется, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины: он хочет передать этим жестом тому, другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но радист, склонившийся над опустошенным пространством, над погребенными городами, над мертвыми огнями, не понимает его.

Фабьен готов последовать любому совету, только бы этот крик участия дошел до него! Он думает: «Если бы мне сказали: лети по кругу, я полетел бы по кругу... И если бы мне сказали: иди прямо на юг...» А где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные лунные тени. И над этими землями уверенно летят его товарищи, и они знают, все знают о том, что находится под ними; летят, склонившись, как ученые, над картами, летят, всемогущие, под защитой ламп, прекрасных, как цветы... А что известно ему, кроме водоворотов, кроме ночи, которая со скоростью горного обвала гонит навстречу самолету свой бешеный черный поток! Не могут же люди оставить их здесь одних — среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. «Курс двести сорок...» Он ляжет на курс двести сорок... Но он — один.

Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, как машина ныряет вниз, мотор начинает так грозно трясти, что всю громаду самолета пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину; он больше не смотрит в ночь; он сидит теперь, глядя на гироскоп;

все равно уже не различить, где кончается чернота неба и начинается чернота земли. Все теряется, все сливается в первозданном мраке. А стрелки приборов дрожат все сильнее. И все труднее следить за ними. Обманутый их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется; он теряет высоту и все больше увязает в зыбучей тьме.

Прибор показывает высоту пятьсот метров. Это высота холмов. Пилоту чудится, что холмы бегут навстречу самолету головокружительными волнами. Что все эти глыбы земли, самая маленькая из которых может вдребезги разбить самолет, будто сорвались со своих креплений, отвинтились и начинают, как пьяные, кружить вокруг него, танцуя какой-то непостижимый танец, все теснее и теснее смыкая кольцо.

И пилот принимает решение. Он посадит самолет где придется, с риском расплющить его о землю. И, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь единственную осветительную ракету. Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолетом — море.

Молнией мелькает мысль: «Погиб. Даже при поправке в сорок градусов меня снесло. Это циклон. Где же земля?» Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает: «Уж теперь-то, без ракеты, я разобьюсь». Рано или поздно это должно было случиться. А его товарищ там, позади... «Он снял антенну — наверняка». Но Фабьен больше не сердится на него. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки, и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой праха. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца — товарища и свое... И вдруг он пугается собственных рук.

Воздушные вихри бьют по самолету, точно таран. Чтобы ослабить тряску штурвала, которая может оборвать тросы управления, он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг перестает ощущать свои руки,— они будто заснули, утомленные страшным усилием. Он пробует пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они еще слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами, а чем-то чужим. Какими-то вялыми и бесчувственными отростками. «Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы...» Но он не знает, дойдет ли эта мысль до его рук. Сотрясения штурвала Фабьен чувствует теперь только по боли в плечах. «Штурвал ускользнет от меня. Руки разожмутся». Но он пугается этой мысли; ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленнно разжимаются в темноте — и предают его.

Фабьен мог бы продолжить битву, мог бы еще и еще раз попытать счастье; ведь рок — как внешняя сила — не существует. Но существует некий внутренний рок: наступает минута, когда

человек вдруг чувствует себя уязвимым,— и тогда ошибки затягивают его, как головокружение...

И вдруг, как раз в одно из таких мгновений, грозовые тучи внезапно разорвались, и в их разрыве, прямо над его головой, засверкала, словно приманка в глубине таящих гибель силков, кучка звезд.

Он понял, что это ловушка: видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним и потом уже не можешь спуститься — и грызи теперь свои звезды...

Но пилот так изголодался по свету, что устремился вверх к звездам.

XVI

Он поднялся. Теперь, благодаря звездным ориентирам, стало немного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звезд притягивает к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом! Он теперь ни за что не ушел бы даже от самого смутного мерцания. Огонек постоялого двора показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая, до самой смерти, вокруг этого желанного знамения...

И вот он возносится к светлым полям.

Поднимается медленно, по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним. И по мере того как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становятся все чище, все белее. И вот Фабьен вырывается из облаков.

Он поражен, ослеплен неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно ярки,— полная луна и блеск всех созвездий превратили их в лучезарные волны.

Одним прыжком вынырнув из туч, самолет в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. Сюда не доходила ни малейшая зыбь. Точно лодка, миновавшая мол, самолет зашел в защищенные воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря, в укромной бухте зачарованных островов. Внизу, под самолетом, бушует ураган; там совсем другой мир, толща в три тысячи метров, пронизанная бешеными порывами ветра, водяными смерчами, молниями; но этот мир урагана обращает к звездам лицо из хрусталя и снега.

Фабьену мнится, что он достиг преддверия рая: все вдруг засверкало — руки, одежда, крылья. Свет идет не от звезд; он бьет снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс.

Тучи, распластавшиеся под самолетом, отражают снежный блеск, полученный ими от луны. Они блестят, лучатся и слева

и справа, высокие, как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается бортрадист.

— Дело пошло на лад!— кричит радист.

Но голос тонет в шуме полета, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я окончательно сошел с ума,— думает Фабьен.— Я улыбаюсь... А мы погибли».

Но все-таки тысячи темных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы, как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов.

«Чересчур красиво»,— думает Фабьен. Он блуждает среди звезд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада; он блуждает в мире, где, кроме него, Фабьена, и его товарища, нет ни единого живого существа. Подобно ворам из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней — бесконечно богатые, но обреченные.

XVII

Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Комодоро-Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, и сразу все те, кто, томясь бессилием, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом.

Они склонились к ярко освещенному листку чистой бумаги. Рука радиста еще колебалась в нерешительности, она еще держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался.

— Грозы?

Он кивнул. Треск разрядов мешал ему.

Вот радист начертил несколько неразборчивых значков. Потом слова. И уже можно разобрать текст:

«Блокированы над ураганом, высота три тысячи восемьсот. Идем прямо на запад, в глубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, ушли уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря».

Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось, из-за грозы, пересылать ее по цепочке, от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке.

Буэнос-Айрес распорядился ответить:

— Буря над всем материком. Сколько у вас осталось бензина?

— На полчаса.

И эта фраза — от дежурного к дежурному — достигла Буэнос-Айреса.

Экипаж был обречен: меньше чем через тридцать минут он погрузится в циклон, который понесет его к земле.

XVIII

А Ривьер размышляет. Больше не остается ни малейшей надежды — экипаж погибнет где-то в ночи.

Ривьер вспоминает потрясшую его в детстве картину. Из пруда спускали воду, чтобы найти тело утопленника... И экипаж тоже не будет найден до тех пор, пока не схлынет с земли этот океан тьмы, пока снова не проступят в дневном свете пески, равнины, хлеба. Быть может, простые крестьяне найдут двух детей, которые словно спят, прикрыв лицо руками, среди трав и золота мирного дня. Но они мертвы — ночь уже потопила их.

Ривьер думает о сокровищах, погребенных в глубинах ночи, как в сказочных морях... Ночные яблони жадно ждут зари, ждут всеми своими цветами, которым еще не довелось раскрыться. Ночь богата, полна запахов, спящих ягнят, полна цветов, еще лишенных красок.

Тучные нивы, влажные рощи, прохладные луга медленно встанут навстречу заре. Но среди холмов, теперь совсем безобидных, среди пастбищ и ягнят, среди всей этой кротости земли останутся лежать, словно погрузившись в сон, двое детей. И какая-то частица зримого мира легкой струйкой перельется в иной мир.

Ривьер знает жену Фабьена, беспокойную и нежную: ей дали лишь прикоснуться к любви — так ненадолго дают игрушку бедному ребенку.

Ривьер думает о руке Фабьена, которая пока — ей остались считанные минуты — держит штурвал, держит свою судьбу. О руке, которая умела ласкать. О руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука бога. О руке, что прикасалась к лицу, и лицо преображалось. О чудотворной руке.

Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями — вечность. Он заблудился среди созвездий. Он единственный житель звезд. Он пока еще держит мир в своих руках, укачивает его, прижав к груди. Фабьен сжимает штурвал, в котором заключен для него груз человеческих богатств, и несет в отчаянии от звезды к звезде бесполезное сокровище, которое ему скоро придется выпустить из рук...

Ривьер думает о том, что радиостанция еще слышит Фабьена. Лишь одна музыкальная волна, полная минорных пе-

реливов, еще связывает Фабьена с миром. Не жалоба. Не крик. Нет, самый чистый из звуков, когда-либо порожденных отчаянием.

XIX

Робино нарушил одиночество Ривьера:

— Господин директор, я подумал... может быть, все же попробовать...

У Робино не было никаких предложений; он просто хотел засвидетельствовать свою добрую волю. Он был бы счастлив найти какое-нибудь решение, он искал его как разгадку ребуса. Но обычно выходило так, что Ривьер и слушать не хотел об инспекторских решениях. «Видите ли, Робино,— говорил Ривьер,— в жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения». Итак, Робино должен был ограничиться ролью творца движущейся силы среди сословия механиков; силы довольно жалкой, которая предохраняла от ржавчины втулки винтов.

А перед лицом событий нынешней ночи Робино оказался безоружным. Его инспекторское звание не давало ему, оказывается, никакой власти над грозами и над призрачным экипажем, который, право же, боролся сейчас уже отнюдь не ради получения премии за точность. Экипаж сейчас стремился уйти от того единственного взыскания, которое снимало все взыскания, налагаемые инспектором Робино,— уйти от смерти.

И никому не нужный Робино бесцельно слонялся из комнаты в комнату.

Жена Фабьена попросила доложить о себе. Мучимая тревогой, она сидела в комнате секретарей и ждала, когда Ривьер ее примет. Секретари украдкой поглядывали на нее. Это ее смущало; она боязливо осматривалась. Все здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка черствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене... Дома все кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов... А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь все было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо)— услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: «...опись динамо-машин, черт побери, которые мы послали в Сантос!» Симона посмотрела на этого человека с

безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где висела карта. Ее губы слегка дрожали.

Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой.

Но ее правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к ее лицу и читали на нем эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить.

Ривьер принял ее.

Она пришла, чтобы робко защищать свои цветы, свой поданный на стол кофе, свое юное тело. В этом кабинете, еще более холодном, чем другие комнаты, ее губы опять задрожали. Симона поняла, что не сможет выразить свою правду в этом чуждом мире. Все, что восставало в ней: ее горячая, как у дикарки, любовь, ее преданность — все это здесь могло показаться чем-то докучливым и эгоистичным. Ей захотелось отсюда бежать.

— Я вам помешала?..

— Вы мне не мешаете, сударыня,— ответил Ривьер.— Но, к сожалению, нам с вами остается только одно: ждать.

Она еле заметно пожала плечами, и Ривьер понял смысл этого движения: «Зачем мне тогда лампа, и накрытый к обеду стол, и цветы — все, что ждет меня дома...» Одна молодая мать однажды призналась Ривьеру: «До сих пор до меня не доходит, что ребенок мой умер... Об этом жестоко напоминают разные мелочи: вдруг попадается на глаза что-нибудь из его одежды... Просыпаешься ночью, и к сердцу подступает такая нежность — нежность, никому не нужная, как мое молоко...» Вот и эта женщина начнет завтра с таким трудом свыкаться со смертью Фабьена, обнаруживая ее в каждом своем — отныне бесплодном — движении, в каждой привычной вещи. Фабьен будет медленно покидать их дом.

Ривьер скрывал глубокую жалость.

— Сударыня...

Молодая женщина уходила, улыбаясь чуть ли не униженной улыбкой, уходила, не догадываясь о своей собственной силе.

Ривьер тяжело опустился в кресло.

«А она помогает мне открыть то, чего я искал...»

Рассеянно похлопывал он по стопке телеграмм, сообщавших о погоде над северными аэродромами, и думал:

«Мы не требуем бессмертия; но нам невыносимо видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается окружающая нас пустота...»

Его взгляд упал на телеграммы.

«Вот такими путями и проникает к нам смерть: через эти послания, которые утратили теперь всякий смысл...»

Он посмотрел на Робино. Этот недалекий и бесполезный сейчас малый тоже утратил всякий смысл. Ривьер бросил ему почти грубо:

— Что же, прикажете, чтобы я сам нашел вам дело?

Ривьер толкнул дверь, которая вела в комнату секретарей, и исчезновение Фабьена стало для него очевидным, поразило его: он увидел те признаки, которых не сумела увидеть госпожа Фабьен. На стенной диаграмме, в графе оборудования, подлежащего списанию, уже значилась карточка РБ-903 — самолет Фабьена.

Служащие, готовившие документы для европейского почтового, работали с прохладцей, зная, что вылет задерживается. Звонили с посадочной площадки — требовали инструкций для команд, чье дежурство стало бесцельным. Все жизненные функции были точно заморожены. «Вот она, смерть!» — подумал Ривьер. Дело его жизни легло в дрейф, словно парусник, застигнутый штилем в открытом море.

Он услышал голос Робино:

— Господин директор... они женаты всего полтора месяца...

— Идите работать.

Ривьер все еще смотрел на секретарей и видел за ними подсобных рабочих, механиков, пилотов, видел всех тех, кто своей верой созидателей помогал ему в его труде. Он подумал о маленьких городках давних времен. Услышав об «Островах», их жители построили корабль и нагрузили его своими надеждами. Чтобы все увидели, как их надежды распускают паруса над морем. И люди выросли, вырвались из узкого мирка; корабль принес им освобождение. «Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю, эти люди обрели бессмертие».

И если Ривьер вернет телеграммам их подлинный смысл, если он вернет дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам — их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораблей в открытом море.

XX

Комодоро-Ривадавия больше ничего не слышит, но спустя двадцать минут Байя-Бланка, расположенная за тысячу километров от Комодоро, ловит второе послание:

«Спускаемся. Входим в облака...»

Потом — два слова из невнятного текста доходят до радиостанции Трилью:

«...ничего разглядеть...»

Таковы уж короткие волны. Там их поймаешь, здесь ничего не слышно. Потом вдруг все меняется без всякой причины. И экипаж, летящий неведомо где, возникает перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И слова, проступающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений.

Кончился бензин? Или перед лицом неизбежной аварии пилот решил сделать последнюю ставку: сесть на землю, не разбившись о нее?

Голос Буэнос-Айреса приказывает Трилью:

«Спросите его об этом».

Аппаратная радиостанции похожа на лабораторию: никель, медь, манометры, сеть проводов. Дежурные радисты в белых халатах молчаливо склонились над столами, и кажется, будто они проводят какой-то опыт.

Чуткими пальцами прикасаются радисты к приборам; они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу.

— Не отвечает?

— Не отвечает.

Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолет и его бортовые огни снова поднимаются к звездам, быть может, удастся услышать, как поет эта звезда...

Секунды текут. Они текут, как кровь. Продолжается ли полет? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время — разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха; теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, нависли над экипажем: пружина каждый миг грозит развернуться.

Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех Фабьена, его улыбку. Все ширится власть молчания. Оно наливается тяжестью, наваливаясь на экипаж, как толща океана.

Кто-то говорит:

— Час сорок. Бензин весь. Не может быть, чтобы они еще летели.

Наступает тишина.

На губах какой-то горький, неприятный привкус, как в конце долгого пути. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутное чувство отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль — та самая, что царит над разрушенными заводами. Оборудование кажется тяжелым, ненужным, бесполезным — кажется грузом мертвых сучьев.

Остается ждать дня.

Через несколько часов Аргентина всплывет из глубин навстречу дню, и люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нем — неизвестно...

Ривьер в своем кабинете ощущает ту горькую опустошенность, которую познаешь только в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего не может сделать. Только ждать.

Но порядок должен царить даже в доме умершего. Ривьер делает знак Робино:

— Дайте телеграмму северным аэродромам: предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским.

Слегка сутулясь, Ривьер склоняется над столом. Потом делает над собой усилие, заставляет себя вспомнить что-то важное... Ах да! И, чтобы снова не забыть, зовет:

— Робино!

— Да, господин Ривьер.

— Набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать тысячу девятьсот оборотов. Они калечат мне моторы.

— Хорошо, господин Ривьер.

Ривьер сутулится еще больше. Хорошо бы сейчас побыть одному.

— Идите, Робино. Идите, старина.

И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков.

XXI

Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась: ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, видимо, отменено, и самолет вылетит

только с рассветом. Служащие с хмурыми лицами еще дежурили, но их дежурство было бесцельным. С северных аэропортов метеосводки еще поступали с обычной регулярностью; но все эти слова о «ясном небе», о «полной луне» и «совершенном безветрии» вызывали теперь лишь представление о каком-то мертвом царстве. Лунная, каменистая пустыня...

Перебирая без всякой цели папку с бумагами, над которыми трудился заведующий бюро, Робино вдруг обнаружил, что тот стоит прямо перед ним с нагло-почтительным видом — в ожидании, когда ему вернут наконец его папку. Казалось, он говорил: «Разумеется, как вам угодно, но все же это мои бумаги...» Такое поведение подчиненного покоробило инспектора; но он не нашелся что сказать и раздраженно протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на свое место с выражением величайшего благородства. «Мне следовало послать его ко всем чертям»,— подумал Робино. И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечет за собой опалу для Ривьера и всей его политики. Робино страдал и за Фабьена и за Ривьера.

Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своем кабинете, Ривьера, который сказал ему: «Старина...» Никогда еще человек так не нуждался в поддержке. Робино от души пожалел Ривьера. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватил порыв, показавшийся ему прекрасным. Робино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню, входил почти как друг; ему представлялось, что он сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы разгрома и, как брат, идет вместе с ним в изгнание. Казалось, Робино хотел сказать: «Что бы ни случилось, я всегда с вами».

Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал высокие слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию; но каждый раз, подымая глаза, он видел перед собой склоненную голову, седые волосы, горько — о, как горько!— сжатые губы. Наконец он решился:

— Господин директор...

Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствия Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты и какая печаль охватила его сердце... Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, слов-

но на живого свидетеля каких-то событий. Робино смутился. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для Робино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел Робино. И Ривьеру все больше казалось, что Робино с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманными намерениями пришел сюда живым свидетельством человеческой глупости.

Робино охватило сомнение. Сержант, генерал, град пуль — все оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер все смотрел на него. И Робино невольно даже переменил позу, вытащил руку из левого кармана. Ривьер все смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, Робино произнес:

— Я пришел за распоряжениями.

Ривьер вынул часы и просто сказал:

— Два часа. Почтовый из Асунсьона приземлится в два десять. Прикажите дать отправление европейскому почтовому в два пятнадцать.

И Робино разнес по конторе удивительную весть: ночные полеты не отменены. Он обратился к заведующему бюро:

— Принесите мне ту папку, я проверю ее.

Когда заведующий бюро подошел к нему, Робино сказал:

— Ждите.

И заведующий бюро ждал.

XXII

Почтовый из Асунсьона дал сигнал: «Иду на посадку».

Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсьонского самолета. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полете были провозвестниками тысяч других столь же счастливых полетов. «Не каждую же ночь свирепствуют циклоны». Ривьер думал также: «Путь проложен — сворачивать нельзя».

Спускаясь из Парагвая по ступенькам аэродромов, словно выходя из чудесного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолет скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к окошкам, словно к витринам с драгоценностями: маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые четки, а над ними отливало нежным блеском золото звездных городов. Впереди пилот поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней; в его больших, широко раскрытых глазах козопаса отражалась луна. Буэнос-Айрес уже зали-

вал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу. Пальцы радиста посылали последние радиограммы — точно финальные звуки большой сонаты, которую он весело отбарабанил в небе и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер; потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся: прибыли!

Посадив машину, летчик увидел пилота европейского почтового; тот стоял, заложив руки в карманы и привалившись спиной к своему самолету.

— А! Это ты повезешь почту дальше?

— Да.

— Патагонец уже здесь?

— Его и не ждут. Пропал без вести. Погода хорошая?

— Великолепная. Значит, Фабьен пропал?

Они не стали много говорить на эту тему. Ощущение великого братства избавляло их от необходимости произносить громкие слова.

Мешки с асунсьонской транзитной почтой перегружались в европейский самолет; пилот, по-прежнему не шевелясь, закинув голову и прислонившись затылком к кабине, смотрел на звезды. Он чувствовал, как рождается в нем огромная сила, как затопляет его могучая радость.

— Погрузили? — спросил чей-то голос. — Тогда — контакт!

Пилот все не шевелился. Запустили мотор. Плечами, прижатыми к самолету, пилот ощутил, что самолет ожил. Наконец-то, после стольких ложных слухов — летим... не летим... летим...— пилот мог быть спокоен. Его рот приоткрылся; при свете луны сверкнули зубы, словно зубы молодого хищника.

— Осторожно... ночью... эй!

Он не слышал советов товарища. Засунув руки в карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, горам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был неслышным, но он пронизал его, пробежав по всему телу, как ветерок пробегает по листве. Смех был совсем неслышным, но он был гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и морей.

— Что это на тебя нашло?

— Этот болван Ривьер воображает... что... что мне страшно!

XXIII

Через минуту он взлетит над Буэнос-Айресом, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. Услышать, как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд.

Скрестив руки, Ривьер проходит мимо секретарей. Он останавливается перед открытым окном, слушает и размышляет.

Если бы он отменил один-единственный вылет, дело ночных полетов было бы проиграно. Но, опережая тех слабых, которые завтра от него отрекутся, Ривьер выпустил в ночь еще один экипаж.

Победа... поражение... эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах; она уже рождает новые образы. Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нем новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может стать уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчет: движение событий.

Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом — решение всех задач.

Уже взлетает к небу мелодия органа: самолет.

Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер Победитель, несущий груз своей трудной победы.

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ



Анри Гийоме,
товарищ мой,
тебе посвящаю эту книгу.



Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути,— приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей...

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях,— быть может, иные и отзовутся.

I. ЛИНИЯ

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза — Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане — они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс,— и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни,

где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое, и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи,— так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову — и рассмеялся. Это было чудесно — Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец, однажды вечером, вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

— Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

— Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда,— и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало — конец и самолету!» — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер, на прощание, медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

— Конечно, это недурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но...

И еще медлительнее, с расстановкой:

— ...но помните, под морем облаков — вечность...

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие — западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов,— но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок,— случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты.

Гийоме встретил меня улыбкой.

— Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

— Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

От него исходила уверенность, как от лампы — свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто:

— Неприятности у тебя будут — гроза, туман, снег,— без этого не обойдешься. А ты рассуждай так: летали же другие, они через это прошли, значит, и я могу.

Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга — и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы.

Странный то был урок географии! Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадисе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадиса. «Берегись, отметь их на карте...» И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки. О жизни этой фермы. О ее хозяине. И о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды,— подобно смотрителям маяка эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем.

Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Мотриля — кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. «Берегись этого ручья, он портит поле... Нанеси его тоже на карту». О да, я буду помнить про мотрильскую змейку! Она выглядела так безобидно, своим негромким журчаньем она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала вполглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня...

Готов я был и к встрече с драчливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того гляди, бросятся на меня. «Посмотришь — на лугу пусто, и вдруг — бац!— прямо под колеса кидаются все тридцать баранов...» И я изумленно улыбался столь коварной угрозе.

Так понемногу Испания на моей карте, под лампой Гийоме, становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Со всей точностью наносил на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке,— пастушку, которой пренебрегают географы.

Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревавших прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали.

До них не доходили и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага...

А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены напоказ все земные блага,— и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, на что мне искристый хрусталь — украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы,— рейсовый пилот, я уже вкусил от горького плода ночных полетов.

В три часа меня разбудили. Я распахнул жалюзи, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно, истово оделся.

Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобус. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них вот так же сжималось сердце! Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный, дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе, трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов... Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром — и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту,— тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Оспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем; и тогда он волен будет избрать любой путь — в обход, над морем или на приступ, напрямик через Алкойский кряж,— он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой и безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дожди и снега, и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте.

Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе (не было сказано и десятка слов) я узнал о гибели Лекривэна, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки.

Была такая же рань — три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора:

— Лекривэн не приземлился ночью в Касабланке.

— А?— отозвался инспектор.

Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе.

— А, что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?

Из глубины автобуса ответили только:

— Нет.

Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше и не будет сказано, что это «нет» — жестокий и окончательный приговор: Лекривэн не только не приземлился в Касабланке — он уже никогда и нигде не приземлится.

Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку, и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да... не очень-то мне везет для первого рейса...» — подумал я. И сказал инспектору:

— Погода как будто неважная?

Инспектор устало покосился на окно.

— Это еще ничего не значит,— проворчал он, помедлив.

Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас «старики», но тут они опять пришли мне на память: «Если пилот не изучил

всю трассу назубок да попадет в снежную бурю... одно могу сказать, жаль мне его, беднягу!..» Надо же им было поддержать свой авторитет, вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками.

И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было — шестьдесят? Восемьдесят? Всех их ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся: в темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников... Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж?

Я прислушивался к разговорам вполголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы.

Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе; ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то.

Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир — через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам.

Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы в глубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь наудачу, самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы,— но это уже не горы,

это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте,— и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс.

И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают: «0 часов 40 минут. Курс 230. На борту все благополучно».

Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из Небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями.

И все же с каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии,— и кажется, уже не будет возврата.

Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-о-Нуар. С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов,— словно на глазах воздвигали стену,— потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве.

Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными,— черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны вставшего дыбом океана,— четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и, лишь когда Пот-о-Нуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться.

Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира: в ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нери с толку. Неожиданно сквозь просвет

в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем.

Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку. А между тем луна уже заходила. Все труднее становилось производить измерения сноса — и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом, в тусклой мертвой пустоте.

Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем... Пеленг дать не можем...» — повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда.

И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нери наклонился ко мне, и я услышал — он поет! Конечно же, это аэродром, конечно же, маяк! Ведь больше здесь нечему светить — по ночам вся огромная Сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда, всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс...

А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию.

— Видим огонь,— передавал Нери аэродрому в Сиснеросе.— Трижды погасите и зажгите маяк.

Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили,— неподкупная звезда.

И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок: уж теперь-то впереди настоящий маяк! Уж теперь-то это аэродром — и жизнь!.. И опять мы меняли звезду.

Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог...

Единственная планета... Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь, и вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано! Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие бистро на рассвете уже открыты... Мы уся-

демся за столик, нам подадут свежие подковки и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок: чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы — в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее.

Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светила.

Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот наконец этот дар небес у меня в руках.

К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за две тысячи километров, когда мы плутали где-то над морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание: при вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба; нелегкая это была задача — остаться в живых, а тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились — напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие: здесь мы сами себе хозяева! Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны? Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство луны...

Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был — сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели...» Они — это означало: все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И, перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий.

Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сиснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду, мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И, на беду, в лучшем случае нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что скорее всего мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора.

Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти: «Сиснерос пробует определить, где мы. Сиснерос передает: предположительно двести шестнадцать...» Сиснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерос пробуждался, мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом — и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ: «Горючего осталось на час, продолжаем курс девяносто три».

Между тем один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса — Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога: радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот — наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности!

И вдруг издалека, за четыре тысячи километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета — Ф...? (Сейчас я уже не помню номер.)— Да.— Тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа. У вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос».

Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но, для того чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную

ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, встающая на горизонте, для летчика не декорация: она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает, они говорят на одном языке. А вот высится гора, до нее еще далеко,— чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь вслепую, уклонясь в сторону, с трудом исправляешь курс и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна-единственная мина — игрушка подводных течений — отравляет все море.

Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой: с высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь. Эти пальмы для него — как огромные ядовитые цветы.

И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков,— он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысяче примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную, погожую ночь. Поначалу казалось — самолет отдаляет человека от природы,— но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий — и, одинокий, он отстаивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами: с горами, морем и бурей.

II. ТОВАРИЩИ

1

Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка — Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами.

Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему

дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся навстречу между двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других.

И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен.

Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и вновь стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина.

Назавтра он начал все сначала.

Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи.

В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела.

Он справился и с этим и проложил путь другим.

Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту и экипаж.

Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его. Но он возвращался — и снова отправлялся в путь.

Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор. И наступило молчание.

Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло десять минут — и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса, стали на тревожную вахту. Ибо если в обыденной жизни десять минут опоздания — пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен.

Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя — товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которыми столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой — так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп.

Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет,— таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного.

Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым на посту, не перемолвиться словом. И только случай порою то здесь, то там вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна и богата. Богата потаенными оазисами дружбы — они скрыты от глаз, и до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют — молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат! А ждать — ждать мы привыкли...

Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур — не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь.

Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени.

Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь.

Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком.

Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.

Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого,— да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые испытания.

Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты — всесилен.

Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветила яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой.

Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается,— ночь в непокоренном районе Сахары.

Мы — три самолета компании «Аэропосталь» — застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель — у него заклинило рули; на выручку прилетел другой товарищ, Бурга, однако пустячная поломка и его приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться впотьмах, а ждать утра.

Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурп и Эрабль — и непокоренные мавры их

убили. Мы знали, что и сейчас где-то у Бохадора стоит лагерем отряд в триста ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу,— и эта ночь может стать для нас последней.

Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение.

Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасенье, или мавров. И уж не знаю почему, но было в этой ночи что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили, пели.

Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов. Но за этим скудно освещенным столом горсточка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается — все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря.

2

Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении.

Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано названия. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживаются и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику: как равный становится он лицом к лицу с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности, приступает к работе во всеоружии своих сил и уменья.

Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства!

Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: «Будет буря». Ты видишь, что тебе предстоит, и готовишься к встрече.

Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую.

Зимой ты ушел в рейс через Анды — и исчез, пятьдесят часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. Пять дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать два самолета! Казалось, и сотне эскадрилий за сто лет не обшарить все это неоглядное нагромождение гор с вершинами, уходящими ввысь на семь тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради пяти франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже,— говорили они.— Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. «Сейчас зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда». А потом я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских столпов Анд, и мне казалось — я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву.

А на седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул — всего лишь два слова:

— Гийоме жив!

И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись.

Через десять минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собою двух механиков — Лефевра и Абри. А еще через сорок минут приземлился на дороге, шестым чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча, мы все плакали, мы душили тебя в объятьях,— ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо! Вот тогда ты сказал — и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости:

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Позже ты нам рассказал, как все это случилось.

Двое суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега, видимости не было никакой — и летчики американской авиакомпании повернули назад.

А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков — они кончались на высоте шести тысяч метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг шести с половиной тысяч — и взял курс на Аргентину.

Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает — и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином,— и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает.

— Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему,— рассказывал ты.— Кажется, будто облака неподвижны, но это просто потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними — нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах.

А какие громоздились облака!..

— Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтоб меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с шести тысяч метров до трех с половиной.

Тут я увидел под собой черное плоское пространство, оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине, и одна ее сторона — вулкан Маипу — поднимается на шесть тысяч девятьсот метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и, попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте тридцати метров, пока не кончилось горючее. Два часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел — и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся — опять сбило. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так двое суток.

А потом буря утихла, и я пошел. Я шел пять дней и четыре ночи.

Но что от тебя осталось, Гийоме! Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха! В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался, и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов. Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок, прекрасные орудия твоего труда, твои руки одеревенели и отказывались тебе служить; а когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути — бредешь, и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя — назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который раз, ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом.

Я поил тебя всякими целительными снадобьями:

— Пей, старик!

— И понимаешь, что было самое удивительное...

Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось — вот ты идешь в лютый сорокаградусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте четырех с половиной тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь, и силы, и рассудок, и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей; возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть; падаешь, и вновь поднимаешься, и не даешь себе хотя бы краткой передышки — ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь.

Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел, стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха — и уже не слушались омертвевшие мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну.

— В снегу теряешь всякое чувство самосохранения,— говорил ты мне.— Идешь два, три, четыре дня — и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать. Но я говорил себе — если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь!

И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались твои обмороженные распухшие ноги.

Ты поразил меня одним признанием!

— Понимаешь, уже со второго дня самое трудное было не думать. Уж очень мне было скверно, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду, голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности. Неминуемо. И тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое...

Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег — и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире — раз, два, три... а там десятая — и конец.

— Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось — чего ради тянуть эту пытку?

Довольно было закрыть глаза — и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство: сомкнешь веки, и все пропадает — ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол — непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и, словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора.

Даже совесть твоя утихла. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали, как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху, невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал приветлив и ласков! И ты, скупец, решил отнять у нас радость своего возвращения.

В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль.

— Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если...

Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через четыре года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет ле-

то, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в пятидесяти метрах перед тобою торчит утес.

— Я подумал — если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут.

А поднявшись на ноги, ты шел еще две ночи и три дня.

Но ты вовсе не надеялся уйти далеко.

— По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые два часа или около того мне приходилось останавливаться — то еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь: опять я что-нибудь да забыл! Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя, не поднял. Потом забыл часы. Потом перочинный нож. Потом компас. Что ни остановка, то потеря...

Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново...

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Опять мне приходят на память эти слова — я не знаю ничего благороднее, эти слова определяют высокое место человека в мире, в них — его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так, значит, наше тело лишь послушное орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоме, и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова:

— Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце начало сдавать... Ну и вот, ползу я по круче, подо мной — обрыв, пропасть, пробиваю в снегу яму, чтоб сунуть кулак, и на кулаках повисаю,— и вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да неуверенно, неровно. Чувствую — помешкай оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь — как оно там, внутри? Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты — собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю — а ну-ка, еще разок! Постарайся еще... Но сердце оказалось первый сорт. Замрет — а потом все равно опять работает... Знал бы ты, как я им гордился!

Задыхаясь, ты наконец засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей постели и думал: если заговорить с Гийоме о его мужестве, он только пожмет плечами. Но и восхвалять его скромность

было бы ложью. Он выше этой заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает — люди, застигнутые катастрофой, уже не боятся. Пугает только неизвестность. Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть неизвестностью. А особенно — если встречаешь ее вот так спокойно и серьезно. Мужество Гийоме рождено прежде всего душевной прямотой.

Главное его достоинство не в этом. Его величие — в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там внизу, у живых, он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечеста — ведь они зависят и от его труда.

Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир.

И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками. Расхваливают их презрение к смерти. А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его не в сознании ответственности, оно — лишь свойство нищих духом, либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца. Уж не знаю, какая несчастная любовь толкнула его на это, но он старательно всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он следовал, натягивая перед этим белые перчатки, но помню — в этом жалком театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать человеческий разум, ничего не было, ровно ничего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких на свете великое множество.

Эта бессмысленная судьба напомнила мне другую смерть, поистине достойную человека. То был садовник, он говорил мне:

— Бывало, знаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь потом... Ревматизм мучит, ноги ноют, кляну, бывало, эту каторгу на чем свет стоит. А вот нынче копался бы и копался в земле. Отличное это дело! Так вольно дышится! И потом, кто теперь станет подстригать мои деревья?

Он оставлял возделанную землю. Возделанную планету. Узы любви соединяли его со всеми полями и садами, со всеми деревьями нашей земли. Вот кто был ее великодушным, щедрым хозяином и властелином. Вот кто, подобно Гийоме, обладал истинным мужеством, ибо он боролся со смертью во имя Созидания.

III. САМОЛЕТ

Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхание моторов, опираться на пятнадцать тонн металла; задачи, встающие перед тобою, в конечном счете — задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, возник над черной землей первый слабый проблеск, первый сноп света. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник — и возвращал тебе жизнь.

Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель. Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как и плуг.

Нам кажется, будто машина губит человека,— но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, сто лет истории машины — это так мало! Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова — разлука, отсутствие, даль, возвращение,— но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе,— но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку.

Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы — скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну.

Все мы — молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех выше, всех быстрее. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях поселился колонист! Упи-

ваясь своими успехами, мы служили прогрессу — прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать.

Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромнее и незаметнее. Кажется, будто все труды человека — создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным — уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — это уже почти не машина.

Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь.

Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже не помним, что там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты.

В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг, на удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость, и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде

зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец мощь его вполне созрела — и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.

IV. САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА

1

Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее.

Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису.

И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь.

И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций — они украшают собою долины и

кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во вселенной. Мы заново перечитываем свою историю.

2

Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый Везувий: прямо на равнине разинуты жерла гаубиц.

Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного орга́на. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников.

Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом догорающего дня, равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица — жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое наконец облеклось доброй плотью земли.

Незадолго до Пунта-Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы.

И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилась между древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это чудо — человек. Редкостная удача! Бог весть как, бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху — краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней.

Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь: непостижимое

существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами, лебедю знакомы все лебеди — и только люди замыкаются в одиночестве.

Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир. Между мною и этой девушкой стоят ее мечты — как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая не спеша возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей возлюблённого, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди — просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество.

Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда набрать воды; их удел — тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок; только это я о нем и запомню: славный малыш, навеки безутешный. Я чужой. Я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владения.

До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды, и дружбы, и радостей! Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега,— откуда же у них эта тяга к вечности! Ведь их цивилизация — лишь хрупкая позолота: заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря — и они сгинут без следа.

Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле, полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Бос[1]. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь — это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от Пунта-Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо — в нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам, и ни днем, ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь, единственная ветхая лодка,— а под всем этим — воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. Окрест, до самого Магелланова пролива, под тонкой пленкой трав и цве-

---

[1] Область в Центральном массиве (Франция).

тов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот — город, кажется, он надежно построен на обжитой земле, и здесь ты дома,— а у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря.

3

Мы живем на планете-страннице. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство,— но я встречал и другие приметы.

Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они состоят из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье.

В те годы воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только начиналось, наши машины были еще хрупки и ненадежны — и, когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив: понадеешься на его плотность — и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается — и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий — здесь-то не скрывалось никакой западни.

Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок — громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь — это видно было по срезу — все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк.

И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо.

Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но мне радостно бы-

ло ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни.

В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил. Незапятнанно чистая скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернел камень.

Под ногами лежала трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни — плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты,— каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал свою находку — плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза.

На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль,— никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом.

И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали,— ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку.

Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетия огненный ливень.

4

Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором мог отразиться, как в зеркале, этот огненный дождь. Среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье — чудо. А они приходили, раздумья...

Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может, безмолвие капкана,— и в этой тишине я уснул.

Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня, за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти головокруженья я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину.

Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И странно умиротворенный, я предавался ей всей своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Всем телом я чувствовал — земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось — моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля.

Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной баржи. Но земные толщи хранили безволвие. Но плечами я ощущал силу притяжения — все ту же, гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я неотделим от родной планеты,— так и гребцы затонувшей галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском.

Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал: на то, чтоб возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели и месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд, я сознавал, что обладаю только одной радостью — дышать...

Зато вдоволь было снов наяву.

Они нахлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда она, эта охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял — и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти.

Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек, что за важность, если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза: он существует — и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя — в этом доме я родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах — и то донеслось до меня. Мне так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже лягушек.

Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка-домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала, пересчитывала. «Вот несчастье!» — восклицала она, заметив малейший признак обветшания,— ведь это грозило незыблемости всего дома! — и сейчас же подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении чему-то великому — уж не знаю, какому богу или кораблю.

Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке, с каждым годом у тебя прибавлялось морщин и седины, но ты все так же утопала по колена в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив тебя и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно приходил домой в изорванной рубашке («Вот несчастье!») и с ободранными коленками, и по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель, я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света, и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны! Ну конечно, говорила ты, мальчики всегда носятся как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко

за пределы нашего парка! Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень. Ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом, без кровати, без простынь...

— Вот дикарь! — говорила ты.

Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой...

Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству.

Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение, оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть! Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем все эти достоверности. Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены — наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности — и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где, точно воды родника, рождаются грезы...

Сахара моя, Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха!

V. ОАЗИС

Я уже столько говорил вам о пустыне, что, прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром — он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник — города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны и, словно кровеносные сосуды, питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера — и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы — пленник лужайки посреди уснувшего парка.

Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной, и молчание ограждает душу маленькой девочки

надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис.

Расскажу об одной случайной стоянке в дальнем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии, но могло быть и где-нибудь еще: мир полон чудес.

Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете, меня подобравшей, ни в их стареньком форде не было ничего примечательного.

— Вы у нас переночуете...

И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом! Приземистая глыба, почти крепость. Но, едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель.

Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство; младшая, чуть надув губы, постучала о пол недавно срезанной палочкой; нас представили друг другу, девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку — и скрылись.

Это было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна.

— Да-да, они у нас дикарки,— простодушно сказал отец.

И мы вошли в дом.

Мне всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой — лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом, она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился.

Ибо все здесь обветшало и оттого было полно обаяния, точно старое замшелое дерево, со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья все колченогие... Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымыто, натерто, все так и сверкало.

И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок — все было великолепно, а лучше всего паркет: кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой, точно зыбкие мостки, но притом, навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом, к нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью, напротив — он внушал величайшее уважение. Уж конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарования, тепла и дружелюбия, а кстати прибавлялось и опасностей, подстерегавших вас на пути из гостиной в столовую.

— Осторожно!

В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра, это уж время постаралось. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили: «Дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но...» Не говорили также, хоть это и была чистая правда: «Город сдал нам этот дом на тридцать лет. Город и должен чинить. Посмотрим, чья возьмет...» До объяснений не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком:

— Да-да, обветшало немножко...

Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите — в эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости, и вот вы — как в гостях. Не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами — не дом, а приемная в мэрии!

Не диво, что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки! Сразу догадываешься, что стоит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика — и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, прадедушкины счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезные, поневоле начинаешь думать да гадать, для чего они, и уже мерещатся подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет.

— Не угодно ли пожаловать к столу?

Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхал разлитый повсюду, точно ладан, запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые старинные лампы, их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как во времена самого раннего моего детства, и от них на стенах оживали причудливые тени. Расцветали букеты огня, окаймленные пальмовыми листьями теней. А потом лампы водворялись на место, и островки света застывали неподвижно, а вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево.

Вновь появились обе девушки — так же таинственно, так же безмолвно, как прежде исчезли. И с важностью сели за стол. Конечно, они успели накормить своих собак и птиц, распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфет-

ки, они краешком глаза втихомолку следили за мной и примеривались — стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подданных, завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки — и все, от мангусты до пчел, их заслушивались.

И я ждал — вот сейчас эти две проказницы, беспощадным зорким взглядом насквозь пронизав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор — скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось:

— Одиннадцать![1].

И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я.

Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных, по походке своей лисы понимали, хорошо она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах.

Я любовался этой зоркой, строгой и чистой юностью, но мне было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить «одиннадцать», я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя.

Тут не помогла бы даже лесть: тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость: они были о себе столь высокого мнения, что я ничего похожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла — было бы слишком большой дерзостью залезть на вершину платана только для того, чтоб поглядеть, оперились ли птенцы, и дружески с ними поздороваться.

Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо удовлетворенная экзаменом, все же не преминула еще разок меня испытать; впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невиннейшим тоном — конечно же, в надежде меня ошеломить, окажись я все-таки недостойным варваром:

— Это гадюки.

---

[1] В учебных заведениях Франции принята двадцатибалльная система.

И умолкла очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение; тотчас обе, как ни в чем не бывало, склонились над тарелками, и лица у них были уж такие кроткие, такие простодушные...

У меня поневоле вырвалось:

— Ах, вон что... гадюки...

Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр — и это, оказывается, гадюки...

На свое счастье, я улыбнулся. И притом от души — притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что мне хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь:

— Под столом в полу дыра, тут они и живут.

— И к десяти вечера возвращаются домой,— прибавила младшая.— А днем они охотятся.

Теперь я уже украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко — живой лукавый ум, затаенная усмешка. И это великолепное сознание своей власти...

Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем. Но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг — прощанье с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настает день — и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить наконец кому-нибудь «девятнадцать». Этот высший балл — точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь дурак. И неизменно проницательный взор впервые обманывается — и видит дурака в самом розовом свете. Если дурак прочтет стихи, его принимают за поэта. Верят, что ему по душе ветхий, дырявый паркет, верят, что он любит мангуст. Верят, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам. Отдают ему свое сердце — дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны. И дурак уводит принцессу в рабство.

VI. В ПУСТЫНЕ

На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не смели о таких блаженных передышках: пленники песков, мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и не часто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оази-

сов не встретишь: сады, молодые девушки — это просто сказка! Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченнее становятся их нежные души. И сами они становятся все краше...

Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди песка и камня гаснет молодость,— но чудится, что там, вдалеке, стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях всколосились хлеба, расцвела красота женщин. Но время уходит, надо бы скорее возвратиться... Но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой... И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок дюн.

Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени, нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы — как пассажир скорого поезда: оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края,— но все неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка, ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца.

В пустыне и так было одиноко, а тут еще соседство непокорных племен. По ночам в Кап-Джуби каждую четверть часа, точно бой башенных часов, тишину разрывали громкие голоса: от поста к посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джуби, затерянный среди непокорных племен, защищался от таящихся во тьме опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, слушали, как перекликаются часовые — и голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки.

И все же мы любили пустыню.

На первых порах вся она — только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что́ она для тех, кому она — родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу,— ведь он все равно что в пустынях Тибета, к нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пусты-

ня — это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках...

Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие: от колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина, не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали, как любовь.

Сначала пески для нас просто пустыня, но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облик песков.

Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе, надо поверить в воду, как в бога.

2

Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем — Ригель, Гийоме и я — мы потерпели аварию неподалеку от форта Нуатшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил, точно узник, старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно.

— Это ведь не шутка — когда можешь поговорить с людьми... Это не шутка!

Да, мы видели, что это не шутка: он плакал.

— За полгода вы — первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан...

Мы еще не успели опомниться. В двух часах лету от Дакара, где нас ждут к завтраку, рассыпается подшипник, и это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком сержантом, и он плачет от радости.

— Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить! Вы только подумайте, в тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина!

Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и я ничего не выдумал. Сержант так и сказал:

— В последний раз и чокнуться-то было нечем... Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили.

Чокнуться! Выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок, все в форте до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней, предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался в

даль — быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд...

Но вина не осталось, нечем отметить праздник. Нечем чокнуться. И некуда деваться от позора...

— Я так хочу, чтоб он поскорей вернулся. Так его жду...

— А где он, сержант?

Сержант кивает на пески:

— Кто знает? Наш капитан — он везде!

И настала ночь, мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть было не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете, только теперь они оставались на своих местах.

В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности. Потихоньку выравниваешь самолет. И селение возвращается на место. Словно вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да. Селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом схваченная пустыня, песчаные волны недвижны. Созвездия все развешаны по местам. И сержант говорит:

— Вы не думайте, я уж знаю, что где... Держи прямо вон на ту звезду — и придешь в Тунис.

— А ты из Туниса?

— Нет. Там у меня сестренка троюродная.

Долгое, долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть:

— Когда-нибудь возьму да и махну в Тунис.

Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе, у пересохшего колодца, им завладеет самозабвение бреда. Тогда все перепутается — звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения.

— Один раз я попросил у капитана увольнительную,— надо, мол, съездить в Тунис, навестить сестренку. А капитан и говорит...

— Что же?

— На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко.

— И красивая у тебя сестренка?

— Которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая.

— Нет, а другая, в Дакаре?

Мы тебя чуть не расцеловали, сержант, так печально и немножко обиженно ты ответил:

— Она была негритянка...

Что для тебя Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества. И сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками, там, за тысячи километров.

А для нас? Для нас пустыня — то, что рождалось в нас самих. То, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана...

3

Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды. А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан — комендант форта — показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта, пески всасывают его, точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам наше правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Наша заброшенность — самая надежная наша защита, и воевать приходится лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка́, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде.

В этот вечер мы обедали в форте, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции, за четыре тысячи километров, ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк». И едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал.

Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый. Мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается

оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель.

В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом: караван — как магнит в ночи.

Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так! Что только нам не грозит — болезнь, катастрофа, неприятель! Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И сенегалец-часовой, словно пророк, напоминает нам об этом.

— Французы! — откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком... Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками, и, однако, весь мир уже не тот. Пустыня вновь предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия.

Одиннадцать часов. Люка́ возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В ноль часов десять минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени, с мохнатым полотенцем вокруг шеи, подхожу к двери и оглядываю уходящие вдаль пески; ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться: аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаш при мне. Иду к Нери, сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну, как?» — спрашиваю. Пока все в порядке. Это вступление — самая несложная часть полета. Но тут я слышу — что-то потрескивает: стрекоза бьется о мой фонарик. И почему-то екнуло сердце.

Снова выхожу и смотрю — ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая, нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяются зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение — еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу — ветер совсем стих. По-прежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь — да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка.

Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, *оно* не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы, чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу,— верный знак, что в открытом море ярится ураган. Так и эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которой достигла ослабевшая волна. Если бы за мною, в двадцати шагах, висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд — и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и десяти минут — все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустыни.

Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня: я почуял опасность, как дикарь чутьем, по едва уловимым приметам, угадывает, что сулит завтрашний день; с полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы.

4

В Сахаре мы сталкивались с непокорными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа, мы только пролетали над ними; осмелев, мавры даже заезжали в Джуби или Сиснерос: купят сахарную голову либо чай и опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались хоть кого-то из них приручить.

Иногда, с разрешения авиакомпании, мы брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь — ведь они убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Повстречавшись с нами где-нибудь в окрестностях форта, они даже не давали себе труда браниться. Просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были оттого, что мнили себя всемогущими. Не один такой владыка, выступая в поход с армией в триста воинов, повторял мне: «Скажи спасибо, что до твоей Франции больше ста дней пути...»

Итак, мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им Франции. Они были соплеменни-

ки тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья.

Потом я снова навестил их шатры и услыхал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди никогда не видали ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи, ибо по Корану это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой: тридцать лет скорби и нищеты — и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но бог обманывает мавров — оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа — ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом нагие пески Сахары, что простираются вокруг шатра и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что наболело на душе:

— Знаешь... ваш французский бог... он куда милостивее к французам, чем бог мавров к маврам.

За месяц перед тем им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду — точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким грохотом.

— Отведайте-ка,— сказал им провожатый.

Это была настоящая пресная вода. Вода! Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца, и если посчастливится его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода! В Кап-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку — с консервной банкой в руках они выпрашивают воду.

— Дай попить, дай...

— Дам, если будешь слушаться.

Вода дороже золота, малая капля воды высекает из песка зеленую искру — былинку. Если где-нибудь в Сахаре пройдет дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за триста километров — туда, где теперь вырастет трава... Вода — она дается так скупо, за десять лет в Порт-Этьене не упало ни капли дождя,— а тут с шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира.

— Нам пора,— говорил провожатый.

Но они словно окаменели.

— Не мешай...

И замолкали и серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее наливалось за одну секунду — можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам бог, и не могли они

от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три мавра застыли на месте.

— Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте...

— Надо подождать.

— Чего ждать?

— Пока вода кончится.

Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится, он скупой.

— Да ведь эта вода течет уже тысячу лет!..

И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать-то о них поменьше, не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в боге...

— Ваш французский бог, понимаешь ли...

Но я-то их знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась, они в смятении, сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтоб французское интендантство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что и говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды.

Но эти трое одной крови с Эль Мамуном, эмиром Трарзы (имя я, кажется, путаю).

Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом. Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы и чтили племена, вдоволь было видимых благ, казалось бы — чего еще желать? Но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья — и вновь ушел к непокорным племенам.

Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости, что скоро угаснет, точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия из Атара... это обычно называют изменой. И диву даются — откуда такое безумие?

А между тем судьба Эль Мамуна — это судьба многих и многих арабов. Он старел. А со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием сделку с христианами, он все потерял, он загрязнил руки и изменил богу ислама.

И в самом деле, что ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом,— а ведь когда-то Сахара была полна опасностей, за каждой песчаной грядой таилась угроза, и, раскинув на ночь лагерь, он никогда не забывал выставить часовых, и по вечерам у костра при вести о передвижении врага сильней бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов — а его, однажды изведав, уже не забыть.

И вот он бесславно бродит по этим покоренным, утратившим

свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине — пустыня.

Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение. Но любовь к Аллаху превыше всего.

— Спокойной ночи, Эль Мамун.

— Да хранит тебя бог.

Офицеры заворачиваются в одеяла, растягиваются на песке, точно на плоту, лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле Премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться,— и униженные племена вновь обретут былое величие, и вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески... Еще мгновенье — и совершится непоправимое, и с ним родится новый мир...

И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают.

5

Нынче я в Джуби, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муйану и пью чай у них в шатре. Муйан, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня,— он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен долгу хозяина:

— Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы — все твое.

Глядя на меня в упор, Муйан наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании.

— Что он сказал?

— Сказал — Боннафу украл в Р'Гейбате тысячу верблюдов.

Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается оттого, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов — и, чтобы оберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так, явившись, точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там — завидная добыча! Он манит все взоры, и, влекомые неодолимой силой, племена устремляются на его меч.

Муйан смотрит на меня еще суровее и опять что-то говорит.

— Что он сказал?

— Сказал — завтра мы пойдем на Боннафу. Триста ружей.

Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят верблюдов на водопой, о чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плаванье невидимый корабль: И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости Боннафу каждый шаг к югу овеян славой. И, право, не знаю, что ведет людей — ненависть или любовь.

Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лестно убить! Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу,— но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — два месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури,— и, наконец, на рассвете обрушиться врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Боннафу.

— Боннафу силен,— признается мне Кемаль.

Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается с боку на бок, уязвленный, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо,— так не дают им покоя далекие шаги Боннафу. Обойдя выступившие против него отряды, этот христианин, одетый мавром, с двумя сотнями полудиких головорезов проник в непокоренный край,— а ведь здесь, где уже не властны французы, любой из его же людей может сбросить ярмо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему богу; здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним; его беззащитность — и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах, опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни.

Муйан все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченный из синего гранита. Только сверкают глаза да серебряный кинжал — он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных! Больше чем когда-либо он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает,— ибо он пойдет войной на Боннафу, с рассветом он выступит в поход, движимый ненавистью, которая так похожа на любовь.

И опять он наклоняется к брату, что-то говорит вполголоса и смотрит на меня.

— Что он сказал?

— Сказал — если встретит тебя подальше от форта — застрелит.

— Почему?

— Он сказал — у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть Боннафу, но у тебя нет истины.

Муйан недвижим, складки синего покрывала на нем точно каменные одежды статуи, он выносит мне приговор.

— Он говорит — ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо,— он сам видел. Он говорит — ты никогда не молишься. Он говорит — на что тебе твои самолеты, и радио, и твой Боннафу, раз у тебя нет истины?

Этот мавр великолепен, он защищает не свободу свою — в пустыне человек всегда свободен — и не сокровища, видимые простым глазом,— в пустыне их нет — он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Боннафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков, и вот лагерь Кап-Джуби преобразился, мирной стоянки беззаботных пастухов как не бывало. Словно бурей, смята она дыханием Боннафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие, от него замирает сердце: это безмолвствует Боннафу! И Муйан, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Боннафу.

Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет, они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов и жизнь потускнеет. И они станут говорить мне:

— Почему он уезжает, твой Боннафу?

— Не знаю...

Долгие годы он играл с ними в опасную игру — ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне и, как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно в библейские времена. И вот он уезжает,— значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены — есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка? Но нет, им хочется верить в него.

— Твой Боннафу еще вернется.

— Не знаю.

Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучат и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильней бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там, во Франции, его ждет самое важное, но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня,— здесь было ему дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать — он спит где-то посреди Сахары, окруженный

двумя сотнями своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут побольше ячменя. Проверят ружья. Движимые своей ненавистью — или, быть может, любовью.

6

— Спрячь меня в самолете и отвези в Марракеш...

Каждый вечер невольник мавров в Кап-Джуби обращал ко мне эти слова, как молитву. И, совершив таким образом все, что мог, для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день — ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному богу, который может его спасти. И теперь, склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого — черную землю родного Марракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь: я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу.

А между тем я, простой пилот, лишь несколько месяцев как стал начальником аэропорта в Кап-Джуби; в моем распоряжении только и было что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая, не по росту койка,— и я не так обольщался насчет своего могущества.

— Ну-ну, Барк, там видно будет...

Все невольники зовутся Барками, так звали и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился: не может забыть, что был когда-то королем.

— Что ты делал в Марракеше, Барк?

В Марракеше, наверно, и по сей день живут его жена и трое детей, и он там занимался отличным ремеслом.

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед!

Там его призывали каиды:

— Я хочу продать своих быков, Мохамед. Пригони их с гор.

Или:

— У меня тысяча баранов на равнине, отведи их повыше, на пастбища.

И Барк, вооружась скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ, он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых, он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная их ждет: богатый ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам и один, ведомый

своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда — утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность: растроганный слабостью и неведением стольких живых тварей, Барк — лекарь, пророк и повелитель — молился о своем народе.

Однажды к нему приступили мавры:

— Пойдем с нами на юг за скотом.

Шли долго, на четвертый день углубились в горное ущелье,— тут уже начинались владения непокорных племен,— и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку «Барк» и продали в рабство.

Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме (единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище) и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность — и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю.

Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища — замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочая дребедень, невесть как занесенная сюда, в пески, точно обломки кораблекрушения.

И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник — со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят, его дело — готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет — скорей бы обжег новый день. Счастливы северные страны, там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтою о снеге, зимою — о солнце; печальны тропики, там всегда одна и та же влажная духота; но счастлива и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде.

Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспом-

нятся удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне, он словно ослеп — ведь он больше не видит медленных рек Сенегала или белых городов южного Марокко, он словно оглох — ведь он больше не слышит родных голосов. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам,— что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно, все равно что умерли.

Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества. И, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным житейским обиходом. И раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню.

— На, бери,— говорит иной раз вождь пленнику.

В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий, изнурительный день позади, зной спадает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. К чему они? Ведь он так предан! Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли,— теперь он всего лишь счастливый раб.

Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его в услужение,— а на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в Джуби нагие рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию, а ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и спозаранку бежали поглядеть, шевелится ли он еще,— но просто из любопытства, они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть — ложись и спи». Так он лежал, простертый на песке, ощущая голод — всего лишь головокружение,— но вовсе не чувствуя несправедливости, а ведь только она и мучительна. Понемногу он сливался с землей. Земля принимала иссушенные солнцем останки. Тридцать лет работы давали право на сон и на землю.

Немало я видел таких обреченных; первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы; впрочем, на кого ему было жаловаться. В нем угадывалась смутная покорность, с какою принимает гибель обессилевший горец,— зная, что ему

уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения. В мучения я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы гаснут в нем? Что там медленно тонет в забвении — плантации Сенегала? Снежно-белые города южного Марокко? Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы: приготовить бы чай, погнать стадо на водопой... быть может, засыпает душа раба,— а может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну,— яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне, вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что́ разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле.

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед...

Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу, в один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец,— но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя,— а ведь другие сдавались так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб!

Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего. Он не признавал радостей раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мохамеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось не занятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться! Барк был точно поседевший сторож, что умирает от верности среди заросших травою аллей, среди тоскливой тишины.

Он не говорил: «Я — Мохамед бен Лаусин», он говорил: «Меня звали Мохамед», он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохамед вновь оживет и самым воскресением своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тишине на него нахлынут воспоминания — живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам: «Среди ночи он вдруг говорит про Марракеш, говорит, а сам плачет». Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой,— и здесь, в пустыне,

где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал рядом жену. Здесь, где спокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песнь родника. Барк закрывал глаза — и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживала, неведомо почему, словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало, как магнит,— и тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался:

— Завтра пойдет почта на Агадир... Ты спрячь меня в самолете...

Бедняга Барк!

Как могли мы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. За такой грабеж, за такое оскорбление мавры назавтра же отплатили бы жесткой резней. С помощью аэродромных механиков — Лоберга, Маршаля, Абграля — я пытался выкупить Барка, но маврам не часто попадаются европейцы, готовые купить раба. И они пользуются случаем:

— Давайте двадцать тысяч франков.

— Да ты что?

— А вы поглядите, какие у него сильные руки...

Так проходили месяцы.

Наконец мавры сбавили цену, и с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось купить старика Барка.

Сговорились мы не сразу. Торговались целую неделю. Сидели кружком на песке — пятнадцать мавров и я — и торговались. Мне украдкой помогал приятель хозяина Барка, разбойник Зин Улд Раттари: он был также и мой приятель. И по моей подсказке советовал хозяину:

— Да продай ты старика, все равно ему недолго жить. Он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он как начнет пухнуть. Продай его французу, пока не поздно.

Другому головорезу, Рагги, я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку, и Рагги искушал хозяина Барка:

— На эти деньги ты купишь верблюдов, и ружья, и пули. И пойдешь войной на французов. И добудешь в Атаре трех новых рабов, а то и четырех, молодых, здоровых. Отделайся ты от этого старика.

И мне его продали. Шесть дней кряду я держал его взаперти в нашем бараке: начни он разгуливать на свободе, пока

не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-нибудь подальше.

Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились марабут, прежний хозяин Барка и здешний каид Ибрагим. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной, но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ.

— Теперь ты нам сын.

По закону он стал сыном и мне.

И Барк перецеловал всех своих отцов.

До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По двадцать раз на день приходилось описывать предстоявшее ему несложное путешествие: самолет доставит его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Марракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника: возвращение к жизни, и автобус, и толпы народа, и города, которые он скоро увидит после стольких лет...

Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгралем решили — не годится это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него тысяча франков — с этим он не пропадет, покуда не найдет работу.

И я подумал: старые дамы-благотворительницы раскошелятся на двадцать франков — и уверены, что «творят добро», и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграль, давая тысячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же, что дома хмельного от радости Барка встретит верная подруга — нищета, и через каких-нибудь три месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут, в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких.

— Ну вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком.

Самолет вздрагивал, готовый к полету, Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Кап-Джуби. У самолета собрались сотни две мавров: всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки.

И мы, не без тревоги выпуская в свет нашего пятидесятилетнего новорожденного, машем ему на прощанье:

— Прощай, Барк!

— Нет.

— Как так «нет»?

— Я не Барк. Я Мохамед бен Лаусин.

Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире.

Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова; наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился:

— Что с тобой?

— Ничего...

Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но если не считать этой неясной радости, сегодня он — все тот же Барк, каким был вчера. А ведь отныне он — равный среди людей, теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел. Потребовал чаю для Абдаллы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба: у него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга нимало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека.

— Пойдем куда-нибудь еще,— сказал Барк.

Они поднялись к Касбе — квартал этот господствует над Агадиром.

Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что Барк воспрянул духом, ему показалось — сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил: «Я Мохамед бен Лаусин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев...

Он опять потащил Абдаллу в город. Он бродил среди еврейских лавчонок, и глядел на море, и думал, что вот он волен идти куда хочет, он свободен... Но эта свобода показалась ему горька — он затосковал по узам, которые вновь соединили бы его с миром.

Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный к лести. Это был маленький заморыш, Барк подарил ему ласку — и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморыш, благодаря Барку, он улыбнулся — и вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрезжило впереди, и он ускорил шаг.

— Ты что ищешь?— спросил Абдалла.

— Ничего,— отвечал Барк.

Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. Вот оно. Он молча поглядел на них. Отошел к

еврейским лавчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился:

— Дурак, чего зря деньги тратишь!

Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом. И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь.

Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул в шитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение.

По мнению Абдаллы, Барк «с радости рехнулся». Но, по-моему, дело не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья.

Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое: право добиваться любви, право идти куда вздумается и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги... они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился, он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах — все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен, да — слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей — всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды...

Так, в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда — и он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе, и, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать — зашить в пояс кусок свинца,— шел Барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны шитые золотом туфли.

7

Такова пустыня. Коран (а это всего лишь правила игры) обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста, меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески покоренные и непокоренные! И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли,— весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями, здесь по-особенному звучали шаги и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому недоступный. Но вот становишься взрослым, живешь по иным законам — и что остается от парка, полного теней детства — колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом: как странно, что они так малы и тесны — владения, которым когда-то не было ни конца ни края... и как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата,— ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру.

И непокоренной пустыни уже нет. Кап-Джуби и Сиснерос, Пуэрто-Кансадо, ла Сагуэт-эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеют в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым,— но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях; стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни. А другие, быть может, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали. Ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее: они дарили один только час восторга — и этот час достался нам.

Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии, я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было.

VII. В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

1

На подступах к Средиземному морю я встретил низкую облачность. Спустился до двадцати метров. Дождь хлещет в ветровое стекло, море словно дымится. Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно, того и гляди напорешься на какую-нибудь мачту.

Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты.

— Кофе...

Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку газа, держусь на двух тысячах ста оборотах. Обвожу взглядом приборы — мои подданные послушны, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море — в дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так «изрыто». Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не изрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру, мне чужому. Вынужденная посадка здесь — это не по моей части, это меня даже не страшит — для моря я не предназначен.

Лечу уже полтора часа, дождь стихает. Тучи все еще стелются низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепны эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверно, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонок. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь,— уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе...

Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис — совсем как ячменные поля Южного Марокко, при виде которых у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Сенегала, пролетев три тысячи миль над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края, и становится веселей на душе. Оборачиваюсь к Прево:

— Ну, теперь живем!

— Живем...— откликается он.

Тунис. Самолет заправляют горючим, а я пока что подписываю бумаги. Выхожу из конторы — и тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюхнулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое — что это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли два человека. Оборачиваюсь — над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли, два автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед вмерзли. К ним бегут люди, бегут и сюда, к конторе.

— Телефон... доктора... голова...

У меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рок. Погублена красота, разум, быть может — жизнь... Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег. И опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь... А рядом кто-то говорит — проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету. Но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня. И скоро я вновь услышу знакомый звук. Когда на скорости двести семьдесят километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель, грозное «ха!» подстерегавшей нас судьбы.

В путь, на Бенгази.

2

В путь. Стемнеет только через два часа. Но уже перед Триполитанией я снял черные очки. И песок стал золотой. До чего же пустынна наша планета! Быть может, и вправду реки, тенистые рощи и леса, людские селенья — все рождено лишь совпадением счастливых случайностей. Ведь наша Земля — это прежде всего скалы и пески!

Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия — полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником, точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезнет без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отсветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет.

Итак, прощай, солнце. Прощайте, золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись какая-нибудь поломка... Прощайте, ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощайте, темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую, по приборам. У меня остается лишь один союзник — звезды...

Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимее не хватает света. Все труднее различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий.

Прево зажигает на пробу основные и запасные лампочки. Обертываем их красной бумагой.

— Еще раз...

Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем. Но свет еще слишком яркий. Словно на засвеченной фотографии, от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но настоящая ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прево уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется. Ни есть, ни пить. И я ничуть не устал, кажется, могу хоть десять лет так лететь.

Луны больше нет.

В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде ни проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку — и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара, взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, беру на заметку возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду.

Приземляюсь в двадцать три часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. Хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За двадцать минут все готово к отлету.

— Сделайте над нами круг, дайте знать, что у вас все благополучно.

В путь.

Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина — «симун»,— несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводят в сторону — догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас, отпрянув, длинным золотым жезлом указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Снова разворачиваюсь, беру курс на пустыню.

Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью тридцать — сорок километров в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все триста. Беру курс

правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это поможет мне миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за три часа двадцать минут. Если спадет — за три сорок пять. Начинаю одолевать тысячу с лишним километров пустыни.

Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь, до самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я не ищу нигде признаков жизни, смотрю только на компас да на авиагоризонт Сперри. Слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте две тысячи метров, мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка зажигаю лампочку, проверяя работу мотора,— не все приборы у меня светящиеся; а потом опять остаюсь в темноте, среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неиссякаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком. И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чужд всего земного. А вокруг все словно вымерло. Прево держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество. Только мягко рокочет мотор, да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды.

А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленный огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке, мы пересекаем мертвую долину, черную долину испытаний. Здесь никто не поможет. Здесь нет прощенья ошибкам. Что с нами будет, одному богу известно.

Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево — это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла. Мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов.

Мы летим уже три часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается,

то меркнет — вот оно что, я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием, засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче, от него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает — начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту две пятьсот — вокруг все то же. Спускаюсь до тысячи метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно. Как-нибудь. Ничего не поделаешь. Будем думать о другом. Там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение — кабак, да и только.

Прикидываю: сейчас приходится поплясать, это в порядке вещей, но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хоть высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала триста километров в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков.

И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению я и узнаю, что облака остались позади. Всматриваюсь — передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле.

Вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь если я не ошибся в расчетах, до Нила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки. А снижаться боязно: если скорость была меньше, чем я думал, подо мною все еще плоскогорья.

Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию,— через четыре часа и пятнадцать минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии (а ветер, конечно, был) долина Нила не могла не остаться позади.

Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще — и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи.

Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта звезда волхвов, этот опасный призыв.

Проснулся Прево, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там, внизу. Прево опять засыпает.

Ничего там не высмотришь.

Мы летим четыре часа пять минут. Подошел Прево, сел рядом.

— Пора бы уже прибыть в Каир...
— Да, не худо бы...
— А там что, звезда или маяк?
Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прево. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков.
Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорья уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря, я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток.
Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400, но кто знает, какое здесь давление у земли. Прево наклоняется ко мне. Кричу ему:
— Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить!..
Впрочем, ничего не известно, может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни.
— Морской маяк!
Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк-привидение, эта ночная небылица? Мы с Прево приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в трехстах метрах под нами, и вот тут-то...
— А!
Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться вдребезги. На скорости двести семьдесят километров в час мы врезались в землю.
Потом сотую долю секунды я ждал: вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прево, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание: вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда — и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило все стекла, на сто метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот отдавались внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, смаху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая... Самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал — вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означа-

ют эти скрытые от глаз усилия? Эта дрожь, эта ярость, эта непонятная медлительность? Пять секунд... шесть... И вдруг нас завертело, новый удар вышвырнул в окно кабины наши сигареты, раздробил правое крыло — и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Прево:

— Прыгайте! Скорей!

В ту же секунду крикнул и он:

— Сгорим!

Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в двадцати метрах от самолета. Спрашиваю Прево:

— Целы?

— Цел! — отвечает он и потирает колено.

— Пощупайте себя, — говорю. — Двигайтесь. У вас ничего не сломано? Честное слово?

А он отвечает:

— Пустяки, это запасной насос...

Мне почудилось — его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет наземь, но он смотрел остановившимися глазами и все твердил:

— Это запасной насос...

Мне почудилось — он сошел с ума, сейчас пустится в пляс...

Но он отвел наконец глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил:

— Пустяки, запасной насос стукнул меня по коленке.

3

Непостижимо, как мы уцелели. Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. Уже за двести пятьдесят метров от того места, где самолет остановился, мы находим исковерканные обломки металла и сорванные листы обшивки, они раскиданы вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогорья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся; он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости двести семьдесят в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку, — мы съехали, как на катках.

Опасаясь короткого замыкания — как бы все-таки не случился пожар, — Прево отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю: мы летели четыре часа с четвертью, и, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала пятидесяти километров в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся — и кто зна-



ет, в каком направлении? Значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в четыреста...

Ко мне подсаживается Прево.

— И как это мы остались живы...

Не отвечаю и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя.

Прошу Прево засветить свой фонарь, чтоб он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги. Медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление. И все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть... так и есть. Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал — есть ли надежда — и не нашел. Искал признаков жизни, а их нет.

— Прево, я не видел ни единой травинки...

Прево молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди пустыни, когда ориентируешься с точностью до четырехсот километров...

И вдруг вскакиваю на ноги:

— Вода!

Баки все разбиты, бензин и масло вытекли. Вода тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело пол-литра кофе, на дне другого — четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один-единственный апельсин. И я прикидываю: под палящим солнцем в пустыне этого едва хватит на пять часов ходу...

Забираемся в кабину, будем ждать утра. Ложусь, надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы — неизвестно. Питья — меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, и это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего: нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров.

— Экая досада,— говорит Прево.

— Что такое?

— Уж лучше бы разом конец!..

Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с Прево берем себя в руки. Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды — быть может, совершится чудо и спасение все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте — вдруг где-то рядом оазис? Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером вернемся к самоле-

ту. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать.

Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок, в полусне оживают голоса, воспоминания, кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда, мне хорошо, я вверюсь сну, как приключению. И действительность отступает...

Да, наутро все стало по-другому!

4

Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокорных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра — зыбь, как на море. И засыпал под крылом самолета и ждал помощи,— но то было совсем, совсем иначе.

Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных, словно галька. Похоже на металлическую чешую, купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню.

Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтоб оставался след — путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков и время, проведенное в полете,— все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад — и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад пойдем завтра. И от севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через три дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток-северо-восток. И это опять-таки наперекор здравому смыслу, в той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы,— ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю — смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни.

Идем уже пять часов, картина вокруг меняется. Перед нами долина, на дне ее струится песчаная река, и мы пускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше

и, если ничего не найдем, вернуться дотемна. Вдруг я останавливаюсь:

— Прево!

— Что?

— Про след забыли...

Когда же мы перестали тянуть за собою борозду? Если мы ее не отыщем — конец.

Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подальше, свернем еще раз под прямым углом и тогда наверняка пересечем старый след.

Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разливается на пути озеро, а подойдешь ближе — и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже шесть часов. Отмахали, наверно, добрых тридцать пять километров. Взбираемся на самую макушку черного купола, садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка,— сверкающая белизна слепит, жжет глаза. Пустыня, пустыня без конца и края. Но на горизонте игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими, ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно, оно прикидывается рощей, но над ним нависло облако — последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща — лишь тень громоздящихся облаков.

Дальше идти нет смысла, никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету, этот красно-белый бакен, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха, и все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды, надолго она не отпустит.

Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди — жизнь! Быть может, там, за миражем, и в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю, он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю, а чувство такое, словно идешь ко дну.

Лежим возле самолета. За день отшагали шестьдесят километров с лишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить...

Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния, он вспыхнет ярким

белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер... Только где люди?

И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю — он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся!

Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Глаза вопрошают. Сколько взглядов, и в каждом — упрек: почему я молчу? Но я отвечаю! Отвечаю! Отвечаю, как только могу, не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи!

Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли: шестьдесят километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте да потягивать из фляги. Но в тот миг, как я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время. В тот миг, как я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как река. Прево плачет. Хлопаю его по плечу. Говорю в утешение:

— Подыхать так подыхать...

И он отвечает:

— Да разве я о себе...

Ну, конечно, я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь: вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз я попадал в такие переделки, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытия еще поудивительнее. И хоть мы запалили такой огромный костер, бог свидетель, я уже не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей...

«Да разве я о себе...» Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания,— и едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь!

Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести так же, как и я.

Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли — когда уснешь, будет уже все равно. И тогда — безграничный покой! Но там — там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии... думать

об этом нестерпимо. Там погибают, не могу я смотреть на это сложа руки! Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю! Неудержимый гнев закипает во мне: отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь!.. Мы идем!.. Идем!.. Мы спасем вас!

Магний сгорел, пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья, мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать.

Что ж. Буду спать.

5

На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прево сказал:

— Хорошо, хоть револьвер есть.

Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен! Не желаю знать никаких чувств, все просто, очень просто. И родиться. И вырасти. И умереть от жажды.

Искоса слежу за Прево, если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят: «Хорошо бы вымыть руки». Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других. О том, что мы бессильны успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем.

Нас все еще не ищут, то есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянной черными точками камней, мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль об этом летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что этот тщетно разыскивающий нас самолет летит в другом мире.

Когда самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в

сотни тысяч квадратных километров, его быстрее чем за две недели найти невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику: пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Прево подаст мне знак — разожжет костер... но никто нас не отыщет.

Итак, я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминается все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на сорока процентах, а здесь падает до восемнадцати. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только девятнадцать часов. А когда пройдет двадцать часов, перед глазами вспыхивает яркий свет — и это начало конца: жажда бросается на вас и разит, как молния.

Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет?

Итак, я ухожу, а чувствую такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан.

А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как апаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то, неведомо чьи, норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы — они пусты.

Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести, я на это и не надеялся.

Нет, я не разочарован, напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь, в пустыне, зверье и чем оно кормится? Скорее всего, это фенеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть — иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку, на песке четко отпечатался каждый шаг фенека. Прелесть что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегал от камня к камню и слизывал ночную росу. А здесь следы реже: мой лис бросился бежать. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как приятно мне следить за этой утренней прогулкой. Как отрадно видеть, что и здесь есть жизнь. И словно уже не так хочется пить.

Но вот наконец и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на сто метров, чуть виднеются над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски; они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете фе-

нек отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы.

Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостаивает своим вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно — не объедает начисто. Снимет две-три ракушки — и отправляется в другой ресторан.

Что это — игра? Может быть, он не хочет насытиться разом, хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но фенек осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков, больше того — он ни за что не снимет с одной и той же веточки двух улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет. А без улиток не станет и фенеков.

Следы вновь привели меня к норе. Фенек сейчас дома, конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. И я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка... но представь, мне сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь...»

Стою в раздумье... да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через тридцать он умрет. А тридцать лет или три дня... тут все дело в том, какой мерой мерить...

Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать...

И опять иду своей дорогой, усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, а я сам их вызываю...

— Э-эй!

Поднимаю руки, кричу — там человек, он мне машет... нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять эту обломанную ветвь — она из мрамора! Выпрямляюсь, смотрю по сторонам,— вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет тому назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силы ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где

от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные — черней, чем железный панцирь, одевающий холмы,— меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах,— зачем я здесь, в царстве вечности?

Со вчерашнего дня я прошел уже километров восемьдесят. Кружится голова — наверно, от жажды. А может, от солнца. Оно блещет на этих, точно маслом смазанных, обломках окаменевших стволов. На этом панцире вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц. Осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне. И солнце гулким молотом бьет меня по голове. Но что это!..

— Эй! Э-эй!

— Ничего там нет, успокойся, ты бредишь.

Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам. Так трудно не кинуться со всех ног за караваном... вот же он идет... вон там... видишь?..

— Дурень, ты его просто выдумал, ты и сам это знаешь...

— Тогда все на свете обман...

Все на свете обман, но вот на холме в двадцати километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк...

Но море не в той стороне. Значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях: церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидал на карте черную точку. Опять посмотрел на поля — постоянный колодец... Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос: «Постоянный колодец... постоянный колодец... постоянный колодец!» Что перед этим чудом все сокровища Али-Бабы? Чуть подальше я заметил два белых кружка и на полях прочел: «Пересыхающий колодец». Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди,— ничего. Ничего.

Так вот она, миссия или монастырь! Монахи воздвигли на холме огромный крест — путеводный знак для погибающих! И надо только идти прямо на него. Надо только бежать прямо к этим доминиканцам...

— Да ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских.

— ...прямо к этим ученым доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, под

ржавым насосом,— как не догадаться!— под ржавым насосом и есть постоянный колодец! Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол...

— Дурень, о чем ты? Такие дома — в Провансе, да и там нет никакого колокола.

— ...я позвоню в колокол. Привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам бог вас послал!» — и созовет всю братию. И монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь. И отведут меня на кухню. И скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас... мы только сбегаем к постоянному колодцу».

И я задрожу от счастья...

Но нет, не стану плакать только оттого, что там, на холме, уже нет никакого креста.

Все посулы запада — ложь. Круто поворачиваю на север.

Север — он хотя бы полон песнью моря.

Итак, я одолел перевал — и передо мною распахнулась необъятная ширь. А вот и прекраснейший город на свете.

— Ты же и сам знаешь, это мираж...

Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не проведешь. Ну а если я так хочу — гнаться за миражем? Если я хочу надеяться? Если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем? Если мне нравится идти к нему все прямо, прямо, легкими шагами,— ведь я уже не чувствую усталость, ведь я счастлив... Прево со своим револьвером просто смешон! Мое опьянение куда лучше. Я пьян. Я умираю от жажды!

Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь — я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает. Даль нага и безрадостна; колодца, дворцов, пышных риз как не бывало. Вокруг — пустыня.

— Вот чего ты добился! Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся — и не будет возврата.

— Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем же поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля, ведь сейчас, быть может, я открою... да, я уже открываю объятия морю...

— Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря, уж наверно, не меньше трехсот километров. А возле вашего «симуна» ждет Прево! И, может быть, его уже заметил какой-нибудь караван...

Ладно, я вернусь, но сперва позову, вдруг люди близко.

— Э-эй!

Черт побери, обитаемая эта планета или нет?

— Эй-эй! Люди!..

Я охрип. Уже нет голоса. Просто смешно так вопить... Все-таки попробуем еще раз:

— Лю-ди!

Это звучит так высокопарно и неестественно...

И я поворачиваю назад.

Шагаю два часа, и вот уже виден отсвет огромного костра — в страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес. А мне все равно...

Еще час ходу... Еще пятьсот метров. Еще сто. Еще пятьдесят.

— О-о!

Останавливаюсь, пораженный. Такая радость нахлынула, от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с двумя арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним... не так долго пришлось бы маяться! Радостно кричу:

— Э-эй!

Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Прево один идет мне навстречу. Открываю объятия. Прево поддерживает меня под локоть — разве я падал? Говорю ему:

— Ну, вот и они!

— Кто?

— Арабы!

— Какие арабы?

— Да эти, которые тут, с вами!..

Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну:

— Никаких арабов тут нет...

Вот теперь я, наверно, заплачу.

6

Здесь можно прожить без воды только девятнадцать часов, а что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель росы на рассвете! Но северо-восточный ветер все еще держится — и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону, в небе сгущаются облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь! Но в пустыне дождей не бывает.

— Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники. Разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро выжмем все это тряпье в бак из-под бензина, все-таки наберется немного росы.

Мы разостлали под звездами шесть белых полотниц. Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра.

Среди обломков Прево отыскал настоящее чудо — апельсин! Делим его пополам. Я вне себя от радости, а между тем один апельсин — такая малость, ведь нам нужно двадцать литров воды!

Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огненно-рыжий, словно светящийся плод и думаю: «Люди не знают, что это такое — апельсин». И еще думаю: «Мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина — и это одна из самых отрадных минут моей жизни...» Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще: «В жизни каждое положение — это особый мир, его законы можно постичь только изнутри». Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя папироса и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие. И если он улыбается, все думают — какое мужество! А он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой, и этот последний час для него — целая жизнь.

У нас скопилось неслыханное богатство — пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено! Мы спасены, мы будем пить!

Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уж такая желто-зеленая и вкус у нее до того мерзкий, что, как ни извелся я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды.

Смотрю на Прево — он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял. И вдруг, не переставая кружить, наклоняется — и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорог,— падаю на колени, впиваюсь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова, так проходит четверть часа, под конец нас рвет желчью.

Кончено. Только еще мутит немного. Но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что́ в этом виновато — вещество ли, которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть, другую ткань.

Что ж, пора! Уже светло. В путь! Прочь от этого окаянного плоскогорья, будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме, со вчерашнего дня я все думаю о нем.

Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут.

И снова убеждаемся — это не мы терпим бедствие. Терпят бедствия те, кто нас ждет! Те, для кого так грозно наше молчание. Те, кого уже терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить! Вот и Гийоме, возвратясь из Анд, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Эта истина справедлива для всех.

— Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал,— говорит Прево.

И мы идем на восток-северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас в глубь Аравийской пустыни.

О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорее, скорее, все равно, что впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел, упорно глядя под ноги, миражи мне осточертели. Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтоб немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше — провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке.

Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше: эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнища парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и утолим жажду. Попробуем опять разостлать под звездами наши ловушки для росы.

Но в этот вечер небо на севере ясно, ни облачка. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается! Вот он лижет нам руки, лицо...

И все-таки надо сделать привал, мне сейчас не пройти и десяти километров. За три дня я прошел сто восемьдесят, даже больше, и ничего не пил.

Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит:

— Озеро! Честное слово!

— Вы с ума сошли!

— Да ведь сумерки, откуда сейчас возьмется мираж?!

Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить?

А он стоит на своем:

— До него минут двадцать ходу, пойду погляжу...

Это упрямство меня бесит:

— Что ж, подите поглядите... гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно со-

леное. И потом, соленое, нет ли, оно же у черта на рогах! И нет его совсем.

Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу! И я думаю: «Бывают же безумцы, кидаются под поезд — не удержишь». Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там, а я умру здесь. И все это неважно, все пустяки...

Мной овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим! Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро оделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!»

Интересно, долго ли я еще протяну. Пытаюсь набрать слюны — сколько часов я не сплевывал? Но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через два часа — конец.

Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да, да... я плыву, я на корабле! Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность и ничего не властен изменить. Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и по ногам.

Думаю о Прево — он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек.

А, вот он — размахивает фонариком в пятистах метрах от меня. Он потерял свой след! У меня нет фонаря, нечем сигналить в ответ,— поднимаюсь, кричу, но он не слышит...

За двести метров от него вспыхивает еще один фонарик и еще. Бог мой, да ведь это помощь, меня ищут!

Кричу:

— Э-эй!

Но меня не слышат.

Три фонаря призывно сигналят, опять и опять.

Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. И я спокоен. Внимательно всматриваюсь. За пятьсот метров от меня горят три фонарика.

— Э-эй!

Опять не слышат.

Тут меня охватывает страх. Короткий приступ, он больше не повторится. Надо бежать! «Подождите!.. подождите!..» Сейчас они повернут обратно! Пойдут искать в другом месте, а я погибну! Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать!

— Э-эй! Э-эй!

— Э-эй!

Услышали. Задыхаюсь — задыхаюсь и все-таки бегу. Бегу на голос, на крик «э-эй!». Вижу Прево — и падаю.

— Ох, когда я увидал все эти фонари...

— Какие фонари?

Да ведь он один!

На сей раз во мне поднимается не отчаяние, а глухая ярость.

— Ну, как ваше озеро?

— Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых полчаса. Но все равно было еще далеко. И я повернул. Но теперь я уверен, это самое настоящее озеро.

— Вы с ума сошли, вы просто сошли с ума. Ну зачем вы так? Зачем...

Что он сделал? Что — зачем? Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Прево срывающимся голосом объясняет:

— Я так хотел найти воду... у вас совсем белые губы!

Вот оно что... Ярость моя утихает. Провожу рукой по лбу, словно просыпаясь, и мне становится грустно. Говорю негромко:

— Я видел три огонька — совсем ясно, вот как вас сейчас вижу, ошибиться было невозможно... Говорю вам, Прево, я их видел!

Прево долго молчит.

— Да-а,— признается он наконец,— плохо дело.

В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, густея без воды, едва течет по жилам, леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода,— странно, что только делает с человеком жажда!

Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил. А ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни

камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть. Ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет — падаю на колени, обхватываю голову руками и жду — сейчас опустится меч убийцы!

Немного погодя ловлю себя на том, что поднялся и, весь дрожа, иду, сам не знаю куда! Где это я? Вот оно что — я ушел, и Прево меня зовет! От его криков я и очнулся...

Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю. И говорю себе: «Это не от холода. Нет. Это конец». Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один.

Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Крест на холме, арабы, фонари — это становилось даже занятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба...

И вот я опять на коленях...

Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. Сто граммов чистого эфира, сто граммов девяностоградусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир — глоток, другой. Это все равно что глотать ножи. Глотнул спирту — нет, сразу сдавило горло.

Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прево хорониться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку.

Горло у меня по-прежнему сдавлено — дурной знак, но чувствую себя лучше. Я спокоен. Надежды больше нет, а я спокоен. Связанного по рукам и по ногам, уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться — не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив...

Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь. И я забываю о своем онемевшем теле. Больше я не двинусь, а значит, и мучиться не стану. Да, по правде сказать, не так уж это и мучительно... Мучения положены на музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картинками, немного жестокой сказкой... Совсем недавно меня преследовал ветер, и, спасаясь от него, я кружил, как затравленный зверь. Потом стало трудно дышать: кто-то уперся коленом мне в грудь. Колено давило. И я пытался сбросить гнет, я отбивался от ангела смерти. Никогда я не был в пустыне один. Теперь я больше не верю в реальность окружающего — и ухожу в себя, закрываю глаза, больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвенье: реки, впадая в море, обретают покой.

Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше трех дней. Не

думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен... И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь.

Мне горько одно — ваше горе,— а больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни. А в городах люди о ней забыли.

Дело вовсе не в авиации. Самолет — не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин.

Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сталкиваешься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной, и ищешь свою истину по звездам.

Не стану жаловаться на судьбу. Три дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся надежда моя — на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых. И, право, это куда важнее, чем выбирать — в каком бы мюзик-холле убить вечер.

Мне странны пассажиры пригородных поездов — воображают, будто они люди, а сами, точно муравьи, подчиняются привычному гнету и даже не чувствуют его. Чем они заполняют свои воскресенья, свой жалкий, бессмысленный досуг?

Однажды в России я слышал — на заводе играли Моцарта. Я об этом написал. И получил двести ругательных писем. Меня не возмущают те, кому больше по вкусу кабацкая музыка. Другой они и не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей.

Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь! В последнем счете здесь великолепно!..

Ни о чем не жалею. Я играл — и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов.

Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что́ я люблю. Люблю жизнь.

Кажется, небо начинает бледнеть. Вытаскиваю руку из песка, ощупываю разостланное рядом полотнище — оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос: «Сердце высохло... сердце высохло... сердце, как камень, не выжмешь ни слезинки!..»

— В путь, Прево! Пока еще не спеклась глотка, надо идти.

7

Дует западный ветер — тот самый, что иссушает человека за девятнадцать часов. Гортань еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель — мне про него рассказывали, и я жду. Язык мне мешает. Но что хуже всего, перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу.

Идем быстро. Пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы уже не сможем идти. Когда станет припекать...

Мы не имеем права вспотеть. И передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь восемнадцать процентов влаги. Ветер дует из недр пустыни. И под его тихой, вероломной лаской испаряется наша кровь.

В первый день мы съели немного винограда. За три дня — половинка апельсина и половина виноградной кисти. Есть мы бы все равно ничего не могли — у нас пропала слюна. Но голода я не чувствую, только жажду. И, кажется, не так мучительна жажда, как ее последствия. Пересохла гортань. Язык — как деревянный. В глотке дерет, вкус во рту премерзкий. Непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что́ за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда перестает быть неутоленным желанием, она все больше становится болезнью.

Мне все еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. Забываю сияющее великолепие апельсина, как забываю, кажется, все, что было мне дорого. Быть может, я уже все позабыл.

Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые пятьсот метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти.

Ландшафт вокруг меняется. Камней все меньше. Теперь под ногами песок. Впереди, в двух километрах — дюны. На них кое-где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. Эта пустыня — светлая. Это Сахара. Я, кажется, узнаю ее в лицо...

Теперь мы валимся без сил через каждые двести метров.

— Вон до тех кустиков уж непременно дойдем.

Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего «симуна», выяснится, что в этот последний поход мы одолели восемьдесят километров. А я уже прошел около двухсот. Хватит ли сил идти дальше?

Вчера я шел, ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверно, так движутся волы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай, сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи.

Я уже ничего не чувствую, сердце во мне высохло. Вот сейчас упаду, но отчаянья нет. Нет даже горечи. А жаль: печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о себе, словно о друге. Но у меня не осталось на свете друзей.

Меня найдут, увидят мои обожженнные глаза и подумают: как он страдал, как звал на помощь! Но бурные порывы, сожаления, страдания души — это ведь тоже богатство. А я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печаль и плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни. А я уже не печалюсь...

Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне источник слез.

Но что это? Дыхание надежды коснулось меня,— так пробегает по морю еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось — и, однако, все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени — все это уже не ландшафт, а сцена. Она пуста, но чего-то ждет. Смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях.

Честное слово, сейчас что-то произойдет...

Честное слово, пустыня ожила. Честное слово, это безлюдье, это безмолвие вдруг преобразилось, оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь.

Мы спасены: по песку кто-то прошел...

Да, мы потеряли след рода человеческого, мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения,— и вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека.

— Смотрите, Прево, здесь разошлись двое...

— А здесь опустился на колени верблюд...

— А здесь...

Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час, другой — и нас уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро. А горло у нас у обоих...

Но я верю: где-то в пустыне мерно движется караван.

Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал: «Под конец я слышал — в Андах пели петухи. И поезда слышал...»

Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал: «Сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет...» Но тут Прево схватил меня за руку:

— Слыхали?

— Что?

— Петух!

— Значит... значит...

Дурень, конечно же, это значит — жизнь...

У меня все-таки была еще галлюцинация, последняя: гнались друг за другом три собаки. Прево их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его, что есть силы. И оба смеемся от счастья!..

Но наши голоса не слышны и за тридцать шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого!

И вот бедуин, что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно, медленно удаляется. А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его — и уводит...

А у нас уже нет сил бежать!

На дюне появился еще один араб, мы видим его в профиль. Вопим, как можем,— все равно чуть слышно. Машем руками, кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой...

И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом — и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону — и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь — и мне кажется, он подобен богу...

Это чудо... Он идет к нам по песку, словно некий бог по водам...

Араб поглядел на нас. Положил руки нам на плечи — и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст... Бедный кочевник возложил нам на плечи длани архангела.

Мы ждали, лежа на песке. И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает наша жадность, опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить — и снова мы приникаем к воде.

Вода!

У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты нам возвращаешь силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца.

Ты величайшее в мире богатство, но и самое непрочное,— ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты — божество, которое так легко спугнуть.

Но ты даешь нам бесконечно простое счастье.

А ты, ливийский бедуин, ты — наш спаситель, но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты — Человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты — возлюбленный брат мой. И я тоже узна́ю тебя в каждом человеке.

Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты — могучий повелитель, в чьей власти — напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь, у меня не осталось в мире ни одного врага.

VIII. ЛЮДИ

1

Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал — вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах Гийоме. И мне тоже не забыть, как я лежал, засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу.

Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон, завоеватель, одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств.

Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть, о ней тоскуешь так, что готов пожалеть и о несчастьях, если только с ними пришла та жаркая нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе.

Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека?

Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.

В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь; но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищения достойна прежде всего почва, их взрастившая.

Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей лавчонке. Другой неуклонно идет к своей цели,— и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже совершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу: тот пожар так и останется луч-

шим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми убеждениями, что требуют подвига,— и они вновь погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека,— но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию.

Ночи в воздухе, ночи в пустыне... это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании — и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех.

Это было на фронте под Мадридом, я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном.

2

Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, с командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке — о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. «Кто полезет туда первым...» — и, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту.

— Мы с тобой пойдем первыми,— говорит он сержанту.— Пей и ложись спать.

Сержант лег. Мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут пять назад я выглянул в бойницу. Сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины домов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный луч, как струйку масла. И перед глазами у меня все еще — зеленоватые от луны крепости.

Солдаты, что сидят здесь со мною, должно быть, не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю.

И мы пьем коньяк. Справа от меня играют в шахматы. Слева балагурят. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана.

Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку.

Мы играем здесь, в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна.

Скоро эти люди омоются — пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая,— все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но они завели будильник, он возвышается на этажерке, точно владыка на престоле. И он позвонит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи, затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору, полого уходящему вверх, к голубому лунному прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова: «Чертова атака...» или — «Ну и холодище!» И канут в ночь.

В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прево, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды и нам удалось — один только раз!— проспать два часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом: чудесной властью отринуть окружающий мир. Мое тело еще не доставляло мне хлопот, и довольно было уткнуться лицом в скрещенные руки, чтоб забыть обо всем на свете и уснуть сладким сном.

Так спал и сержант, он свернулся в клубок — не разберешь, где что; когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки поденщика или докера.

Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьверы, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтоб она вращала свой жернов.

— Эй, сержант!

Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и погрузился в сон, будто в безмятежный по-

кой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цепляясь там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи... но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресным утром в коллеже звонок неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились веселые игры на зеленом лугу; но все напрасно. Звонок звонит и звонит и безжалостно возвращает его в царство людской несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом,— оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнáет ноющую боль в суставах, и груз снаряжения, а там — тяжкий бег атаки — и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод,— ощущаешь не столько самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни — возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле.

Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза.

— Уже пора?

Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла: сержант улыбался! Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рожденья и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре...» В этот час механики протирают спросонья глаза и расчехляют винты самолетов, в этот час пилот идет к синоптикам за сводкой, по земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубело, уже шли приготовления к празднику — но не для нас, уже расстилали скатерть, а мы не были приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие...

— А здесь — экая гнусность...— докончил Мермоз.

А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть?

Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни: был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:

— Пошли?

— Пошли.

И вы пошли.

Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела.

Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес,— и вот она хлопает крыльями: что́ ей зерно, что́ ей червяки, она хочет стать дикой уткой...

А еще мне вспоминаются газели, ручные газели, которых я завел в Джуби. У нас у всех там были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтоб у них было вдоволь воздуха, ведь газели очень нежны, и надо, чтоб их постоянно омывали струи ветра. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе в ладонь. И воображаешь, будто и впрямь их приручил. Будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко... А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня, они упираются рожками в сетку. Их тянет туда, как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока — они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить и ласковей прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь... Но, едва их оста-

вишь, они пускаются вскачь, как будто даже весело, и вот уже снова застаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду — просто будут стоять, понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви? Или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух? Они и сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца. Но ты понятливей их. Ты знаешь, чего они ищут — простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам. Хотят мчаться по прямой — сто километров в час!— порой высоко взлетая, словно вдруг прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газелей, чтобы пугаться, от страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газелей, чтоб упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы! Смотришь на них и думаешь: их сжигает тоска. Тоска — это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего... Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом.

Ну а мы? Чего не хватает нам?

Что ты нашел здесь, на фронте, сержант, откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову, быть может — улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство? «Эй, товарищ!..» Когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое. Вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл. И, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю.

Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще не покоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся: «Сукин ты сын! Это из-за тебя я сел в калошу, дернул тебя черт залезть на высоту в две тысячи, когда там ветер навстречу! Шел бы пониже, как я, давно бы уже были в Порт-Этьене!» И тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарить. Ведь и у него такие же права на нашу жизнь. Все мы — ветви одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем!

Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова.

И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком, ты приобщился к большому миру — и вот тебя, отверженного, приемлет любовь.

Мне наплевать, искренни ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронили тебе в душу политики. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно.

3

Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину,— так они и обретают друг друга. А иначе в наш век — век комфорта — почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними — те же порывы и стремления. Нас разделяют методы — плод рассуждений, но цели у нас одни.

Так чему же тогда удивляться. Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретясь с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища, с этой суровой справедливостью, ощутил однажды, как в нем пробуждается некто совсем новый, незнакомый, для того отныне существует лишь одна истина — истина анархистов. А кому довелось однажды стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь.

Если бы сказать Мермозу, когда он, в сердце своем торжествуя победу, ринулся с высоты Анд в долину Чили, если бы сказать ему: чудак, да стоит ли рисковать жизнью ради писем какого-нибудь торгаша,— Мермоз бы только усмехнулся. Истина — это человек, который рождался в нем, когда он летел через Анды.

Если вы хотите убедить того, кто не отказывается от войны, что война ужасна и отвратительна, не считайте его варваром,— прежде чем судить, постарайтесь его понять.

Задумайтесь хотя бы над таким случаем. Один офицер с

юга во время боев с риффами командовал постом, зажатым между двух горных хребтов, где находились повстанцы. Однажды вечером он принимал парламентеров с западных гор. Как полагается, пили чай, и вдруг началась ружейная пальба. На пост напали племена с восточных гор. Капитан хотел спровадить парламентеров и принять бой, но они возразили: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам тебя покинуть...» И они присоединились к его солдатам, помогли отстоять пост и тогда лишь вернулись в свое орлиное гнездо.

А потом они в свою очередь собрались атаковать пост — и накануне отрядили к капитану послов:

— В тот вечер мы тебе помогли...

— Это верно...

— Ради тебя мы извели три сотни патронов...

— Это верно.

— По справедливости ты должен их нам вернуть.

Нет, капитан благороден, он не станет извлекать выгоду из их великодушия. И он отдает патроны, зная, что стрелять будут в него.

Истина человека — то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в знак братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Начните спорить о войне с таким капитаном, и он ответит вам лишь презрительной жалостью. И будет прав.

Но и вы тоже правы, когда ненавидите войну.

Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все, что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым — и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.

Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый Коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и негорбатых, на фашистов и демократов — и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина — это язык, помогающий постичь всеобщее. Нью-

тон вовсе не «открыл» закон, долго остававшийся тайной,— так только ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина — не то, что доказуемо, истина — это простота.

К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.

Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтоб в каждом ударе кирки был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми.

А мы хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.

Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. Убогое представление о культуре у тех, кто полагает, будто она сводится к затверженным формулам. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они?

Все мы — кто смутно, кто яснее — ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей... Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего искали, ощутят свое единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть.

Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли,

себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью от того, что они — немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена.

Но эти идолы — идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть может, это и красиво — умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные центры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо.

Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но, чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, совсем незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения.

Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга.

Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства,— но тогда почему бы не искать такую цепь, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Пусть только тот, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслит свой труд,— и вот он уже не просто слуга. Он — часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи.

Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе — была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из кам-

ня, отсюда до окопов было метров пятьсот. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон, из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы — темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество!» — и, тяжело ступая, они спешили вдогонку.

Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.

Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна.

Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко, они себе показались неумелыми, беспомощными, больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, что здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе.

Я смотрел на мать, на старую крестьянку с лицом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы — не лицо, а маска, высеченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей. Их лица — слепок с этой маски. Это тело формовало их тела — отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это — безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Да, это горько, но так просто и естественно — мерная поступь рода: оставляя на пути одну за другой бренные оболочки

поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине.

Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей.

Так от поколения к поколению передается жизнь — медленно, как растет дерево,— а с нею передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы — люди — и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия.

Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками: духовное наследство, что досталось ей на сохранение — скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря.

Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Антлантике, а иного — к стихам,— это вечное чувство неутоленности возникает потому, что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины, и нам надо еще понять самих себя и вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себялюбивое равнодушие; но такая мудрость — жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас в свидетели: какие часы нашей жизни самые счастливые?

4

И вот на последних страницах этой книги я опять вспоминаю состарившихся чиновников — наших провожатых на рассвете того дня, когда нам наконец-то впервые доверили почтовый самолет и мы готовились стать людьми. А ведь и они были во всем подобны нам, но они не знали, что голодны.

Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться.

Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток; трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я про-

шел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали. Пустовали и вагоны первого класса.

А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих-поляков, их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться; вагон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела.

Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота и тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом.

Экономические приливы и отливы швыряли их из конца в конец Европы, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах польских шахтеров,— и мне казалось, они наполовину потеряли и человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого, все, к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет во Франции,— кошку, собаку, герань,— они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки.

Мать кормила грудью младенца; смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек, а ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство — не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта женщина когда-то встретились впервые, и, наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало? Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?

Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым, беспокойным сном. Храп, стоны, невнятное бормотанье, скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться

поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок,— все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим — неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами прибоя.

Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные тяжелые кулаки породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих поисков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой низкопробных кабаков. Моцарт обречен.

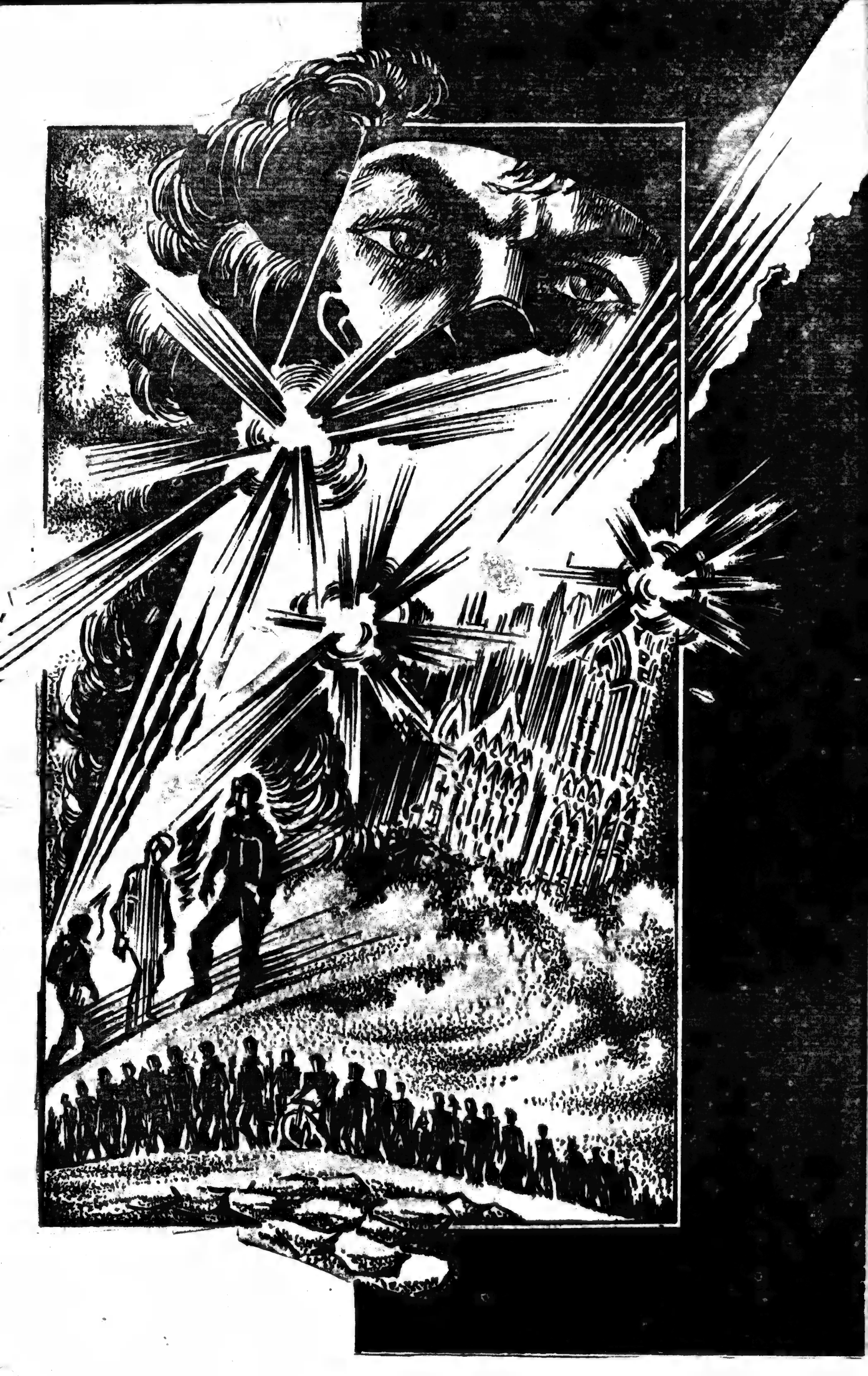
Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди не страдают от своей судьбы. И не сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы проливать слезы над вечно не заживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не отдельного человека, она разъедает человечество. И не верю я в жалость. Меня мучит забота садовника. Меня мучит не вид нищеты,— в конце концов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт.

Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека.

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК



Майору Алиасу,
всем моим товарищам по авиагруппе
дальней разведки 2/33, и в особенности
штурману капитану Моро
и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру,
которые во время войны 1939—1940 годов
поочередно вылетали вместе со мною
на боевые задания и которым я
остаюсь верным другом до конца жизни.



I

Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет.

Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик... Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверяешь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль — с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам!

Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем.

Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь...

Проходит Дютертр. Я подзываю его.

— Садись, я покажу тебе фокус...

И я страшно доволен, когда вытаскиваю задуманного им пикового туза.

Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.

— Ну что, дружище?

Сколько во всем этом нежности!

Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не

взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?

А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы...

— Послушай, Дютертр, сегодня вечером...

Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:

— Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра — к майору!

Прощай, школа. Начинается жизнь.

— Ты знал, что наша очередь?

— Пенико уже летал сегодня утром.

Если нас вызывают, значит, мы летим на задание — это ясно. Конец мая, отступление, разгром. Экипажи приносятся в жертву, как будто стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж тут думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три — в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Я сказал вчера лейтенанту Гавуалю:

— Разберемся после войны.

И лейтенант Гавуаль мне ответил:

— Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых?

Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар,— ясно, что ими пожертвуют.

И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Есть, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения,— и даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе...

Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)

— Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте, Дютертр. Садитесь.

Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльному:

— Дайте сюда метеосводку.

Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночь. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба — штаба дивизии, штаба корпуса... Он пытался бороться со складами снабже-

ния, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых пробках. Он организовал также нашу, последнюю передислокацию и размещение на новой базе — мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тонн военного имущества. Но нам ясно, что силы его на исходе, нервы уже не выдерживают.

— Ну так вот...

Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.

— Дело очень скверное...

Он пожимает плечами.

— Скверное задание. Но в штабе настаивают... Упорно настаивают... Я возражал, но они настаивают... Тут уж ничего не поделаешь...

Мы с Дютертром смотрим в окно — небо ясное. Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки — в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся хлеба — все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета вполне совместим со смертью и в сладости всего окружающего нет никакой иронии. Но у меня возникает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное... Оно попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. В моем сознании вдруг возникает нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мертвых часов. Война... никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать...

У меня такое чувство, будто я заболел. И врач только что сказал мне: «Дело очень скверное...» Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание это — безнадежное.

— Учитывая обстановку,— заключает майор,— с риском не приходится считаться...

Ну конечно. «Не приходится». И никто тут не виноват. Ни мы — в том, что приуныли. Ни майор — в том, что ему не по себе. Ни штаб — в том, что он отдает приказы. Майор мрачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо

отдавать приказы. Во время войны штабу положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивает со взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он указывает будущее. Он приносит Истину. И приказы вновь ставят все на свое место.

Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый изо всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну.

И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что это война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно собрать. Авиация не может взять на себя задачу объяснять штабам, что́ творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить гипотезы штабов. Но никаких гипотез больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах над землей со скоростью пятьсот тридцать километров в час?» — «Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит позиции немецкие».

— Ну и смеялся же я после этого,— заключил Дютертр.

Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому, когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь.

— Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой методе!..— добавил Дютертр.

А между тем эти сведения должны приниматься в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки!..

Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная.

К счастью,— и мы это прекрасно знаем,— никто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать. Дороги забиты. Телефонная связь нарушена. Штаб срочно перебазируется. Важные сведения о расположении противни-

ка предоставит сам противник. На днях под Лаоном мы обсуждали вопрос о том, где проходит линия фронта. Мы направляем лейтенанта к генералу, чтобы установить с ним связь. На полпути между нашей базой и генералом автомобиль лейтенанта натыкается на стоящий поперек шоссе дорожный каток, за которым укрылись две бронемашины. Лейтенант поворачивает обратно. Но пулеметная очередь убивает его наповал и ранит шофера. Бронемашины оказались немецкими.

В сущности, штаб похож на опытного картежника, с которым стали бы советоваться из соседней комнаты:

— Что мне делать с моей дамой пик?

Тот пожал бы плечами. Что он может ответить, не видя игры?

Но штаб не имеет права пожимать плечами. Если в его руках еще остались какие-то боевые единицы, он обязан пустить их в ход, чтобы держать под своим контролем и использовать все возможности, пока война еще ведется. Пусть вслепую, но он обязан действовать сам и побуждать к действию других.

Однако наугад очень трудно решить, что делать с дамой пик. Мы уже отметили,— сперва с удивлением, а потом как нечто само собой разумеющееся,— что, когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, что, силясь разрешить их, он не щадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов... Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы. Все карты смешиваются. Непонятно, что делать с самолетами, с танками, с дамой пик...

Изрядно поломав голову над тем, как бы повыгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.

Потому что прежде всего они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым днем все более бессмысленны. Все более губительны и все более бессмысленны. У тех, кто отдает приказы, нет иного средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние козыри.

Мы с Дютертром — козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит задачу на сегодняшний день. Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков в районе Арраса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит:

«— Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на углу, в киоске кýпите мне коробку спичек...

— Ясно, господин майор».

Ровно столько же пользы в нашем задании. И в словах, которыми оно излагается, ничуть не больше лиризма.

Я говорю себе: «Безнадежное задание». Я думаю... думаю о многом. Я подожду, если останусь жив, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Если останусь жив... И с легкого-то задания возвращается один самолет из трех. Когда оно довольно «скверное», вернуться, конечно, труднее. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке железнодорожной пересадки.

Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами,— он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине...

А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословленном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.

II

Я пробуждаюсь от своих мечтаний. Майор удивляет меня странным предложением:

— Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию... если вы сегодня не в форме, я могу вас...

— Что вы, господин майор!

Майор прекрасно знает, что подобное предложение нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием. И корят себя за то, что не придали ей значения.

Колебания майора напоминают мне об Израэле. Позавчера я курил у окна в отделе разведки. Из окна я увидел Израэля. Он куда-то спешил. Нос у него был красный. Длинный нос, очень еврейский и очень красный. Меня вдруг поразил красный нос Израэля.

К Израэлю, нос которого показался мне таким странным, я питал чувство глубокой дружбы. Он был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть победителем.

Так вот, я заметил его длинный красный нос, который блеснул только на мгновение, потому что Израэль шагал очень быстро и тут же исчез вместе со своим носом. Не собираясь шутить, я спросил Гавуаля:

— Почему у него такой нос?

— Таким уж мать его наградила,— ответил Гавуаль. И добавил: — Дурацкое задание на малой высоте. Он сейчас вылетает.

— А!

И вечером, когда мы уже перестали ждать возвращения Израэля, я, разумеется, вспомнил этот нос, который, выдаваясь вперед на совершенно бесстрастном лице, сам по себе, с каким-то особым талантом, выражал глубочайшую озабоченность. Если бы мне пришлось отправлять Израэля на это задание, его нос долго преследовал бы меня как укор. В ответ на приказание вылететь Израэль, конечно, ответил не иначе, как: «Есть, господин майор», «Слушаюсь, господин майор», «Ясно, господин майор». На лице Израэля, конечно, не дрогнул ни один мускул. Но потихоньку, коварно, предательски начал краснеть его нос. Израэль умел распоряжаться выражением своего лица, но не цветом своего носа. И нос, злоупотребив этим, самовольно вмешался в дело. Нос, без ведома Израэля, безмолвно выразил майору свое крайнее неодобрение.

Быть может, поэтому майор и не любит посылать в полет тех, кого, по его мнению, гнетут предчувствия. Предчувствия почти всегда обманывают, но из-за них боевые приказы начинают звучать как приговоры. Алиас — командир, а не судья.

Вот что произошло на днях с сержантом Т.

Насколько Израэль был отважен, настолько Т. был подвержен страху. Это единственный знакомый мне человек, которого по-настоящему мучил страх. Когда Т. получал боевой приказ, с ним творилось что-то невообразимое. Он просто впадал в транс.

Его сковывало оцепенение, оно распространялось медленно и неотвратимо — от ног к голове. С лица словно смывало всякое выражение, а глаза начинали блестеть.

В противоположность Израэлю, чей нос показался мне таким смущенным, смущенным возможной гибелью Израэля, и в то же время сильно разгневанным, Т. не обнаруживал никакого волнения. Он не реагировал: он сникал. К концу разговора становилось ясно, что Т. просто-напросто охвачен ужасом. И от этого по лицу его разливался какой-то невозмутимый покой. Отныне Т. был как бы недосягаем. Чувствовалось, что между ним и миром расстилается пустыня безразличия. Никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы нервное возбуждение проявлялось у кого-либо в такой форме.

— Ни в коем случае нельзя было посылать его в тот день,— говорил впоследствии майор.

В тот день, когда майор объявил ему о вылете, Т. не только побледнел, но даже начал улыбаться. Просто улыбаться. Так, должно быть, улыбаются под пыткой, когда палач уже переходит всякие границы.

— Вам нездоровится. Я вас заменю...

— Нет, господин майор. Раз очередь моя, значит моя.

И Т., вытянувшись перед майором, глядел на него в упор, не шевелясь.

— Но если вы не уверены в себе...

— Сегодня моя очередь, господин майор, моя.

— Послушайте, Т...

— Господин майор...

Т. словно превратился в каменную глыбу.

— И я разрешил ему лететь,— добавил Алиас.

То, что произошло потом, так и осталось загадкой. Т., стрелок на борту самолета, обнаружил, что его пытается атаковать вражеский истребитель. Но у этого истребителя заклинились пулеметы, и он повернул обратно. Пилот и Т. переговаривались почти до самого возвращения на базу, причем пилот не заметил ничего необычного. Но за пять минут до посадки стрелок перестал ему отвечать.

А вечером Т. нашли с проломленным черепом, его ударило хвостовым оперением. Он прыгнул с парашютом в труднейших условиях, на полной скорости, причем над своей территорией, когда ему уже не грозила никакая опасность. Появление истребителя было для него призывным сигналом, и он не устоял.

— Идите одеваться,— говорит нам майор,— вылет в пять тридцать.

— До свиданья, господин майор.

Майор отвечает неопределенным жестом. Суеверие? Так как у меня погасла сигарета и я безуспешно шарю в карманах, он добавляет:

— Почему у вас никогда нет спичек?

Он прав. И, напутствуемый этими прощальными словами, я выхожу, спрашивая себя: «Почему у меня никогда нет спичек?»

— Не нравится ему это задание,— замечает Дютертр.

А я думаю: ему наплевать! Но несправедливо осуждая Алиаса, я имею в виду не его. Меня поражает факт, которого никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а смысл, связывающий их между собой. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Для того, кто любит свой дом, настает час, и он вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Для того, кто любит свою жену, настает час, и он начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Для того, кто наслаждался какой-то мелодией, наступает час, и она его больше не трогает. Наступает час, как сегодня,— и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность.

Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. Потом, на обратном пути, его измотали бесконечные дорожные заторы. Вернувшись в группу, он столкнулся со множеством мелочей, тех, что гложут вас понемногу, как бесчисленные последствия горного обвала, задержать который невозможно. И наконец он вызвал нас, чтобы послать на невыполнимое задание. Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, бо́льшая тишина и большее отдаление. Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине, мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют.

Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопочем об устройстве похорон, то как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь взаимосвязей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам

его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы зарыдаем оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.

Я не люблю лубочных картинок, изображающих войну. На них суровый воин утирает слезу и прячет волнение за ворчливыми шутками. Это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Если он отпускает шутку, значит, шутка у него на уме.

Дело не в личных достоинствах. Майор Алиас — сердечный человек. Если мы не вернемся, он, возможно, будет оплакивать нас больше, чем кто-либо другой. При условии, что в его сознании будем мы, а не те или иные частности. При условии, что наступит тишина и он сможет воссоздать нас. Потому что если сегодня ночью преследующий нас судебный исполнитель снова заставит группу перебазироваться, то в лавине забот сломавшееся колесо какого-нибудь грузовика на время вытеснит нашу смерть из его сознания. И Алиас забудет нас оплакать.

Так и я, отправляясь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах. О бессмысленности полета над Аррасом на высоте семисот метров. О бесполезности ожидаемых от нас сведений. О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки?

Я уже не вижу собора, в котором живу.

Я облачаюсь для служения мертвому богу.

III

— Давай быстрее... Где перчатки? Нет... Не эти... поищи в моем мешке...

— Что-то не вижу, господин капитан.

— Ты остолоп.

Все они остолопы. И тот, который не может найти мои перчатки. И тот, другой, из штаба, со своей навязчивой идеей полета на малой высоте.

— Я просил тебя дать мне карандаш. Уже десять минут, как я прошу дать мне карандаш... Есть у тебя карандаш?

— Есть, господин капитан.

Нашелся-таки разумный человек.

— Привяжи к карандашу тесемку. И привесь его мне сюда, вот к этой петле... Послушайте, стрелок, вы что-то не торопитесь...

— Потому что я уже готов, господин капитан.

— А! Ладно...

Ну а штурман? Я переключаюсь на него.

— Как там дела, Дютертр? Все в порядке? Рассчитали курс?

— Курс готов, господин капитан...

Ладно. Курс готов. Безнадежное задание... Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы...

— Наняли бы они себе спиритов там, в штабе...

— Зачем?

— Да чтобы мы могли передать им вечером, через вертящийся столик, эти их сведения!

Я не в восторге от своего выпада, но продолжаю ворчать:

— Ох, уж эти штабные! Сами бы летали на эти безнадежные задания!

Как долго тянется церемония одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный, и старательно снаряжаешься только для того, чтобы изжариться заживо. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь, как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом — она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы, которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваюсь сразу всем туловищем, и, когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть неподдающиеся «молнии», у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль.

— Подай-ка сюда другой шлем. Я уже сто раз говорил тебе, что старый больше не надену. Он жмет.

Дело в том, что на большой высоте череп каким-то чудом распухает. И шлем, который на земле тебе впору, на высоте десять тысяч метров сжимает кости, как в тисках.

— Так это же другой, господин капитан. Я вам его сменил...

— А! Ну, ладно.

Я, конечно, ворчу, но без всякого угрызения совести. Потому что я совершенно прав! Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения. Как раз в эту минуту я в самом центре той внутренней пустыни, о которой я говорил. Здесь одни лишь обломки. Я даже не стыжусь, что мечтаю о чуде, которое изменило бы ход сегодняшних событий. Например, если откажут ларингофо-

ны. Они всегда отказывают, эти ларингофоны! Хлам! А ведь если б они отказали, это избавило бы нас от безнадежного задания...

Ко мне с мрачным видом подходит капитан Везэн. Перед вылетом капитан Везэн с мрачным видом подходит к каждому из нас. Капитан Везэн осуществляет в нашей группе связь со службой воздушного наблюдения. Его обязанность — информировать нас о перемещении вражеских самолетов. Везэн мой приятель, я его нежно люблю, но он всегда пророчит недоброе. И я жалею, что попался ему на глаза.

— Старина,— говорит Везэн,— ах, как скверно, как скверно, как скверно!

И он достает из кармана какие-то бумажки. Потом, испытующе глядя на меня, спрашивает:

— Как ты полетишь?

— Через Альбер.

— Так я и знал. Так я и знал. Ах, как скверно!

— Не валяй дурака. В чем дело?

— Тебе нельзя лететь!

Мне нельзя лететь!.. Какой он добрый, этот Везэн! Пусть вымолит у господа бога, чтобы отказали ларингофоны!

— Тебе не прорваться.

— Почему это мне не прорваться?

— Потому что над Альбером непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо непреодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом, погляди-ка...

И Везэн показывает мне бумажку, на которой он нацарапал какие-то непонятные схемы.

Шел бы он ко всем чертям, этот Везэн! Слова «заведомо непреодолимая преграда» на меня подействовали. Мне мерещится красный сигнал и нарушение дорожных правил. Но здесь нарушение правил — это смерть. В особенности ненавистно мне слово «заведомо». У меня такое чувство, будто я уже взят на прицел.

Усилием воли я заставляю себя рассуждать здраво. Противник «заведомо» должен защищать свои позиции, а как же иначе? Все эти слова сущий вздор... Да и плевать мне на истребителей. Когда я снижусь до семисот метров, меня собьет зенитная артиллерия. Уж она-то не промахнется! И я вдруг набрасываюсь на Везэна:

— Короче, ты решил срочно сообщить мне, что, поскольку существует немецкая авиация, мой вылет — шутка весьма неосторожная! Беги и доложи об этом генералу!..

А между тем Везэну ничего не стоило бы дружески ободрить

меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбера...

Смысл был бы точно такой же!

IV

Все готово. Мы в кабине. Остается проверить ларингофоны...

— Хорошо меня слышите, Дютертр?

— Слышу вас хорошо, господин капитан.

— А вы, стрелок, хорошо меня слышите?

— Я... да... отлично.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Слышу его хорошо, господин капитан.

— Стрелок, вы слышите лейтенанта Дютертра?

— Я... да... отлично.

— Почему вы все время говорите: «Я... да... отлично»?

— Я ищу карандаш, господин капитан.

Ларингофоны не отказали.

— Стрелок, давление в баллонах нормальное?

— Я... да... нормальное.

— Во всех трех?

— Во всех трех.

— Дютертр, готов?

— Готов.

— Стрелок, готов?

— Готов.

— Тогда — двинулись.

И я отрываюсь от земли.

V

Страх возникает из-за утраты уверенности в том, что я это я. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь преходящая личина. Время перестает, секунда за секундой,— подобно тому как оно создает дерево,— созидать ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак. И тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдание — это совсем другое дело.

Но вот время перестало течь впустую. Я наконец приступил к своему делу. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Будущее уже не чудится мне подобно какому-то странному видению. Отныне его создают, одно за другим, мои

действия. Я тот, кто следит за компасом и держит курс 313°. Кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные, естественные заботы. Это заботы по дому, мелкие повседневные обязанности, за которыми даже не чувствуешь, что стареешь. День становится хорошо прибранным домом, хорошо отполированной доской, хорошо поступающим кислородом. Я как раз проверяю подачу кислорода, потому что мы быстро набираем высоту: шесть тысяч семьсот метров.

— С кислородом в порядке, Дютертр? Как себя чувствуете?

— Все в порядке, господин капитан.

— Эй! Стрелок, кислород в порядке?

— Я... да... в порядке, господин капитан.

— Вы все еще ищете карандаш?

Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку A, чтобы проверить свои пулеметы. Кстати...

— Эй, стрелок, там позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта? Не попадет он в поле обстрела?

— Гм... нет, господин капитан.

— Ну, тогда давайте. Проверьте пулеметы.

Я слышу очереди.

— Хорошо работают?

— Хорошо.

— Сработали все?

— Гм... да... все.

Я тоже стреляю. Интересно, куда летят все эти пули, которыми мы почем зря поливаем родные просторы. Они никогда никого не убивают. Земля велика.

Итак, я живу содержанием каждой минуты. Я испытываю страх не в большей степени, чем зреющий плод. Разумеется, условия моего полета изменятся. И условия и задачи. Но я сам вовлечен в изготовление этого будущего. Время понемногу лепит меня. Ребенок не приходит в ужас оттого, что он терпеливо готовит в себе старика. Он — ребенок, и он играет в свои детские игры. Я тоже играю. Я считаю циферблаты, переключатели, кнопки, рычаги моего царства. Я насчитал сто три предмета, которые надо проверять, тянуть, поворачивать или нажимать. (Я, правда, чуточку сплутовал, сосчитав за два предмета боевой спуск моих пулеметов: там есть еще предохранитель.) Вечером я удивлю фермера, у которого квартирую. Я спрошу его:

— А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить?

— Откуда же мне знать?

— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру.

Какой он неучтивый, мой хозяин.

— Назовите любую цифру!

— Ну, семь.

— Сто три!

И я буду доволен.

Мое спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, громоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. Самолет создает мне комфорт: я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреваться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает мне нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора. Меня питает моя машина. До вылета это казалось мне непостижимым, а теперь, когда сама машина кормит меня грудью, я испытываю к ней нечто вроде сыновней привязанности. Нечто вроде привязанности грудного младенца. Что касается моего веса, то он распределился по точкам опоры. Три слоя одежды, тяжелый парашют за спиной давят на сиденье. Огромные меховые сапоги упираются в педали. Руки в толстых жестких перчатках, такие неуклюжие на земле, легко управляют штурвалом. Управляют штурвалом... Управляют штурвалом...

— Дютертр!

— ...тан?

— Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите?

— ...шу... вас... тан...

— А ну-ка, встряхните свое хозяйство! Вы слышите меня?

Голос Дютертра снова становится ясным:

— Слышу вас отлично, господин капитан!

— Ну, так вот: сегодня управление опять замерзает, штурвал ходит туго, а педали совершенно заело!

— Веселенькая история. А высота?

— Девять тысяч семьсот.

— Температура?

— Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке?

— В порядке, господин капитан.

— Стрелок, кислород в порядке?

Нет ответа.

— Стрелок!

Нет ответа.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Не слышу, господин капитан...

— Вызовите его!

— Стрелок! Эй, стрелок!

Нет ответа.

Но прежде чем пойти на снижение, я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить стрелка, если он заснул.

— Господин капитан?

— Это вы, стрелок?

— Я... гм... да...

— Вы что, не вполне в этом уверены?

— Уверен!

— Почему вы не отвечали?

— Я проверял передатчик. Я отключался!

— Балбес! Надо предупреждать! Я чуть не пошел на посадку: думал, вы умерли!

— Я... нет.

— Верю на слово. Но больше не устраивайте мне таких штук! Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться!

— Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать.

Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот должен все время контролировать поступление кислорода и постоянно следить за самочувствием экипажа.

И я пощипываю трубку своей маски, чтобы носом ощутить теплую струю, несущую жизнь.

Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом, самодовлеющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности (снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее), ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом на этот раз, в пределах моих действий, сводится к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь ризничего к богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки. Он гордится собой.

Я тоже великолепно отрегулировал шаг винтов и держу курс с точностью до одного градуса. Это должно восхищать Дютертра, если только он поглядывает на компас...

— Дютертр... я... курс по компасу... правильно?

— Нет, господин капитан. Чересчур отклонились. Возьмите вправо.

Вот досада!

— Пересекаем линию фронта, господин капитан. Начинаю съемку. Что у вас на высотомере?

— Десять тысяч.

VI

— Капитан... курс!

Точно. Я отклонился влево. Это не случайно... Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо непреодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится

в толще моего тела! Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я не догляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле... не о моем духе... Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера.

Ведь сейчас меня ничто особенно не тяготит. Теперь я уже не хотел бы, чтобы вылет отменили. А ведь, кажется, еще совсем недавно я об этом мечтал. Я думал: «Ларингофоны откажут. Мне так хочется спать. Пойду вздремну». И я воображал, с каким наслаждением буду нежиться в постели. Но в глубине души я все-таки знал, что отмена вылета не сулит ничего, кроме томительной хандры. Словно ждал какого-то обновления, а оно не состоялось.

Мне вспоминается школа... Когда я был мальчишкой...

— ...капитан!

— В чем дело?

— Нет, ничего... мне показалось...

Ничего хорошего не могло ему показаться.

Ну так вот... когда я был мальчишкой, в школе мы вставали ужасно рано. В шесть часов утра. Холодно. Протираешь глаза и уже заранее томишься в ожидании скучного урока грамматики. И мечтаешь заболеть, чтобы проснуться в лазарете, где монахини в белых чепцах будут подавать тебе в постель сладкое питье. Чего только не вообразишь себе об этом рае! Вот почему, если я простужался, я нарочно кашлял чуточку сильнее, чем полагалось. И, просыпаясь в лазарете, я слышал колокол, звонивший для других. Если я притворялся не в меру, этот колокол меня сурово наказывал: он превращал меня в призрак. Там, за стенами лазарета, он отзванивал настоящее время: время строгой тишины классных занятий, сутолоки перемен, тепла и уюта столовой. Для живых, там, за стенами лазарета, он создавал насыщенное существование, полное горестей, надежд, ликований, невзгод. Я же был обобран, забыт, меня тошнило от приторного питья, от влажной постели и от безликих часов.

Нет, отмена вылета ничего хорошего не сулит.

VII

Иногда, конечно, как, например, сегодня, вылет может быть нам и не по душе. Слишком уж очевидно, что мы просто-напросто играем в войну. Мы играем в казаки-разбойники. Мы в точности соблюдаем мораль наших книг по истории и правила наших учебников. Сегодня ночью, к примеру, я выехал с машиной на

аэродром. И часовой, согласно инструкции, штыком преградил дорогу моей машине, которая с таким же успехом могла быть и танком. Вот так мы и играем: штыком преграждаем дорогу танкам!

Откуда взяться энтузиазму, если, играя в эти довольно жестокие шарады, мы явно исполняем роль статистов, а от нас еще требуют, чтобы мы шли при этом на смерть? Смерть вещь слишком серьезная для шарады.

Кто станет с энтузиазмом надевать летное снаряжение? Никто. Даже Ошедэ, с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которая и есть высшее проявление человечности, даже Ошедэ, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не скрывается никакого энтузиазма. Она выражает лишь то, что выражает. И мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином. И который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать.

Потому что важен не энтузиазм. Когда терпишь поражение, на энтузиазм рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с энтузиазмом мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух.

Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: «Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...» Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом.

Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? «Интеллигентов держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать их после войны...» Но это же не ответ!

И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.

Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать.

Я просто любуюсь ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит.

Знать — это отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа...

Весь день моя деревня была для меня невидима. До вылета это были только глинобитные стены и довольно неопрятные крестьяне. Теперь — это кучка щебня в десяти километрах подо мной. Вот она, моя деревня.

Но, может быть, сегодня ночью проснется и залает сторожевая собачка. Я всегда наслаждался колдовским очарованием деревни, которая в ясную ночь говорит во сне одиноким голосом сторожевой собаки.

Я не надеюсь, что меня поймут, и мне это совершенно безразлично. Лишь бы явилась передо мной моя деревня, прибравшаяся перед сном, заперевшая на ночь запасы своего зерна, свой скот, свои вековые обычаи!

Крестьяне, вернувшись с поля, поужинают, уложат детей и, задув лампу, растворятся в безмолвии. И все исчезнет, и останется лишь мерное дыхание под добротными домоткаными простынями,— словно море, затихающее после шторма.

Ночью, когда подводятся итоги, бог временно отстраняет людей от пользования их богатствами. И пока люди будут отдыхать, по прихоти неодолимого сна разжав до утра пальцы, передо мною яснее предстанет сбереженное ими наследие.

Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей.

Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего...

— Капитан!

— Да?

— Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

Это прозвучало как удар грома.

Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...

VIII

— Стрелок!

— Капитан?

— Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

— Слышал, капитан!
— Дютертр, они нас заметили?
— Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.
— Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?
— ...несколько секунд.
— Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу! Крохотные. Рой ядовитых ос.
— Стрелок! Они идут наперерез. Сейчас увидите. Вот они!
— Я... я ничего не вижу. А! Вижу!
А я уже потерял их из вида.
— Гонятся за нами?
— Гонятся!
— Высоту набирают быстро?
— Не знаю... Кажется, нет... Нет!
— Ваше решение, господин капитан?
Это спросил Дютертр.
— А что я могу решить?
И мы замолкаем.
Решать тут нечего. Все зависит только от бога. Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще пятьсот метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что, прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах.
— Стрелок, все еще летят?
— Летят.
— Мы отрываемся?
— Гм... нет... да!
Все зависит от бога и от солнца.
Предвидя возможный бой (хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство), я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя както странно, но истребители у меня еще перед глазами. И всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали.

Я опять замечаю, что во время одевания волновался гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба. Благотворная злоба.
Но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться.
— Стрелок, уходим от них?
— Уходим, господин капитан.
Отлично.

— Дютертр... Дютертр...

— Слушаю, господин капитан.

— Нет... ничего.

— А что было, господин капитан?

— Ничего... Мне показалось... нет... ничего...

Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор...

Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку...

Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться...

Мну пальцем резиновую трубку. В нос бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке... Значит... Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию...

Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску... Я уже не вижу приборной доски... Я обливаюсь потом, и мне грустно.

Жизнь потихоньку вернулась ко мне.

— Дютертр!..

— Слушаю, господин капитан!

Мне хочется рассказать ему о случившемся.

— Я... думал... что...

Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб...

— Так что же было, господин капитан?

— Нет... ничего.

— Господин капитан, право, вы говорите загадками!

Я говорю загадками. Но зато я жив.

— ...мы их... оставили с носом!..

До поры до времени: впереди — Аррас.

Итак, в течение нескольких минут я думал, что уже не вернусь, и все-таки я не обнаружил в себе жгучего страха, от которого, говорят, седеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели?

IX

Как сейчас, вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе.

— ...Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну, совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это... вы знаете, там есть соединительная трубка... Пламя было несильное...

Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или не сильное. Он колеблется:

— А все-таки... там был огонь... Тогда я велел им прыгать...

Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел!

— Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в кабину... Мне стало немного не по себе.

На высоте семи тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе...» И он явно старается быть точным.

К тому же я убежден, что поле действия сознания совсем невелико. Разом оно вмещает только одну проблему. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не реагировало на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа. «Вы прыгнули?» Молчание. «Есть кто-нибудь на борту?» Молчание.

— Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать... (Лицо и руки у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет...

Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.

— Тогда я сдвинулся назад, посмотрел,— стрелка нет...

Стрелок тоже был мертв.

— Я решил, что остался один...

Он соображал:

— Если бы я знал... я мог бы опять влезть в кабину... Горело не так уж сильно... Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле. Я не знал, что делать...

Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно: он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать... Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени.

— А потом я прыгнул,— сказал он,— прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго...

Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал.

И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.

X

Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали. Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения.

Дютертр загодя предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя, машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертр успевает заснять кадров двадцать.

— Какая высота?

— Десять двести...

Я все еще думаю о Сагоне... Человек всегда остается самим собой. Все мы разные люди. И в себе самом я всегда обнаружи-

вал лишь самого себя. Сагон знал одного лишь Сагона. Тот, кто умирает, умирает тем, кем он был. И если смерть постигла простого шахтера, умирает простой шахтер. Где оно, то дикое безумие, которое выдумывают писатели, чтобы нас потрясти?

В Испании я видел, как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней. Безмолвно и, казалось, внезапно оробев, толпа окружила того, кто вернулся чуть ли не с того света. Покрытый мусором и щебнем, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, робость толпы сменилась чувством неловкости.

Ключи, которыми пробовали отпереть его сознание, не подходили, потому что никто не знал, о чем же надо его спросить. Его спрашивали: «Что вы чувствовали... О чем думали... Что делали...» — словно перебрасывали наугад мостки через пропасть. Так хватаются за первое попавшееся средство, чтобы привлечь внимание погруженного в ночь глухонемого слепца, которого пытаются спасти.

Но когда человек смог отвечать, он сказал:

— Да-да, я слышал продолжительный треск.

Или еще:

— Мне было тяжело. Это тянулось долго... Ох, как долго...

Или:

— Болела поясница, сильно болела...

И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял...

— Уж я искал их, искал... хорошие были часы... но в этой кромешной тьме...

Разумеется, жизнь научила его ощущать течение времени и любить привычные вещи. И для восприятия своего мира, пусть даже ограниченного обвалом и тьмой, он располагал чувствами лишь того человека, которым он был. И на главный вопрос, которого никто так и не сумел ему задать, но который вертелся у всех на языке: «Кем вы были? Кого вы открыли в себе?» — он мог бы ответить только одно: «Самого себя».

Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души!

Порою кажется, что внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма.

Конечно, сейчас я не испытываю любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит, я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое

празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам.

От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика...

Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не все ли равно! Мои полуобмороки состарили меня на века; я погрузился в безмятежный покой старцев. Все, что волновало меня, когда я снаряжался в полет, кажется теперь затерянным в бесконечно далеком прошлом. А Аррас — в бесконечно далеком будущем. Ну а военные приключения? Где они, эти приключения?

Всего минут десять назад я едва не погиб, а рассказать мне не о чем, разве что о крохотных осах, промелькнувших передо мной в течение трех секунд. Настоящее же приключение длилось бы десятую долю секунды. Но никто из нас не возвращается, не возвращается никогда, чтобы о нем рассказать.

— Дайте-ка левой ноги, господин капитан.

Дютертр забыл, что педали замерзли. А мне вспоминается поразившая меня в детстве картинка. Она изображала, на фоне северного сияния, странное кладбище погибших кораблей, затертых полярными льдами. В пепельном свете вечных сумерек они простирали свои обледеневшие руки. Среди мертвого штиля их все еще натянутые паруса хранили отпечаток ветра, как постель сохраняет отпечаток нежного плеча. Но чувствовалось, что они жесткие и ломкие.

Здесь тоже все замерзло. Рычаги замерзли. Пулеметы замерзли. И когда я спросил у стрелка:

— Как пулеметы?

Он ответил:

— Не работают.

— Ладно.

В респиратор кислородной маски я выплевываю ледяные иглы. Время от времени сквозь гибкую резину приходится раздавливать ледяную пробку, которая не дает мне дышать. Когда я сжимаю трубку, я чувствую, как в руке у меня трещит лед.

— Стрелок, кислород в порядке?

— В порядке.

— Какое давление в баллонах?

— Гм... Семьдесят.

— Ладно.

Время для нас тоже замерзло. Мы — три седобородых старца. Ничто не движется. Ничто не торопит. Ничто не страшит.

Боевые подвиги? Однажды майор Алиас почему-то предупредил меня:

— Постарайтесь быть осторожнее!

Быть осторожнее, майор Алиас? Каким образом? Истребители поражают вас сверху, словно молния. Летящий на тысячу пятьсот метров над вами отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться. Он маневрирует, ориентируется, занимает выгодное положение. А вы еще ничего не знаете. Вы — мышь, над которой простерлась тень хищника. Мышь воображает, что она живет. Она еще резвится во ржи. Но она уже в плену у ястребиного глаза, она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому что ястреб ее уже не выпустит.

Так же и вы. Вы продолжаете вести самолет, вы мечтаете, наблюдаете за землей, а между тем вас уже обрекла на гибель едва заметная черная точка, появившаяся в зрачке человека.

Девять истребителей обрушатся на вас по вертикали, когда им заблагорассудится. Времени у них хоть отбавляй. На скорости девятьсот километров в час они нанесут вам страшный удар гарпуном, который безошибочно поражает жертву. Эскадра бомбардировщиков обладает такой огневой мощью, что ей еще есть смысл обороняться, но один разведывательный самолет, затерянный в небе, никогда не одолеет семидесяти двух пулеметов, да и обнаружить-то их он сможет лишь по светящемуся снопу их пуль.

В тот самый миг, когда вам станет ясно, что все под ударом, истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя из поля обстрела, недосягаемый, повиснет над вами. Так раскачиваются кобры, молниеносно жалят и снова начинают раскачиваться.

Значит, когда истребители исчезли, еще ничто не изменилось. Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь бесстрастным очевидцем, а из рассеченной сонной артерии штурмана брызжет первая струйка крови, из капота правого мотора неуверенно пробивается первое пламя, которое сейчас забушует, как огонь в горне. Кобра уже успела свернуться, а яд ее проникает в сердце, и на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не убивают. Они сеют смерть. И смерть дает всходы, когда истребители уже далеко.

Быть осторожнее, майор Алиас? Но каким образом? Когда мы встретились с истребителями, мне нечего было решать. Я мог и не знать о их появлении. Если бы они летели прямо надо мной, я бы даже не знал об этом!

Быть осторожнее? Но ведь небо пусто.

Земля пуста.

Когда ведешь наблюдение с высоты десяти километров, человека не существует. В таком масштабе движения человека неразличимы. Наши длиннофокусные фотоаппараты служат нам микроскопами. Микроскоп нужен здесь для того, чтобы разглядеть не человека,— его и с помощью этого прибора не увидишь,— а лишь признаки человеческого присутствия: дороги, каналы, поезда, баржи. Человек оживляет то, что мы видим под микроскопом. Я бесстрастный ученый, и война этих микробов для меня сейчас всего лишь предмет лабораторного исследования.

— Дютертр, стреляют?

— Кажется, стреляют.

Откуда ему знать? Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно, и не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей. Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли.

С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, влачит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл. Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, этот след будет медленно распухать и превратится в вечернее облако над полями.

Истребители находят нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шарфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте.

Мы летим — я это знаю точно — со скоростью пятьсот тридцать километров в час... А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и земля: несмотря на скорость сорок два километра в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне? Они — как пылинки под куполом собора. Сами пылинки, мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок. И вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер.

Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу, по вертикали, сквозь недвижное чистое стекло я вижу лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул и теперь смотрю на них против света: где-то, далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом.

— Дютертр, вы что-нибудь видите сквозь эту мерзость?
— По вертикали вижу, господин капитан...
— Эй, стрелок, как там истребители?
— Ничего нового...

Я действительно в полном неведении о том, преследуют нас или нет и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой.

«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне восхитительным: «...недоступные, как слишком красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд...»

— Дайте-ка левой ноги!

Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии:

«...вслед за этим виражом повернет и целый сонм наших поклонников...»

Дать левой... дать левой... Легко сказать!

Слишком красивой женщине не удается ее вираж.

— Если будете петь... вам не поздоровится... господин капитан.

Неужели я пел?

Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке:

— Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу.

Можно... Можно... разумеется! Надо пользоваться удобным случаем.

Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли...

И я думаю:

«На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но, даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка... Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орла или решку еще не превратится в подвиг, даже если ставка в ней будет на жизнь или смерть. Война, это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа».

Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте.

XI

В Орконте, деревне близ Сен-Дизье, где суровой зимой тридцать девятого года базировалась моя группа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в моем глиняном кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеваться, я первым делом затапливал печь. Но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись калачиком.

Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от него своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов,— это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве нежит, ласкает, защищает тело ребенка.

И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое решение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал ее бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяло и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, потом на потолке начинали пробегать отсветы вспышек. Потом огонь охватывал всю охапку: так веселье охватывает

гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напевать. Становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда гости подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями.

А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит своему хозяину. Глядя на огонь, я испытывал тайное ликование. И когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма,— тогда я прыжком покидал одного друга ради другого, я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого, и, право, не знаю, поджаривал ли я себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов, я малодушно уступал более заманчивому, сверкающему, тому, который шумнее и ярче себя рекламировал.

И так три раза: сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно, и, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла,— три раза, стуча зубами, я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в неизвестной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню к блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной, для меня, свою пляску сторожевого пса.

Все это как будто пустяки. Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой — и только. Как мог бы я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства: сна, огня и пустыни? Как мог бы я предугадать все метаморфозы тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным, потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается племя. Огонь воздает честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку: «До чего приятно посидеть у огонька!»

Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез. Есть только абсолютная пустота. Есть только глубокая старость. Есть только голос, голос Дютертра, упорствующего в своей невыполнимой просьбе:

— Дайте-ка левой ноги, господин капитан...

XII

Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то, что мы — экипаж, обреченный на поражение. Я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочится отовсюду, и признак его я даже держу в руке.

Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.

На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрушению вала.

В крайнем случае, я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час.

Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одолеть левую. Но правая все еще не слушается.

Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.

Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, при котором теоретически возможен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва.

Все это бессмысленно. Все неисправно. Наш мир состоит из множества не пригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах, а в Часовщике. Не хватает Часовщика.

Мы воюем уже девять месяцев, а нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий.

Эта бесплодность гнетет нас всех, словно рок. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления.

Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При наличии безупречной администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться.

Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна к какому-либо творческому акту. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать. Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвратить нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика.

Я состою в группе 2/33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня:

— Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления.

И в утешение прибавили:

— Не волнуйся. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить.

И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать.

Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо». Я понял, почему это так. Когда страшная катастрофа приводила в негодность нашу превосходную административную машину и становилось ясно, что починить ее невозможно, тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди спасали все.

Когда вражеская бомба превратит министерство авиации в груду пепла, срочно призовут первого попавшегося капрала и скажут ему:

— Поручаем вам добиться того, чтобы управление не замерзало. Вам предоставляются неограниченные полномочия. Делайте что угодно. Но если через две недели оно по-прежнему будет замерзать, вы пойдете на каторгу.

Тогда, быть может, управление оттает.

Я могу привести сотни примеров такого порочного администрирования. В одном из северных департаментов комиссии интендантства реквизировали стельных коров и превратили бойни в кладбище телят, еще не вышедших из материнской утробы. Ни один винтик этой машины, ни один полковник интендантской службы не мог действовать иначе, чем в качестве винтика. Все они подчинялись другому винтику — как в часовом механизме. Всякое неповиновение было бесполезно. Поэтому как только машина начала разлаживаться, она принялась вовсю забивать стельных коров. Пожалуй, это было еще наименьшее зло. Окажись повреждение более серьезным, та же машина, чего доброго, стала бы забивать интендантских полковников.

Я до мозга костей подавлен этим всеобщим развалом. Но так как сейчас, по-видимому, не стоит губить один из моих моторов, я еще раз наваливаюсь на правую рукоятку. Обозлившись, нажимаю изо всех сил. И тут же отпускаю. От напряжения у меня опять закололо в сердце. Право же, человек не приспособлен к занятиям физкультурой на высоте десять тысяч метров. Я чувствую приглушенную боль, словно укор совести, неожиданно пробудившейся среди глубокого сна всего тела.

Моторы пусть разваливаются, если им так хочется. Мне на них наплевать. Я стараюсь вздохнуть. Кажется, мне никогда не удастся вздохнуть, если я позволю себе отвлечься. Я вспоминаю мехи, которыми в старину раздували огонь. Я раздуваю свой огонь. И мне очень хочется убедить его, чтобы он снова «занялся».

Что же я так непоправимо испортил? На высоте десять тысяч метров слишком резкое физическое усилие может вызвать разрыв сердечной мышцы. Сердце — вещь очень хрупкая. А служить оно должно долго. Глупо рисковать им ради такой грубой работы. Это все равно, что жечь алмазы для того, чтобы испечь яблоко.

XIII

Это все равно, что сжечь на севере все деревни, хотя их уничтожение даже и на полдня не может задержать наступление немцев. И все-таки эти бесчисленные деревни, эти старинные церкви, эти старинные дома, со всем их грузом воспоминаний, с натертыми до блеска ореховыми паркетами, с добротным бельем в шкафах и кружевными занавесками, которым до сих пор не было сносу,— я вижу, как все это от Дюнкерка до Эльзаса охвачено пламенем.

«Охвачено пламенем» — сказано слишком сильно: когда наблюдаешь с высоты десять тысяч метров, над деревнями, как и

над лесами, виден только неподвижный дым, что-то вроде беловатого студня. Огонь превращается в скрытое сгорание. На высоте десять тысяч метров время словно замедляет свой бег, потому что нет никакого движения. Нет треска пламени, нет грохота падающих балок, нет вихрей черного дыма. Нет ничего, кроме этой сероватой мути, застывшей в янтаре.

Исцелят ли когда-нибудь этот лес? Исцелят ли эту деревню? С такой высоты кажется, что огонь снедает их медленно, как болезнь.

По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений под сенью парка. Вы говорите ему:

— Мои деревья!

Он вас не слышит. Он воюет. Он прав.

Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, и ради этого рубят парки, и жертвуют летными экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла.

Враг уяснил себе одну очевидную истину и пользуется ею. Люди занимают немного места на необъятных просторах земли. Чтобы построить солдат сплошной стеной, их потребовалось бы сто миллионов. Значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их, как правило, можно подвижностью войск, но для вражеских танков слабо моторизованная армия как бы неподвижна. Значит, промежуток становится для них настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило: «Танковая дивизия действует, как вода. Она оказывает легкое давление на оборону противника и продвигается только там, где не встречает сопротивления». И танки давят на линию обороны. Промежутки имеются в ней всегда. Танки всегда проходят.

Эти танковые рейды, воспрепятствовать которым за неимением собственных танков мы бессильны, наносят непоправимый урон, хотя на первый взгляд они производят лишь незначительные разрушения (захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень). Танки играют роль химических веществ, которые разрушают не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнией пронеслись танки, сметая все на своем пути, любая армия, даже если с виду она почти не понесла потерь, уже перестала быть армией. Она превратилась в отдельные сгустки. Вместо единого организма остались только

несвязанные друг с другом органы. А между этими сгустками,— как бы отважны ни были солдаты,— противник продвигается беспрепятственно. Армия теряет боеспособность, когда она превращается в скопище солдат.

Технические средства не создаются за две недели. Ни даже... Мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было сорок миллионов земледельцев против восьмидесяти миллионов людей, занятых в промышленности!

Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и, после Дюнкерка — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев.

Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим, ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны.

Люди сторонние будут впоследствии упрекать Францию за те несколько мостов, которые не были взорваны, за те несколько деревень, которые не были сожжены, и за тех солдат, что остались в живых. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажмуриваем глаза и затыкаем уши. Поражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл,— а мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру. Мы сжигаем настоящие деревни, чтобы продолжать игру. И, чтобы продолжать игру, умирают наши солдаты.

Разумеется, кое-что и забывают! Забывают взорвать мост, забывают поджечь деревню, порою щадят жизнь солдат. Но трагизм этого разгрома в том, что он лишает действия всякого смысла. Солдат, взрывающий мост, не может не испытывать отвращения. Этот солдат не задерживает врага: он превращает мост в груду развалин, и только. Он калечит свою родину, лишь бы получилась удачная карикатура на войну!

Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который

опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат.

Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение.

Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Хорошо или плохо сражаются солдаты? Уже сам этот вопрос лишен всякого смысла! Теоретически известно, что населенный пункт способен обороняться в течение трех часов. Но солдаты получили приказ удерживать его. Не имея никаких средств для борьбы, они сами побуждают врага разрушить селение, только бы соблюсти правила игры в войну. Как услужливый противник за шахматной доской: «Ты забыл взять мою пушку...» Так и мы бросаем вызов врагу: «Мы защитники этой деревни. Вы нападающие. Ну, так валяйте!»

Предложение принято. Вражеская эскадрилья растаптывает деревню своим каблуком.

— Все по правилам!

Есть, конечно, люди пассивные, но пассивность — это скрытая форма отчаяния. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Алиас раза два-три угрожал револьвером угрюмым беглецам, попадавшимся ему на дорогах и невпопад отвечавшим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все! Беглецы виновны в бегстве, потому что, не будь беглецов, не было бы и бегства. И если навести на них револьвер, все пойдет хорошо... Но ведь это все равно что заживо хоронить больных с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Алиас снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Алиас прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты — следствие катастрофы, а не ее причина.

Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно.

А объяснить трудно.

Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции.

— Это не в счет...

— В счет! В счет!..

Что придумать, чтобы все-таки заставить человека вложить

все свои силы в состязание, которое уже перестало быть состязанием?

Алиасу хорошо известно, что думают солдаты. Они тоже думают: «Это не в счет...»

Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ.

Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой:

— Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выражалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня пришла ваша очередь сыграть эту роль.

— Слушаюсь, господин майор.

Алиас не презирает беглецов. Он прекрасно знает, что его убедительного ответа всегда бывало достаточно. Он и сам идет на смерть. Все его экипажи идут на смерть. И для нас оказалось вполне достаточно того же убедительного ответа, только чуточку завуалированного:

— Скверное задание... Но в штабе настаивают... Упорно настаивают... Тут уж ничего не поделаешь...

— Слушаюсь, господин майор!

Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных.

XIV

Я так состарился, что у меня уже все позади. Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины. Подо мной люди. Инфузории на стеклышке микроскопа. Разве можно интересоваться семейными драмами инфузорий?

Если бы не эта боль в сердце, которую я ощущаю так живо, я погрузился бы в дремоту, как состарившийся тиран. Всего лишь десять минут назад я сочинил историю с поклонниками. Тошнотворная фальшь. Разве я думал о нежных вздохах, когда заметил истребителей? Я думал о жалящих осах. Ну конечно, об осах. Они были крошечные, эти мерзавки.

И я мог без отвращения вообразить себе платье со шлейфом! Я вовсе и не думал о платье со шлейфом по той простой причине, что никогда не видел следа своего самолета. Из кабины, куда я засунут, как трубка в футляр, мне не видно, что делается сзади. Назад я смотрю глазами моего стрелка. Да и то, если ларингофоны в исправности! А мой стрелок ни разу не сказал мне: «Вон сколько воздыхателей увязалось за нашим шлейфом...»

Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко.

Жить тоже нелегко. Человек — всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немного стоят.

Что во мне потерпело аварию? В чем тайна переклички между моим существом и внешним миром? Почему то, что кажется мне сейчас отвлеченным и далеким, при других обстоятельствах могло бы глубоко меня взволновать? Почему какое-нибудь слово или жест порой образует бесконечные круги в чьей-то судьбе? Почему, если я Пастер, возня крошечных инфузорий приобретает для меня такой огромный смысл, что стеклышко микроскопа может мне показаться гораздо обширнее девственного леса, и, склонившись над ним, я смогу пережить приключение в его наивысшей форме?

Почему эта черная точка, это человеческое жилище, там, внизу...

И я вспоминаю.

Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, это огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... Так вот, когда я был маленький, однажды мне случилось пережить нечто странное.

Мне было лет пять или шесть. Было восемь часов вечера. Восемь часов — время, когда дети должны уже спать. В особенности зимой, потому что зимой рано темнеет. Однако обо мне забыли.

В первом этаже нашего большого деревенского дома была передняя, казавшаяся мне огромной; туда выходила дверь теплой комнаты, где мы, дети, обедали. Я всегда побаивался этой передней, быть может, потому, что тусклый свет лампы, висевшей посредине и скорее похожей на сигнальный фонарь, едва рассеивал царивший там густой мрак, и потому, что в тишине потрескивали деревянные панели, а также потому, что там было холодно. Из освещенных и теплых комнат сюда входили, как в пещеру.

Но в тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушался злого демона, дотянулся на цыпочках до ручки двери, тихонько нажал ее, вышел в переднюю и пустился тайком исследовать мир.

Однако мне показалось, что деревянные панели своим потрескиванием предупреждают меня о гневе божием. В полумраке я смутно различал укоризненно смотревшие на меня панели. Не смея идти дальше, я кое-как взобрался на столик у зеркала, прижался спиной к стене и, свесив ноги, застыл там

с бьющимся сердцем, как потерпевший кораблекрушение — на скале, в открытом море.

И тогда отворилась дверь гостиной, и в переднюю вошли два мои дяди, всегда внушавшие мне священный ужас; закрыв за собой дверь, за которой было светло и шумно, они начали расхаживать по передней.

Я дрожал, боясь, что меня обнаружат. Один дядя, Гюбер, был для меня олицетворением строгости. Посланцем божественного правосудия. Этот человек, который никогда и пальцем не тронул бы ребенка, повторял мне, грозно хмуря брови по случаю каждой моей провинности: «В следующий раз, как поеду в Америку, привезу оттуда машину для порки детей. В Америке все усовершенствовано. Вот почему дети там — само послушание. И родителям живется спокойно...»

Я не любил Америку.

И вот они расхаживали, не замечая меня, взад и вперед по холодной и необъятной передней. Я следил за ними глазами, прислушивался, затаив дыхание, голова у меня кружилась. «В нашу эпоху...» — говорили они. И удалялись, унося с собой тайну, доступную только взрослым, а я повторял про себя: «В нашу эпоху...» Потом они возвращались, как прилив, который снова катил ко мне свои загадочные сокровища. «Это безумие,— говорил один другому,— это просто безумие...» Я подхватывал эту фразу, словно какую-то диковинку. И медленно повторял, чтобы испытать силу воздействия этих слов на мое пятилетнее сознание: «Это безумие, это просто безумие...»

Итак, отлив уносил от меня дядей. Прилив снова прибивал их ко мне. Это удивительное явление, открывавшее передо мною новые, еще неясные горизонты, повторялось с той же правильностью, с какой, по законам всемирного тяготения, движутся небесные светила. А я был навеки прикован к своему столику,— тайный свидетель торжественного совещания, на котором оба мои дяди, знавшие решительно все, вместе творили мир. Дом мог простоять еще тысячу лет, и, тысячу лет расхаживая по передней с медлительностью маятника, оба дяди все так же создавали бы в нем ощущение вечности.

Эта точка, в которую я всматриваюсь, конечно, человеческое жилище, там, подо мной, на расстоянии десяти километров. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей.

С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к бес-

предельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений.

Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви, и любовь дает ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. То же бывает и с музыкой, когда она прекрасна. И с привычным запахом старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.

Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.

Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками,— иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.

Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она созидается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило.

Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочны такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он никуда не двигается.

В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы сто́им, если вдруг становимся неподвижны?

Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблю-

дает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.

Беспредельность, дарованная мне домом моего детства, или моей комнатой в Орконте, беспредельность, постигнутая Пастером благодаря тому, что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой,— все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспередельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.

Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья парка это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой...

— Можно снижаться!

Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной — тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды.

На скорости восемьсот километров в час и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в минуту я теряю высоту.

Сделав разворот, я расстался с преувеличенно красным полярным солнцем. Впереди, в пяти-шести километрах подо мной, я вижу прямолинейный фронт облаков. Их тень накрыла большой кусок Франции. Под ними — Аррас. Там, наверное, все погружено во тьму. Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. Забитые дороги, пожары, брошенное военное имущество, разоренные деревни, хаос... невообразимый хаос. Люди бессмысленно копошатся под тучей, как мокрицы под камнем.

Этот спуск подобен разорению. Нам тоже придется шлепать по грязи. Мы возвращаемся к какому-то разгромленному царству варваров. Там, внизу, все разлагается! Мы похожи на богатых путешественников, которые, проведя много лет в стране кораллов и пальм, разорившись, возвращаются домой, где их ждет жалкое прозябание в скаредной семье, плохо вымытая посуда, горечь мелочных дрязг, судебный исполнитель, бесконеч-

ные заботы о деньгах, напрасные надежды, позорные выселения, наглость домовладельца, нищета и зловонная смерть в больнице. Здесь смерть, по крайней мере, чиста! Ледяная и огненная смерть. Солнце, небо, лед и огонь. А там, внизу, тебя медленно засасывает глина!

XV

— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне!

Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой.

Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве.

Но разразилась война.

И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока. Говорят, будто население эвакуируют. Но теперь это уже не правда. Население эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища, как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе. Где даже самые щедрые мало-помалу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию.

Куда они идут? Они и сами не знают! Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван доберется до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван доберется до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость.

Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порою можно наблюдать парадоксальную вещь: те, что в других местах убивали, здесь подают напиться.

За время отступления мы стояли, быть может, в десяти деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни.

— Куда вы едете?

— Сами не знаем.

Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник, и муравьи разбредались кто куда. Как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники. Без надежды. Без отчаяния. Словно выполняя долг.

— Кто вам велел эвакуироваться?

Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя, или от помощника мэра. Ночью, часов около трех, он внезапно будил всю деревню:

— Эвакуируемся.

Они этого ждали. Вот уже две недели, как мимо них тянулись беженцы, и они отказались верить в незыблемость своего дома. А между тем человек уже давно перестал быть кочевником. Он строил деревни, которые стояли веками. Он полировал мебель, и она служила его правнукам. Отчий дом принимал человека при рождении и, как надежный корабль, вез его до самой смерти, а потом переправлял с одного берега на другой и его сына. Но вот оседлой жизни пришел конец. И люди уходили, даже не понимая зачем!

XVI

Немало горя пришлось нам хлебнуть на дорогах войны! Иногда бывают такие задания, когда за одно утро надо оглядеть и Эльзас, и Бельгию, и Голландию, и север Франции, и море. Но чаще всего мы решаем земные задачи, и наш горизонт обычно ограничивается дорожной пробкой на каком-нибудь перекрестке. Например, дня три тому назад мы с Дютертром были свидетелями того, как распалась деревня, в которой мы жили.

Мне, наверно, никогда не избавиться от этого неотвязного воспоминания. Около шести часов мы выходим из дома и видим неописуемый хаос. Все гаражи, все риги, все сараи изрыгнули на узкие улочки самые разнообразные средства передвижения: новые автомобили и допотопные телеги, полвека дремавшие в пыли, повозки для сена и грузовики, автобусы и двуколки. Ес-

ли бы хорошенько поискать, на этой ярмарке наверняка нашлись бы и дилижансы! На свет извлечены любые ящики на колесах. Туда сваливают семейные сокровища. В продырявленных простынях, из которых торчат острые выступы, их как попало волокут к повозкам. И все эти сокровища превращаются в хлам.

Прежде они определяли лицо дома. Они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было место, каждая стала необходимой по привычке и, овеянная воспоминаниями, была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, и теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, которой место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их свалить в кучу, просто воротит!

Распад начинается прямо на глазах.

— Да вы что, все с ума посходили? Что здесь происходит?

Хозяйка кафе, куда мы заглядываем, пожимает плечами:

— Эвакуируемся.

— Господи! Да почему?

— Неизвестно. Мэр приказал.

Дел у нее по горло. Она исчезает под лестницей. Мы с Дютертром смотрим на улицу. На грузовиках, легковых автомобилях, телегах, в шарабанах вперемежку громоздятся дети, матрацы и кухонная утварь.

Особенно жалкими выглядят старые автомобили. Крепкая лошадь между оглоблями телеги производит впечатление чего-то надежного. Лошадь не требует запасных частей. Чтобы починить телегу, довольно и трех гвоздей. Но вся эта рухлядь механической эры! Эти поршни, клапаны, магнето и шестеренки,— долго ли они будут действовать?

— ...Капитан... не поможете ли?

— Охотно. Чем могу служить?

— Выведите машину из сарая...

Я смотрю на нее с изумлением.

— Вы... вы не умеете водить машину?

— Ничего, на дороге справлюсь... там полегче будет...

С ней еще невестка и семеро ребятишек.

На дороге! Там она будет ползти по двадцать километров в день, через каждые двести метров останавливая машину! Через каждые двести метров в безнадежной неразберихе дорожных заторов ей придется тормозить, выключать мотор, выжимать сцепление, включать его, то и дело менять скорость. Она переломает все! А бензин, которого у нее не хватит! А масло! И вода, про которую она забудет!

— Смотрите, вода! Радиатор у вас течет, как худое ведро!

— Что ж делать! Машина не новая...

— В пути-то пробудете не меньше недели... Справитесь ли?

— Сама не знаю...

Не проехав и десяти километров, она уже раза три врежется в другие машины, заклинит сцепление, проколет баллоны. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек начнут плакать. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, столкнувшись с непосильными трудностями, вовсе откажутся что-либо предпринимать, сядут у обочины дороги в ожидании пастуха. Но пастухи...

Пастухи... Просто удивительно, до чего же их не хватает! Мы с Дютертром наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. Они уходят под оглушительный грохот механизмов. Три тысячи поршней. Шесть тысяч клапанов. Все это скрипит, скрежещет, стучит. В некоторых радиаторах кипит вода. Вот так, напрягаясь изо всех сил, трогается в путь этот обреченный караван. Караван без запасных частей, без шин, без горючего, без механиков. Какое безумие!

— А нельзя вам остаться дома?

— О, мы рады бы остаться!

— Тогда зачем же уезжать?

— Нам велели...

— Кто вам велел?

— Мэр...

Опять этот мэр.

— Еще бы! Все мы рады бы остаться!

И это верно. Здесь не чувствуется никакой паники, здесь царит атмосфера слепой покорности. Пользуясь этим, мы с Дютертром пытаемся образумить некоторых:

— Выгрузили бы вы лучше все это. Тогда хоть воду будете пить из своих колодцев...

— Ну ясно, так было бы лучше!..

— Но вас же никто не гонит?!

Наши слова возымели действие. Вокруг нас собралась кучка людей. Нас слушают. Одобрительно кивают головой.

— ...Капитан дело говорит!

У меня находятся приверженцы. Один дорожный рабочий, которого я обратил в свою веру, проповедует еще горячее меня:

— Я же говорил! Вот выедем на шоссе, будем жрать щебенку!

Они спорят. Потом приходят к согласию. Они останутся. Несколько человек идут убеждать остальных. Но вот они возвращаются в унынии.

— Ничего не выходит. Придется и нам уезжать.

— Почему?

— Булочник уехал. Кто же будет печь хлеб?

Деревня уже разваливается. Где-то образовалась трещина. Через эту трещину вытечет все. Тут уж ничего не поделаешь.

Дютертр рассуждает по-своему:

— Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война —

явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались...

Снова появляется хозяйка кафе. Она тащит мешок.

— Мы вылетаем через сорок пять минут... Не дадите ли нам по чашке кофе?

— Бедные вы мои детки!

Она вытирает глаза. Нет, она плачет не из-за нас. И не из-за себя. Она плачет от изнеможения. Она чувствует, что ее уже поглотил хаос этого расползающегося каравана, который с каждым километром будет разваливаться все больше и больше.

А потом, где-нибудь в открытом поле, вражеские истребители, снижаясь, то и дело будут выплевывать на это жалкое стадо пулеметные очереди. Удивительнее всего то, что обычно они не особенно-то и усердствуют. Подожгут несколько машин, и довольно. Убьют несколько человек, и хватит. Нас обслуживают по высшему разряду — нас как бы предупреждают. Словно собака, которая кусает за ноги овец, чтобы подогнать стадо. А здесь просто хотят создать панику. Но какой смысл в этих коротких случайных налетах, если они почти ни к чему не приводят? Противник не слишком старается развалить караван. Впрочем, караван разваливается и без его стараний. Машина разваливается сама по себе. Машина создана для мирных, спокойных людей, которым некуда торопиться. Когда машину некому ремонтировать, налаживать, красить, она старится с необыкновенной быстротой. Сегодня вечером все эти автомобили будут выглядеть так, словно им тысяча лет.

Мне кажется, что я присутствую при агонии машины.

Вот этот с королевским величием нахлестывает свою лошадь. Он сияет, сидя на козлах, как на троне. Вдобавок он, вероятно, еще и пропустил рюмочку.

— Эй, вы там! Чему радуетесь?

— Да ведь это же светопреставление!

Мне становится как-то не по себе, когда я думаю, что все эти труженики, все эти люди с их скромными обязанностями, с их самыми разнообразными достоинствами, уже сегодня вечером превратятся в прожорливых насекомых, в саранчу.

Они рассеются по полям и начнут пожирать урожай.

— Кто вас будет кормить?

— Почем мы знаем...

Как снабдить продовольствием миллионы беженцев, затерянных на дорогах, по которым двигаться можно лишь со скоростью от пяти до двадцати километров в день? Ведь если бы продовольствие даже и существовало, его невозможно было бы подвезти.

Это смешение людей и железного лома напомнило мне Ливийскую пустыню. Мы с Прево жили на безлюдном плато, покрытом черными, сверкавшими на солнце камнями, на плато, словно обтянутом железной броней.

И я с отчаянием взираю на это зрелище: долго ли может прожить стая саранчи, опустившаяся на асфальт?

— А чтобы напиться, вы будете ждать дождя?

— Почем мы знаем...

В течение десяти дней через их деревню беспрерывно шли беженцы с севера. Десять дней они были свидетелями этого великого переселения. Но вот настал их черед. И они занимают свое место в процессии. О, конечно, без всякой надежды.

— А мне бы все-таки хотелось умереть у себя дома.

— Каждому хотелось бы умереть у себя дома.

И это верно. Вся деревня рушится, как карточный домик, а ведь никому не хотелось уезжать.

Если бы у Франции даже и были резервы, подбросить эти резервы оказалось бы просто немыслимо, потому что все дороги забиты. На худой конец, несмотря на поломанные и врезавшиеся друг в друга машины, несмотря на непроходимые дорожные пробки, кое-как еще можно было бы двигаться по течению, вместе со всем потоком, но что делать, если нужно двигаться против него?

— Да ведь резервов-то нет,— говорит мне Дютертр,— а стало быть, нечего и волноваться.

Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И, кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха.

— Нет ли здесь врача?

— Вы что, нездешние?

— Нет, мы с севера.

— Зачем вам врач?

— Жена вот-вот родит в телеге...

Среди кухонной утвари, среди заполнившего все железного лома, как на терниях.

— Да разве вы не могли предвидеть?

— Мы уже четыре дня в дороге.

Дорога — это неумолимый поток. Где остановиться? Поток сметает на своем пути деревни, которые, лопаясь поочередно, изливаются в него и наполняют общую сточную канаву.

— Нет, врача здесь нет. Врач авиагруппы за двадцать километров отсюда.

— Ну, что ж, ладно...

Человек вытирает пот с лица. Все рушится. Жена его рожает в телеге, среди кухонной утвари. И во всем этом нет ни капли жестокости. Это прежде всего до дикости бесчеловечно. Никто не жалуется, жалобы не имеют никакого смысла. Его жена вот-вот умрет, а он не жалуется. Ничего не поделаешь. Это какой-то тяжелый сон.

— Если бы можно было хоть где-нибудь остановиться!..

Найти где-нибудь настоящую деревню, настоящую гостиницу, настоящую больницу... но больницы тоже эвакуируют, бог знает зачем! Таково уж правило игры. Придумывать новые правила нет времени. Найти бы где-нибудь настоящую смерть! Но настоящей смерти больше нет. Есть человеческие тела, которые разваливаются, как автомашины.

И я ощущаю во всем необходимость, потерявшую всякий смысл, необходимость, которая уже перестала быть необходимостью. Люди проходят пять километров в день, спасаясь от танков, успевающих за это время продвинуться без дорог более чем на сто километров, и от самолетов, летящих со скоростью шестьсот километров в час. Так вытекает сироп из опрокинутой бутылки. Жена этого человека рожает, а времени у него сколько угодно. Это необходимо сию минуту. И вместе с тем в этом уже нет необходимости. Это повисло в неустойчивом равновесии между минутой и вечностью.

Все замедлилось, как рефлексы умирающего. Огромное стадо топчется, изнемогая, перед воротами бойни. Сколько же их, обреченных погибнуть на щебенке,— пять, десять миллионов? Целый народ устало и понуро топчется на пороге вечности.

И, право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они и сами смутно понимают это, но не приходят в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, они перестали что-либо значить. Самая их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом, задним числом, они придумают себе более возвышенные страдания, но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице — чересчур тяжела их поклажа,— оттого что узлы прорвались и из простыней вывалилось все содержимое, оттого что слишком часто приходится толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места.

О поражении — ни слова. Оно и так очевидно. У вас нет по-

требности говорить о том, что составляет вашу сущность. Эти люди и есть само поражение.

Передо мной внезапно возникает жуткий образ Франции, из которой вываливаются внутренности. Надо немедленно зашивать. Нельзя терять ни секунды: эти люди обречены...

Вот уже началось. Они задыхаются, как рыба без воды.

— Нет ли здесь молока?..

Со смеху умрешь от такого вопроса!

— Мой малыш со вчерашнего дня ничего не ел.

Речь идет о шестимесячном младенце, который пока еще производит много шума. Но этот шум продлится недолго: рыба без воды... Здесь нет молока. Здесь только железный лом. Масса ненужного железного лома, который, рассыпаясь с каждым километром, теряя гайки, винты, куски жести, увлекает целый народ в это чудовищно-бесполезное переселение и тащит его за собой в небытие.

Идут разговоры о том, что немного южнее дорогу обстреливают самолеты. Поговаривают даже о бомбах. Мы и в самом деле слышим глухие разрывы. Значит, говорят не зря.

Но толпу это не пугает. Кажется, она даже немного оживилась. Эта очевидная опасность представляется ей менее страшной, чем опасность завязнуть в железном ломе.

Какую замечательную схему построят впоследствии историки! Каких только осей они не придумают, лишь бы придать смысл этой каше! Они уцепятся за слова какого-нибудь министра, за решение какого-нибудь генерала, за совещание какой-нибудь комиссии и из этой вереницы призраков создадут исторические беседы, на кого-то возложат ответственность, кого-то объявят весьма дальновидным... Они придумают, что один соглашался, другой возражал, один произносил монологи в духе Корнеля, другой совершал предательства. Я-то прекрасно знаю, что такое эвакуированное министерство. Однажды мне случилось посетить одно из них. Я сразу понял, что правительство, покинувшее свою резиденцию, перестает быть правительством. Это как с человеческим телом. Если начать перетаскивать желудок сюда, печень туда, кишки еще куда-нибудь, то все это уже не будет составлять организма. Я пробыл двадцать минут в министерстве авиации. Да, министр может воздействовать на своего секретаря. Воздействовать чудесным образом. Потому что министра с секретарем еще связывает провод звонка. Неповрежденный провод звонка. Министр нажимает кнопку, и секретарь является.

Это уже большая удача.

— Машину,— приказывает министр.

На этом его власть кончается. Секретарь поворачивается кругом. Но секретарь не знает, существует ли на свете автомо-

биль министра. Электрический провод не связывает секретаря с шофером машины. Шофер затерян где-то во вселенной. Что могут они, правители, знать о войне? Связь до того разладилась, что даже нам и то понадобилась бы теперь целая неделя, чтобы выслать бомбардировщиков против обнаруженной нами танковой дивизии. И какие сведения могут получить правители о стране, из которой вываливаются внутренности? Донесения распространяются со скоростью двадцать километров в день. Телефоны перегружены или работают плохо и не могут передать во всей ее полноте Сущность, которая в это самое время разваливается на части. Правительство висит в пустоте, полярной пустоте. Время от времени до него доносятся отчаянные вопли о помощи, но вопли абстрактные, сведенные всего к трем строчкам. Откуда правителям знать, не умерли ли уже с голоду десять миллионов французов? А этот вопль десяти миллионов людей содержится в одной фразе. Достаточно одной фразы, чтобы сказать:

— Приходите в четыре часа к X.

Или:

— Говорят, что погибло десять миллионов человек.

Или:

— Блуа горит.

Или:

— Ваш шофер нашелся.

Все это одинаковым тоном. Подряд. Десять миллионов человек. Машина. Восточная армия. Западная цивилизация. Шофер нашелся. Англия. Хлеб. Который час?

Я вам даю семь букв. Эти семь букв взяты из Библии. Попробуйте-ка воссоздать с их помощью Библию!

Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос:

— Чтобы предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами?

Всюду понемногу уже проглядывает облик мира. Но не того четко очерченного мира, который как новый исторический этап обычно следует за войной, ясно завершаемой договором. Это какой-то непонятный период, это конец всего. Конец, который никак не может прийти к концу. Болото, в котором мало-помалу увязает всякий порыв. Приближения развязки — хорошей или плохой — не чувствуется. Напротив. Все мало-помалу погру-

жается в гниль временного, похожего на вечность. Развязки не будет, потому что не за что ухватиться, чтобы вытащить страну из этого состояния, как вытаскивают утопленницу, намотав на руку ее волосы. Все распалось. И даже при самом энергичном усилии в руке остается всего лишь прядь волос. Наступающий мир не есть плод принятого человеком решения. Он распространяется, как проказа.

Там, подо мною, на дорогах, по которым расползается караван беженцев и немецкие танкисты то убивают людей, то подают им напиться,— там все напоминает трясину, где земля неотличима от воды. Мир, который уже примешивается к войне, разлагает войну.

Мой друг Леон Верт однажды подслушал на дороге поразительный разговор, о котором он собирается рассказать в большой книге. Слева от дороги — немцы, справа — французы. Между ними — медленный водоворот эвакуации. Сотни женщин и детей кое-как выбираются из горящих машин. Артиллерийский лейтенант, зажатый в этой пробке, пытается привести в боевое положение семидесятипятимиллиметровую пушку, по которой постреливает противник. Так как противник бьет мимо цели и косит людей на дороге, а лейтенант, упорствуя в выполнении своего непонятного долга, весь в поту, пытается спасти, позицию, хотя она не продержится и двадцати минут (их тут всего двенадцать артиллеристов!), то матери подбегают к нему и кричат:

— Убирайтесь вон! Убирайтесь! Вы — подлецы!

Лейтенант со своими солдатами уходит. Они повсюду сталкиваются с проблемами, которые ставит перед ними мир. Убивать малышей на дорогах, конечно, недопустимо. А ведь каждому солдату, который стреляет, приходится стрелять в спину ребенку. Каждый продвигающийся или пытающийся продвинуться грузовик рискует погубить множество людей. Потому что, двигаясь против течения, он создает непроходимую пробку.

— Вы с ума сошли! Пропустите нас! Дети умирают!

— Что поделаешь, война...

— Какая война? Где война? За три дня в этом направлении вы продвинетесь на шесть километров!

Несколько солдат, затерянных в своем грузовике, едут на сборный пункт, где их, наверняка, уже давно никто не ждет. Но у них одно на уме — они хотят выполнить свой простейший долг.

— Мы воюем...

— ...лучше бы нас подобрали! Есть у вас совесть?

Громко кричит ребенок.

— А этот...

Этот уже не кричит. Нет молока, нет и крика.

— Что поделаешь, война...

Они повторяют эти слова с тупым и безнадежным упорством.

— Да вам до нее никогда не добраться, до вашей войны! Вы подохнете здесь вместе с нами!

— Мы воюем...

Они уже и сами не уверены в том, что говорят. Они уже и сами не уверены в том, что воюют. Они никогда не видели противника. Они катят на грузовике к какой-то зыбкой цели, тающей быстрее, чем мираж. И встречают только этот мир гниющей свалки.

Так как в этом хаосе застревает все, они тоже слезли с грузовика. Их окружают:

— Есть у вас вода?..

И они раздают воду.

— А хлеб?..

И они раздают хлеб.

— Неужели вы оставите ее подыхать?

В сломанной машине, которую оттащили на обочину, хрипит женщина.

Ее высвобождают. Берут на грузовик.

— А ребенка?

Ребенка тоже берут на грузовик.

— А эту, она же рожает?

Берут и эту.

А потом еще одну, потому что она плачет.

Провозившись целый час, грузовик с трудом вывели из затора. Его повернули на юг. И он, как случайно закатившийся сюда валун, последует за уносящим его потоком беженцев. Солдаты приобщились к миру. Потому что они никак не могли найти войну.

Потому что мускулатура войны невидима. Потому что, стреляя, вы попадаете в ребенка. Потому что на сборном пункте воинских частей вы наталкиваетесь на рожениц. Потому что пытаться передать сведения или получить приказ так же бессмысленно, как вступать в спор с Сириусом. Армии больше нет. Есть только солдаты.

Они приобщились к миру. Силой обстоятельств они превратились в механиков, пастухов, санитаров, врачей. Они чинят машины этим беспомощным людям, которые сами не умеют вылечить свои развалины на колесах. И, стараясь изо всех сил, эти солдаты не знают, кто они — герои или преступники, подлежащие суду военного трибунала. Они не удивятся, если их наградят орденами. И не удивятся, если их поставят к стенке и всадят им по двенадцать пуль в голову. Не удивятся, если их демобилизуют. Их ничто не удивит. Они давно уже перешли пределы удивления.

Все превратилось в сплошное варево, где ни один приказ, ни одно движение, ни одно известие, ни одна волна — ничто не

сможет распространиться дальше трех километров. И как деревни одна за другой рушатся в общую сточную канаву, так и военные грузовики, поглощаемые мирными заботами, один за другим приобщаются к миру. Эти горсточки людей, которые, не колеблясь, пошли бы на смерть,— но перед ними не встает такая необходимость,— хватаются за первое попавшееся дело. И вот они чинят оглоблю старой повозки, куда три монахини насажали дюжину ребятишек и, спасая малышей от смерти, отправились с ними бог весть в какое паломничество, бог весть к какому сказочному убежищу.

Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четырех километрах от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии.

Нет пастуха для женщин и детей, но нет его и для солдат. Генерал распоряжается адъютантом, министр — секретарем. И, быть может, своим красноречием он способен воодушевить его. Алиас распоряжается летными экипажами. И он может вызвать у них готовность пойти на смерть. Сержант с военного грузовика распоряжается десятком подчиненных ему солдат. Но он не в силах связаться ни с кем другим. Даже если предположить, что какой-нибудь гениальный полководец, чудом умудрившийся охватить взглядом все, придумает план нашего спасения, то для осуществления своего плана этот полководец сможет располагать только звонковым проводом длиною двадцать метров. А в качестве маневренной силы, необходимой для победы, у него будет секретарь, если на другом конце провода еще будет существовать секретарь.

И когда по дорогам бредут кто куда эти солдаты из разбитых частей, эти воины, оставшиеся на войне без работы, в них не заметно того отчаяния, которого можно было бы ждать от побежденных патриотов. Они смутно желают мира, это верно. Но мир для них — всего лишь конец этого невероятного хаоса и возможность вновь обрести себя, свою личность, пусть самую скромную. Так бывший сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует вселенную.

И если они идут куда глаза глядят, то это от всеобщей неразберихи, которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не страшит — они опустошены.

XVII

Существует непреложный закон: побежденных нельзя сразу превратить в победителей. Когда говорят об армии, что она сперва отступала, а теперь дает отпор, то это всего лишь словесное упрощение, потому что отступавшие войска и те, что сейчас ведут бой, не одни и те же. Отступавшая армия уже не была армией. И дело не в том, что эти солдаты были недостойны победить, а в том, что отступление разрушает все связи — и материальные и духовные,— объединявшие между собой людей. Массу разобщенных солдат, которые, отступая, просочились в тыл, заменяют свежими резервами, действующими, как единый организм. Они-то и задерживают противника. А беглецов собирают в кучу и из этого бесформенного теста снова лепят армию. Если нет резервов, которые можно бросить в бой, первое же отступление становится непоправимым.

Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.

Почти всем — и тем, кто еще сопротивляется, и тем, кто перестал сопротивляться,— лицо побежденной Франции явится позднее, в часы безмолвия. Сегодня каждый целиком поглощен какой-нибудь простейшей деталью, которая испортилась или отказалась служить,— попавшим в аварию грузовиком, дорожной пробкой, заклинившейся рукояткой сектора газа, бессмысленным заданием. То, что задание становится бессмысленным,— признак катастрофы. Потому что бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность. Гибнущая Франция тонет в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора газа.

Конечно, разгром — печальное зрелище. Во время разгрома низкие души обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные устои рушатся. Армия, дошедшая до предела отвращения и усталости, разлагается в этой бессмыслице. Все это — неизбежные проявления разгрома, как бубоны — проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик, неужели вы станете корить ее за уродство?

Поражение накладывает на побежденных печать вины, и

в этом его несправедливость. Как может поражение обнаружить принесенные жертвы, беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Как может оно обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников, разброд в войсках, инертность толпы. Нередко люди и в самом деле уклонялись от исполнения долга, но что означало само это уклонение? Достаточно было распространиться известию о контрударе русских или о вступлении в войну американцев, чтобы люди преобразились. Чтобы их объединила общая надежда. Такой слух каждый раз очищал все, как порыв морского ветра. Не надо судить Францию по результатам постигшей ее катастрофы.

Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логики нам твердили: «Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, мы,— ведь спасти его не в наших силах!— должны во избежание позора покончить жизнь самоубийством? Разве это позор, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?» Логики были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.

Жизнь всегда с треском ломает формулы. И разгром, как он ни уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Я знаю: чтобы выросло дерево, должно погибнуть зерно. Первая попытка к сопротивлению, если она совершается слишком поздно, всегда обречена на неудачу. Но зато она пробуждает силы сопротивления. И из нее, может быть, вырастет дерево. Как из зерна.

Франция сыграла свою роль. Весь мир, словно некий арбитр, безучастно взирал на то, что творил с нею враг, а потому ее роль состояла в том, чтобы дать раздавить себя и на время оказаться погребенной в молчании. Когда идут в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но, для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть.

И наша роль была самой высокой, потому что, не строя никаких иллюзий, мы согласились противопоставить одного нашего солдата трем их солдатам и наших крестьян их рабочим! Я не хочу, чтобы о нас судили по уродливым проявлениям разгрома!

Неужели о том, кто готов сгореть в полете, станут судить по его ожогам? Ведь он тоже превратится в урода.

XVIII

И все-таки эта война, если отвлечься от того духовного смысла, который сделал ее для нас необходимой, велась так, что показалась нам нелепой войной. Я никогда не стыдился этого слова. Не успели мы объявить войну, как тут же, не имея возможности идти в наступление, начали ждать, когда нас соблаговолят уничтожить!

И нас уничтожили.

Для борьбы с танками в нашем распоряжении были только снопы пшеницы. Снопы пшеницы совершенно для этого не годились. И теперь уничтожение завершено. Нет больше ни армии, ни резервов, ни связи, ни вооружения.

А я продолжаю свой полет с невозмутимой деловитостью. Я снижаюсь в направлении немецких позиций со скоростью восемьсот километров в час и с числом оборотов три тысячи пятьсот тридцать в минуту. Зачем? То есть как зачем? Да затем, чтоб нагнать на них страху! Чтобы они убрались с нашей территории! Поскольку сведения, которых от нас ожидают, бесполезны, это задание не может иметь иной цели.

Нелепая война.

Впрочем, я преувеличиваю. Я сильно снизился. Управление и рукоятки оттаяли. Я лечу по горизонтали с нормальной скоростью. Я прорываюсь к немецким позициям со скоростью всего лишь пятьсот тридцать километров в час и с числом оборотов две тысячи двести в минуту. А жаль. Я напугаю немцев гораздо меньше.

Нас будут упрекать за то, что мы назвали эту войну нелепой войной.

Но ведь «нелепой» называем ее мы сами! Значит, нам она кажется нелепой. Мы вправе подшучивать над ней, как нам угодно, потому что все жертвы мы берем на себя. Я вправе подшучивать над собственной смертью, если такая шутка может меня развеселить. И Дютертр тоже. Я вправе тешить себя парадоксами. В самом деле, зачем до сих пор пылают деревни? Зачем их жители лишились крова? Зачем мы с такой непоколебимой убежденностью бросаемся в механизированную мясорубку?

Мне позволено все, потому что в эту секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась великая истина. Война — это не приятие риска. Это не приятие боя. Наступает час, когда для бойца — это просто-напросто приятие смерти.

В эти дни, когда за границей считали, что принесенные нами жертвы недостаточны, я спрашивал себя, глядя, как улетают и не возвращаются наши экипажи: «Ради чего мы отдаем свою жизнь? Кто нам за это заплатит?»

Потому что мы умираем. Потому что за две недели уже погибло сто пятьдесят тысяч французов. Может, их смерть вовсе не свидетельствует о каком-то необычайном сопротивлении. Я отнюдь не прославляю необычайное сопротивление. Оно невозможно. Но ведь есть же отряды пехотинцев, которые идут на смерть, защищая обреченную ферму. Есть авиагруппы, которые тают, как воск, брошенный в огонь.

Взять хотя бы нас, летчиков группы 2/33,— почему мы все еще соглашаемся умирать? Чтобы снискать уважение мира? Но уважение предполагает наличие судьи. А кто из нас предоставит кому бы то ни было право судить? Мы боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена свобода не только Франции, но всего мира, и выступать в роли арбитра слишком удобно. Мы сами судим арбитров. Мои товарищи из авиагруппы 2/33 судят арбитров. И пусть не говорят нам, безропотно улетающим в разведку, когда на возвращение есть только один шанс против трех (и то если задание легкое!), пусть не говорят летчикам из других авиагрупп, пусть не говорят моему товарищу, которому осколок снаряда так изуродовал лицо, что он на всю жизнь лишился естественного права нравиться женщине, лишился его, как узник за решетками тюрьмы, гарантировав себе целомудрие собственным уродством надежнее, чем крепостными стенами,— пусть не говорят нам, что нас судят зрители! Тореадоры живут для зрителей, но мы не тореадоры. Если бы Ошедэ сказали: «Ты должен вылететь, потому что тебя судят свидетели», Ошедэ ответил бы: «Ошибаетесь. Это я. Ошедэ, сужу свидетелей...»

Так за что же в конце концов мы продолжаем сражаться? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит, мы солидарны с демократическими странами. Пусть же они сражаются вместе с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера уклонилась от этого и уклоняется еще сегодня. Ну, что ж! Это ее право. Но тем самым она показывает нам, что мы сражаемся лишь за свои интересы. А между тем мы знаем, что все потеряно. Тогда зачем же мы продолжаем умирать?

От отчаяния? Но отчаяния нет! Вы понятия не имеете о разгроме, если думаете, что он порождает отчаяние.

Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами.

Я умираю, не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь,— я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне:

— Курс сто семьдесят пять, господин капитан...

И я возьму этот курс.

XIX

— Сто семьдесят два.

— Понял. Сто семьдесят два.

Пусть будет сто семьдесят два. Представляю себе эпитафию: «Вел самолет точно по курсу сто семьдесят два». Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя учебную цель немецкой артиллерии. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии. Становишься доступен орудиям любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как будто тысячью палок стараются сбить один орех.

Я все досконально продумал: на парашют здесь рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать вниз, то одно только открывание люка потребует больше секунд, чем продлится само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз.

Ничего не поделаешь. Однажды приходится проглотить эту пилюлю! Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек.

Детство... Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь. Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле...

И мне кажется, что я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Я так же был счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда...

Мое самое далекое воспоминание? У меня была нянька из Тироля, звали ее Паула. Но это даже не воспоминание: это воспоминание о воспоминании. Когда мне было пять лет и со мной произошел тот случай в передней, Паула стала уже легендой. Но еще долго в канун Нового года мать говорила нам: «Письмо от Паулы!» Для нас, детей, это была большая радость. Но почему мы так ликовали? Никто из нас Паулу не помнил. Она вернулась в свой Тироль. В свой тирольский домик. Похожий на барометр в виде хижины, затерянной среди снегов. И в солнечные дни Паула показывалась на пороге, как бывает во всех барометрах в виде хижины.

— А Паула красивая?

— Очаровательная.

— А в Тироле часто бывает хорошая погода?

— Всегда.

В Тироле всегда была хорошая погода. Паула выходила из своего домика-барометра, он выталкивал ее далеко-далеко, на снежную полянку. Когда я научился писать, меня заставляли писать Пауле письма. Я писал ей: «Милая Паула, я очень рад, что пишу вам...» Это было похоже на молитву, потому что я забыл Паулу...

— Сто семьдесят четыре.

— Понял. Сто семьдесят четыре.

Пусть будет сто семьдесят четыре. Придется изменить эпитафию. Любопытно, как вся моя жизнь разом возникла передо мной. Я запаковал свои воспоминания. Они больше уже не понадобятся. Никому и никогда. Я храню память о большой любви. Мать говорила нам: «Паула просит всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу.

— А Паула знает, что я вырос?

— Конечно, знает.

Паула знала все.

— Господин капитан, они стреляют.

Паула, в меня стреляют! Я бросаю взгляд на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну, что ж. Ничего не поделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под облаками совсем не черный, он синий. Сказочно синий. Наступает час сумерек, и вся равнина синяя. Местами идет дождь. И от дождя она синяя...

— Сто шестьдесят восемь.

— Понятно. Сто шестьдесят восемь.

Пусть будет сто шестьдесят восемь. Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... Но какой она мне кажется спокойной, эта дорога! Мир похож на фруктовый сад. Только что он представлялся мне бездушным, как чертеж. Все мне казалось нечеловеческим. Но теперь я лечу низко и ощущаю какую-то близость с этим миром. Подо мною, то поодиночке, то маленькими рощами, проносятся деревья. Я вижу их. И зеленые поля.

И дома под красными черепичными крышами, и того, кто стоит у дверей. И вокруг — прекрасные синие ливни. В такую погоду Паула, разумеется, уводила нас поскорее домой...

— Сто семьдесят пять.

Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять...» Это уже легкомыслие. Вот те на! Мотор чихает! Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке.

— Дрянь дело, господин капитан.

Слышишь, Паула? Дело дрянь. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна! Цвет до того глубокий! И эти бегущие фруктовые деревья, быть может, сливы. Я вписался в этот пейзаж. С витринами покончено! Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя! Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну, уже старея... О нет, мне не страшно. Немного грустно, вот и все.

— Маневрируйте, капитан!

Вот это новая игра, Паула! Нажмешь правой ногой, нажмешь левой,— и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки, знаешь... она сказочна, эта вечерняя синева!

Там, впереди, я заметил три расходящихся копья. Три вертикальных стебля, длинных и блестящих. Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра...

— Капитан! Слева сильнейший огонь! Берите вправо!

Жму на педаль.

— Да, плохо дело...

Возможно...

Дело плохо, но я не выхожу из границ своего мира. Со мною все мои воспоминания, все накопленные сокровища, все, кого я люблю. Со мной мое детство, которое, словно корень, теряется во тьме. Я начал жизнь печалью воспоминания... Дело плохо, но я вовсе не ощущаю того, что предполагал испытать в когтях этих падающих звезд.

Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей,— они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля,— она пахнет землей. Хорошо, должно быть, ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачи-

ваясь с боку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро... разумеется, если думать об этом! Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле...

— Аррас...

Да. Там, далеко впереди. Но Аррас не город. Аррас — это всего лишь красный фитиль на фоне ночной синевы. На фоне грозы. Потому что ясно — слева и спереди надвигается грандиозный ливень. Одними сумерками такой мрак не объяснить. Такая тьма может быть только под огромными скоплениями облаков.

Пламя Арраса поднялось выше. Это не пламя пожара. Пожар распространяется вширь, как язва, окаймленная обнаженным мясом. А этот красный фитиль, непрерывно питаемый горючим, похож на фитиль чуть коптящей лампы. Это пламя горит спокойно, уверенное в том, что не погаснет, что горючего вдоволь. В нем чувствуется компактная, почти весомая плоть, которую порой колышет ветер, раскачивая словно дерево. Вот именно... дерево. Это дерево оплело Аррас сетью своих корней. И все, что есть в Аррасе, все запасы Арраса, все сокровища Арраса устремляются ввысь, превращенные в соки, питающие дерево.

Я вижу, как это по временам слишком тяжелое пламя, клонясь то вправо, то влево, выплевывает клубы черного дыма, а потом снова выпрямляется. Но я все еще не различаю города. В этом зареве — вся война. Дютертр говорит, что дело плохо. Ему впереди виднее. А меня больше всего удивляет какая-то снисходительность судьбы: эта отравленная равнина мечет в нас не так уж много ядовитых звезд.

Да, но...

Ты знаешь, Паула, в волшебных сказках моего детства рыцарь на пути к таинственному заколдованному замку проходил через грозные испытания. Он взбирался на ледники. Он преодолевал пропасти, он расстраивал козни предателей. Наконец, его взору являлся замок среди голубой равнины, по которой конь его скакал мягко, как по лужайке. Рыцарь уже считал себя победителем... Ах, Паула, того, кто знает, что такое сказка,— не обманешь! Здесь-то всегда и начиналось самое трудное!..

Вот так и я несусь сквозь вечернюю синеву к своему огненному замку, как бывало прежде... Ты уехала слишком рано и не знаешь наших игр, тебе не пришлось играть с нами в рыцаря Аклена. Мы сами придумали эту игру, потому что презирали обычные игры. В эту игру мы играли в те дни, когда надвигалась сильная гроза, когда, после первых молний, по особому, аромату и по внезапному трепету листьев мы чувствовали, что туча вот-вот разразится ливнем. Густая листва превращается тогда на мгновение в шипучую и легкую пену. Это было сигналом... ничто уже не могло нас удержать.

Из самой глубины парка, по широким лужайкам, мы что было духу мчались к дому. Первые капли грозового ливня падают тяжело и редко. Первый, на кого попадала капля, считался побежденным. Потом второй. Потом третий. Потом и остальные. Тому, кто продержался дольше всех, конечно, покровительствовало небо, он был неуязвим! И он получал право, до следующей грозы, носить имя «рыцаря Аклена»...

И каждый раз, в несколько секунд, игра завершалась гекатомбой детей.

Я и сейчас играю в рыцаря Аклена. Я несусь к моему огненному замку медленно, но так, что дух захватывает...

И вдруг:

— Ну, капитан! Такого я еще не видывал...

Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся...

XX

Несмотря на высоту семьсот метров, я надеялся. Несмотря на танковые парки, несмотря на пламя Арраса, я надеялся. Я надеялся безнадежно. Я возвращался памятью в свое детство, чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой. Для взрослого нет защиты. Когда ты становишься взрослым, тебя пускают одного... Но кто осмелится обидеть мальчика, которого держит за руку всемогущая Паула? Паула, я укрылся твоей тенью, как щитом...

Я перепробовал все хитрости. Когда Дютертр сказал мне: «Дело плохо», я обратил в надежду даже эту угрозу. Мы на войне: так нужно же, чтобы война хоть в чем-то проявилась. И она проявилась всего лишь в нескольких светящихся росчерках. Так вот она какая, эта знаменитая смертельная опасность над Аррасом? Просто смешно!..

Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она — путь к спасению... Однако это призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды?

Как было и мне не ошибиться в том, какой прием нам окажут, если под нами расстилался такой простой и милый сельский пейзаж, если так приветливо блестели мокрые черепичные крыши и, хотя проходили минуты, ничто не менялось и как будто не должно было измениться. Если мы трое — Дютертр, стрелок и я — просто возвращались домой с прогулки по полям, даже не подняв воротников, потому что никакого дождя не было. Если в глубине немецких позиций не обнаруживалось ничего примечательного и если не было никакой видимой при-

чины, которая в дальнейшем непременно должна была бы изменить облик войны. Если казалось, что враг рассеялся и как бы растворился в безграничности полей, так что, может быть, всего-то и осталось по одному солдату на дом, по одному солдату на дерево, и кто-нибудь из них, вспомнив про войну, время от времени начинал стрелять. Ему без конца вдалбливали: «Ты должен стрелять по самолетам...» Но сейчас это припоминалось смутно, как сквозь сон. Солдат давал короткую очередь, сам хорошенько не зная, нужно ли это. Так, бывало, гуляя по вечерам с милой сердцу спутницей, я охотился на уток, вовсе не думая о них: я стрелял, а сам говорил совсем о другом. Уток это вполне устраивало...

Очень легко увидеть то, что хочешь видеть: вот этот солдат целится в меня, но так, между прочим, и пули его летят мимо. Другие солдаты пропускают нас. Те, что могли бы подставить нам ножку, может быть, с наслаждением вдыхают в эту минуту запах ночи, или закуривают сигарету, или досказывают анекдот,— и они пропускают нас. Расквартированные вон в той деревне, быть может, протягивают за супом свой котелок. Раздается и затихает какой-то гул. Свой или чужой? Им некогда разбираться, они видят лишь наполняемый котелок — и пропускают нас. А я, засунув руки в карманы и посвистывая, пытаюсь как ни в чем не бывало прошмыгнуть через этот сад, в котором гулять запрещено, но куда каждый сторож, полагаясь на другого, беспрепятственно пропускает меня...

Я так уязвим! Сама моя беспомощность — ловушка для них: «Зачем вам беспокоиться? Меня собьют чуть подальше...» Это так очевидно! «Ну и проваливай! Пусть тебя сбивает кто хочет!..» Они перекладывают эту скучную работу на других, чтобы не пропустить свою очередь за супом, чтобы не прерывать шутки или чтобы просто насладиться вечерним ветерком. А я пользуюсь их нерадивостью, я вырываю свое спасение у этой минуты, когда война утомила их всех, всех до единого, как нарочно,— а почему бы и нет? И я уже прикидываю, как от солдата к солдату, от взвода к взводу, от деревни к деревне, справившись со своим заданием, доберусь домой. В конце-то концов мы всего лишь самолет, пролетающий в вечернем небе... из-за него и голову поднимать не стоит!

Конечно, я надеялся вернуться. Но в то же время я знал: что-то должно произойти. Вас осудили на казнь, но тюрьма, где вы заключены, еще безмолвствует. Вы судорожно цепляетесь за эту тишину. Каждая секунда похожа на прошедшую. И нет никаких оснований считать, что та, которая вот-вот наступит, перевернет мир. Такой труд ей не под силу. Каждая секунда, одна за другой, спасает тишину. И уже кажется, что она будет длиться вечно...

Но вот раздаются шаги того, чей приход неотвратим.

В ландшафте что-то нарушилось. Так полено, которое, казалось, потухло, с внезапным треском выбрасывает целый сноп искр. Какая тайная сила заставила всю равнину мгновенно отозваться на наше присутствие? Весною деревья рассеивают свои семена. Почему вдруг наступила весна для орудий? Откуда эти потоки света, которые устремляются к нам и, кажется, разом заполняют все?

Мое первое ощущение — что я допустил какую-то оплошность. Я все испортил. Когда равновесие слишком неустойчиво, достаточно бывает моргнуть глазом или шевельнуть рукой. Альпинист кашлянул, и лавина сдвигается с места. А когда она сдвинулась — все пропало.

Мы тяжело ступали по этому синему болоту, уже потонувшему во тьме. Мы взбаламутили эту спокойную тину, и вот она взметнулась к нам десятками тысяч золотых пузырьков.

В пляску вступило множество жонглеров. Множество жонглеров кидают десятки тысяч шаров, летящих к нам один за другим. Из-за отсутствия углового отклонения сначала они кажутся нам неподвижными, но потом, подобно шарикам, которые искусный жонглер не бросает, а как бы выпускает на свободу, медленно возносятся кверху. Я вижу, как светящиеся слезы текут ко мне сквозь вязкую тишину. Тишину, сопровождающую выступление жонглеров.

Каждая пулеметная очередь или залп скорострельных зенитных пушек мечет сотни снарядов или трассирующих пуль, которые следуют друг за другом, как бусины четок. Тысячи четок устремляются к нам, их упругие нити растягиваются до предела и рвутся на нашей высоте.

И в самом деле, если смотреть сбоку, видно, что не попавшие в нас снаряды и пули летят с головокружительной быстротой. Слезы превращаются в молнии. Я очутился в бескрайнем поле траекторий, отливающих золотом спелой пшеницы. Я попал в сноп летящих копий. Мне угрожают бесчисленные иглы, затеявшие какой-то головокружительный хоровод. Вся равнина протянула ко мне свои нити и ткет вокруг меня сверкающую сеть.

Когда я склоняюсь над землей, я вижу эти слои сияющих пузырьков, которые поднимаются с медлительностью пелены тумана. Я вижу это медленное кружение семян: так улетает мякина, когда молотят зерно. Но если смотреть по горизонтали — вокруг меня одни копья, снопы копий. Огонь? Да нет же! Меня атакуют холодным оружием! Я вижу лишь светящиеся мечи! Я чувствую... Какая там опасность! Я ослеплен великолепием окружающего!

Тр-р-рах!

Я на двадцать сантиметров подскочил над сиденьем. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль... но, нет... нет... я чувствую, что он еще поддается управ-

лению. Это только первый удар целой лавины ударов. А между тем я не видел разрывов. Должно быть, их дым сливается с темной землей: я поднимаю голову и смотрю.

И вижу — спасения нет.

XXI

Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что сам ты неподвижен.

Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора.

Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пустота ожидания, словно мои судьи удалились на совет.

Я думаю... я все-таки думаю: «Они берут слишком высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, словно нехотя, отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи. Но надеяться не на что.

Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огневая точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте. Огонь не ищет нас: он замыкает нас в кольцо.

— Дютертр, далеко еще?

— ...продержаться бы хоть три минуты, мы бы закончили... но...

— Может, проскочим...

— Черта с два!

До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была синяя. Бесконечно синяя. Синяя, как морская глубь...

Сколько я могу продержаться? Десять, двадцать секунд? Взрывные волны встряхивают меня уже беспрестанно. Самые

близкие стучат по самолету, словно камни, падающие в тачку. И тогда весь самолет издает почти музыкальный звук. Какой-то странный стон... Значит, снаряды пролетели мимо. Это как с молнией: чем она ближе, тем все проще. Иногда я ощущаю обыкновенный толчок: значит, нас задело осколком. Хищный зверь, убивая быка, не встряхивает его. Он уверенно и точно вонзает в него когти. Он сразу завладевает быком. Так и прямые попадания просто врезаются в самолет, как в мышцу.

— Ранен?

— Нет!

— Эй! стрелок, ранен?

— Нет!

Но эти толчки, описывать которые все же приходится, не идут в счет. Они барабанят по скорлупе, по барабану. Вместо того чтобы разворотить баки, они с такою же легкостью могли бы вспороть нам животы. Но и живот всего лишь барабан. На тело-то плевать! Оно не в счет... вот это и удивительно!

О теле мне нужно сказать несколько слов. Ведь в повседневной жизни человек слеп к очевидности. Чтобы она стала зримой, необходимы вот такие исключительные обстоятельства. Необходим этот дождь восходящих огней, необходимы эти надвигающиеся на тебя копья, необходимо, наконец, чтобы ты предстал перед этим трибуналом для Страшного суда. Вот тогда ты поймешь.

Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо.

Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего моя плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Мы водим его к портному, к врачу, к хирургу. Мы страдаем вместе с ним. Мы плачем вместе с ним. Мы любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, запылать любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину.

Твой сын в горящем доме? Ты спасаешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, лишь бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней

нуждается. Ты весь в своем действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твое открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: «И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..» Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твое изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого.

Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за свое тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда отдаешь это тело, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом.

Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

Первый урок я получил в пятнадцать лет. Мой младший брат болел и уже несколько дней, как был признан безнадежным. Однажды утром, часа в четыре, меня будит его сиделка:

— Ваш брат зовет вас.

— Ему плохо?

Она не отвечает. Поспешно одеваюсь и бегу к брату.

Он обращается ко мне своим обычным голосом:

— Я хотел поговорить с тобой прежде, чем умру. Я умираю.

Лицо его сводит судорога, и он умолкает. При этом он де-

лает отрицательный жест рукой. И я не понимаю его жеста. Мне кажется, что мальчик отталкивает смерть. Но, успокоившись, он объясняет мне:

— Не бойся... я не страдаю. Мне не больно. Но я не могу удержаться. Это уж мое тело.

Его тело — уже не принадлежащее ему владение.

Но он хочет говорить серьезно, мой маленький брат, который через двадцать минут умрет. Он чувствует настоятельную потребность передать кому-то в наследство частицу себя. Он говорит: «Я хотел бы оставить завещание...» И он краснеет, разумеется, гордый тем, что поступает, как взрослый мужчина. Если бы он был строителем башни, он завещал бы мне достроить свою башню. Если бы он был отцом, он завещал бы мне воспитание своих сыновей. Если бы он был военным летчиком, он завещал бы мне бортовые документы. Но он только ребенок. Он завещает мне паровой двигатель, велосипед и ружье.

Человек не умирает. Он воображает, будто боится смерти, но боится он неожиданности, взрыва, боится самого себя. Страх смерти? Нет. Когда встречаешься со смертью, ее уже не существует. Брат сказал мне: «Не забудь записать все это...» Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека.

Мы бросаем тело, эту старую клячу. Кто думает о себе, умирая? Такого я еще не встречал!..

— Капитан!

— Что?

— Вот здорово!

— Стрелок...

— Гм... Да?..

— Какой...

Мой вопрос прерывается толчком.

— Дютертр!

— ...тан?

— Задело?

— Нет.

— Стрелок...

— Да?

— За...

Я словно врезался в железную стену. Я слышу.

— Ну и ну!..

Я поднимаю голову к небу, взглядом измеряю расстояние до облаков. Когда я смотрю под углом, я вижу, как все теснее громоздятся черные хлопья. Если же смотреть вверх, то они кажутся более редкими. И я вижу грандиозную корону с черными розетками, возникшую над нашими головами.

Мышцы бедер обладают поразительной силой. Я жму на педали так, словно хочу пробить стену. Я бросаю самолет в сто-

рону. Он делает резкий рывок влево, треща и вибрируя. Корона взрывов скользнула вправо. Я столкнул ее со своей головы. Я обманул орудия, они бьют теперь мимо. Я вижу, как справа скопляются уже безвредные для меня разрывы. Но прежде чем я нажал другой ногой, чтобы уйти в противоположную сторону, надо мной уже снова возникла корона. С земли опять пристрелялись. Самолет, ухнув, вновь низвергается в провалы. Но я опять всей тяжестью тела навалился на педаль. Я бросил, или, вернее, рванул самолет в противоположную сторону (к черту координацию!), и корона съехала влево.

А вдруг продержимся? Но долго эта игра продолжаться не может! Как бы резко я ни двигал педалями, оттуда, спереди, на меня опять надвигается этот ливень разящих копий. Корона опять нависает надо мной. Все мое нутро вновь сотрясается от толчков. И, глядя вниз, я снова вижу это головокружительно-медленное восхождение направленных прямо в меня пузырьков.

Непостижимо, что мы еще целы. И все-таки я убеждаюсь, что я неуязвим. Я чувствую себя победителем! Каждую секунду — я победитель!

— Задело?

— Нет...

Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я командую экипажем победителей...

Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я думаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья. И тогда мне становится легче, и меня охватывает тайное ликование. Я не успеваю испытать страх, я чувствую лишь физическую встряску, как от сильного шума,— и тут же мне даруется вздох облегчения. Я бы должен сначала почувствовать толчок от удара, потом страх, потом разрядку. Как бы не так! На это нет времени! Я чувствую толчок, потом разрядку. Толчок, разрядка. Один этап отсутствует — нет страха. И я живу не ожиданием смерти в каждую ближайшую секунду: я живу воскресением, наступающим сразу вслед за секундой предшествующей. Я живу в какой-то струе радости. В непрерывном потоке ликования. И вдруг мне становится удивительно хорошо. Словно каждую секунду мне вновь даруется жизнь. Словно с каждой секундой я ощущаю ее все полнее. Я живу. Я жив. Я еще жив. Я все еще жив. Я превратился в источник жизни. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят: «Опьянение боем...» Но это и есть опьянение жизнью! О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают?

Маслобаки, баки с горючим — все пробито. Дютертр говорит: «Закончил! Набирайте высоту!» Я еще раз измеряю на

глаз расстояние, отделяющее меня от облаков, и кабрирую. Еще раз опрокидываю самолет влево, потом вправо. Еще раз бросаю взгляд на землю. Мне никогда не забыть этого зрелища. Вся равнина сверкает короткими горящими фитилями. Разумеется, скорострельные пушки. Со дна огромного голубоватого аквариума продолжают подыматься пузырьки. Пламя Арраса льет багровый свет, как железо на наковальне; его обильно питают подземные запасы, и пот человека, разум человека, искусство человека, его воспоминания и сокровища, вздымаясь вверх, сплетаются в этом косматом племени и превращаются в гарь, уносимую ветром.

Я уже касаюсь первых клочьев тумана. Вокруг нас еще возносятся золотые стрелы, прорывая снизу брюхо облаков. В последний раз я вижу землю через последний из этих прорывов, когда облако уже окутывает меня. На мгновение передо мной возникает пылающий Аррас, зажженный на ночь, как лампада в глубине церковного нефа. Она служит какой-то религии, но обходится слишком дорого. Завтра она уничтожит и поглотит все. Свидетельство я уношу с собою — образ пылающего Арраса.

— Ну как, Дютертр?

— Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по Сене.

— Ну как, стрелок?

— Гм... да... капитан... нормально.

— Что, жарко пришлось?

— Гм... нет... да...

Он сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина... Каково?... Разве на гражданке такое увидишь?..» Он был доволен, этот стрелок.

А я медленно перевожу дух. Набираю полную грудь воздуха. Как чудесно дышать. Теперь мне станет понятно множество всяких вещей... Но прежде всего я думаю об Алиасе. Нет. Прежде всего я думаю о своем фермере. Значит, я все-таки спрошу его, сколько у меня приборов... Обязательно спрошу! Я не отказался от этого намерения. Их сто три. Кстати... что там у меня с указателями горючего, давления масла... Когда баки пробиты, надо следить за этими приборами! И я слежу за ними. Резиновые протекторы задерживают течь. Прекрасное усовершенствование! Я слежу также за гидроприборами: это облако не очень-то приветливо. Грозовая туча. Она нас здорово потряхивает.

— Ну как? Не пора снижаться?

— Десять минут... давайте обождем еще десять минут...

Ладно, обожду еще десять минут. Ах да, я думал об Алиасе. Рассчитывает ли он, что мы вернемся? В прошлый раз мы опоздали на полчаса. Полчаса, вообще говоря, опоздание серьезное... Я бегу к товарищам,— они обедают. Открываю дверь, сажусь на свое место рядом с Алиасом. Как раз в эту минуту майор поднял вилку, на которую он подцепил лапшу. Он уже собирался положить ее в рот. Но он подскакивает, застывает с открытым ртом и смотрит на меня. Лапша повисла на вилке.

— А!.. Вот хорошо... рад вас видеть!

И он запихивает лапшу в рот.

По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и авторучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность: «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравнения Бернулли?»

— Гм...

Бернулли... Бернулли... И ты цепенеешь под взглядом экзаменатора, как букашка, насаженная на булавку.

Результаты полета — это дело Дютертра. Он наблюдает за землей. Он видит кучу всяких вещей. Грузовики, баржи, танки, орудия, солдат, лошадей, железнодорожные станции, поезда на станциях, начальников станций. Я же наблюдаю под небольшим углом. Я вижу облака, море, реки, горы, солнце. Я не вижу подробностей. У меня создается лишь общее впечатление.

— Вы ведь знаете, господин майор, что пилот...

— Ну, ну! Что-нибудь заметить всегда можно.

— Я... Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это очень интересно...

— Не очень. Все горит. Ну, а кроме пожаров?

Почему Алиас так жесток?

XXII

Будет ли он расспрашивать меня и на этот раз?

То, с чем я возвращаюсь с задания, нельзя изложить в докладе. Я буду плавать, как школьник у классной доски. У меня будет очень несчастный вид, а между тем я не буду несчастен. С несчастьем покончено... Оно улетучилось, как только засветились первые пули. Стоило мне повернуть назад на одну секунду раньше, и я ничего бы не узнал о себе.

Я не узнал бы чудесной нежности, что подступает мне к сердцу. Я возвращаюсь к своим. К себе домой. Я похож на хозяйку,

которая, обойдя магазины, направляется к дому и думает о том, какими вкусными кушаньями она порадует свою семью. Корзинка с провизией в ее руке раскачивается из стороны в сторону. Время от времени она приподнимает газету, которой закрыты покупки: тут все, что нужно. Она ничего не забыла. И она улыбается при мысли о своем сюрпризе и идет не спеша. Она поглядывает на витрины.

Я тоже с удовольствием поглядел бы на витрины, если бы Дютертр позволил мне выйти из этой белесой тюрьмы. Я смотрел бы, как убегают поля. Впрочем, действительно, лучше немного потерпеть: этот пейзаж отравлен. Там все в заговоре против нас. Даже маленькие провинциальные виллы с их забавными лужайками и несколькими дюжинами прирученных деревьев, похожие на нехитрые футлярчики для наивных девушек,— даже они оказываются ловушками. Попробуй спуститься ниже, и вместо дружеских приветствий тебя угостят артиллерийским огнем.

Хотя я в грозовом облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная: «Дойдете до первой улицы направо и там, на углу, купите мне коробку спичек...» Моя совесть спокойна. Спички у меня в кармане. Или, точнее, в кармане моего товарища, Дютертра. Как это ему удается запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы посерьезнее. По возвращении, если нас не ждет опять возня с перебазированием, я вызову Лакордэра на поединок и объявлю ему мат. Он терпеть не может проигрывать. Я тоже. Но я выиграю.

Вчера Лакордэр напился. Впрочем... не сильно: я не хочу его бесчестить. Он выпил, чтобы утешиться. Возвращаясь на базу, он забыл выпустить шасси и посадил самолет прямо на брюхо. Алиас, который, увы, при этом присутствовал, с грустью посмотрел на самолет, но не сказал ни слова. Я как сейчас вижу Лакордэра, старого летчика. Он ждал упреков Алиаса. Он надеялся на упреки Алиаса. От яростных упреков ему стало бы легче. Их взрыв позволил бы и ему взорваться. В ответ он мог бы излить свое бешенство. Но Алиас качал головой. Алиас сокрушался о самолете, ему плевать было на Лакордэра. Для майора этот неприятный случай был только очередной аварией, чем-то вроде неизбежного налога на его имущество. Дело заключалось всего лишь в дурацкой рассеянности, которая иной раз подводит даже самых опытных летчиков. Но Лакордэра она подвела несправедливо. Если не считать сегодняшнего промаха, Лакордэр был профессионально безупречен. Вот почему Алиас, интересуясь только пострадавшим самолетом, совершенно машинально спросил у того же Лакордэра, что он думает относительно повреждений. И я почувствовал, как вспыхнуло подавленное бешенство Лакордэра. Вы тихонько кладете руку на плечо и говорите: «Несчастная жертва... представляю себе,

как она, бедняжка, страдает...» Движения человеческого сердца непостижимы. Ласковая рука, вместо того чтобы пробудить в палаче сочувствие, приводит его в ярость. Он мрачно глядит на жертву. Он жалеет, что сразу не прикончил ее.

Так вот. Я возвращаюсь домой. Группа 2/33 — мой дом. И я хорошо знаю своих домашних. Я не могу ошибиться в Лакордэре. Лакордэр не может ошибиться во мне. Я сознаю нашу общность с поразительной ясностью: «Мы — летчики из группы 2/33». Вот уже беспорядочные куски связываются в одно целое...

Я думаю о Гавуале и Ошедэ. Я сознаю свою общность с Гавуалем и Ошедэ. Гавуаль. Интересно, какого он происхождения? В нем чувствуется здоровая крестьянская основа. Во мне неожиданно всплывает одно теплое воспоминание, и аромат его проникает в самое сердце. Когда мы стояли в Орконте, Гавуаль, как и я, жил на ферме. Однажды он говорит:

— Хозяйка заколола свинью. Она приглашает нас на кровяную колбасу.

Мы трое, Израэль, Гавуаль и я, с наслаждением грызли темную хрустящую корочку. Крестьянка подала нам легкое белое вино. Гавуаль сказал мне: «Посмотри, что я купил. Ей это будет приятно. Надо надписать». Это была одна из моих книг. И я не почувствовал ни малейшей неловкости. Я с удовольствием надписал, чтобы доставить ей удовольствие. Израэль набивал трубку. Гавуаль почесывал ногу, хозяйка, казалось, была очень рада стать обладательницей книги с надписью самого автора. Кровяная колбаса благоухала. Я немного охмелел от легкого белого вина и не чувствовал себя чужим, несмотря на то что надписал книгу,— прежде мне это всегда казалось какой-то нелепостью. Я себя чувствовал своим. Несмотря на мою книжку, я не производил впечатления ни писателя, ни зрителя. Я пришел сюда не со стороны. Израэль дружелюбно смотрел, как я надписываю книжку. Гавуаль все так же простодушно почесывал ногу. И я испытывал к ним какую-то смутную благодарность. Из-за этой книги я мог бы выглядеть сторонним наблюдателем. А между тем я не производил впечатления ни интеллигента, ни наблюдателя. Я был своим.

Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать. Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не из скромности, а просто потому, что им на это наплевать. Ни Гавуаль, ни Израэль не раздумывают о себе. Они — это сеть связей, связей с их трудом, с их профессией, с их долгом. И с этой дымящейся колбасой. Меня опьяняет реальность их присутствия. Я могу молчать. Я могу пить легкое белое вино. Я даже могу сделать

надпись на книге, не отчуждая себя от них. Ничто не нарушит нашего братства.

Я вовсе не собираюсь принижать здесь ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале или в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.

Преимущества, которые дает мне моя писательская деятельность, например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2/33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась,— об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку чем-то стать.

Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, лишенного сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу 2/33. Я люблю ее не как зритель, радующийся прекрасному зрелищу. Плевать мне на зрелища. Я люблю группу 2/33, потому что я неотделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю.

И теперь, возвращаясь из Арраса, я больше чем когда-либо принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине. Израэль и Гавуаль бывали, возможно, в еще худших переделках, чем я. Израэль не вернулся. Но с моей сегодняшней прогулки я тоже возвращаюсь только чудом. Она дает мне еще большее право сесть за общий стол и молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но и стоит оно очень дорого — право *быть*. Вот почему я с легким сердцем надписал свою книжку... она ничего не портила.

А сейчас я краснею при мысли о том, как буду бормотать что-то нечленораздельное, когда майор станет меня расспрашивать. Мне будет стыдно. Майор подумает, что я туповат. Разговоры о моих книгах не смущают меня, потому что, наплоди я хоть целую библиотеку, ссылки на это не избавили бы меня от угрожающего мне стыда. И стыд это не наигранный. Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить какой-нибудь трогательный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя. Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было. Я отдал все, что мог, ради соблюдения правил этой игры. Чтобы они стали чем-то бо́льшим, нежели правилами игры. Я заслужил право сконфузиться, когда майор начнет меня расспрашивать. То есть пра-

во участвовать. Право быть связанным. Приобщиться. Получать и давать. Право быть чем-то бо́льшим, нежели я сам. Отдаться переполняющему меня чувству. Любить товарищей любовью, которая не похожа на порыв, налетевший извне, и которая не ищет излияний — никогда — разве что в часы прощальных трапез. В такие часы мы бываем немного под хмельком и в благодушном опьянении склоняемся к сотрапезникам, словно дерево, отягощенное плодами. Моя любовь к авиагруппе не нуждается во внешнем выражении. Она состоит только из связей. Она — сама моя сущность. Я неотделим от группы. И все.

Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге. Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно находится в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ достиг того, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти.

Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.

Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и *есть* сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ...» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасать жизнь других... Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.

Больше всего меня поразило, как он переполошился, когда

однажды Гавуаль попросил у него хронометр для измерения скорости с земли.

— Нет, господин лейтенант... не могу...

— Чудак! Мне же на десять минут! Только отрегулировать!

— Господин лейтенант... хронометр есть на складе.

— Ну, есть. Так ведь он уж полтора месяца как застрял на двух часах семи минутах!

— Господин лейтенант... такую вещь, как хронометр, не одалживают... я не обязан одалживать свой хронометр... этого вы не можете от меня требовать!

Когда горящий самолет Ошедэ приземляется на аэродроме, а сам он каким-то чудом остается невредим, военная дисциплина и уважение к начальнику могут заставить его тут же пересесть в другой самолет и полететь на другое задание, на этот раз, может быть, гибельное... но он не обязан отдавать в небрежные руки свой роскошный хронометр, за который заплатил свое трехмесячное жалование и который он каждый вечер заводит постине с материнской заботливостью. Достаточно взглянуть на то, как человек обращается с вещью, и сразу поймешь, что он ничего в ней не смыслит.

И когда Ошедэ, отстояв свои права и еще пылая от возмущения, победителем вышел из штаба, прижимая к груди свой хронометр, я готов был расцеловать Ошедэ. Мне открылись сокровища его души. Он будет бороться за свой хронометр. Его хронометр существует. И он умрет за свою страну. Его страна существует. И существует Ошедэ, неразрывно связанный с ними. Он соткан из своих бесчисленных связей с миром.

Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, моего лучшего друга,— он погиб в полете,— и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме.

Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы, из группы 2/33, неотделимы от нее...

XXIII

Как я изменился! В эти последние дни, майор Алиас, мне было горько. В эти дни, когда бронированное нашествие встречало на своем пути только пустоту, безнадежные задания стоили нашей группе семнадцать из двадцати трех экипажей. И мне казалось, что все мы вслед за вами согласились быть статистами и изображать убитых в каком-то представлении. Да, майор Алиас, мне было горько, и я был не прав!

Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна,— а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, смысл которых был скрыт. Вы серьезно расспрашивали нас,— как будто наши ответы могли на что-то пригодиться,— о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием.

— Нет! Нет! С места пилота вполне можно вести наблюдение.

И все-таки, майор Алиас, вы были правы.

Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа: она — народ. Разве могу я отчаиваться?

Несмотря на гниль поражения, меня, словно я приобщился какого-то таинства, переполняет праздничное ликование. Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем. Кто из моих товарищей, возвращаясь с задания, не чувствует себя победителем? Капитан Пенико рассказал мне о своем утреннем полете: «Когда мне казалось, что какая-нибудь зенитка слишком хорошо ко мне пристрелялась, я пикировал прямо на нее и на полной скорости, с бреющего полета, давал по ней пулеметную очередь, которая разом тушила этот красноватый огонь, как порыв ветра тушит свечу. Через десятую долю секунды я вихрем проносился над орудийным расчетом. Пушка словно взрывалась! Люди разбегались во все стороны и, спотыкаясь, падали на землю. Я точно в кегли играл». И Пенико смеялся. Пенико торжествующе смеялся. Пенико — капитан-победитель!

Я знаю: боевое задание преобразило даже того стрелка из экипажа Гавуаля, который, оказавшись ночью внутри собора, воздвигнутого восемьюдесятью прожекторами, прошел под сводом из их лучей, как солдат на свадьбе проходит под скрещенными шпагами.

— Можете взять курс девяносто четыре.

Дютертр только сориентировался по Сене. Я снизился до ста метров. Земля со скоростью пятьсот тридцать километ-

ров в час катит на нас большие прямоугольники люцерны или пшеницы и треугольные леса. Я испытываю физическое удовольствие, следя за тем, как нос моего самолета неустанно рассекает их, словно плывущие льдины. Внизу появляется Сена. Когда я пролетаю над ней под углом, она отступает, будто поворачиваясь на своей оси. Это движение доставляет мне такое же удовольствие, как плавный взмах косы, срезающей траву. Сидеть мне удобно. Я хозяин на борту своей машины. Баки целы. Я сыграю в покер с Пенико, выиграю у него рюмку коньяка, потом объявлю мат Лакордэру. Вот я какой, когда я победитель.

— Капитан... стреляют... мы в запретной зоне...

Курс вычисляет он. Я тут ни при чем.

— Здорово стреляют?

— Стреляют вовсю...

— Повернем?

— Ну, нет...

— Ну, нет...

Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Огонь наших зениток — просто весенний дождик.

— Дютертр... послушайте... глупо же, если нас собьют свои!

— ...не собьют... пусть поупражняются.

Дютертр язвит.

А у меня нет охоты язвить. Я счастлив. Мне приятно поговорить со своими.

— Да уж... стреляют, как...

Он, оказывается, жив, наш стрелок! Я заметил, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о своем существовании. Он переварил все приключение молча, не испытывая потребности общаться с нами. Впрочем, один раз он, кажется, произнес: «Ну и ну!» — в самый разгар обстрела. Во всяком случае, потока излияний не было.

Но сейчас дело коснулось его специальности: пулемета. А когда дело коснется их специальности, тут уже специалистов не удержать.

Я невольно противопоставляю эти два мира. Мир самолета и мир земли. Я только что увлек Дютертра и моего стрелка за дозволенные пределы. Мы видели пылающую Францию. Мы видели сверкающее море. Мы состарились на большой высоте. Мы склонялись над далекой землей, словно над музейной витриной. Мы играли на солнце с пылинками вражеских истребителей. Потом мы опять снизились. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за десять лет размышлений. Наконец, мы вышли из этого десятилетнего отшельничества.

А караван беженцев, который мы, быть может, уже видели,

когда летели к Аррасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот.

За то время, что они будут оттаскивать в кювет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, пока перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу.

Мы перешагнули через все поражения. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде.

Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в рождественский сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы.

На сегодня довольно приключений: я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами. Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и, так как сыграть с Пенико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами...

Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь! Ночь сталкивает их в вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери.

В воспоминаниях невернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет: «А!.. Вот и вы...» Товарищи будут молчать. Они едва на нас взглянут.

Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «Вот и ты, наш товарищ...» И целомудрие заставляет молчать.

Майор Алиас, майор Алиас... этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся, готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь.

Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви, о сети связей, которые делают тебя человеком.

XXIV

Я спросил у моего фермера о том, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил:

— Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну... Поужинаете с нами?

— Я уже ужинал.

Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой.

— А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану.

Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей своей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.

Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И, словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз.

А я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей! Земля велика. И нашествие, может быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали — этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится, но для человека достаточно и одного значка, чтобы все стало иным.

Порыв ветра, бегущего по ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию. Словно убеждается в надежности будущего. Так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам.

А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница — это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека не то, что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений! Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой. Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб это то же, что масло в светильнике. Оно также претворяется в свет.

Я смотрю на племянницу — она очень красива — и думаю: хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием. Он становится сладостью молчания. И вот из-за

одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится.

Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница.

Она почувствовала, что за ней наблюдают. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне улыбнулась... Это было подобно дуновению на хрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю: «Вот он, покой царства безмолвия...»

Я видел сияющий свет пшеницы.

Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобное достоянию их деревни,— и над ним тоже нависла угроза.

И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Я иду не спеша. Я уношу с собой это бремя, и оно не тягостно мне, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди.

Я обещал себе этот разговор с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер не беднел. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив.

И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто во-

площаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние.

Поражение... Победа... Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.

Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.

Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и неважно. Он передаст окружающим свою спокойную веру.

Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе,— уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора,— уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще неизваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.

Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Если у скульптора есть знания и интеллект, его руки еще не становятся гениальными.

Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству

благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедра так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему он тяготеет.

Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменистую почву. Чистый логик, если никакое солнце не тянет его к себе, увязает в путанице проблем. Я всегда буду помнить урок, преподанный мне врагом. В каком направлении должна двигаться танковая колонна, чтобы захватить тылы противника? Неизвестно. Чем должна быть танковая колонна? Она должна быть морем, напирающим на дамбу.

Что нужно делать? Вот это. Или нечто совершенно противоположное. Или еще что-то. Никакого предопределения не существует. Чем нужно быть? Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это чрезвычайно трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!

Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожила до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логики, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом и плотью своей дожила до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в спасении. Теперь мне понятнее образ слепца, идущего к огню. Если слепой идет к ог-

ню,— значит, у него родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Если слепой ищет огонь,— значит, он уже нашел его. Скульптор уже создал свое творение, если его тянет к глине. Так же и мы. Нас согревает тепло наших связей — поэтому мы победители.

Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас.

Вот почему, возвратившись из полета над Аррасом и, как мне кажется, многое за время полета поняв, я стою один в ночной тишине, прислонившись к изгороди, и предписываю себе простейшие правила, которым никогда не изменю.

Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни сделали. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу.

Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими.

Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе: «Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью». Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих,

он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне.

Если я разделяю унижение моего дома, я могу повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, брошенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый славой, но еще более ненужный, чем мертвец.

Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность. Всего несколько часов тому назад я был слеп. Мне было горько. Но теперь я сужу более трезво. Я отказываюсь винить других французов, раз я чувствую себя неотделимым от Франции, и я не понимаю, как Франция может обвинять остальной мир. Каждый несет ответственность за всех. Франция была ответственна за весь мир. Франция могла бы показать миру пример, который сплотил бы его. Франция могла бы служить связующим звеном для всего мира. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления. Отныне я отказываюсь от своих упреков в адрес остального мира. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция — таков был ее долг перед самой собой.

Франция могла бы объединить вокруг себя другие страны. Моя группа 2/33 готова была сражаться сперва на стороне Норвегии, потом на стороне Финляндии. Что представляли собой Норвегия и Финляндия для наших солдат, наших унтер-офицеров? Мне всегда казалось, что, сами того не сознавая, они соглашались умереть за какой-то аромат рождественского праздника. Им казалось, что за спасение этого аромата где-то в мире стоит пожертвовать жизнью. Если бы мы были рождеством для всего мира, мир мог бы найти в нас свое спасение.

Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы и мир, и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей: «Принять на себя бремя грехов человеческих...» И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей.

XXV

Можно ли усматривать в этом философию слабости? Настоящий полководец это тот, кто берет на себя всю ответственность. Он говорит: «Я потерпел поражение». Он не говорит: «Мои сол-

даты потерпели поражение». Настоящий человек говорит именно так. Ошедэ сказал бы: «Я в ответе за все».

Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злому року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей.

Итак, во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе: личность — это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь,— вот что самое главное.

Я больше не могу удовлетворяться полемическими истинами. Зачем обвинять личности? Они только пути и перепутья. Я больше не могу объяснять замерзание пулеметов нерадивостью чиновников, а бездействие союзников — их эгоизмом. Поражение, конечно, проявляется в банкротстве отдельных личностей. Но ведь человека создает духовная культура. И если культуре, к которой я себя причисляю, угрожает опасность из-за несостоятельности личностей, то я вправе спросить себя, почему она не создала их другими.

Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

Потому что духовную культуру можно сравнить с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, заботится о пшенице, ссыпая в амбары зерно. И запасы зерна сберегаются, как наследие, от одного урожая к другому.

Недостаточно знать, какой сорт зерна я хочу вырастить, чтобы взошел именно этот сорт. Если я озабочен тем, чтобы спасти определенный тип человека,— и его возможности,— я должен спасти принципы, которые его формируют.

Но если я сохранил образ моей духовной культуры, то я уже не вижу устоев, на которых она строилась. Сегодня я вдруг обнаруживаю, что слова, которыми я пользовался до

сих пор, уже не выражают самого главного. Так, я проповедовал Демократию, не подозревая, что тем самым вовсе не предписывал людям свод непреложных нравственных законов, а лишь высказывал благие пожелания. Я хотел, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется. Кто же с этим не согласится? Я мог сказать, *каким* должен быть человек. А не *кем* он должен быть.

Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок — это тоже какая-то человеческая общность.

Я жил в человеческой общности уже не в качестве ее строителя. Я пользовался благами царящего в ней мира, ее терпимостью, ее благоденствием. Я ничего не знал о ней, кроме того, что я — ее обитатель. Я жил в ней, как ризничий или как привратница. Стало быть, как паразит. Стало быть, как побежденный.

Таковы пассажиры корабля. Они пользуются кораблем, но ничего ему не дают. Удобно расположившись в салонах, за пределами которых их ничто не интересует, они проводят там свой досуг. Им неведома тяжкая работа шпангоутов, сдерживающих вечный напор воды. Вправе ли они жаловаться, если буря разнесет их корабль в щепы?

Если личность выродилась, если я побежден, на что мне жаловаться?

Есть некая общая мера качеств, которыми я хотел бы наделить людей моей духовной культуры. Есть краеугольный камень той особой общности, которую они должны создать. Есть начало, от которого некогда пошло все: и корни, и ствол, и ветви, и плоды. Что же это за начало? Это могучее зерно, брошенное в чернозем, на котором произрастают люди. Только оно может сделать меня победителем.

Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедля постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло...

Я говорю себе: «Все это обстрел над Аррасом...» Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. Свой народ. Человек — общая мера для этого народа и для меня. Вот почему, когда я

возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел Человек,— Человек, общая мера для всех моих товарищей.

Уж не знамение ли это? Я почти готов поверить в знамения... Все этой ночью словно вступило в безмолвный сговор. Каждый звук доходит до меня, будто какой-то обращенный ко мне призыв, одновременно и ясный и непонятный. Я слушаю, как ночь наполняют чьи-то спокойные шаги.

— Э-эй! Добрый вечер, капитан!

— Добрый вечер!

Я не знаю его. Так окликают друг друга два лодочника, встретившиеся на реке.

Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас...

Тот, кто окликнул меня, возвращался домой со своим запасом забот, мыслей и образов. Со своим собственным, скрытым в его душе грузом. Я мог бы подойти к нему и заговорить. На белизне деревенской дороги мы обменялись бы какими-нибудь воспоминаниями. Так обмениваются сокровищами купцы, когда встречаются на пути с далеких островов.

Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или глядеться в зеркало.

Точно так же узнают себя в Человеке и французы Франции, и норвежцы Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому из этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, не похожих на корни. И если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании импровизируют фламенко, все это обогащает Человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/33, хотели сражаться за Норвегию...

И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу долгого странствия. Я не открываю ничего нового, но, словно очнувшись ото сна, заново вижу все то, на что уже давно перестал смотреть.

Моя духовная культура основана на культе Человека в отдельной личности. В течение веков она стремилась показать Человека, подобно тому как она учила бы видеть собор в груде

камней. Она проповедовала Человека, который был выше отдельной личности...

Потому что Человек моей духовной культуры не определяется отдельными людьми. Напротив, люди определяются им. В нем, как и в любой Сущности, есть нечто такое, что не могут объяснить составляющие ее элементы. Собор есть нечто совсем иное, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а, напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они — камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудища и те участвуют в общем гимне собора.

Но мало-помалу я забыл мою истину. Я стал считать, что Человек есть сумма людей, подобно тому как Камень есть сумма камней. Я отождествил собор с простым нагромождением камней, и мало-помалу наследие моей духовной культуры исчезло. Нужно восстановить Человека. Он — суть моей культуры. Он — основа моей Общности. Он — источник моей победы.

XXVI

Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена определенным правилам. Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой.

Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для *кого-то,* кто стремится куда-то. Освободить человека в пустыне, значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места.

Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ Человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам муравейника, а стало свободным проявлением любви.

Незримый путь, начертанный силою тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась сделать из каждого человека Посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее; она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения.

Я знаю, откуда произошло это силовое поле. Веками моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога. Человек был создан по образу и подобию божию. И в человеке почитали Бога. Люди были братьями в Боге. Этот отблеск Бога сообщал каждому человеку неотъемлемое достоинство. Отношение человека к Богу ясно определяло долг каждого перед самим собой и перед другими.

Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, я задумаюсь над тем, как он построен.

Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. Потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и командир равны в своем народе. Равенство становится пустым звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство.

Я понимаю, почему равенство, которое было равенством прав Бога, выраженных в личностях, запрещало ограничивать восхождение отдельной личности: ведь Бог мог избрать ее в качестве своего пути. Но так как речь шла так же о равенстве прав Бога *на* личность, мне понятно, почему личности, каковы бы они ни были, выполняли одни и те же обязанности и подчинялись одним и тем же законам. Выражая Бога, они были равны в своих правах. Служа Богу, они были равны в своих обязанностях.

Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке.

Я понимаю, откуда происходит уважение людей друг к другу. Ученый должен был уважать грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим Посланцем грузчик являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценность одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство: ведь Посланца унижать нельзя. Но это уважение к человеку не приводило к раболепному пресмыканию перед посредственностью, перед глупостью и невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство Посланца Бога. Так любовь к Богу создавала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между Посланцами независимо от достоинств личности.

Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку, независимо от его личности.

Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я — братья *во* группе 2/33. Французы — братья *во* Франции.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала братство людей в Человеке.

Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственна ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника.

Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар Человеку, приносимый через личность.

Я понимаю глубокий смысл Смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало личность. Оно возвышало ее. Оно раскрывало личности ее роль Посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути, начертанному Богом. Смирение предписывало ей, забывая о себе, тем самым возвышать себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену.

Моя духовная культура, наследуя Богу, проповедовала также уважение к самому себе, то есть уважение к Человеку, через самого себя.

Я понимаю наконец, почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друг за друга и предписала им Надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в Посланца одного и того же Бога, в руки каждого отдавала спасение всех. И никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг Надежды можно было бы выразить так: «Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько самодовольства в твоем отчаянии!»

Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей и всех людей — ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике. Все дело в уважении к Человеку через личность. Да, величие моей цивилизации в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Ибо они спасают Человека.

В свете всего сказанного понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море.

Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!

XXVII

Но я все испортил. Я расточил наследие. Я позволил предать забвению понятие Человека.

Однако, чтобы спасти этот культ Владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия Гуманизма были направлены к этой цели. Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство Человека над личностью. Гуманизм проповедовал Человека.

Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гу-

манизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей.

Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, духовной культуре которых такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это *нечто* как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения...

Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его усилия не увенчались успехом.

Самое важное действие получило название. И это название — жертва.

Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение это не сумма доходов,— думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.

Пока моя духовная культура опиралась на Бога, она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрег важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь Человека с помощью слов, а не действий.

Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней.

И понемногу мы растеряли наше наследие.

Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общности. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного, осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.

Мы скатились — за неимением плодотворного метода — от Человечества, опиравшегося на Человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей.

Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие свой смысл.

Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не наносил ущерба другому. От каждого камня, чтобы он не наносил ущерба другому камню. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.

Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не умели. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества.

Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наношу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других.

Понимая право на свободу таким образом, мы разучились пользоваться им, не наталкиваясь на непреодолимые противоре-

чия. Не умея определить, в каком случае мы сохраняли наше право на свободу, а в каком лишались его, мы, чтобы спасти хоть какой-то неясный принцип, лицемерно закрыли глаза на бесчисленные препятствия, которые всякое общество неизбежно ставило перед нашими свободами.

Что же касается Любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена Любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую-нибудь Сущность, если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ. Через личность мы воздавали Богу или Человеку. Но, забыв о Боге или о Человеке, мы стали воздавать только личности. И тогда Любовь к ближнему часто становилась оскорбительной. Справедливость в распределении материальных благ должна обеспечиваться Обществом и не может зависеть от каприза того или иного лица. Достоинство личности не допускает, чтобы она оказалась в зависимости от другой личности из-за ее щедрот. Было бы нелепо, если бы имущие, кроме обладания богатством, требовали еще и благодарности неимущих.

Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя.

Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

Так мы потеряли Человека. А потеряв Человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем-то и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем-то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему-то более великому, чем мы сами. Но, подменив этот корень всякого истинного бытия бесплодным измельчанием, мы свели наше братство просто к взаимной терпимости.

Мы перестали давать. Но если я готов давать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.

Наш лексикон, казалось, почти не изменился, но слова, когда мы пытались ими пользоваться, потеряв свой реальный смысл,

вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груду камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять то, о чем мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то не существующем. Слово «Коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем-то. Сумма не есть Сущность.

Если наше Общество еще имело право на существование, если в нем еще сохранялось какое-то уважение к Человеку, то лишь потому, что подлинная духовная культура, которую мы предавали своим невежеством, все еще излучала свой меркнущий свет и спасала нас помимо нашей собственной воли.

Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только груду камней. Они пытались вернуть смысл Коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о Человеке.

Одни из них сразу же, не долго думая, пришли к крайним логическим заключениям. Груде камней они придали самодовлеющее значение. Камни должны быть тождественны камням. И каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культуре Человека, но целиком переносит его на отдельные личности. И это ведет к противоречиям, еще более непримиримым, чем наши.

Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права Масс. Но их теория непригодна. Потому что, если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил Массу,— разумеется, нельзя допустить также и то, чтобы Масса подавляла одного человека.

Третьи завладели этими бессильными камнями и из суммы их создали Государство. Такое Государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть Коллектива, переданная в руки личности. Оно есть господство камня, который по видимости отождествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это Государство откровенно проповедует мораль Коллектива, которую мы пока отвергаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о Человеке,— а ведь только он мог служить оправданием нашему отказу.

Приверженцы этой новой религии не допустят, чтобы несколько шахтеров рисковали жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Потому что это нанесло бы ущерб груде камней. Они прикончат раненого, если он задерживает продвижение армии. О благе Общности они станут судить с помощью арифметики, и арифметика будет руководить ими. Им невыгодно возвыситься до более великого, чем они сами. Следовательно, они возненавидят все то, что отличается

от них, потому что над собой они не найдут ничего, с чем они могли бы слиться. Всякий чужой обычай, иная раса, иная мысль неизбежно станут для них оскорблением. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они приобретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая такой способностью, она давит. Да, это так,— но чья в том вина?

Я больше не удивляюсь тому, что груда камней, которая давит своей тяжестью, одержала победу над камнями, в беспорядке разбросанными по полю.

И все-таки я сильнее ее...

Я сильнее ее, я вновь обрету себя. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем основать нашу Общность и если применим для этой цели единственно действенное средство: жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод — она была суммой даров.

Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее потому, что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь.

В час вылета я хотел что-то получить прежде, чем отдал сам. Мое желание не имело смысла. Здесь было что-то сходное с тем скучным уроком грамматики. Прежде чем получить, надо отдать, и прежде чем поселиться в доме, надо его построить.

Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться.

Когда я вернулся из разведки, я уже ощутил свое родство с племянницей фермера. Ее улыбка показалась мне прозрачной, и сквозь эту улыбку я увидел мою деревню. А сквозь мою деревню — мою страну. А сквозь мою страну — другие страны. Потому что я неотделим от духовной культуры, избравшей своим краеугольным камнем Человека. Я неотделим от группы 2/33, выразившей готовность сражаться за Норвегию.

Может случиться, что завтра Алиас пошлет меня на другое задание. Сегодня я облачался, чтобы служить богу, которого не видел, потому что был слеп. Огонь над Аррасом снял пелену с моих глаз — и я прозрел. Те, от кого я неотделим, тоже прозрели. И если на заре я вновь оторвусь от земли, я буду знать, за что я сражаюсь.

Но я хочу запомнить то, что увидел. А для этого мне нужен простой Символ Веры.

Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным.

Я верую, что культ Общего возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонии, хотя корни его и отличаются от ветвей.

Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями.

Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть Тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей.

Я верую, что моя духовная культура именует Любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую Человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар Человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает Человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему воздает честь посредственности, станет отрицать Человека и тем самым заключит личность в тюрьму безысходной посредственности.

Я буду сражаться за Человека. Против его врагов. Но также и против самого себя.

XXVIII

Я присоединился к товарищам. Мы все должны были собраться около полуночи, чтобы получить приказания. Группу 2/33 клонит ко сну. Пламя большого костра превратилось в тлеющие угли. С виду группа еще держится, но это только иллюзия. Ошедэ грустно вопрошает свой знаменитый хронометр. Пенико, прислонясь головой к стене, дремлет в углу. Гавуаль, свесив ноги, сидит на столе и, подавляя зевоту, морщится, как готовый заплакать ребенок. Азамбр клюет носом над книгой. Один лишь майор еще бодрится; мертвенно-бледный, склонившись над бумагами под лампой, он вполголоса обсуждает что-то с Желе. Впрочем, «обсуждает» — всего лишь образное выражение. Говорит один майор. Желе кивает головой и отвечает: «Да, конечно». Желе прицепился к этому «да, конечно». Он все поспешнее соглашается с высказываниями майора, боясь оторваться от них, как утопающий от шеи пловца. На месте Алиаса я, не меняя тона, сказал бы: «Капитан Желе... на рассвете вас расстреляют...» И подождал бы, что он ответит.

Группа не спала уже трое суток и еле держится на ногах.

Майор встает, подходит к Лакордэру и прерывает его сон, в котором Лакордэр, быть может, обыгрывал меня в шахматы.

— Лакордэр... с рассветом вы вылетаете. Разведка на бреющем полете.

— Слушаюсь, господин майор.

— Вам бы надо поспать...

— Так точно, господин майор.

Лакордэр снова садится. Майор выходит из комнаты, увлекая за собой Желе, словно мертвую рыбу на конце удочки. Вот уже не трое суток, а целая неделя, как Желе не спал. Так же, как Алиас, он не только вылетал в разведку, но и нес на своих плечах ответственность за всю группу. Человеческая выносливость имеет пределы. Желе уже перешел пределы выносливости. И все-таки оба они — и пловец и утопающий — снова отправляются за призрачными приказами.

Ко мне с озабоченным видом подходит Везэн,— сам он при этом стоя спит, как лунатик.

— Ты спишь?

— Я...

Я прислонился головой к спинке кресла — я обнаружил здесь кресло. Я тоже засыпаю, но меня мучит голос Везэна:

— Все это плохо кончится!..

Все это плохо кончится... Заведомо непреодолимая преграда... Плохо кончится...

— Ты спишь?

— Я... нет... что плохо кончится?

— Война!

Вот это новость! Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу:

— ...какая война?

— Как это «какая война»?

Такой разговор долго не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся группа 2/33 уже давно была бы в постели!

Майор с размаху распахивает дверь.

— Решено. Перебазируемся.

За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. Он отложит до завтра свои «да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из каких-то ему самому неведомых резервов.

Мы встаем. Мы говорим: «А! Ну, ладно...» Что мы может сказать?

Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме.

Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна.

ПИСЬМО К ЗАЛОЖНИКУ





I

Когда в декабре 1940 года, по пути в Соединенные Штаты, я проезжал через Португалию, Лиссабон показался мне раем, светлым и печальным. В те дни здесь много говорили о неминуемом немецком вторжении, и Португалия всеми силами цеплялась за иллюзию собственного благополучия. Лиссабон, устроивший самую блестящую выставку из всех, какие только бывали в мире, улыбался бледной улыбкой, как улыбаются матери, которые не получают вестей от ушедшего на войну сына и пытаются спасти его своей уверенностью: «Сын мой жив, раз я улыбаюсь...» Так и Лиссабон словно говорил: «Посмотрите, до чего у меня хорошо, спокойно и светло...» Весь континент, как дикое чудовище, разбухшее от поглощенной добычи, горою нависал над Португалией. Но предававшийся празднествам Лиссабон бросал вызов Европе: «Кто посягнет на меня, когда я прилагаю столько усилий, чтобы не прятаться! Когда я так беззащитен!..»

Города моей страны по ночам были пепельно-серого цвета. Я отвык от освещения, и эта блистательная столица вызывала во мне смутное беспокойство. Если предместья погружены во мрак, бриллианты за ослепительно-яркой витриной привлекают к себе грабителей. И ты чувствуешь, что они рыщут где-то поблизости. Я чувствовал, что над Лиссабоном нависла ночь Европы, кишевшая стаями бомбардировщиков, словно они издалека учуяли это сокровище.

Но Португалия не хотела замечать посягательств хищника. Она отказывалась верить дурным предзнаменованиям. Португалия с отчаянной уверенностью занималась только искусством. Кто осмелится раздавить ее с ее культом искусства? Она извлекла на свет все свои чудеса. Кто осмелится раздавить ее со всеми этими чудесами? Она демонстрировала своих гениев. За неимением армии, за неимением пушек она выставила против стальной мощи захватчика всех своих каменных стражей: памятники поэтов, мореплавателей, конкистадоров, За неимением армии и пушек Португалия преграждала путь врагу всем своим прошлым. Кто осмелится раздавить ее с этим наследием ее великого прошлого?

Вечерами я печально бродил среди павильонов с предельным вкусом выполненной выставки, где каждая мелочь была доведена до совершенства, вплоть до музыки, такой ненавязчивой, подобранной с таким тактом, еле слышно разливавшейся над

садами, не оскорбляя слуха, как незатейливое журчание ручейка. Кто же подымет руку на это безупречное чувство меры?

И Лиссабон с его улыбкой казался мне еще более печальным, чем мои затемненные города.

Я знавал, и вам, быть может, знакомы несколько эксцентричные семьи, которые оставляют за обеденным столом место умершего. Они отрицают непоправимое. Я же не находил в таком вызове ничего утешительного. Из мертвых надо делать мертвых. И тогда, в роли мертвых, они обретают новую форму присутствия в нашей жизни. А семьи, о которых я говорю, бесконечно оттягивают их возвращение. Из мертвых они делают вечно отсутствующих сотрапезников, навеки запоздавших к столу. Они подменивают траур напрасным ожиданием. И эти дома казались мне охваченными бедой более непоправимой, более безысходной, чем утрата. Боже мой, согласился же я надеть траур по летчику Гийоме, сбитому во время почтового рейса, последнему другу, которого я потерял! Гийоме больше не изменится. Он уже никогда не придет ко мне, но и отсутствовать он никогда не будет. Я пожертвовал его прибором за моим столом, этой бесполезной ловушкой, и я сделал из него настоящего мертвого друга.

А вот Португалия старалась верить в свое благополучие, сохраняя его «прибор», его праздничные огни, его музыку. Здесь, в Лиссабоне, играли в благополучие, чтобы сам господь бог и тот поверил в него.

Некоторый налет грусти сообщали Лиссабону беженцы. Я имею в виду не изгнанников, ищущих убежища. И не эмигрантов, устремившихся на поиски клочка земли, который они могли бы возделывать своим трудом. Я говорю о людях, бросивших родину и покинувших в нужде близких ради спасения собственного кошелька.

Мне не удалось устроиться в самом городе, и я поселился в Эсториле, возле казино. Я только что вышел из пекла войны: моя авиагруппа, в течение девяти месяцев не прекращавшая разведывательных полетов над Германией, только за время немецкого наступления потеряла три четверти своего состава. Вернувшись домой, я испытал мертвящую тишину порабощения и угрозу голода. Я пережил беспросветную ночь наших городов. А тут, в двух шагах от меня, казино Эсториля каждый вечер наполнялось призраками. Бесшумные «кадиллаки» деловито катили по тонкому песку и высаживали их у подъезда. Эти призраки, как и в былые времена, облачались в вечерние туалеты. Они блистали манишками и жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды, обеды безгласных статистов, во время которых им не о чем было говорить.

Потом они играли в рулетку или в баккара,— в зависимости от состояния. Иногда я заходил на них посмотреть. Они не вызывали во мне ни гнева, ни насмешки: меня охватывал лишь

смутный страх. Тот, что охватывает вас в зоологическом саду при виде последних представителей какой-нибудь вымершей породы. Они располагались у столов. Они теснились вокруг неприступного крупье и старались испытать надежду, отчаянье, страх, зависть или восторг. Как живые. Они ставили на карту состояния, которые, быть может, в эту самую минуту обращались в прах. Они пользовались монетой, уже утратившей, быть может, всякую ценность. Содержимое их сейфов, быть может, обеспечивалось заводами, уже конфискованными врагом или обреченными на уничтожение вражеской авиацией. Они выписывали векселя на Сириус. Цепляясь за прошлое, словно в последние месяцы мир не пережил никаких потрясений, они старались поверить в естественность своего азарта, в обеспеченность своих чеков, в нерушимость своих сделок. Это была фантасмагория. Кукольный балет. И это навевало грусть.

Они, конечно, ничего не испытывали. Я покидал их. Я шел подышать на берег моря. Но и море Эсториля, это курортное, прирученное море казалось участником игры. Оно заливало бухту одинокой мягкой волной, сверкавшей в лунном свете, как вышедшее из моды платье со шлейфом.

Я снова встретился с моими беженцами на пароходе. Пароход этот тоже вселял смутный страх. Он пересаживал с одного материка на другой эти лишенные корней растения. Я говорил себе: «Я хочу быть путешественником, я не хочу быть эмигрантом. У себя дома я научился стольким вещам, которые не пригодятся на чужбине». А эмигранты доставали из карманов записные книжечки с адресами — последние жалкие свидетельства их былой принадлежности к миру живых.

Они все еще играли в живых людей. Они изо всех сил хватались за любую реальность. «Знаете, я такой-то,— говорили они,— я из такого-то города... друг такого-то... вы знакомы с таким-то?»

И они рассказывали вам про какого-нибудь приятеля, или про какое-нибудь обязательство, или про какую-нибудь ошибку, или любую другую историю, которая могла бы их хоть с чем-то связать. Но они бросили родину, и ничто в их прошлом уже не служило им связью. Это прошлое было еще совсем теплым, совсем свежим, совсем живым, каким бывает на первых порах любовное воспоминание. Нежные письма складываются в пакет, к ним присоединяют несколько сувениров. Все старательно перевязывается. И поначалу такая реликвия повергает в грустное умиление. Но вот проходит голубоглазая блондинка, и реликвия умирает. Потому что и приятель, и сделка, и родной город, и воспоминания об отчем доме выцветают, когда они перестают чему-либо служить.

Эмигранты это понимали. Подобно Лиссабону, игравшему в благополучие, они играли в убеждение, что скоро вернутся. Как сладостно отсутствие блудного сына! Это не настоящее от-

сутствие, раз где-то есть отчий дом. Отлучились ли вы в соседнюю комнату или на другое полушарие земли,— разница не существенна. Иной раз присутствие друга, с которым вы по видимости разлучены, может быть более ощутимо, чем его реальное присутствие. Такова реальность молитвы. Никогда не любил я так горячо свой дом, как в Сахаре. Никогда женихи не были ближе к своим невестам, чем бретонские моряки XVI века, огибавшие мыс Горн и растрачивавшие молодые силы на преодоление противных ветров. Едва отчалив от родного берега, они уже возвращались домой. Поднимая натруженными руками паруса, они уже готовились к обратному плаванью. Кратчайший путь от какого-нибудь порта Бретании к дому невесты пролегал через мыс Горн. Но мои эмигранты представлялись мне бретонскими моряками, у которых отняли суженых. Никакая бретонская невеста не зажигала для них на подоконнике скромного светильника. Они не были блудными сыновьями. Они были бездомными блудными сыновьями, которым некуда вернуться. Для них началось подлинное блуждание, блуждание вне самих себя.

Как родиться заново? Как перемотать в себе тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, словно чистилище, был нагружен еще не родившимися душами. По-настоящему живыми, живыми настолько, что их хотелось потрогать рукой, казались только те, которые составляли неотъемлемую часть корабля и, облагороженные настоящим делом, разносили кушанья, драили медь, чистили ботинки и с едва уловимым презрением обслуживали мертвецов. Это легкое пренебрежение эмигранты вызывали у корабельной прислуги совсем не бедностью. Не денег им не хватало, а осязаемости. Они больше не были людьми из такого-то дома, связанными дружбой с такими-то, имеющими такие-то обязанности. Во все это они тщились играть, но все это было фальшиво. Они никому не были нужны, никто не позвал бы их на помощь. Какое чудо — телеграмма, которая переворачивает вам душу, поднимает вас ночью с постели и заставляет мчаться на вокзал: «Приезжай! Ты мне нужен!» Легко найти друзей, готовых нам помочь. Трудно заслужить друзей, требующих нашей помощи. Мои призраки никому не внушали ни ненависти, ни ревности, никто не жаждал их дружбы. Никто не любил их единственной настоящей любовью. Я думал: не успеют они ступить на берег, как их будут приглашать на коктейли, им будут выражать сочувствие, устраивая в их честь банкеты. Но кто станет ломиться в их дверь с требованием, чтобы его впустили: «Открой! Это я!» Нужно приучить младенца к груди, чтобы он сам начал тянуться к ней. И нужно долго растить друга, чтобы он когда-нибудь предъявил права на твою дружбу. Нужно, чтобы не одно поколение разорилось ради поддержания старого, разрушающегося замка,— и только тогда ты научишься любить его.

II

И вот я думал: «Самое важное, чтобы где-то продолжало существовать все то, чем ты жил. И обычаи... И семейные праздники. И хранящий воспоминания дом. Самое важное — жить для возвращения...» Хрупкость далеких полюсов, от притяжения которых я зависел, угрожала самому моему существу. Я рисковал познать истинную пустыню и начинал понимать давно занимавшую меня тайну.

Я прожил три года в Сахаре. И, подобно многим другим, я бредил ее магией. Всякий, однажды побывавший в Сахаре, где вы словно отрезаны от всего мира, оплакивает дни, проведенные в пустыне, как самые счастливые в жизни. Но слова «ностальгия песка, ностальгия одиночества, ностальгия пространства» — литературные штампы и ничего не объясняют. И вот только теперь, на пароходе, до отказа набитом суетящимися пассажирами, я, кажется, понял, что такое пустыня.

Конечно, Сахара, насколько хватает глаз, являет собой лишь однообразие песка или, точнее,— так как дюны в пустыне редки,— бесконечность каменистой гальки. В пустыне человек погружен в самую первооснову скуки. Но незримые божества создают вокруг него невидимую сеть направлений, склонов и знаков — ее тайную и живую мускулатуру. И однообразия как не бывало. Все подчинено силовым линиям. И даже одна тишина непохожа там на другую тишину.

Бывает тишина мира, когда племена не враждуют и когда в вечерней прохладе ты словно причалил со спущенными парусами к тихой гавани. Бывает тишина полдня, когда под солнцем замирает жизнь души и тела. Бывает обманчивая тишина, когда поднимается северный ветер и появление насекомых, подхваченных, как цветочная пыльца, из глубинных оазисов, предвещает песчаную бурю с востока. Бывает тишина заговора, когда становится известно, что дальнее племя что-то замышляет. Бывает тишина тайны, когда арабы ведут меж собой свои непостижимые переговоры. Бывает напряженная тишина, когда запаздывает вестник. Тревожная тишина, когда прислушиваешься ночью, затаив дыхание. И бывает грустная тишина, когда вспоминаешь любимых.

Все притягивается к полюсам. Каждая звезда указывает истинное направление. И все они — звезды волхвов. И каждая из них ведет к своему богу. Одна указывает путь к дальнему источнику, до которого трудно добраться. И расстояние, отделяющее вас от этого источника, давит, как крепостная стена. Другая ведет к иссякшему источнику. И сама звезда кажется высохшей. И пространство между вами и иссякшим источником не имеет ни конца, ни начала. А вон та звезда служит проводником к неведомому оазису, о котором вам напели кочевники, но доступ к нему преграждают непокоренные племена.

И пески, отделяющие вас от этого оазиса, кажутся лужайкой из волшебной сказки. А еще одна звезда указывает путь к белому южному городу, соблазнительному, как плод, в который хочется вонзить зубы. И есть звезда морей.

И, наконец, пустыня намагничена почти нереальными, бесконечно далекими полюсами: это дом, в котором протекло ваше детство и который всегда жив в воспоминаниях. Это друг, о котором вам только всего и известно, что он где-то есть.

Так вас пронизывают и оживляют силовые линии, которые притягивают или отталкивают вас, которые с вами сливаются или сопротивляются вам. И вы чувствуете себя прочно, надежно и устойчиво укоренившимся в центре главных жизненных направлений.

И так как пустыня не наделяет никакими ощутимыми богатствами, так как там нечего видеть и нечего слышать, а внутренняя жизнь в пустыне не только не замирает, но даже усиливается, то приходится признать, что человек подвержен прежде всего влияниям незримым. Человеком управляет дух. В пустыне я значу то, что значат мои божества.

Итак, если на борту этого печального парохода я чувствовал себя насыщенным еще живыми связями, если я был обитателем еще живой планеты, то лишь благодаря нескольким друзьям, затерянным где-то далеко в ночном мраке Франции,— друзьям, существование которых становилось для меня таким важным.

Франция, разумеется, не была для меня ни отвлеченным божеством, ни исторической концепцией,— она была живой плотью, от которой я зависел, узлом связей, которые мною управляли, она была комплексом полюсов, образующих склонности моего сердца. И во мне возникла потребность ощутить более прочной и долговечной, чем мою собственную, жизнь тех, кто был мне нужен, как маяк, по которому я мог бы прокладывать свой путь. Чтобы знать, куда вернуться. Чтобы самому быть.

В них целиком умещалась и через них жила во мне вся моя страна. Для тех, кто плавает в море, целый материк сводится к проблескам нескольких маяков. И маяк вовсе не служит для определения дальности. Его свет просто стоит перед вашими глазами. Но одна эта звезда вмещает в себе все сокровища материка.

И вот сегодня, когда Франция, оккупированная врагом, со всем своим грузом целиком ушла в молчание, как корабль с потушенными огнями, о котором не знаешь, выдержит ли он морские бури, судьба всех, кого я люблю, мучит меня сильнее, чем сидящий во мне недуг. Их безоружность означает угрозу самому моему существу.

Тому, кто этой ночью неотступно стоит перед моими глазами, пятьдесят лет. Он болен. И он еврей. Как переживет он немецкий террор? Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне нужно поверить, что он укрыт от захватчика, что он защищен крепостной стеной молчания своих односельчан. Только тогда я могу поверить, что он еще жив. Только тогда, причастный к его дружбе, как к родине, не имеющей границ, я могу сознавать себя не эмигрантом, а путешественником. Потому что пустыня вовсе не там, где ее видят. И Сахара насыщена жизнью более интенсивной, чем любая столица, а самый многолюдный город становится пустым, если размагничиваются его основные жизненные полюсы.

III

Как же строит жизнь силовые линии, которыми мы живем? Откуда берется сила притяжения, влекущая меня к дому друга? Каковы те решающие минуты, благодаря которым существование этого друга стало для меня жизненным полюсом? Какими тайными событиями питаются наши глубочайшие привязанности и, через них, любовь к родине?

О, как негромки истинные чудеса! Как просты решающие события! О минуте, которую мне хочется описать, я могу сказать так мало, что мне нужно мысленно пережить ее заново и говорить, обращаясь к другу.

Это было в один из предвоенных дней на берегу Соны, около Турню. Мы выбрали для завтрака харчевню с дощатой террасой, нависшей над рекой. Расположившись за простым деревянным столом, изрезанным ножами посетителей, мы заказали два перно. Твой врач запретил тебе спиртное, но в торжественных случаях ты пускался на обман. Это был как раз такой случай. Мы сами не знали почему, но это было так. Нас переполняла радость, причина которой была менее уловимой, чем материя света. И ты решился выпить перно. А так как в нескольких шагах от нас два моряка разгружали шаланду, мы пригласили их к нашему столу. Мы окликнули их с террасы. И они пришли. Они попросту пришли. Нам показалось совершенно естественным пригласить их, быть может, из-за необъяснимого праздника, переполнявшего нас. Было так очевидно, что они откликнутся на наш зов. И мы чокнулись!

Светило солнце. Его теплый медовый свет заливал тополя на том берегу и всю равнину до горизонта. Нам становилось все веселее и веселее, хотя мы по-прежнему не понимали почему. Просто в природе солнца было светить, в природе реки — течь, трапезы — быть трапезой, моряков — ответить на наш

зов и служанки — подавать нам кушанья с такой неиссякаемой лаской, словно она возглавляла какое-то вечное пиршество. Мы наслаждались нерушимым миром, защищенные от вторжения хаоса всем совершенством цивилизации. Нас переполняло довольство: все наши мечты были осуществлены, и нам нечего было поведать друг другу. Мы чувствовали себя чистыми, правдивыми, светлыми и добрыми. Мы не сумели бы сказать, какая истина предстала нам во всей своей очевидности. Но чувство, завладевшее нами, было чувством уверенности. Почти горделивой уверенности.

Так через нас излучалось доброе начало вселенной. Образование туманностей, затвердение планет, зарождение первых живых клеток, грандиозная работа жизни, которая привела от амебы к человеку,— все счастливо соединилось, чтобы расцвести в нас этой необычайной радостью! Это было немалой удачей.

Так мы упивались молчаливым взаимопониманием и почти религиозной торжественностью нашей трапезы. Нас убаюкивали движения священнодействующей служанки, и мы чокались с моряками, как приверженцы одного и того же культа, хотя мы и не могли бы сказать, какого именно. Один из моряков был голландец. Другой — немец. Он когда-то бежал от нацистов, преследовавших его как коммуниста, или троцкиста, или католика, или еврея. (Не помню уж под какой этикеткой подвергался гонениям этот человек.) Но в эту минуту моряк был меньше всего этикеткой. Он был самой сущностью. И только эта человеческая сущность имела значение. Он просто был другом. И среди нас, друзей, царило согласие. Ты был согласен. Я был согласен. Моряки и служанка были согласны. Согласны в чем? В выборе перно? В понимании смысла жизни? В ощущении сладости дня? Мы не сумели бы ответить на эти вопросы. Но это согласие было настолько полным, настолько прочным и глубоким, оно относилось к какому-то завету, столь очевидному в своей сущности, хотя и невыразимому словами, что мы согласились бы укрепиться в этом бараке, и выдержали бы в нем осаду, и приняли бы смерть с оружием в руках, ради спасения этой сущности.

Какой сущности?.. Вот тут и возникают передо мной непреодолимые трудности! Пытаясь выразить то, что мне хочется, я боюсь передать не главное, а лишь его отражение. Из-за бессилия слов моя истина выскользнет из них. Я рискую быть непонятым, если скажу, что мы бы охотно приняли бой ради спасения особенной улыбки моряков, и твоей улыбки, и моей, и улыбки служанки — этого чуда, сотворенного солнцем, которое столько миллионов лет трудилось для того, чтобы в нас могла родиться эта особенная улыбка — достойное увенчание его трудов.

Главное чаще всего невесомо. Здесь самое главное как буд-

то бы заключалось в улыбке. Самым главным часто бывает улыбка... Улыбкой расплачиваются. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой возвращают жизнь. Ради иной улыбки можно пойти на смерть. И потому что эта особенная улыбка освобождала нас от страха перед нашим временем и даровала нам уверенность, надежду и мир, мне нужно сегодня попытаться яснее выразить свои мысли, рассказав историю другой улыбки.

IV

Это случилось во время гражданской войны в Испании, где я работал тогда корреспондентом. Я имел неосторожность без соответствующего разрешения около трех часов ночи находиться на одной из товарных станций, где шла погрузка какой-то секретной техники. Суета и полумрак, по-видимому, благоприятствовали моей нескромности. Но я показался подозрительным анархистским ополченцам.

Все произошло очень просто. Я и опомниться не успел, как они тихо, крадучись подошли и уже плотно окружили меня, словно зажали в кулак. Ствол карабина слегка уперся в мой живот, и тишина показалась мне многозначительной. Я поднял руки.

Я заметил, что их взгляды прикованы не к моему лицу, а к галстуку (мода анархистского предместья не признавала этого предмета роскоши). Тело мое сжалось. Я ждал выстрела,— это было время, когда суд и расправу чинили на месте. Но выстрела не последовало. Прошло несколько секунд полнейшей пустоты,— мне показалось, что бригада грузчиков в каком-то ином мире исполняет сказочный балет,— и мои анархисты легким кивком головы приказали мне идти впереди них. И мы пошли, не торопясь, через подъездные пути. Моя поимка произошла в полном молчании с поразительной экономией движений. Таковы повадки подводной фауны.

Вскоре меня привели в подвал, превращенный в сторожевой пост. При тусклом свете плохонькой керосиновой лампы несколько ополченцев дремали на лавках, зажав между ногами карабины. Безучастным голосом они обменялись несколькими словами с моими конвоирами. Один из них меня обыскал.

Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Тем не менее я понял, что они требуют мои документы. Я их оставил в гостинице. Я ответил: «Отель... Журналист...»— без малейшей уверенности, что мои слова им что-нибудь скажут. В качестве вещественного доказательства ополченцы передавали из рук в руки мой фотоаппарат. Несколько ополченцев, скучавших, развалясь на лавках, зевая, встали и прислонились к стене.

Потому что здесь господствовала скука. Скука и сон. Внимание этих людей, как мне показалось, было истощено до

предела. Я, пожалуй, обрадовался бы проявлению даже враждебности как знаку человеческого общения. Но они не удостоили меня ни малейшим выражением гнева или хотя бы осуждения. Несколько раз я пытался выразить по-испански свой протест. Но мои слова повисали в пустоте. Никак не реагируя, они уставились на меня, точно на диковинную рыбу в аквариуме.

Они ждали. Чего? Возвращения одного из своих? Рассвета? Я подумал: «Может быть, они еще не проголодались?..»

И еще я думал: «Они способны свалять дурака! Это будет немыслимо глупо...» И я испытывал не столько страх, сколько отвращение к нелепости совершавшегося. Я думал: «Когда они раскачаются, когда захотят действовать, они выстрелят!»

Угрожала ли мне реальная опасность или нет? Сомневались ли они еще в том, что я не диверсант, не шпион, а журналист? Что мои документы остались в гостинице? Приняли ли они какое-нибудь решение? Какое?

Я ничего не знал о них, кроме того, что они почем зря расстреливают людей. Авангардисты, к какой бы партии они ни принадлежали, охотятся не на людей (человек в его сущности значения для них не имеет), а на симптомы. Противоречащая их догме истина воспринимается ими как эпидемическое заболевание. Обнаружив подозрительный симптом, заразного больного отправляют в карантин. На кладбище. Вот почему мне показался таким зловещим допрос, которому они меня то и дело подвергали, ошарашивая односложными непонятными словами. Моя жизнь разыгрывалась в рулетку. И тут я испытал странную потребность противопоставить всему этому что-то реальное, выразить себя хотя бы криком, чтобы они признали меня в моем истинном существе. Сказать, например, сколько мне лет. Это же так важно — возраст человека! Это итог всей его жизни. Зрелость, она приобретается годами. Она была обретена путем преодоления стольких препятствий, стольких тяжких недугов, стольких печалей, путем таких горьких разочарований, в борьбе со столькими опасностями, из которых большая часть осталась даже неосознанной. Она была результатом стольких желаний, надежд, сожалений, забвения и любви. О, это внушительный багаж опыта и воспоминаний — возраст человека! Несмотря на ловушки, бугры и рытвины, человек, как добрый возок, с грехом пополам продолжал двигаться вперед. И вот, благодаря стечению многих счастливых случайностей, он оказывается тут — перед вами. Ему тридцать семь лет. И этот возок, с божьей помощью, потащит и дальше свой груз воспоминаний. Я думал: «Вот до чего я дожил. Мне тридцать семь лет...» Я хотел бы дать почувствовать моим судьям всю вескость такого признания... но они меня ни о чем не спрашивали.

Вот тут и произошло чудо. О, чудо самое неприметное! У меня не оказалось сигарет. Один из моих конвойных курил, и я

жестом попросил у него сигарету и при этом чуть заметно улыбнулся. Человек сначала выпрямился, медленно провел рукой по лбу, потом посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет.

Не то чтобы это чудо развязало создавшуюся коллизию: оно просто растворило ее, как солнечный свет растворяет ночную темень. Никакой коллизии больше не существовало. А вместе с тем внешне это чудо ничего не изменило. Коптящая керосиновая лампа, стол с разбросанными на нем бумагами, люди, прислонившиеся к стене, цвет вещей, запахи — все осталось прежним. Но каждая вещь оказалась преображенной в самом своем существе. Эта улыбка означала мою свободу. Это был знак такой же решающий, такой же очевидный по своим ближайшим последствиям, такой же необратимый, как восход солнца. Он открывал новую эру. Ничто не изменилось, и изменилось все. Стол с разбросанными на нем бумагами стал живым. Керосиновая лампа стала живой. Стены стали живыми. Скука, словно испарина, покрывавшая все вещи в этом мертвом подвале, улетучилась как по волшебству. Словно возобновилась незримая циркуляция крови, связавшая все вещи в единое тело и вернувшая смысл каждой из них в отдельности.

Никто не двинулся с места, но люди, еще секунду тому назад казавшиеся мне более далекими, чем допотопные страшилища, вдруг наполнились близким содержанием. Меня охватило необыкновенное ощущение присутствия. Присутствия человека! И нашего родства.

Конвоир, который мне улыбнулся и который мгновение тому назад был лишь функцией, орудием, каким-то чудовищным насекомым, вдруг оказался чуть неловким, почти застенчивым, пленительно застенчивым юношей. Не то чтобы этот террорист стал менее груб, чем любой другой. Но пробудившийся в нем человек со всей ясностью выказал свою безоружность. Нам, мужчинам, часто приходится надевать маску непоколебимой уверенности, но в глубине души нам ведомы и сомнения, и нерешительность, и печали...

Еще не было сказано ни слова. И в то же время все было решено. Когда ополченец протянул мне сигарету, я в знак благодарности положил руку ему на плечо. Лед был сломан, и другие ополченцы вновь стали просто людьми, и я вошел в их улыбки, как в новую, распахнутую передо мной страну.

Я был окутан их улыбкой, как в былые времена улыбкой наших спасителей в Сахаре. Обнаружив нас после нескольких дней поисков и приземлившись как можно ближе, товарищи широкими шагами шли к нам, издалека показывая бурдюки с водой, которыми они размахивали в вытянутых руках. Об улыбке спасителей, когда я тонул, об улыбке утопающих, когда я спасал, я вспоминаю, как о родных краях, где я был так

счастлив. Истинная радость — это радость соучастника. Спасение другого человека есть лишь повод к такой радости. Вода не обладает никакими целительными чарами, если она не стала добровольным даром человека.

Забота о больном, убежище, предоставляемое изгнаннику, даже прощение виновного приобретают цену только благодаря улыбке, озаряющей это празднество. Мы объединяемся в улыбке, поднявшись над различиями языков, каст, партий. Мы приверженцы одной и той же веры — тот человек со своими обычаями, и я — с моими.

V

Разве эта особая радость не есть самый драгоценный плод духовной культуры, которую мы признаем своей? В наших материальных потребностях нас могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, предназначенный на откорм. Нам мало процветания и комфорта. Для нас, воспитанных в духе уважения к человеку, так много значат простые встречи, превращающиеся иной раз в изумительные празднества...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот пробный камень! Когда нацист уважает только того, кто с ним схож, он уважает лишь самого себя. Отклоняя созидательные противоречия, он уничтожает всякую надежду на преображение человека и на тысячу лет вместо человека утверждает робота в муравейнике. Порядок ради порядка выхолащивает человека, лишая его основного дара — преображать мир и самого себя. Жизнь творит порядок, но порядок жизнь не творит.

Нам же, напротив, кажется, что наше преображение еще не завершено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и что преодолеваемые противоречия служат почвой для нашего роста. Мы признаем свое родство и с теми, кто не похож на нас. Но какое это необычное родство! Оно основывается на будущем, а не на прошедшем. На цели, а не на истоках. Мы друг для друга — странники, разными путями устремляющиеся к одному и тому же свиданию.

И вот сегодня самое условие нашего преображения, уважение к человеку, оказывается под угрозой. Потрясения современного мира погрузили нас во мрак. Все проблемы кажутся запутанными, все решения — противоречивы. Вчерашняя истина умерла, истину завтрашнюю еще предстоит создать. Никакого приемлемого синтеза пока не видно, и каждый из нас обладает лишь малой крупицей истины. За отсутствием очевидной правоты, которая могла бы импонировать всем, политические религии прибегают к насилию. И вот из-за несогласия в средствах мы рискуем забыть, что цель перед нами одна.

Путешественник, карабкающийся на гору, ориентируясь по

звезде, рискует заблудиться среди звезд, если будет слишком уж пристально смотреть себе под ноги. А если он будет двигаться лишь ради того, чтобы не стоять на месте, он никуда не придет. Привратница храма, слишком озабоченная сбором денег за стулья, рискует забыть, что она служит богу. Замкнувшись в сектантских распрях, я могу забыть, что политика теряет свой смысл, если она не служит духовной истине. В иные часы нам дано было познать чудо особых человеческих отношений: в них наша истина.

Каким бы важным ни казался нам иной поступок, чтобы он не был бесплодным, мы не смеем забывать, ради чего этот поступок совершается. Мы стремимся воспитать в людях уважение к человеку. Зачем же нам ненавидеть друг друга, если мы из одного лагеря? Никто из нас не может претендовать на монопольную чистоту намерений. Во имя своего пути я могу отвергать путь, избранный другим. Я могу критиковать посылки его интеллекта. Посылки интеллекта не безусловны. Но я обязан уважать этого человека, как носителя Духа, если он стремится к той же звезде.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если уважение к человеку заложено в сердцах людей, они в конце концов неизбежно придут к созданию такой социальной, политической или экономической системы, которая сделает это уважение непреложным законом. Всякая культура закладывается прежде всего в самой человеческой сущности. Сначала это слепое устремление человека к теплу. И лишь потом, идя от ошибки к ошибке, он находит путь, ведущий его к огню.

VI

Вот почему, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я жажду спутника, который, поднявшись над всеми распрями интеллекта, уважал бы во мне паломника, ищущего путь к этому огню. Иногда мне нужно заранее ощутить обетованное тепло и, хоть немного возвысившись над самим собой, отдохнуть на свидании, которое будет нашим.

Я так устал от полемики, от непримиримости, от фанатизма! К тебе я могу войти, не надевая никакого мундира, не исповедуя никакого Корана и не отрекаясь ни от чего, что принадлежит моей внутренней родине. Рядом с тобой мне нет надобности ни каяться, ни оправдываться, ни доказывать; наша встреча осенит меня миром, как в те дни, в Турню. Поверх всех моих неуклюжих слов, поверх всех моих рассуждений, которые могут быть ошибочными, ты видишь во мне просто Человека. Ты чтишь во мне посланца моей веры, моих традиций, моей любви. И если я не похож на тебя, то этим я не только тебя не

оскорбляю, а, напротив, обогащаю тебя. Ты расспрашиваешь меня, как расспрашивают путешественника.

Как и всякий человек, я нуждаюсь в признании, и я чувствую себя чистым в тебе и иду к тебе. Меня тянет туда, где я чист. Ты знаешь меня не по моим догмам и поступкам. Принимая меня таким, каков я есть, ты, если нужно, проявишь терпимость к этим догмам и к этим поступкам. И я благодарен тебе за то, что ты принимаешь меня со всем, что есть во мне. На что мне друг, который будет судить меня? Если ко мне приходит друг, у которого болит нога, я усаживаю его за стол, а не заставляю плясать.

Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, на которой дышится так легко! Мне нужно еще раз посидеть рядом с тобой за столом, в убогой дощатой харчевне на берегу Соны, и пригласить к нашему столу двух моряков, в компании с которыми мы были и чокнулись, озаренные, как солнцем, улыбкой мира.

Если мне еще доведется принимать участие в войне, я буду сражаться и за тебя. Ты нужен мне, чтобы крепче верить в торжество этой улыбки. Мне нужно помочь тебе жить. Я вижу, как трудно тебе, в твои пятьдесят лет, часами стоять в очередях у какой-нибудь жалкой булочной, дрожа от холода в негреющем поношенном пальтеце ради того, чтобы протянуть один лишний день; я вижу, как ты слаб и какие угрозы нависли над тобой. Тебе — такому французу — смертельная опасность грозит вдвойне: и потому, что ты француз, и потому, что ты еврей. Я понимаю всю цену общности, не допускающей распри. Мы все, как ветви дереву, принадлежим Франции, и я буду служить твоей истине, как ты послужил бы моей. Для нас, французов вне Франции, задача этой войны состоит в том, чтобы спасти посев, заметенный бураном немецкого нашествия. Наша задача — помочь вам, во Франции. Задача наша — вернуть вам свободу на нашей земле, где вам принадлежит неоспоримое право укореняться и расти. Вас сорок миллионов заложников. Новые истины всегда рождаются в застенках палачей: сорок миллионов заложников вынашивают там свою новую истину. И мы заранее подчиняемся этой истине.

Потому что мы будем учиться у вас. Не нам нести духовный свет тем, кто уже, как воск свечу, питает его собственным существом. Вы, быть может, откажетесь читать наши книги. Вы не захотите слушать наши речи. Вы, может быть, изрыгнете наши идеи. Не мы создаем сейчас Францию. Мы можем лишь служить ей. И что бы мы ни сделали, мы не получим права на благодарность. Нет общей меры для смерти в свободном бою и гибели ночью под сапогом поработителя. Нет общей меры для ремесла солдата и ремесла заложника. Вы — святые.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

с рисунками автора



Леону Верту

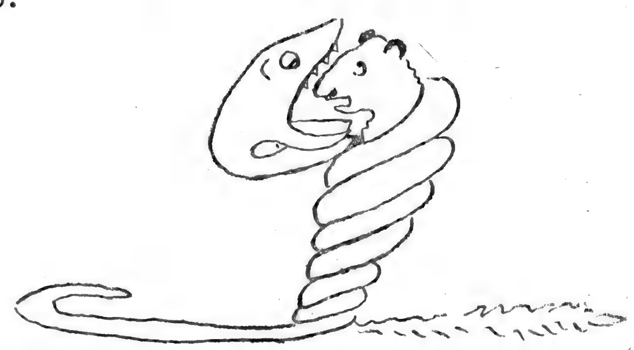
Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому.
Скажу в оправдание: этот взрослый — мой самый лучший друг.
И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки.
И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно.
И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает,
я посвящу книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг.
Ведь все взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них об этом помнит.
Итак, я исправляю посвящение:

Леону Верту,
когда он был маленьким.



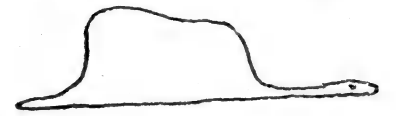
I

Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея — удав — глотала хищного зверя. Вот так это было нарисовано:



В книге говорилось: «Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу».

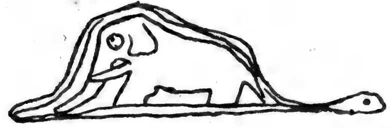
Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был рисунок № 1. Вот что я нарисовал:



Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.

— Разве шляпа страшная?— возразили мне.

А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок № 2:



Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести

лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 и № 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.

Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.

На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.

Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок № 1 — я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.

II

Так я жил в одиночестве, и не с кем мне было поговорить по душам. И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю.

Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана,— и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:

— Пожалуйста... нарисуй мне барашка!

— А?..

— Нарисуй мне барашка...

Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Стал осматриваться. И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые убедили меня, что художника из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри.



Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:

— Но... что ты здесь делаешь?

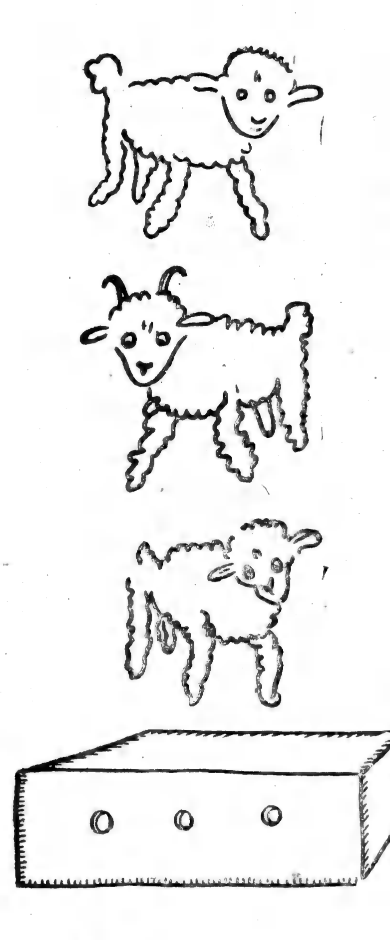
И он опять попросил тихо и очень серьезно:

— Пожалуйста... нарисуй барашка...

Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию,— и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что я не умею рисовать. Он ответил:

— Все равно. Нарисуй барашка.

Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать: удава снаружи.



И очень изумился, когда малыш воскликнул:

— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.

И я нарисовал.

Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:

— Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого.

Я нарисовал.

Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.

— Ты же сам видишь,— сказал он,— это не барашек. Это большой баран. У него рога...

Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался.

— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.

Тут я потерял терпение — ведь мне надо было поскорее разобрать мотор — и нацарапал вот что:

И сказал малышу:

— Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется.

Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:

— Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?

— А что?

— Ведь у меня дома всего очень мало...

— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.

— Не такой уж он маленький...— сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок.— Смотри-ка! Он уснул...

Так я познакомился с Маленьким принцем.

III

Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые уви-

дел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:

— Что это за штука?

— Это не штука. Это самолет Мой самолет. Он летает.

И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул:

— Как! Ты упал с неба?

— Да,— скромно ответил я.

— Вот забавно!..

И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:



— Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?

«Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!» — подумал я и спросил напрямик:

— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?

Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет:

— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека...

И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.

Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о «других планетах».

И я попытался разузнать больше:

— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?

Он помолчал в раздумье, потом сказал:

— Очень хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать по ночам.

— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.

Маленький принц нахмурился:

— Привязывать? Для чего это?

— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.

Тут мой друг опять весело рассмеялся:

— Да куда же он уйдет?

— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.

Тогда Маленький принц сказал серьезно:
— Это не страшно, ведь у меня там очень мало места.
И прибавил не без грусти:
— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь...

IV

Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!

Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например: астероид 3251.

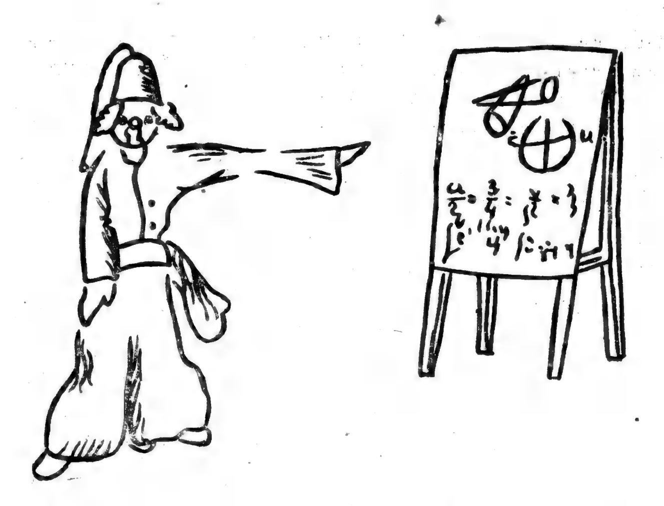
У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид B-612». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.

Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!

К счастью для репутации астероида B-612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье.

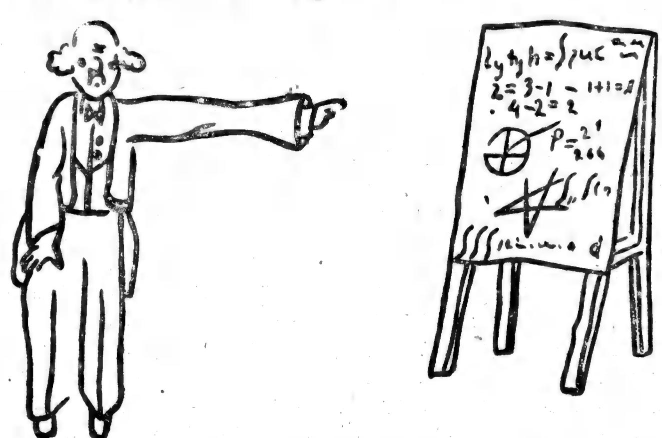
В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде,— и все с ним согласились.

Я вам рассказал так подробно об астероиде B-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби»,— они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я ви-



дел дом за сто тысяч франков»,— и тогда они восклицают: «Какая красота!»

Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, безусловно, существует»,— если им сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать им: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид В-612»,— это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.



Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так:

«Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга...» Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что все это чистая правда.

Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книгу читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально — когда забывают друзей. Не у всякого есть друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто — в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже: на одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой, на другом — чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я старею.

V

Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами.

Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:

— Скажите, ведь правда, барашки едят кусты?

— Да, это правда.

— Вот хорошо!

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил:

— Значит, они и баобабы тоже едят?

Я возразил, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и, если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба.

Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:

— Их пришлось бы поставить друг на друга...

А потом сказал рассудительно:

— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.

— Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?

— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах. И пришлось мне поломать голову, пока я не додумался, в чем тут дело.

На планете Маленького принца, как и на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена... это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.

— Есть такое твердое правило, — сказал мне позднее Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.

Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети хорошо поняли.

— Если им когда-нибудь придется путешествовать, — сказал он, — это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика...



Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знет, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий,



кто попадет на астероид, очень велика,— вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети!— говорю я.— Берегитесь баобабов!» Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите: отчего в этой книге нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.

VI

О Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение: ты любовался закатом. Я узнал об этом наутро четвертого дня, когда ты сказал:

— Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.

— Ну, придется подождать.

— Чего ждать?

— Чтобы солнце зашло.

Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал:





— Мне все кажется, что я у себя дома!

И в самом деле. Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень далеко. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты снова и снова смотрел на закатное небо, стоило только захотеть...

— Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!

И немного погодя ты прибавил:

— Знаешь... когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце...

— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?

Но Маленький принц не ответил.

VII

На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, только пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий:

— Если барашек ест кусты, он и цветы ест?

— Он ест все, что попадется.

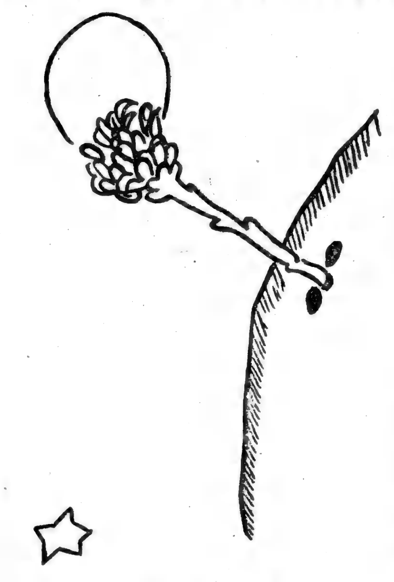
— Даже такие цветы, у которых шипы?

— Да, и те, у которых шипы.

— Тогда зачем шипы?

Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заело один

болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение мое становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.



— Зачем нужны шипы?

Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц никогда не отступал, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпенья, и я ответил наобум:

— Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.

— Вот как!

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:

— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают — если у них шипы, их все боятся...

Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги». Маленький принц снова перебил мои мысли:

— А ты думаешь, что цветы...

— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.

Он посмотрел на меня в изумлении.

— Серьезным делом?!

Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.

— Ты говоришь, как взрослые!— сказал он.

Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:

— Все ты путаешь... ничего не понимаешь!

Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.

— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный!»— совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.

— Что?

— Гриб!

Маленький принц даже побледнел от гнева.

— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это неважно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек вдруг в одно прекрасное утро возьмет да и съест его и даже не будет знать, что́ он натворил? И это все, по-твоему, не важно?

Он сильно покраснел. Потом снова заговорил:

— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из моих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок...» Но если барашек съест его, это все равно как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!

Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете — на моей планете по имени Земля — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит... Я нарисую твоему барашку намордник... Я нарисую для твоего цветка броню... Я...» Я плохо понимал, что говорю. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня... Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез.

VIII

Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца всегда росли простые, скромные цветы — у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь мак.



Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка! Таинственные приготовления длились день за днем. И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись.

И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:

— Ах, я насилу проснулась... Прошу извинить... Я еще совсем растрепанная...

Маленький принц не мог сдержать восторга:

— Как вы прекрасны!

— Да, правда?— был тихий ответ.— И заметьте, я родилась вместе с солнцем.



Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!

А она вскоре заметила:

— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне...

Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.

Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:



— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!

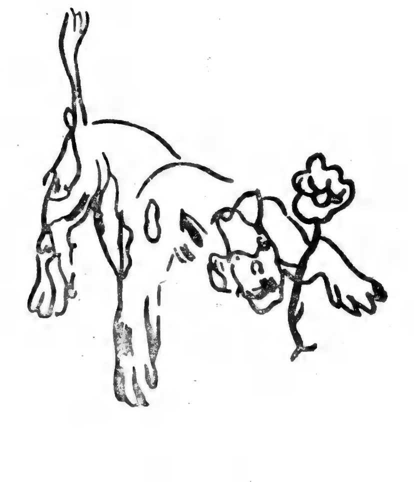
— На моей планете тигры не водятся,— возразил Маленький принц.— И потом, тигры не едят траву.

— Я не трава,— обиженно заметил цветок.

— Прости меня...

— Нет, тигры мне не страш-

ны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?



«Растение, а боится сквозняков... очень странно...— подумал Маленький принц.— Какой трудный характер у этого цветка».

— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла...

Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко могут уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:

— Где же ширма?

— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!



Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.

— Напрасно я ее слушал,— доверчиво сказал он мне однажды.— Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх... Они должны бы меня растрогать, а я разозлился...

И еще он признался:

— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать! За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.

IX

Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.

Не без грусти Маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть его колпаком, ему даже захотелось плакать.

— Прощайте,— сказал он.

Красавица не ответила.

— Прощайте,— повторил Маленький принц.

Она кашлянула. Но не от простуды.

— Я была глупая,— сказала она наконец.— Прости меня. И постарайся быть счастливым.

И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?

— Да, да, я люблю тебя,— услышал он.— Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым... Оставь колпак, он мне больше не нужен.

— Но ветер...

— Не так уж я простужена... Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.

— Но звери, насекомые...

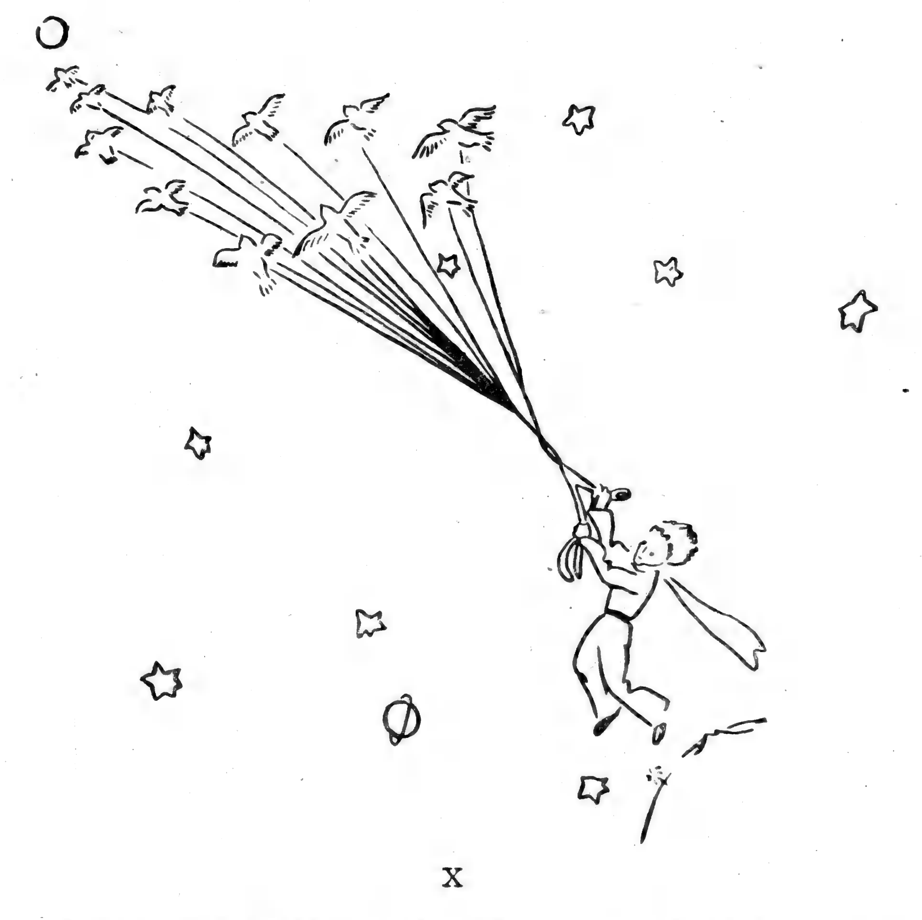
— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.

И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:

— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок...





X

Ближе всего к планете Маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их: надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь.

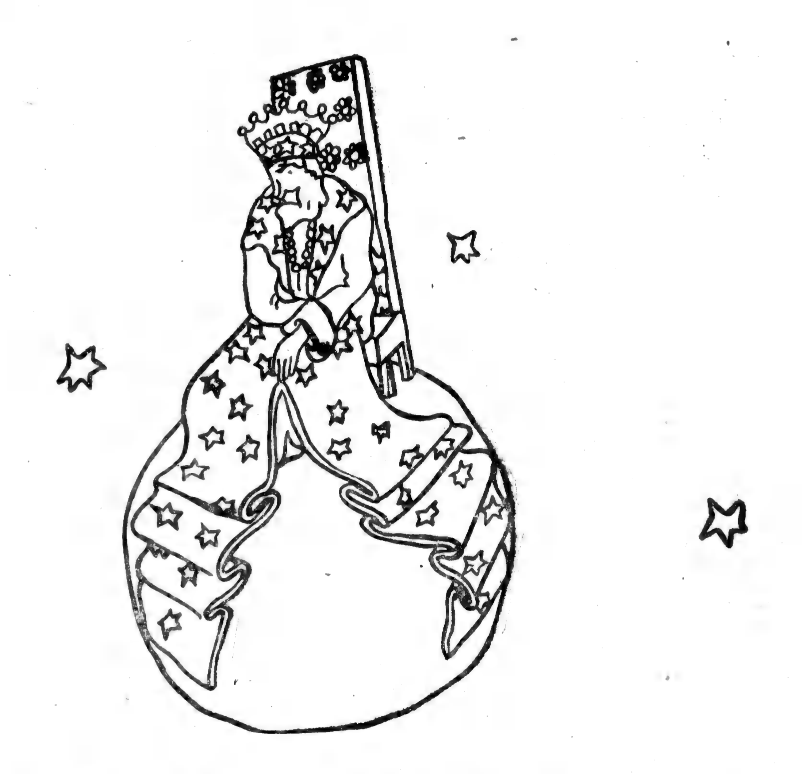
На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне — очень простом и все же величественном.

— А, вот и подданный!— воскликнул король, увидав Маленького принца.

«Как же он меня узнал?— подумал Маленький принц.— Ведь он видит меня в первый раз»!

Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные.

— Подойди, я хочу тебя рассмотреть,— сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.



Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть,— но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал... и вдруг он зевнул.

— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха,— сказал король.— Я запрещаю тебе зевать.

— Я нечаянно,— ответил Маленький принц, очень смущенный.— Я долго был в пути и совсем не спал...

— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать,— сказал король.— Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.

— Но я робею... я больше не могу...— вымолвил Маленький принц и весь покраснел.

— Гм, гм... Тогда... тогда я повелеваю тебе то зевать, то...

Король запутался и, кажется, даже немного рассердился.

Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.

«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой,— говаривал он,— и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».

— Можно мне сесть?— робко спросил Маленький принц.

— Повелеваю: сядь! — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.

Но Маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Чем же правит этот король?

— Ваше величество,— начал он,— могу ли я вас спросить...

— Повелеваю: спрашивай! — поспешно сказал король.

— Ваше величество... чем вы правите?

— Всем,— просто ответил король.

— Всем?

Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.

— И всем этим вы правите? — переспросил Маленький принц.

— Да,— отвечал король.

Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.

— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.

— Ну конечно,— ответил король.— Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.

Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом солнца не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место! Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля:

— Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца... Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться...

— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?

— Вы, ваше величество,— ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.

— Совершенно верно,— подтвердил король.— С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.

— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чем-нибудь спросив, он уже не успокаивался, пока не получал ответа.

— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.

— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.

— Гм, гм,— ответил король, листая толстый календарь.— Это будет... гм, гм... сегодня это будет в семь часов сорок минут

вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление.

Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И, по правде говоря, ему уже стало скучновато.

— Мне пора,— сказал он королю.— Больше мне тут нечего делать.

— Останься!— сказал король; он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться.— Останься, я назначу тебя министром.

— Министром чего?

— Ну... юстиции.

— Но ведь здесь некого судить!

— Как знать,— возразил король.— Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно.

Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты.

— Но я уже смотрел!— воскликнул он.— Там тоже никого нет.

— Тогда суди сам себя,— сказал король.— Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

— Сам себя я могу судить где угодно,— сказал Маленький принц.— Для этого мне незачем оставаться у вас.

— Гм, гм...— сказал король.— Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна.

— Не люблю я выносить смертные приговоры,— сказал Маленький принц.— И вообще, мне пора.

— Нет, не пора,— возразил король.

Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.

— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись,— сказал он,— вам следовало бы отдать мне благоразумное приказание. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные...

Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.

— Назначаю тебя послом!— поспешно крикнул вдогонку ему король.

И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.



«Странный народ эти взрослые»,— сказал себе Маленький принц, продолжая путь.

XI

На второй планете жил честолюбец.

— О, вот и почитатель явился!— воскликнул он, еще издали завидев Маленького принца.

Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются.

— Добрый день,— сказал Маленький принц.— Какая у вас забавная шляпа.

— Это чтобы раскланиваться,— объяснил честолюбец.— Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.

— Вот как?— промолвил Маленький принц: он ничего не понял.

— Похлопай-ка в ладоши,— сказал ему честолюбец.

Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец снял шляпу и скромно раскланялся.

«Здесь веселее, чем у старого короля»,— подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.

Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.

— А что надо сделать, чтобы шляпа упала?— спросил он.

Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.

— Ты и в самом деле мой восторженный почитатель?— спросил он Маленького принца.

— А как это — почитать?

— Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.

— Да ведь на твоей планете больше и нет никого!

— Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною!

— Я восхищаюсь,— сказал Маленький принц, слегка пожав плечами,— но что тебе от этого за радость?

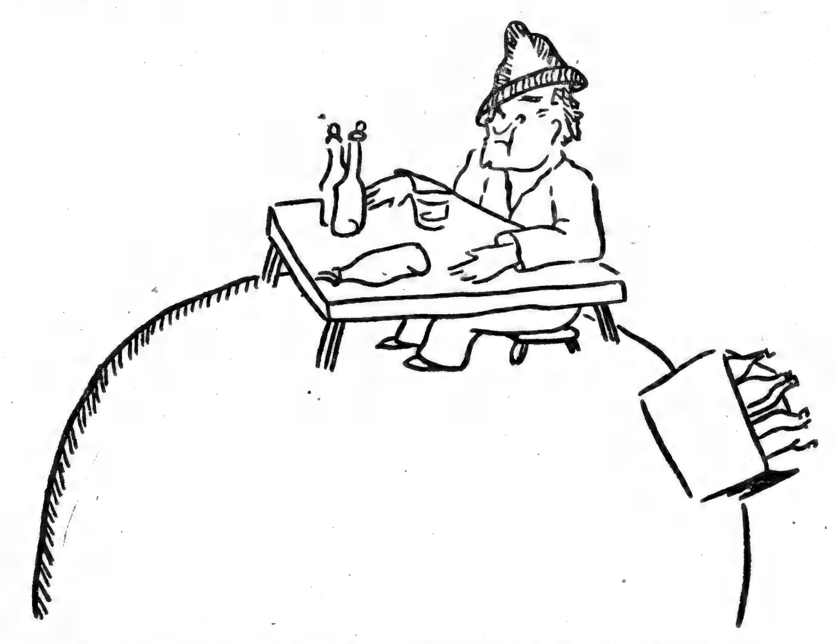
И он сбежал от честолюбца.

«Право же, взрослые — очень странные люди»,— простодушно подумал он, пускаясь в путь.

XII

На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.

Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним армии бутылок — пустых и полных.



— Что это ты делаешь?— спросил Маленький принц.

— Пью,— мрачно ответил пьяница.

— Зачем?

— Чтобы забыть.

— О чем забыть?— спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.

— Хочу забыть, что мне совестно,— признался пьяница и повесил голову.

— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц; ему очень хотелось помочь бедняге.

— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.

И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.

«Да, без сомнения, взрослые очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь.

XIII

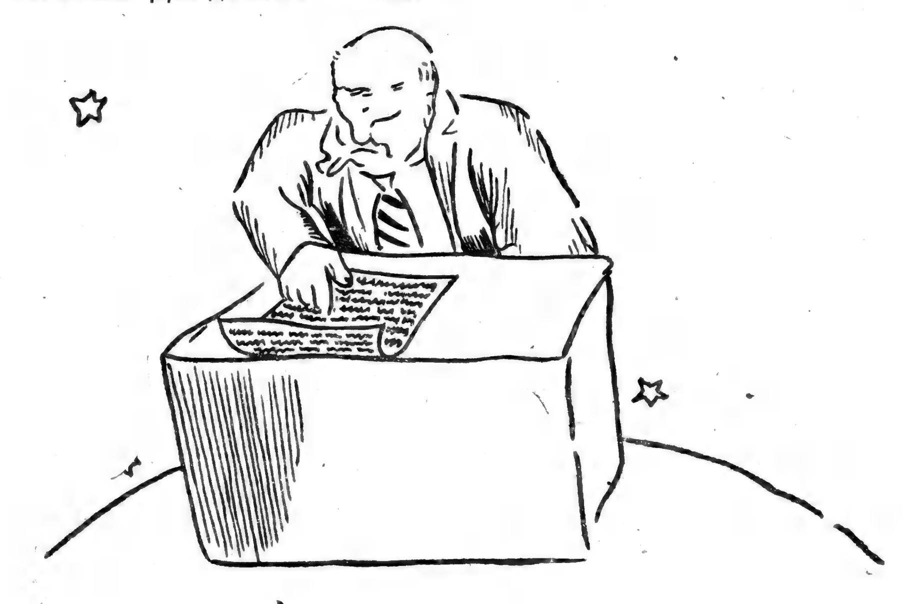
Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял.

— Добрый день, — сказал ему Маленький принц. — Ваша папироса погасла.

— Три да два — пять. Пять да семь — двенадцать. Двенадцать да три — пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать да семь — двадцать два. Двадцать два да шесть — двадцать восемь. Некогда спичкой чиркнуть. Двадцать шесть да пять — тридцать один. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один.

— Пятьсот миллионов чего?

— А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов... Уж не знаю, чего... У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни! Два да пять — семь...



— Пятьсот миллионов чего?— повторил Маленький принц: спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа.

Деловой человек поднял голову.

— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз... вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов...

— Миллионов чего?

Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.

— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.

— Это что же, мухи?

— Да нет же, такие маленькие, блестящие.

— Пчелы?

— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный. Мне мечтать некогда.

— А, звезды?

— Вот-вот. Звезды.

— Пятьсот миллионов звезд? И что же ты с ними делаешь?

— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность.

— Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?

— Что делаю?

— Да.

— Ничего не делаю. Я ими владею.

— Владеешь звездами?

— Да.

— Но я уже видел короля, который...

— Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело.

— А для чего тебе владеть звездами?

— Чтоб быть богатым.

— А для чего быть богатым?

— Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.

«Он рассуждает почти как тот пьяница»,— подумал Маленький принц.

И стал спрашивать дальше:

— А как можно владеть звездами?

— Звезды чьи? — ворчливо спросил делец.

— Не знаю. Ничьи.

— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.

— И этого довольно?

— Ну конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.

— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — И что же ты с ними делаешь?

— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьезный.

Однако Маленькому принцу этого было мало.

— Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды!

— Нет, но я могу положить их в банк.

— Как это?

— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.

— И все?

— Этого довольно.

«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьезно».

Что серьезно, а что не серьезно, — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.

— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы...

Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся что ответить, и Маленький принц отправился дальше.

«Нет, взрослые и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.

XIV

Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал:

«Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть

смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».

И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.

— Добрый день,— сказал он.— Почему ты сейчас погасил свой фонарь?

— Такой уговор,— ответил фонарщик.— Добрый день.

— А что это за уговор?

— Гасить фонарь. Добрый вечер.

И он снова засветил фонарь.

— А зачем же ты опять его зажег?

— Такой уговор,— повторил фонарщик.

— Не понимаю,— признался Маленький принц.

— И понимать нечего,— сказал фонарщик.— Уговор есть уговор. Добрый день.

И погасил фонарь.

Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:

— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться...

— А потом уговор переменился?

— Уговор не менялся,— сказал фонарщик.— В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.

— И как же теперь?— спросил Маленький принц.

— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.

— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!

— Ничего тут нет забавного,— возразил фонарщик.— Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.

— Целый месяц?!

— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!

И он опять засветил фонарь.

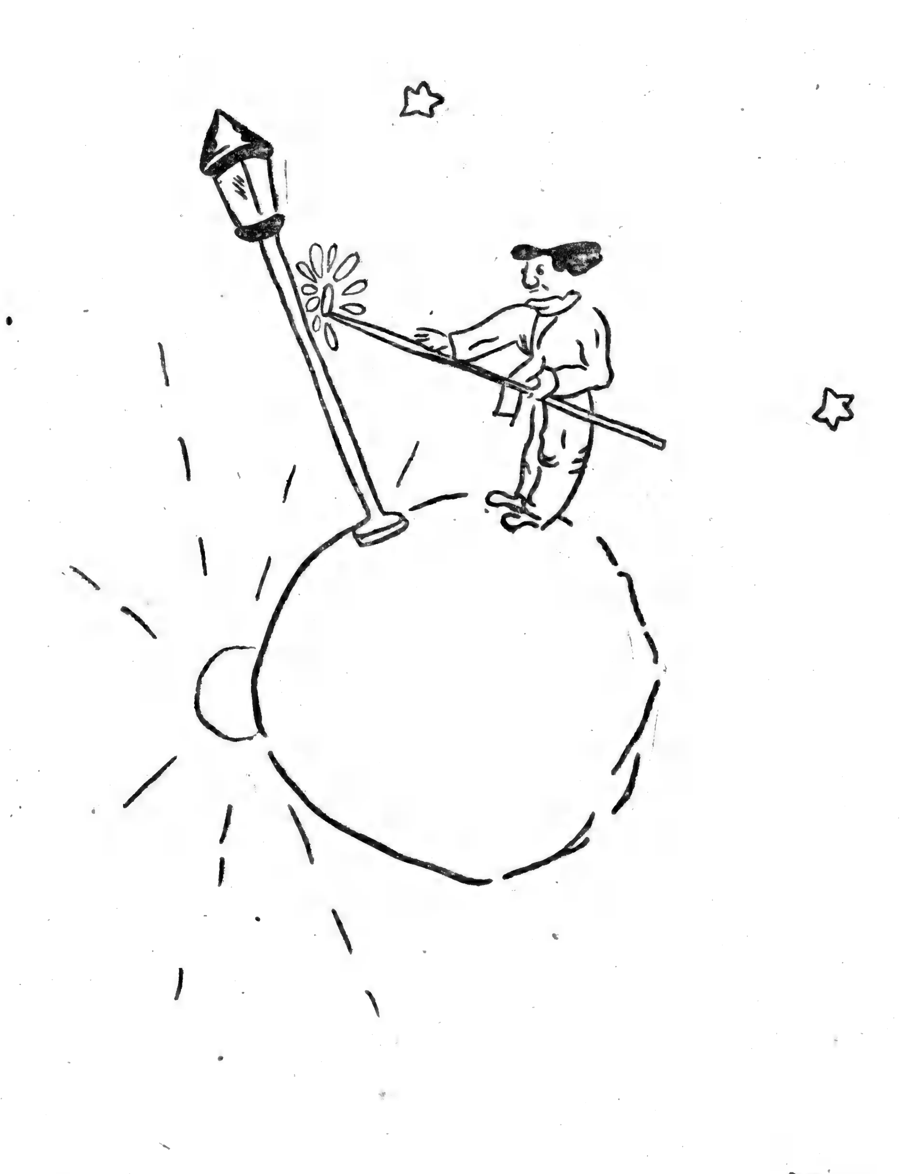
Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. И ему захотелось помочь другу.

— Послушай,— сказал он фонарщику.— Я знаю средство: ты можешь отдыхать, когда только захочешь...

— Мне все время хочется отдыхать,— сказал фонарщик.

Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым.

— Твоя планетка такая маленькая,— продолжал принц,— ты можешь обойти ее в три шага. И тебе просто нужно идти с



такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди... и день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.

— Ну, от этого мне мало толку,— сказал фонарщик.— Больше всего на свете я люблю спать.

— Тогда плохо твое дело,— посочувствовал Маленький принц.

— Плохо мое дело,— подтвердил фонарщик.— Добрый день.

И погасил фонарь.

«Вот человек,— сказал себе Маленький принц, продолжая путь,— вот человек, которого все стали бы презирать — и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех только он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».

Маленький принц вздохнул.

«Вот с кем я мог бы подружиться,— подумал он еще.— Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих...»

Он не смел признаться себе в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!

XV

Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги.

— Смотрите-ка! Вот прибыл путешественник!— воскликнул он, заметив Маленького принца.

Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал!

— Откуда ты?— спросил его старик.

— Что это за огромная книга?— спросил Маленький принц.— Что вы здесь делаете?

— Я — географ,— ответил старик.

— А что такое географ?

— Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.

— Как интересно!— сказал Маленький принц.— Вот это — настоящее дело!

И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты.

— Ваша планета очень красивая,— сказал он.— А океаны у вас есть?

— Этого я не знаю,— сказал географ.

— О-о,— разочарованно протянул Маленький принц.— А горы есть?

— Не знаю,— повторил географ.

— А города, реки, пустыни?

— И этого я тоже не знаю.

— Но ведь вы географ!

— Вот именно,— сказал старик.— Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не геог-



рафы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.

— А зачем?

— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.

— А почему?

— Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.

— Я знал одного человека.., Из него вышел бы плохой путешественник,— заметил Маленький принц.

— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.

— Как проверяют? Идут и смотрят?

— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни.

Географ вдруг пришел в волнение:

— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!

И географ раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.

— Я слушаю тебя,— сказал географ.

— Ну, у меня там не так уж интересно,— промолвил Маленький принц.— У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться.

— Да, все может случиться,— подтвердил географ.

— Потом у меня есть цветок.

— Цветы мы не отмечаем,— сказал географ.

— Почему?! Это ведь самое красивое!

— Потому, что цветы эфемерны.

— Как это — эфемерны?

— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете,— объяснил географ.— Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай — чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.

— Но потухший вулкан может проснуться,— прервал Маленький принц.— А что такое «эфемерный»?

— Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения,— сказал географ.— Важно одно: гора. Она не меняется.

— А что значит «эфемерный»?— спросил Маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа.

— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.

— И мой цветок должен скоро исчезнуть?

— Разумеется.

«Моя краса и радость недолговечны,— сказал себе Маленький принц,— и ей нечем защищаться от мира, у нее только и есть что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна!»

Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему.

— Куда вы посоветуете мне отправиться?— спросил он географа.

— Посети планету Земля,— отвечал географ.— У нее неплохая репутация...

И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.

XVI

Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета не простая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, разумеется, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев, итого около двух миллиардов взрослых.



Чтобы дать вам понять о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не было изобретено электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек.

Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и в Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.

Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на северном полюсе, да еще его собрату на южном полюсе — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.

XVII

Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле привреешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, составится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером двадцать миль в длину и двадцать в ширину. Все человечество можно было бы свалить в кучу на самом маленьком островке в Тихом океане.

Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите.

Итак, попав на Землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-нибудь другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.

— Добрый вечер,— сказал на всякий случай Маленький принц.

— Добрый вечер,— ответила змея.

— На какую это планету я попал?

— На Землю,— сказала змея.— В Африку.

— Вот как. А разве на Земле нет людей?

— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.

Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.

— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся,— задумчиво сказал он.— Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета — как раз над нами... Но как до нее далеко!

— Красивая планета,— сказала змея.— А что ты будешь делать здесь, на Земле?

— Я поссорился со своим цветком,— признался Маленький принц.

— А, вот оно что...

И оба умолкли.

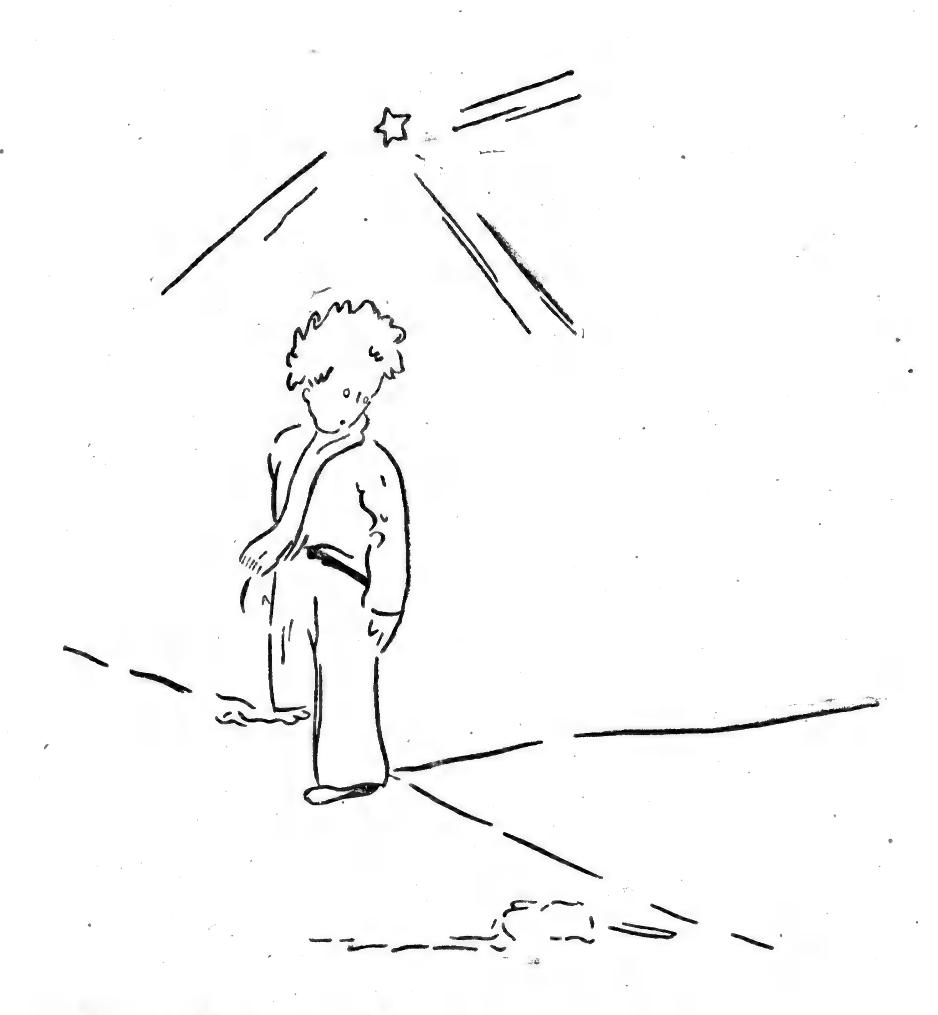
— А где же люди?— вновь заговорил наконец Маленький принц.— В пустыне все-таки одиноко...

— Среди людей тоже одиноко,— заметила змея.

Маленький принц внимательно посмотрел на нее.

— Странное ты существо,— сказал он.— Не толще пальца...

— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля,— возразила змея.



Маленький принц улыбнулся.

— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь...

— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль,— сказала змея.

И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.

— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел,— сказала она.— Но ты чист и явился со звезды...

Маленький принц не ответил.

— Мне жаль тебя,— продолжала змея.— Ты так слаб на этой Земле, жесткой, как гранит. В тот же день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу...

— Я прекрасно понял,— сказал Маленький принц.— Но почему ты все время говоришь загадками?

— Я решаю все загадки,— сказала змея.

И оба умолкли.

XVIII

Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках...

— Здравствуй,— сказал ему Маленький принц.

— Здравствуй,— отвечал цветок.

— А где люди?— вежливо спросил Маленький принц.

Цветок видел однажды, как мимо шел караван.

— Люди? Ах да... Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.

— Прощай,— сказал Маленький принц.

— Прощай,— сказал цветок.

XIX

Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом.



И теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы.

— Добрый день,— сказал он на всякий случай.

— Добрый день... день... день...— откликнулось эхо.

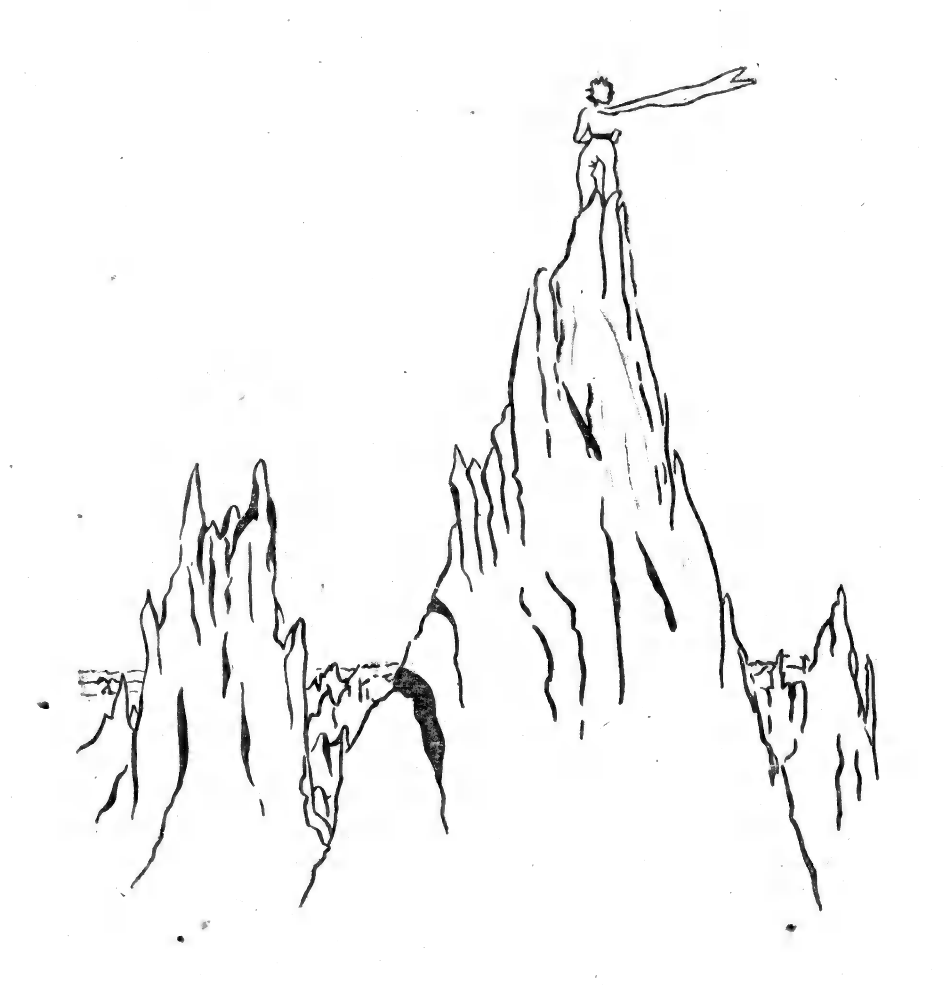
— Кто вы?— спросил Маленький принц.

— Кто вы... кто вы... кто вы...— откликнулось эхо.

— Будем друзьями, я совсем один,— сказал он.

— Один... один... один...— откликнулось эхо.

«Какая странная планета!— подумал Маленький принц.— Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь... Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».



XX

Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.

— Добрый день,— сказал он.

Перед ним был сад, полный роз.

— Добрый день,— отозвались розы.

И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

— Кто вы?— спросил он, пораженный.

— Мы — розы,— отвечали розы.

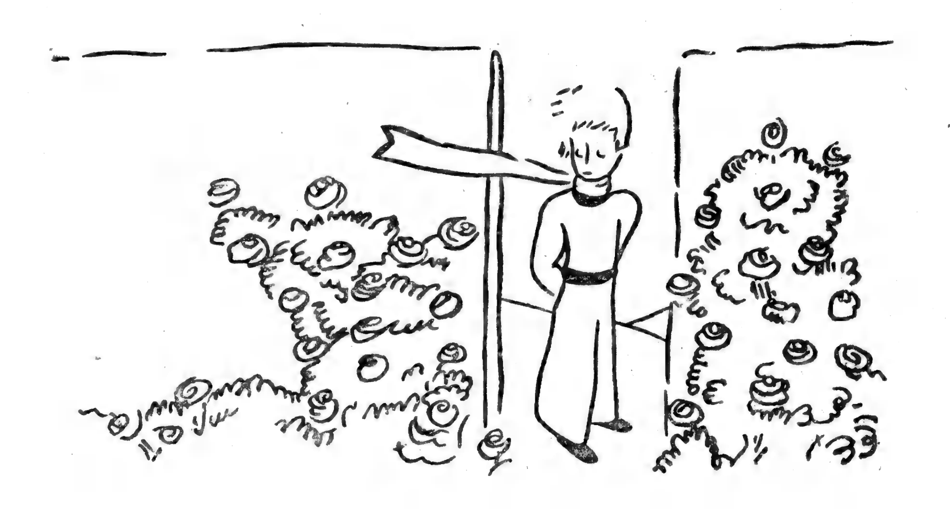
— Вот как...— промолвил Маленький принц.

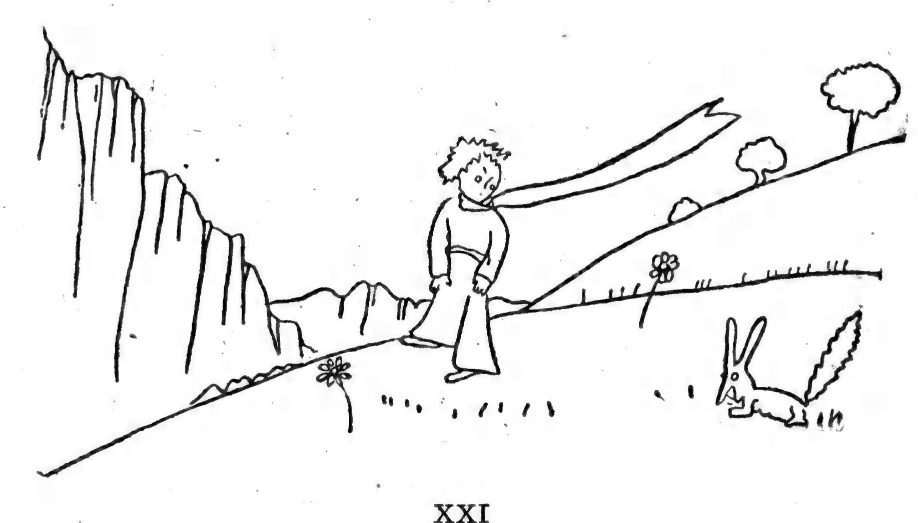
И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

«Как бы она рассердилась, если бы увидела это!— подумал Маленький принц.— Она бы ужасно раскашлялась и сделала бы вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной,— ведь иначе она и вправду умерла бы, лишь бы унизить и меня тоже...»

А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух и, может быть, навсегда... какой же я после этого принц...»

Он лег в траву и заплакал.





XXI

Вот тут-то и появился Лис.

— Здравствуй,— сказал он.

— Здравствуй,— вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.

— Я здесь,— послышался голос.— Под яблоней...

— Кто ты?— спросил Маленький принц.— Какой ты красивый!

— Я — Лис,— сказал Лис.

— Поиграй со мной,— попросил Маленький принц.— Мне так грустно...

— Не могу я с тобой играть,— сказал Лис.— Я не приручен.

— Ах, извини,— сказал Маленький принц.

Но, подумав, спросил:

— А как это — приручить?

— Ты не здешний,— заметил Лис.— Что ты здесь ищешь?

— Людей ищу,— сказал Маленький принц.— А как это — приручить?

— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?

— Нет,— сказал Маленький принц.— Я ищу друзей. А как это — приручить?

— Это давно забытое понятие,— объяснил Лис.— Оно означает: создать узы.

— Узы?

— Вот именно,— сказал Лис.— Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для



тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете...

— Я начинаю понимать,— сказал Маленький принц.— Была одна роза... наверно, она меня приручила...

— Очень возможно,— согласился Лис.— На Земле чего только не бывает.

— Это было не на Земле,— сказал Маленький принц.

Лис очень удивился:

— На другой планете?

— Да.

— А на той планете есть охотники?

— Нет.

— Как интересно! А куры есть?

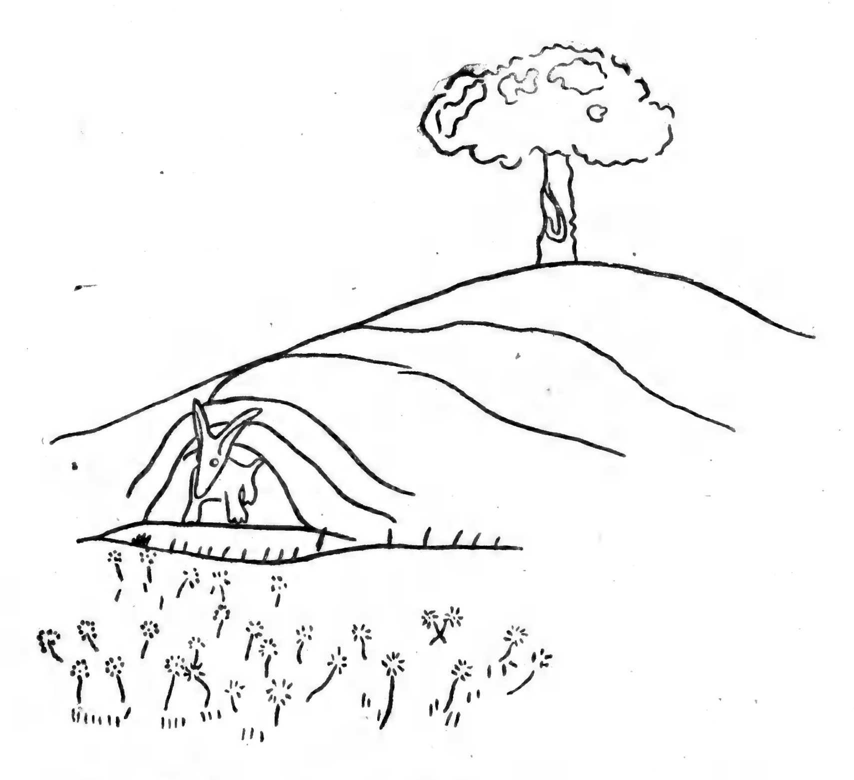
— Нет.

— Нет в мире совершенства!— вздохнул Лис.

Но потом он вновь заговорил о том же:

— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру...

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:



— Пожалуйста... приручи меня!

— Я бы рад,— отвечал Маленький принц,— но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.

— Узнать можно только те вещи, которые приручишь,— сказал Лис:— У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!

— А что для этого надо делать?— спросил Маленький принц.

— Надо запастись терпеньем,— ответил Лис.— Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе...

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.

— Лучше приходи всегда в один и тот же час,— попросил Лис.— Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узна́ю цену счастью! А если ты

приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце... Нужно соблюдать обряды.

— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.

— Это тоже нечто давно забытое,— объяснил Лис.— Нечто такое, от чего один какой-то день становится непохож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха.

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.

— Я буду плакать о тебе,— вздохнул Лис.

— Ты сам виноват,— сказал Маленький принц.— Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил...

— Да, конечно,— сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет,— возразил Лис,— мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.

Он умолк. Потом прибавил:

— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошел взглянуть на розы.

— Вы ничуть не похожи на мою розу,— сказал он им.— Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.

Розы очень смутились.



— Вы красивые, но пустые,— продолжал Маленький принц.— Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.

И Маленький принц возвратился к Лису.

— Прощай...— сказал он.

— Прощай,— сказал Лис.— Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

— Самого главного глазами не увидишь,— повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.

— Потому что я отдавал ей всю душу...— повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Люди забыли эту истину,— сказал Лис,— но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.

— Я в ответе за мою розу...— повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

XXII

— Добрый день,— сказал Маленький принц.

— Добрый день,— отозвался стрелочник.

— Что ты здесь делаешь?— спросил Маленький принц.

— Сортирую пассажиров,— отвечал стрелочник.— Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз — один поезд направо, другой налево.

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала.

— Как они спешат,— удивился Маленький принц.— Чего они ищут?

— Даже сам машинист этого не знает,— сказал стрелочник.

И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд.

— Они уже возвращаются?— спросил Маленький принц.

— Нет, это другие,— сказал стрелочник.— Это встречный.

— Им было нехорошо там, где они были прежде?

— Там хорошо, где нас нет,— сказал стрелочник.

И прогремел, сверкая, третий скорый поезд.

— Они хотят догнать тех, первых?— спросил Маленький принц.

— Ничего они не хотят,— сказал стрелочник.— Они спят в

вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам.

— Одни только дети знают, чего ищут,— промолвил Маленький принц.— Они отдают всю душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут...

— Их счастье,— сказал стрелочник.

XXIII

— Добрый день,— сказал Маленький принц.

— Добрый день,— ответил торговец.

Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю — и потом целую неделю не хочется пить.

— Для чего ты их продаешь?— спросил Маленький принц.

— От них большая экономия времени,— ответил торговец.— По подсчетам специалистов, можно сэкономить пятьдесят три минуты в неделю.

— А что делать в эти пятьдесят три минуты?

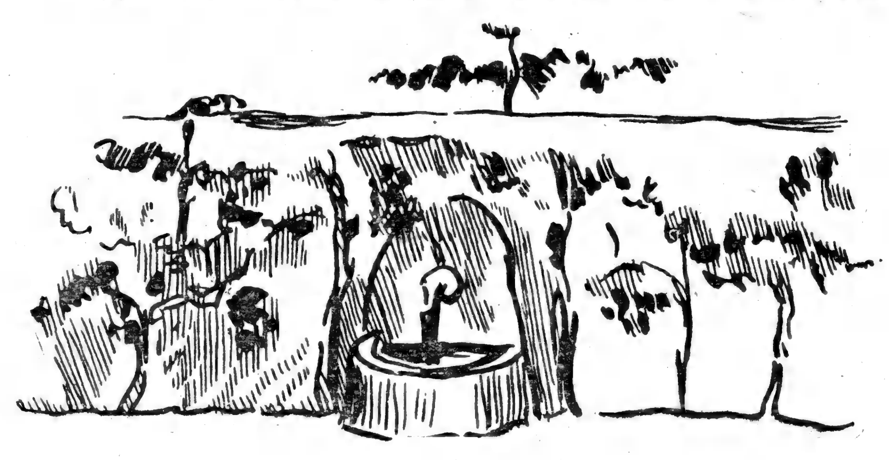
— Да что хочешь.

«Будь у меня пятьдесят три минуты свободных,— подумал Маленький принц,— я бы просто-напросто пошел к роднику...»

XXIV

Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды.

— Да,— сказал я Маленькому принцу,— все, что ты рас-



сказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику.

— Лис, с которым я подружился...

— Милый мой, мне сейчас не до Лиса!

— Почему?

— Да потому, что придется умереть от жажды...

Он не понял, какая тут связь. Он возразил:

— Хорошо, когда есть друг, даже если надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с Лисом...

«Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча...»

Я не сказал этого вслух, только подумал. Но Маленький принц посмотрел на меня — и промолвил:

— Мне тоже хочется пить... пойдем поищем колодец...

Я устало развел руками: что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне. Но все-таки мы пустились в путь.

Долгие часы мы шли молча; наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова Маленького принца, и я спросил:

— Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?

Но он не ответил. Он сказал просто:

— Вода бывает нужна и сердцу...

Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать.

Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал:

— Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно...

— Да, конечно,— сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною.

— И пустыня красивая...— прибавил Маленький принц.

Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится...

— Знаешь, отчего хороша пустыня?— сказал он.— Где-то в ней скрываются родники...

Я был поражен, вдруг я понял, что́ означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме — рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своем он скрывал тайну...

— Да,— сказал я.— Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.

— Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом,— отозвался Маленький принц.

Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось — я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами...

Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще: трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит... И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь: порыв ветра может погасить их...

Так я шел — и на рассвете дошел до колодца.

XXV

— Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут,— сказал Маленький принц.— Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую...

Потом прибавил:

— И все напрасно...

Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни, и я подумал, что это сон.

— Как странно,— сказал я Маленькому принцу,— тут все приготовлено — и ворот, и ведро, и веревка...

Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии.

— Слышишь?— сказал Маленький принц.— Мы разбудили колодец, и он запел...

Я боялся, что он устанет.

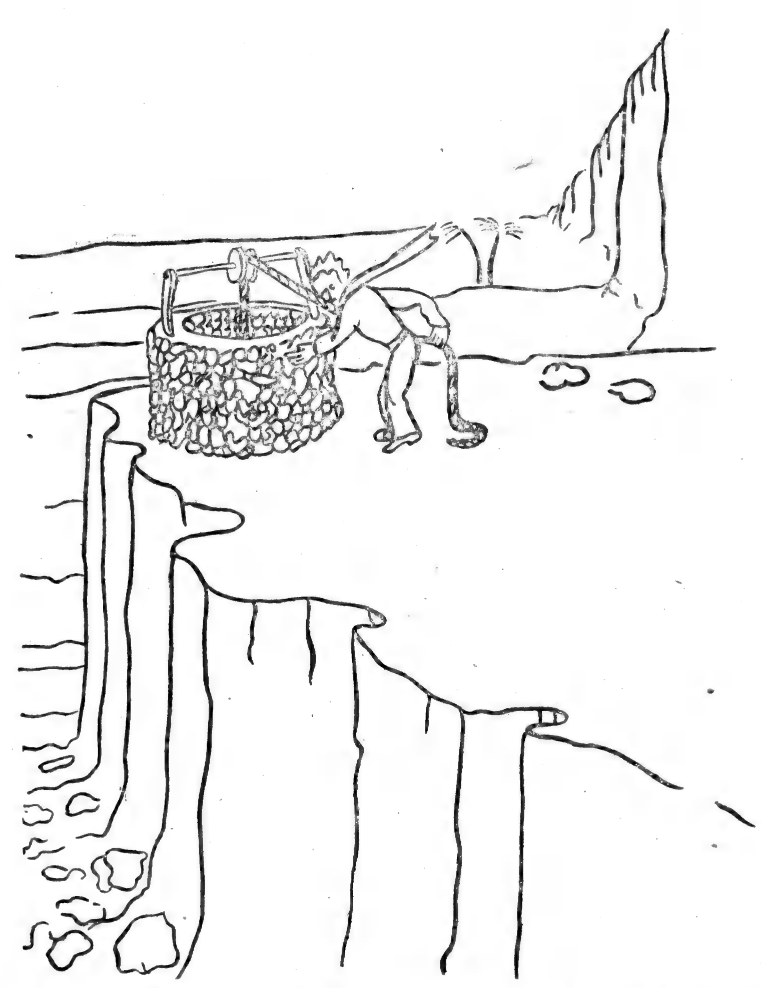
— Я сам зачерпну воды,— сказал я,— тебе это не под силу.

Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пенье скрипучего во́рота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики.

— Мне хочется глотнуть этой воды,— промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться...

И я понял, что он искал!

Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа во́ро-



та, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пеньем органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.

— На твоей планете,— сказал Маленький принц,— люди выращивают в одном саду пять тысяч роз... и не находят того, что ищут...

— Не находят,— согласился я.

— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды...

— Да, конечно,— согласился я.

И Маленький принц сказал:

— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.

Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок стано-

вится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?..

— Ты должен сдержать слово,— мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.

— Какое слово?

— Помнишь, ты обещал... намордник для моего барашка... Я ведь в ответе за тот цветок.

Я вытащил из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся:

— Баобабы у тебя похожи на капусту...

А я-то гордился своими баобабами!

— А у лисицы твоей уши... точно рога! И какие длинные!

И он опять засмеялся.

— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать — разве только удавов снаружи и изнутри.

— Ну, ничего,— успокоил он меня.— Дети и так поймут.

И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.

— Ты что-то задумал и не говоришь мне...

Но он не ответил.

— Знаешь,— сказал он,— завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю...

И умолк. Потом прибавил:

— Я упал совсем близко отсюда...

И покраснел.

И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил:

— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?

Маленький принц покраснел еще сильнее.

А я прибавил нерешительно:

— Может быть, это потому, что исполняется год?..

И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?

— Мне страшно...— со вздохом начал я.

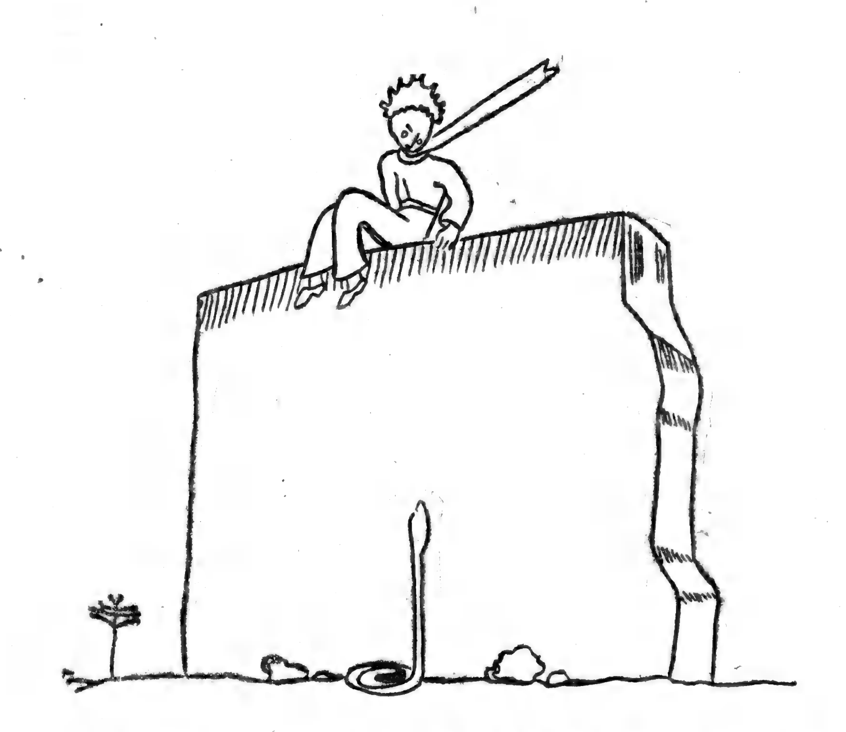
Но он сказал:

— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером...

Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе... Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.

XXVI

Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернул-



ся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос.

— Разве ты не помнишь? — говорил он. — Это было совсем не здесь.

Наверно, кто-то ему отвечал, потому что он возразил:

— Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте...

Я зашагал быстрее. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то:

— Ну, конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.

До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел.

После недолгого молчания Маленький принц спросил:

— А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?

Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.

— Теперь уходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз.

Тогда я опустил глаза, да так и подскочил! У подножья стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая

змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней.

Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего Маленького принца. Он был белее снега.

— Что это тебе вздумалось, малыш!— воскликнул я.— Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?

Я развязал его неизменный золотой шарф. Я смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:

— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой...

— Откуда ты знаешь?!

Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!

Он не ответил, он только сказал:

— И я тоже сегодня вернусь домой.

Потом прибавил печально:

— Это гораздо дальше... и гораздо труднее...

Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать...

Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.

— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник...

И он печально улыбнулся.

Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.

— Ты напугался, малыш...

Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:

— Сегодня вечером мне будет куда страшнее...

И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.

— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься...

Но он сказал:

— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад...

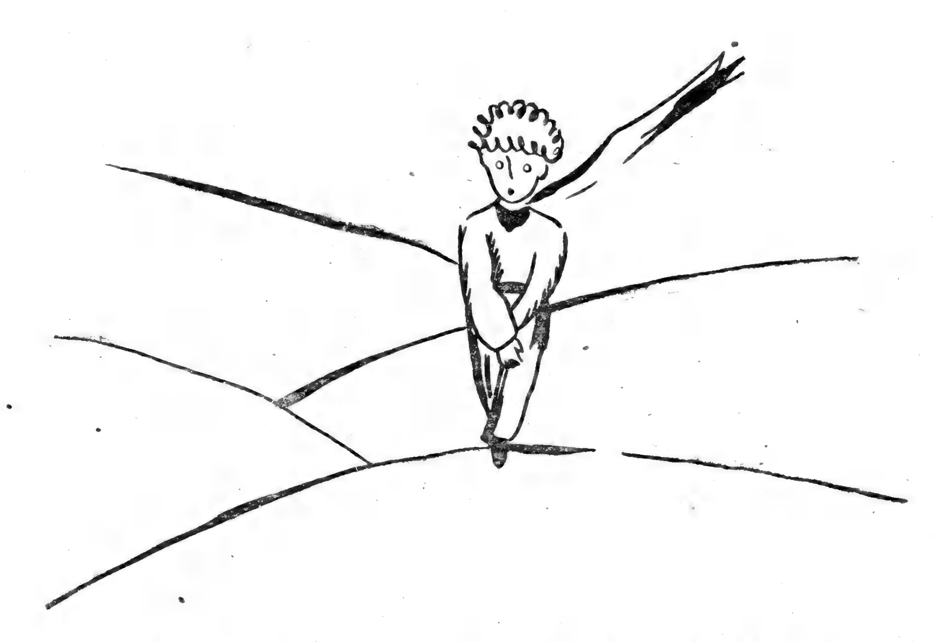
— Послушай, малыш, ведь все — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?

Но он не ответил.

— Самое главное — то, чего не увидишь глазами...— сказал он.

— Да, конечно...

— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-



то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.

— Да, конечно...

— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки... Помнишь? Она была очень хорошая.

— Да, конечно...

— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды... Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю...

И он засмеялся.

— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!

— Вот это и есть мой подарок... это будет, как с водой...

— Как так?

— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует,— они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды...

— Как так?

— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь,— и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!

И он сам засмеялся.

— И когда ты утешишься (в конце концов всегда утеша-



ешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно... И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю...

И он опять засмеялся.

— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов...

И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:

— Знаешь... сегодня ночью... лучше не приходи.

— Я тебя не оставлю.

— Тебе покажется, что мне больно... покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.

— Я тебя не оставлю.

Но он был чем-то озабочен.

— Видишь ли... это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит... Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.

— Я тебя не оставлю.

Он вдруг успокоился:

— Правда, на двоих у нее не хватит яда...

В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.

— А, это ты...— сказал он только.

И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.

— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда...

Я молчал.

— Видишь ли... это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.

Я молчал.

— Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального...

Я молчал.

Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:

— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим вóротом. И каждая даст мне напиться...

Я молчал.

— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников...

И тут он тоже замолчал, потому что заплакал...

— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.

И он сел на песок, потому что ему стало страшно.

Потом он сказал:

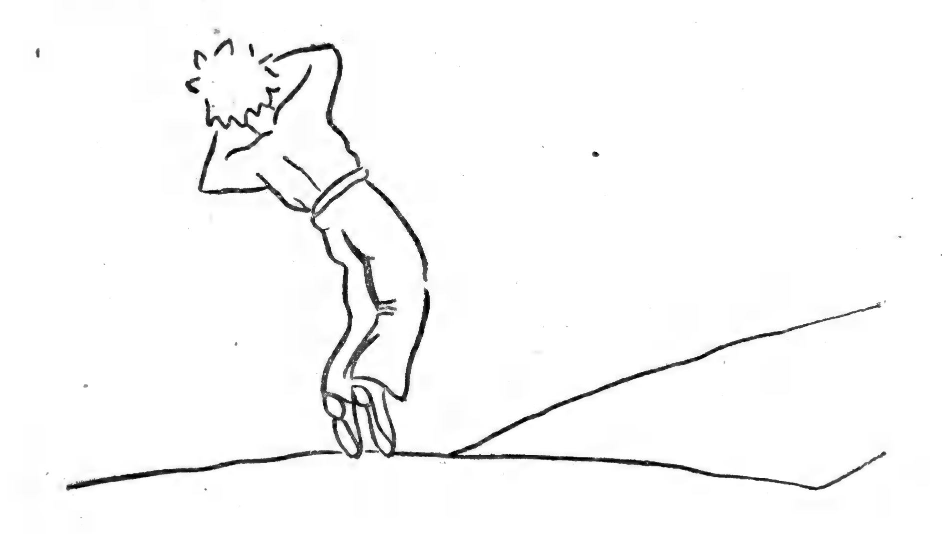
— Знаешь... моя роза... я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира...

Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:

— Ну... вот и все...

Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.

Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновенье он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки.



XXVII

И вот прошло уже шесть лет... Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Тяжело было у меня на душе, но я говорил им:

— Это я просто устал...

И все же понемногу я утешился. То есть... не совсем. Но я знаю: он возвратился на свою планетку, ведь, когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Оно было не такое уж тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов...

Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Вдруг барашек съел розу?

Иногда я говорю себе: «Нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком...» Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются.

А иногда я говорю себе: «Бываешь же порой рассеянным... тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером за-



был про стеклянный колпак или барашек ночью втихомолку выбрался на волю...» И тогда все бубенцы плачут...

Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел не знакомую нам розу.

Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел?» И вы увидите: все станет по-другому...

И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!

Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез. Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся...

ОЧЕРКИ
РЕПОРТАЖИ
ПИСЬМА





ПИЛОТ И СТИХИИ

Рассказывая о тайфуне, Конрад лишь мимоходом говорит про огромные валы, мрак и ураган. Этот материал его не интересует. Но вот трюм, набитый китайцами-эмигрантами: качка разметала их пожитки, разбила сундучки, перемешала их жалкие сокровища. Золото, которое они всю жизнь собирали по крупице, безделушки, у всех одинаковые, но у каждого свои,— все смешалось в беспорядке, обезличилось, возвратилось к первобытному хаосу. Из всего, что связано с тайфуном, Конрад показывает нам только трагедию людей.

Мы все ощутили это бессилие передать увиденное, когда после бури собрались, как у родного очага, в маленьком тулузском ресторанчике под опекой заботливой служанки. Мы даже не пытались говорить про этот ад. Наши рассказы, наши жесты и громкие слова рассмешили бы товарищей как детская похвальба. И на то есть причины. Циклон, о котором я хочу рассказать, был самым тяжелым, самым жестоким испытанием в моей жизни; и все-таки, переступив некую грань, я могу описать ярость стихий не иначе, как нагромождая превосходные степени, а это не дает ничего, кроме неприятного ощущения преувеличенности.

Постепенно я понял истинную причину этой неудачи: рассказчик силится описать трагедию, которой не было. Попытка передать ужас безуспешна потому, что этот ужас придуман потом, пережит в воспоминании. В минуту опасности ужас не возникает.

Вот почему, приступая к рассказу о возмущении стихий, я не уверен, что эта трагедия скажет что-либо читателю.

С аэродрома Трилью я взял курс на Комодоро-Ривадавия в Патагонии. Земля в тех местах искорежена как старая кастрюля. Нет другого места, где бы она столь откровенно показывала свою дряхлость. Когда над Тихим океаном повышается давление, оно изгоняет ветры сквозь расщелину в Андийских Кордильерах; ветры сдавливаются и разгоняются в узком стокилометровом коридоре и соскребают все на своем пути. На этой почве, протертой до дыр, ничего не растет: видны только огни нефтяных скважин — словно горящий лес. Кое-где над круглыми холмами, на которых ветры пощадили лишь осадок крупного щебня, поднимаются форштевни заостренных, зазубренных, до кости ободранных гор.

В летние месяцы скорость этих ветров на почве доходит до ста шестидесяти километров в час. Мы их хорошо знали.

Стоило только кому-нибудь из нас оставить песчаные равнины Трилью, и мы оказывались на кромке зоны, где они хозяйничали, мы узнавали их по какому-то голубовато-серому

оттенку и потуже затягивали лямки и пояса, приготовляясь к сильной болтанке. С этого момента полет становился мучительным, на каждом шагу мы проваливались в невидимые пропасти. Это был уже физический труд. На целый час мы превращались в грузчиков и таскали на плечах внезапно обрушивающиеся тяжести. А потом, час спустя, мы снова обретали покой.

Наши машины выдерживали. Мы доверяли креплению крыльев. Видимость, в общем, была хорошая и не вызывала затруднений. Эти рейсы были для нас каторжным трудом, а не трагедией.

Но в тот день мне не понравился цвет неба.

Небо было голубым. Чисто голубым. Даже чересчур голубым. Беспощадное солнце блистало на истертой земле, вспыхивая порою на гребнях гор, отскобленных до костяка. Ни облачка. Но к этой чистой голубизне примешивался необычайно сильный отсвет наточенного ножа.

Сразу же я ощутил смутное отвращение — предвестье физической пытки. Сама эта чистота неба уже смущала меня.

Как ни свирепы черные бури, там хоть видишь врага в лицо. Оцениваешь его могущество, готовишься отразить его натиск. Как ни свирепы они, с ними хоть можно схватиться в открытую. Но в ясную погоду и на большой высоте шквалы голубого урагана обрушиваются на пилота лавиной, и он ощущает под собой пустоту.

Я заметил еще и другое. Что-то заволокло вершины гор: не туман, не дымка испарений, не песчаная туча, а какой-то длинный пепельный шлейф. Ветер волочил к морю соскобленную землю, и мне это тоже не понравилось. Я затянул потуже кожаные ремни, и удерживая штурвал одной рукой, другой схватился за лонжерон. Нет, я все еще плыл по замечательно спокойному небу.

Наконец самолет вздрогнул. Всем нам знакомы эти тайные толчки, предвестники настоящей бури. Еще нет болтанки: ни бортовой, ни килевой. Самолет еще ни разу как следует не тряхнуло. Продолжается прямой горизонтальный полет. Но крылья уже получили первое предупреждение: редкие, едва ощутимые короткие толчки, похожие на взрывы, словно кто-то подмешал к воздуху порох.

Затем все вокруг меня взорвалось.

О двух последующих минутах ничего не могу сказать. В памяти встают зачатки мыслей, обрывки умозаключений, простые наблюдения. Я не смог бы сейчас открыть в этом трагедию, потому что никакой трагедии не было. Я только могу изложить все более или менее последовательно.

Во-первых, я уже не продвигался. Довернув направо, чтобы

устранить внезапный снос, вижу, что ландшафт подо мной постепенно замедляет движение и совсём останавливается. Я не преодолевал пространство. Крылья не вгрызались в земной рельеф. Земля прыгала, вращалась, но на одном месте: самолет буксовал, словно сорвалась зубчатая передача.

Тут же возникло нелепое ощущение, будто я вылез из укрытия. Все гребни, все острые углы, все пики гор, рассекающие ветер и стегающие меня своими смерчами и шквалами, показались мне орудиями, которые наводят на меня свои жерла. Во мне медленно созревало решение спуститься и в глубине долины поискать защиты у склона горы. Впрочем, хотел я этого или нет, меня уже придавливало к земле.

Тут-то меня и захлестнули первые волны циклона, который, как я определил через двадцать минут, несся над поверхностью земли с фантастической скоростью двести сорок километров в час; но ничего трагического я не испытывал. Если я закрою глаза, если забуду про машину и про полет, чтобы выразить мое переживание в его простой первооснове, я опять испытываю то же неудобство, что и грузчик, который старается сохранить свою поклажу в равновесии: поклажа скользит, резким движением он подхватывает на лету один тюк, а тут валится другой, и он, совершенно растерявшись, вдруг замечает, что хотел было разжать руки и выпустить ношу. В сознании — никакого образа опасности. Есть что-то вроде закона кратчайшего пути возникновения образа. Человек заключает переживание в конкретный символ: я был официантом, который нес посуду, поскользнулся, и вся эта гора фарфора рухнула на паркет.

И вот я пленник долины. Я-то рассчитывал найти там укрытие,— какое!— стало еще хуже. Шквалы, правда, никого еще не убивали. Мы знаем, что выражение «вдавлен шквалами в землю» изобрели газетчики. Ветру понадобилось бы спуститься ниже уровня земли. Но на этот раз, посреди долины, я едва-едва управлял самолетом. А форштевень скалы там, впереди, качнулся справа налево, стремительно взмыл в небо и целую секунду висел надо мной, прежде чем снова исчезнуть за горизонтом.

Горизонт... Горизонта, впрочем, как не бывало. Я словно заблудился за кулисами театра, где навалены декорации. Вертикали, косые, горизонтали — все перепуталось. Сто долин пересекается подо мной, и непонятно, какая из них настоящая. Не успеваю осмотреться, а тут новое нападение отшвыривает меня в сторону, а то и совсем разворачивает. И снова мне надо разбираться в обломках ландшафта. У меня возникает две мысли. Первая — это открытие: только сейчас я понял причину аварий в горах, которые случались в ясную погоду. Во время этой карусели пилоты на миг принимают косые склоны гор за

линию горизонта. Вторая — навязчивая идея: нужно выбраться к морю. Море плоское. За море не зацеплюсь.

И я поворачиваю, если только можно назвать поворотом этот едва управляемый галоп по долинам, уходящим к востоку. Но и в этом нет еще ничего потрясающего. Я всего лишь борюсь с беспорядком, выбиваюсь из сил, чтобы восстановить порядок, изнемогаю, пытаясь удержать на месте гигантский карточный домик, который все рушится и рушится. Я только смутно испытываю самый обыкновенный страх, когда одна из стен моей тюрьмы вдруг вздымается надо мной, как огромная волна. Разве что сердце у меня чуть щемит, когда живые гребни поддают мне пинка, стоит лишь оказаться в их водоворотах. Когда взлетают невидимые пороховые погреба. Если и есть среди моих смутных чувств хоть одно ясное, так это чувство уважения. Я уважаю этот пик. Уважаю этот отточенный гребень. Уважаю этот купол. Уважаю эту поперечную долину, что впадает в мою и сейчас отпустит мне увесистый шквал, столкнувшись с воздушным потоком, который меня увлекает.

Так я открываю, что сражаюсь вовсе не с ветром, а с этим самым гребнем, с этой хребтиной, с этой скалой. С этой скалой, хоть она и далеко. Она собственной персоной наскакивает на меня, протягивая свои невидимые руки, напрягая свои скрытые мышцы. Впереди, справа, узнаю правильный конус — пик Саламанки,— он, я знаю, стоит над морем. Значит, мне удастся выбраться к морю! Да, но прежде нужно пройти под ветром этого пика. Там, где он «колотит» по самолету, как мы говорим. Пик Саламанки — исполин... И я уважаю пик Саламанки.

Секунда передышки... две... Что-то начинает клубиться, вспучиваться, сжиматься. Я удивлен, но не более. Таращу глаза. Кажется, вибрирует весь самолет, он расширяется, разбухает. И вдруг в каком-то сумасшедшем порыве его внезапно возносит на пятьсот метров. Сорок минут я тщетно бился, чтобы подняться хотя бы метров на шестьдесят,— и вот противник оказывается подо мной. Самолет сотрясается как в кипящем котле. Моему взору открывается океан. Туда, к океану, к избавлению ведет моя долина...

И тут безо всякой передышки я получаю пинок в брюхо от пика Саламанки, хотя до него не меньше километра. У меня потемнело в глазах. И я кубарем скатываюсь к морю.

Держусь на полном газу лицом к берегу. Под прямым углом к берегу. Чего только не стряслось в одну минуту! Во-первых, это не я выбрался к морю: сама долина отхаркнула меня, словно в чудовищном приступе кашля, она исторгла меня, как жерло гаубицы. И мне показалось, что уже в следующий миг, когда я развернулся, чтобы определить расстояние до берега, я едва мог разглядеть его за туманной дымкой километрах в десяти

от меня, уже голубой, словно чужая граница. А зубчатые горы, четко проступающие на чистом небе, показались мне крепостью с бойницами. Сильные сбивающие потоки приплюснули меня к самой воде, и я тотчас усвоил, какова скорость вихря, который я попытался преодолеть, слишком поздно осознав свою ошибку. Но даже на полном газу, при двухстах сорока километрах в час (максимальная скорость в те времена), в двадцати метрах от пенистых гребней, я оставался совершенно неподвижен.

Когда такой вихрь налетает на тропический лес, он пламенем охватывает ветви, выворачивает их, свивает, выдирает с корнем могучие деревья, как редиску... Здесь, обрушиваясь с гор, он истязал море.

Лицом к берегу, напрягая все силы моего мотора, я пытался удержаться в этом вихре, к которому каждый заусенец земли пристегивал длинную змеистую борозду, и мне казалось, что я цепляюсь за кончик гигантской плети, свистящей над морем.

На этой параллели американский материк уже узок, и от Андийских Кордильер рукой подать до берегов Атлантики. Разумеется, я отбивался не только от низвергающихся с берега потоков, но и от всего неба, ринувшегося ко мне с высоты Андийских Кордильер. Впервые за четыре года полетов на линии я опасался за прочность крыльев. К тому же я боялся врезаться в море, не из-за шквалов, швыряющих вниз,— они всегда образуют у самой воды горизонтальную подстилку,— а из-за тех непроизвольных акробатических позиций, в которых эти шквалы меня заставали. При каждом новом налете я опасался, что до удара не успею выровнять самолет. Но больше всего я боялся просто свалиться в воду, когда иссякнет бензин, а это казалось неизбежным. С минуты на минуту я ждал, что откажут насосы. В самом деле, толчки были так сильны, что отливы бензина в полупустых баках или бензопроводе вызывали частые перебои мотора, его ровное гудение прерывал стрекот морзянки — точка-тире-точка...

И все же я настолько ушел в физическую борьбу, слившись воедино со штурвалом тяжелой транспортной машины, что испытывал лишь самые примитивные чувства и только безучастно смотрел, как ветер пашет море. Я видел, как со скоростью двести сорок километров в час несутся на меня восьмисотметровые белые промоины, возникающие там, где смерчи взрывали воду.

Море было одновременно зеленое и белое. Белое, как сахарная пудра, в которой сверкали изумрудно-зеленые пятна. В невообразимой сумятице невозможно было отличить один вал от другого. Над морем низвергались водопады. Вихри рыли в нем огромные проплешины, как свирепые осенние бури в хлебах. Иногда между песчаными отмелями вода неожиданно ста-

новилась прозрачной, и сквозь нее проступало чистое черное дно. Затем огромное стекло моря разлеталось тысячами белых осколков.

Разумеется, я считал, что мне конец. За всю двадцатиминутную схватку я не отвоевал и сотни метров. Кроме того, лететь в десяти километрах от скал было настолько трудно, что я и представить не мог, как я выдержу ураганные ветры, если даже сумею пробиться к берегу. Я шел прямо на батареи, которые били по мне. Но уж какой там страх! В голове не осталось ничего, кроме одной мысли, одного представления о простом действии: выровнять самолет! Выровнять! И снова — выровнять!

Тут, однако, бывали и передышки. Правда, эти передышки напоминали самые свирепые штормы, которые мне до тех пор пришлось пережить. Но в сравнении с остальным это была разрядка. Все-таки хоть несколько мгновений я мог свободно дышать. Я даже научился предвидеть передышки. Не я пробивался к зонам относительного покоя — эти почти совсем зеленые оазисы, четко обозначенные на поверхности моря, сами текли ко мне. На воде я прочитывал знаки их приближения. И с каждой передышкой ко мне возвращалась способность мыслить и чувствовать. Тогда я думал, что пропал. Тогда подступала тревога. И как только белая вода вновь кидалась в атаку, я ощущал панический страх, пока на грани кипящей пены не упирался в невидимое море. Тут уж я ничего больше не испытывал.

Подняться! Мне все же удалось осознать это желание. Случалось, спокойные зоны казались мне почти бесконечными. Тогда появлялась смутная надежда. «Вот наберу высоту... найду попутный ветер... вот сейчас...» Я наспех штурмовал вражескую крепость, пользуясь перемирием. Штурм был тяжел, сбивающие потоки по-прежнему оставались опасным противником. Сто... двести метров... Думаю: «Поднимусь на километр — тогда спасен». Но из-за горизонта выскакивала новая белая свора и мчалась на меня. И я толкал от себя ручку управления, чтоб меня не сшибло, чтоб не смяло в опасном положении. Опоздал. Первый же пинок меня опрокидывает. И небо оказывается вдруг скользким куполом, где не за что уцепиться.

Как повелевают собственными руками? Я только что сделал ужасное открытие. Руки не гнутся... Руки мертвы. Я не чувствую их. Это, конечно, произошло не сейчас, только я не замечал. Но то и опасно, что я уже заметил, уже подумал об этом...

Случилось вот что: ветер с такой силой выкручивал крылья, что в них затирало тросы управления, и штурвал трясло. Со-

рок минут подряд я изо всех сил удерживал его, чтобы хоть немного смягчить толчки, от которых тросы могли лопнуть. Я перестарался и теперь не чувствую рук.

Вот так открытие: у меня чужие руки! Смотрю на них, шевелю пальцем — он слушается. Разглядываю другие. Так и есть: я не владею руками. Не получаю сигналов от пальцев. Как я узнаю, если они сами по себе разожмутся? Кидаю быстрый взгляд: нет, они сжаты по-прежнему, но я уже струхнул. Как же мне теперь, когда мозг и рука не обмениваются сигналами, отличить образ разжимающейся руки от желания ее разжать? Как распознать, где образ и где волевой акт? Нужно изгнать образ разжимающихся рук. Они ведь живут сами по себе. Надо избавить их от этого чудовищного искушения. И я начинаю их заговаривать и продолжаю эти нелепые заклинания вплоть до самой посадки. Единственная мысль. Единственный образ. Единственная фраза. Бормочу: «Сжимаю руки... сжимаю руки... сжимаю руки...» Вкладываю в эту фразу всего себя, и нет больше ни белого моря, ни шквалов, ни зубчатых гор. Есть только одно: я сжимаю руки. Нет ни опасности, ни циклона, ни недосягаемой земли. Есть лишь где-то там резиновые руки, и стоит им отпустить штурвал, они не успеют опомниться, как я окажусь в море.

Ничего не соображаю. Ничего не испытываю, кроме опустошения. Уходят силы, иссякает воля к борьбе. Мотор все хрипит морзянкой: точка-тире-точка — прерывистый треск разрываемой простыни. У меня сердце останавливается, когда он молчит более секунды. Отказали насосы! Конец... нет: еще качают...

На термометре крыла тридцать два градуса ниже нуля. А я обливаюсь потом. Пот струится у меня по лицу. Ну и пляска! Я скоро узнаю, что аккумуляторы сорвали стальные крепления и разбились, проломив фюзеляж. Я узнаю, что обшивка крыльев отодралась от нервюр, а несколько тросов перетерлось до последней жилки.

А я все опустошаюсь. Того и гляди, подберется безразличие неодолимой усталости и цепенящая жажда покоя.

А что можно об этом рассказать? Да ничего. Болят плечи. Очень болят. Будто я таскал слишком тяжелые мешки. Смотрю вниз. Сквозь прозрачную зелень во всех подробностях вижу близкое дно. Но пинок ветра рассеивает образ.

За час двадцать минут битвы мне удалось подняться на триста метров. Южнее на поверхности моря замечаю какие-то длинные борозды, что-то вроде голубой реки. Надо, чтобы меня туда снесло. Хоть я здесь и не продвигаюсь, меня не от-

брасывает. Если я достигну этих неведомых мне воздушных потоков, может, мне и удастся улизнуть к берегу. Пусть меня сносит влево. Да и ветер как будто уже не так силен.

Я угробил час на эти десять километров. Затем, прячась у отвесных скал, пробрался к югу. Теперь надо подняться, чтобы пролететь над землей к аэродрому. Удается сохранить высоту триста метров. Погода премерзкая, но с тем, что было, уже не сравнить. То все позади...

На аэродроме я обнаружил роту солдат. Их прислали мне на помощь по случаю циклона. Приземляюсь около них. После часа манипуляций удается ввести самолет в ангар. Выхожу из кабины. Ни о чем не рассказываю товарищам. Хочу спать. Медленно шевелю пальцами — они так и не отошли. Я уж и не помню, что пережил какой-то страх. Разве мне было страшно? Я видел странные вещи! А что я видел? Не знаю. Голубое небо, очень белое море. Надо бы поделиться с друзьями: я ведь побывал так далеко! Но как начать рассказ о том, что я перенес? «Представьте: море белое... белое-белое... еще белее». Ничего не передашь, нагнетая эпитеты. Это беспомощный лепет.

Ничего не рассказываю, потому что нечего рассказать. Мысли сверлили мозг, невыносимо болели плечи,— но ведь настоящая трагедия заключалась не в этом. И купол пика Саламанки тут ни при чем. Он был набит взрывчаткой, как пороховой погреб, но скажи я такое — будут смеяться. А я... я уважал пик Саламанки. Только и всего. Это не трагедия.

Захватывают и волнуют только дела человеческие. Может быть, завтра, приукрасив мои переживания, я растрогаюсь над собой, вдруг представив, что я, живой, шагающий по планете людей, затерялся в циклоне. Это самообман, ибо тот, кто руками и ногами отбивался от циклона, не сравнивал себя с тем счастливым человеком, каким он станет завтра.

Мои трофеи ничтожны, я сделал крохотное открытие. Вот что я узнал: как отличить акт воли от простого представления, если ощущения не передаются в мозг.

Вероятно, мне удалось бы вас потрясти, расскажи я про то, как безвинно наказали ребенка. А я приобщил вас к циклону, но вряд ли это вас потрясло. Разве мы не присутствуем каждую неделю, сидя в кино, при бомбежке Шанхая? Мы можем без содрогания смотреть на клубы сажи и пепла, медленно вырастающие над вулканоподобной землей. А ведь они уносят не только запасы зерна, не только ценности культуры и святыни домашнего очага — плоть сожженных детей напитала эти жирные черные тучи.

Физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл.

ИСПАНИЯ В КРОВИ

В БАРСЕЛОНЕ

Невидимая линия фронта гражданской войны

Миновав Дион, я повернул налево, к Пиренеям и Испании. Теперь подо мной чистенькие летние облака, облака для любителей подобных красот, а в них — широкие проемы, похожие на отдушины. И Перпиньян я вижу как бы на дне колодца.

Я один на борту, я смотрю вниз и вспоминаю. Здесь я жил несколько месяцев. В то время я испытывал гидросамолеты в Сен-Лоран-де-ла-Саланк. После работы я возвращался в центр этого всегда по-воскресному праздного городка. Просторная площадь, кафе с оркестром, вечерний портвейн. Я сидел в плетеном кресле, а передо мной текла провинциальная жизнь. Она казалась мне такой же безобидной игрой, как игра в оловянных солдатиков. Принаряженные девушки, беспечные прохожие, безоблачное небо.

Вот и Пиренеи. Последний благополучный город остался позади.

Вот Испания и Фигерас. Здесь люди убивают друг друга. Я бы не удивился, если бы обнаружил пожар, развалины, признаки человеческих бедствий: удивительно то, что ничего подобного здесь не видно. Город как город. Всматриваюсь: никаких следов на этой легкой кучке белого гравия. Церковь,— мне это известно,— сгорела, а она блестит на солнце. Я не вижу ее непоправимых увечий. Уже рассеялся бледный дым, унесший ее позолоту, растворивший в небесной синеве ее резной алтарь, ее молитвенники, ее утварь. Ни одна линия не нарушена. Да, город как город. Он сидит в центре расходящихся веером дорог, словно паук посреди своей шелковой сети. Как и другие города, он питается плодами долины, которые поступают к нему по белым дорогам. И передо мною только этот образ медленного всасывания пищи, которое на протяжении веков определило лицо земли, свело леса, размежевало пашни, протянуло эти дороги-пищеводы. Ее лицо никогда больше не изменится. Оно уже состарилось. И я думаю, что достаточно построить для пчелиного роя улей среди цветов, он раз и навсегда обретает мир. А вот человеческому рою покой не дарован.

Где же трагедия? Ее еще придется поискать. Ведь чаще всего она разыгрывается не на поверхности, но в человеческих душах. Даже в этом мирном Перпиньяне на больничной койке мечется страдающий раком, пытаясь ускользнуть от боли, как от безжалостного коршуна. И в городе уже нет покоя. Таково чудесное свойство человеческой природы: любое страдание,

любая страсть излучаются вовне и обретают всеобщее значение.

На каком бы чердаке человека ни снедал огонь желания, пламя его охватывает весь мир.

Вот наконец Херона,— затем Барселона, и я потихоньку скольжу с высоты моей обсерватории. Но и здесь я не замечаю ничего необычного, разве что улицы пусты. И опять разоренные церкви кажутся нетронутыми. Угадываю вдали чуть заметный дымок. Может, это один из тех признаков, что я искал? Свидетельство той самой ненависти, которая так мало разрушила, была так бесшумна и которая, однако, опустошила все? Ведь в этой легчайшей позолоте, уносимой одним дуновением ветра,— вся культура.

Да, с чистым сердцем можно спросить: «Где же террор в Барселоне? Где же этот испепеленный город, если сгорело каких-нибудь два десятка зданий? Где массовые убийства, если расстреляно всего несколько сотен из миллиона двухсот тысяч жителей?.. Где же этот кровавый рубеж, за которым начинают стрелять?..»

Я и в самом деле видел мирные толпы гуляющих по Рамбла, а если мне и попадался вооруженный патруль, одной улыбки часто бывало достаточно, чтобы пройти дальше. Линии фронта с первого взгляда я так и не увидел. В гражданской войне линия фронта невидима, она проходит через сердце человека...

И все-таки в первый же вечер я оказался с нею рядом...

Только я устроился на террасе кафе среди нескольких разомлевших посетителей, как вдруг перед нами возникло четверо вооруженных мужчин. Они разглядывали моего соседа, потом молча навели карабины прямо ему в живот. Струйки пота побежали по его лицу, он встал и медленно поднял отяжелевшие, точно свинцовые, руки. Один из патрульных обыскал его, пробежал глазами документы и подал знак следовать за ним. И человек оставил недопитый стакан, последний стакан в своей жизни, и пошел. И его руки, поднятые над головой, казались руками утопающего. «Фашист»,— процедила сквозь зубы женщина за моей спиной: только она и осмелилась показать, что видела эту сцену. А недопитый стакан остался на столе свидетельством безумной веры в счастливый случай, в милосердие, в жизнь...

И я смотрел, как удаляется под прицелом карабинов тот, через кого только что в двух шагах от меня проходила невидимая линия фронта.

НРАВЫ АНАРХИСТОВ

и уличные сценки в Барселоне

Приятель только что рассказал: вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему:

— Сойти с тротуара!

А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. И приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую...

Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит:

— Вы что, оглохли?

Восхитительно, не правда ли?

Ведь они хозяйничают в городе, эти анархисты. Они стоят на перекрестках группами по пять-шесть человек, охраняют отели или носятся на сумасшедшей скорости по улицам в реквизированных «испано-суизах».

В первое же утро военного мятежа они, вооруженные одними ножами, взяли верх над артиллеристами, которых поддерживали пулеметчики. Они отбили пушки. Одержав победу, они захватили оружие и боеприпасы в казармах и, как и следовало ожидать, превратили город в крепость. В их руках вода, газ, электричество, транспорт. Прогуливаясь утром по городу, я вижу, как они укрепляют свои баррикады. Тут и простенькие стенки из булыжника, и настоящие крепостные валы. Заглядываю за стену. Они там. Они разорили соседний дом и готовятся к гражданской войне, развалясь в красных учрежденческих креслах... А у тех, что охраняют мой отель, тоже дел по горло. Они носятся вверх и вниз по лестницам. Спрашиваю:

— Что происходит?

— Рекогносцировка...

— Зачем?

— Ставим на крыше пулемет...

— Зачем же?

Пожимают плечами.

Утром по городу прошел слух: говорят, правительство попытается разоружить анархистов...

А я думаю, что оно откажется от этого намерения.

Вчера я сделал несколько снимков нашего гарнизона — в каждом отеле есть свой гарнизон — и теперь разыскиваю здоровенного чернявого парня, чтобы вручить ему его изображение.

— Где он? Я хочу отдать ему фотографию.

Смотрят на меня, почесывают в затылке, затем с огорчением признаются:

— Пришлось его расстрелять... Он донес на одного, что тот фашист. Ну, раз фашист, мы его к стенке... А оказалось, это никакой не фашист, а просто его соперник...

Им не откажешь в чувстве справедливости.

В час ночи, на Рамбла, слышу:

— Стой!

В темноте возникают карабины.

— Дальше нельзя.

— Почему?

Разглядывают под фонарем мои документы, возвращают их:

— Можете пройти, но берегитесь: тут, наверно, будут стрелять.

— Что происходит?

Не отвечают.

По улице медленно тянется колонна орудий.

— Куда это?

— На станцию, отправляются на фронт.

Хотелось бы посмотреть на эту отправку. Пытаюсь подольститься к анархистам.

— До станции далеко, а тут еще дождь... Может, вы дадите машину?..

Один из них с готовностью исчезает. Он возвращается в реквизированном «делаже».

— Мы вас подвезем...

И я качу к вокзалу под защитой трех карабинов.

Забавная порода эти анархисты. Я их еще не раскусил. Завтра заставлю их разговориться и повидаю их великого трибуна Гарсиа Оливера.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА — ВОВСЕ НЕ ВОЙНА: ЭТО БОЛЕЗНЬ

Итак, меня провожают анархисты. Вот и станция, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перронов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных путей. Проходим мимо вереницы заброшенных черных вагонов, на них под брезентами цвета сажи топорщатся жесткие конструкции. Я поражен зрелищем железного царства — сюда словно не ступала нога человека. Железное царство мертво. Корабль кажется живым, пока человек своей кистью и краской поддерживает его искусственный цвет. Но стоит покинуть корабль, завод, железную дорогу хоть на две недели, и они угасают, обнажая лицо смерти. Камни собора шесть тысячелетий спустя еще излучают тепло человеческого присутствия, а тут

немного ржавчины, дождливая ночь — и от станции остается один скелет.

Вот эти люди. Они грузят на платформы свои пушки и пулеметы. С глухим надсадным придыханием они борются против этих чудовищных насекомых без плоти, против нагромождений панцирей и позвонков.

Поражает безмолвие. Ни песни, ни выкрика. Только время от времени проскрежещет упавший лафет. Но человеческих голосов не слышно.

У них нет военной формы. Они будут умирать в своей рабочей одежде. В черных, пропитанных грязью спецовках. Они копошатся вокруг своих железных пожитков подобно обитателям ночлежки. И я ощущаю дурноту, как в Дакаре, лет десять назад, когда там свирепствовала желтая лихорадка.

Командир подразделения говорит со мной шепотом, он заключает: «И мы пойдем на Сарагосу...»

Откуда этот шепот? Здесь царит больничная атмосфера. Дада, ощущение именно такое... Гражданская война — вовсе не война: это болезнь...

Эти люди не пойдут в атаку, опьяненные жаждой победы,— они глухо отбиваются от заразы. И в противоположном лагере наверняка происходит то же самое. Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с территории: тут нужно избавиться от болезни. Новая вера — это что-то вроде чумы. Она поражает изнутри. Она распространяется в незримом. И на улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачумленными, которых они не могут распознать.

Вот почему они отбывают в безмолвии со своими орудиями удушения. Ничего общего с полками в былых национальных войнах, что стояли на шахматной доске лугов и перемещались по воле стратегов. Они с грехом пополам объединились в этом хаотическом городе. И Барселона и Сарагоса представляют почти одинаковую смесь из коммунистов, анархистов, фашистов... Да и те, что объединяются, быть может, меньше похожи друг на друга, чем на своих противников. В гражданской войне враг сидит внутри человека, и воюют здесь чуть ли не против самих себя.

И поэтому-то, конечно, война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть — это инфекционный барак. Избавляются от бациллоносителей. Анархисты устраивают обыски и складывают зараженных на грузовики. А по другую сторону Франко произносит чудовищные слова: «Здесь больше нет коммунистов!» Будто отбор произвела медицинская комиссия, будто его произвел полковой врач...

А человек-то, считая, что он может быть полезен, предстал со своей верой, с вдохновением в глазах.

— К службе непригоден!

На городских свалках жгут трупы, обливая их известью или

керосином. Никакого уважения к человеку. Проявления его духа в том и в другом лагере пресекали как болезнь. Так стоит ли уважать телесную оболочку? И тело, некогда полное молодого задора, умевшее любить, и улыбаться, и жертвовать собой,— это тело даже не собираются хоронить.

И я думаю о нашем уважении к смерти. Думаю о белом санатории, где в кругу родных тихо угасает девушка и они, как бесценное сокровище, подбирают ее последние улыбки, последние слова. Ведь в самом деле — это так индивидуально, так неповторимо. Никогда больше не прозвучит ни именно этот взрыв смеха, ни эта интонация, никто не сумеет так нахмурить брови. Каждый человек — это чудо. И мертвых у нас вспоминают много лет...

Здесь же человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают внутренности на мостовую. Тебя хватают. Тебя расстреливают. Ты думал не так, как другие.

О, только это ночное отправление под дождем и под стать правде этой войны. Эти люди окружают меня, разглядывают, и в глазах у них какая-то серьезность с оттенком грусти. Они знают, что их ждет, если их схватят. И мне становится жутко. И я вдруг замечаю, что тут нет ни одной женщины. Это тоже понятно. На что тут смотреть матерям, которые, рожая сыновей, не знают ни того, какой лик истины их озарит, ни того, кто их расстреляет по законам своего правосудия, когда им минет двадцать лет.

В ПОИСКАХ ВОЙНЫ

Вчера я приземлился в Лериде и выспался тут, в двадцати километрах от фронта, а утром отправился на фронт. Этот город, расположенный в районе военных действий, показался мне более мирным, чем Барселона. Автомобили катили спокойно, из них не торчали дула винтовок. А в Барселоне днем и ночью двадцать тысяч указательных пальцев положено на двадцать тысяч спусковых крючков. Эти грозно ощетинившиеся оружием метеоры неустанно проносятся сквозь толпу, и поэтому все без исключения граждане как бы взяты на прицел. Но они уже привыкли жить под наведенным в сердце оружием и спокойно занимаются своими делами.

Здесь никто не разгуливает, небрежно поигрывая пистолетом. Совсем нет этих довольно претенциозных аксессуаров, которые принято носить с потрясающей небрежностью, словно перчатку или цветок. В Лериде, фронтовом городе, люди серьезны: здесь уже не приходится играть в смерть.

И все-таки...

— Плотнее закройте ставни. Часовому напротив отеля приказано стрелять на свет.

Проезжаем в автомобиле по зоне войны. Баррикады встречаются все чаще, теперь мы то и дело вступаем в переговоры с революционными комитетами. С нашими пропусками считаются лишь кое-где.

— Вы что, хотите ехать дальше?

— Да.

Председатель комитета подходит к висящей на стене карте.

— Вам не удастся. В шести километрах мятежники оседлали дорогу. Придется вам объехать вот тут... Тут, кажется, свободно... Правда, утром говорили про кавалерию...

Разобраться в линии фронта невероятно трудно: свои деревни, вражеские деревни, деревни, то и дело переходящие из одного лагеря в другой. Эта чересполосица мятежных и республиканских участков наводит на мысль, что война ведется какими-то слабыми импульсами. Тут и намека нет на линию траншей, разделяющую противников с жесткой определенностью ножа. Впечатление такое, словно увязаешь в болоте. Здесь грунт твердый, там проваливаешься... И мы отправляемся в эту трясину... Сколько простора, сколько воздуха между очагами боев! Этой войне удивительно не хватает плотности...

На околице деревни тарахтит молотилка. В нимбе золотой пыли рабочие творят хлеб для людей, они широко улыбаются нам.

Какая неожиданность — этот прекрасный образ мира!.. Хотя вряд ли смерть нарушает здесь течение жизни. На ум приходит географический термин: один убийца на квадратный километр... и между двумя убийцами — неизвестно, чья земля, чьи хлеба и виноградники. Долго вслушиваюсь в пение молотилки, неустанное, как стук сердца.

Снова упираемся в тупик. Дорогу преграждает стена из булыжника, и шесть винтовок наведены на нас. За стеной лежат четверо мужчин и две женщины. Впрочем, сразу замечаю, что женщины даже не умеют держать оружие.

— Проезда нет.

— Почему?

— Мятежники...

Нам показывают другую деревню в восьмистах метрах — точное повторение той, где мы находимся. Там, конечно, тоже баррикада — точная копия нашей. И, возможно, тоже молотилка, хлеб которой претворится в кровь мятежников.

Садимся на траву рядом с бойцами. Они кладут наземь винтовки и нарезают ломтями свежий хлеб.

— Вы здешние?

— Нет. Каталонцы, из Барселоны, коммунисты...

Одна из девушек поднимается и, подставив волосы ветру, садится на баррикаду. Она чуть полновата, но свежа и красива. Улыбается нам, излучая радость:

— Останусь здесь после войны... В деревне куда лучше, чем в городе... Вот уж не думала!

И она восторженно осматривается, словно сделала открытие. Она знала только серые пригороды, дорогу на фабрику по утрам и ничтожные радости грустных кафе. А тут все вокруг кажется ей праздничным. Она вскакивает на ноги, бежит к роднику. И ей, конечно, представляется, что она пьет из самого лона земли.

— Воевали вы здесь?

— Нет, тут только мятежники иногда что-то затевают... Заметят у нас грузовик или людей и караулят на дороге... Но вот уже две недели, как тихо.

Они поджидают своего первого врага. А в деревне, что напротив, шесть таких же бойцов тоже поджидают врага. И во всем мире только и есть что эти двенадцать воинов...

За два дня, проведенных на фронте в скитаниях по дорогам, я не услышал ни единого выстрела. Я ничего не увидел, кроме этих уже привычных дорог, которые никуда не ведут. Они как будто продолжались между другими хлебами и другими виноградниками, но там была уже иная вселенная. И нам они были недоступны, как те дороги в затопляемых странах, что с незаметным уклоном уходят под воду. На столбе еще можно было прочесть: «Сарагоса, 15 км». Но Сарагоса, как древний Ис, покоилась, недоступная, на дне морском.

В поисках войны нам, вероятно, повезло бы больше, если б мы добрались до тех главных пунктов, где грохочет артиллерия и командуют начальники. Но тут так мало войск, так мало начальников, так мало артиллерии! Мы, вероятно, могли бы добраться до этих участков, где пришли в движение массы людей,— есть на фронте узлы дорог, на которых сражаются и умирают. Но между ними остается свободное пространство. Повсюду, где я был, линия фронта — словно распахнутая дверь.

И хотя существуют стратеги, пушки, колонны войск, мне кажется, подлинная война происходит не здесь. Все ждут, когда наконец что-то родится в незримом. Мятежники ждут, не объявятся ли у них сторонники среди беспартийных в Мадриде... Барселона ждет, что после вещего сна Сарагоса проснется социалистической и падет. В движение пришла мысль: по сути дела не солдат, а мысль осаждает города... Она — великая надежда, и она же — опаснейший враг. Мне кажется, несколько этих самолетов и бомб, несколько снарядов и несколько бойцов сами по себе не могут одержать победу. Один обороняющийся в окопе противник сильнее сотни осаждающих. Но, может быть, где-то пробирается мысль...

Время от времени затевают атаку. Время от времени трясут дерево... Не для того, чтобы выкорчевать его, а чтобы проверить зрелость плодов. Когда город созреет, он падет...

ЗДЕСЬ РАССТРЕЛИВАЮТ, СЛОВНО ЛЕС ВЫРУБАЮТ...

И люди перестали уважать друг друга

Когда я вернулся с фронта, приятели разрешили мне присоединиться к их загадочным экспедициям. И вот мы среди гор, в одной из деревушек, где мир уживается с террором.

— Да, мы их всех расстреляли, семнадцать...

Они расстреляли семнадцать «фашистов». Священника, его служанку, ризничего и четырнадцать местных «богатеев». Ведь все относительно! Стоит им вычитать из газет, как выглядит «властелин мира» Базиль Захаров, и они тут же переводят это на язык своих представлений. Они узнают в нем своего владельца парников или своего аптекаря. И когда они расстреливают этого аптекаря, они убивают в нем как бы частицу Базиля Захарова. И только сам аптекарь этого не понимает.

Теперь мы находимся среди своих, и здесь спокойно. Почти спокойно. Я только что видел в здешней харчевне последнего возмутителя спокойствия — он любезен, он улыбается, он так хочет жить! Он пришел сюда уверить нас, что, несмотря на несколько гектаров виноградников, которыми он владеет, он все-таки принадлежит к роду людскому, как все люди, страдает насморком, сморкается в голубой платок и немного играет в бильярд. Разве можно расстрелять человека, который умеет играть в бильярд? Играл он, впрочем, неважно, неуклюжие руки дрожали: он был встревожен, он еще не знал, считают ли его фашистом. И я представил себе несчастных обезьян, танцующих перед удавом, чтобы его умилостивить.

Но мы ничем не можем ему помочь. Сейчас, сидя на столе в помещении революционного комитета, мы пытаемся завести разговор на другую тему. Пока Пепен достает из кармана засаленные документы, я разглядываю этих террористов. Странное противоречие. Это славные крестьянские парни с ясными глазами. Повсюду мы встречаем такие же внимательные лица. Хотя мы всего лишь иностранцы без полномочий, нас неизменно встречают с серьезной предупредительностью.

Пепен говорит:

— Да... так вот... Его зовут Лапорт. Знаете такого?

Документ переходит из рук в руки, и члены комитета качают головами:

— Лапорт... Лапорт...

Я уже хочу вмешаться, но Пепен останавливает меня:

— Они знают, только не хотят говорить...— И небрежно добавляет: — Я французский социалист. Вот мой членский билет...

Теперь по рукам пошел билет. Председатель поднимает глаза на нас.

— Лапорт?.. Что-то не помню...

— Ну как же! Французский священник... конечно, переодетый... Вы вчера схватили его в лесу... Лапорт... Его разыскивает наше консульство...

Болтаю ногами, сидя на столе. Ничего себе переговоры! Мы буквально у волка в пасти, в горной деревушке, откуда не менее ста километров до первого француза, и требуем у революционного комитета, который расстреливает даже служанок священников, чтобы нам в целости и сохранности возвратили самого священника.

И все же я не чувствую опасности. Их предупредительность не показная. С чего бы это им церемониться с нами? Мы ведь здесь беззащитны и вряд ли значим для них больше, чем отец Лапорт.

Пепен подталкивает меня локтем:

— Кажется, опоздали...

Председатель, покашляв, решается наконец:

— Утром мы обнаружили труп на дороге у околицы... Он, должно быть, еще там...

И он посылает человека якобы проверить документы.

— Они его уже расстреляли,— шепчет мне Пепен,— а жаль: могли бы вернуть. Тут славные ребята...

Смотрю прямо в глаза этим несколько необычным «славным ребятам». Я действительно не замечаю ничего внушающего тревогу. Меня не пугают их лица, которые, замыкаясь, становятся непроницаемыми, словно стены. Непроницаемыми, с чуть приметным оттенком скуки. Жуткий оттенок! Просто не верится, что наша столь щекотливая миссия спасает нас от подозрений. Как они отличают нас от «фашиста» из харчевни, танцующего танец смерти перед неумолимыми врагами — своими судьями? На ум приходит странная мысль, настойчиво внушаемая инстинктом: стоит только одному из них зевнуть, и мне станет страшно. Я почувствую, что человеческие связи разрушены...

Отъехали. Говорю Пепену:

— Мы побывали вот уже в трех деревнях, а я никак не пойму, опасно ли наше занятие...

Пепен смеется. Он и сам этого не знает. И все же он спас уже десятки людей.

— Правда, вчера был неприятный момент,— признается он.— Я вырвал у них одного картезианца, который буквально уже стоял у стенки... Ну, запах крови... Они рассердились...

Конец истории я знаю. Как только Пепен — социалист и убежденный антиклерикал,— рискнув жизнью ради этого картезианца, оказался в машине, он повернулся к монаху и в отместку отпустил самое крепкое ругательство из своего лексикона:

— Черт побери этих б..... монахов!

Пепен торжествовал. Но монах не слышал. Он бросился своему спасителю на шею, плача от счастья...

В следующей деревне нам вернули одного человека: четверо вооруженных крестьян с таинственной торжественностью извлекли его из погреба. Это был бойкий монах с живыми глазами, имя его я уже не помню. Переодет он крестьянином, в руке узловатая палка, вся в зарубках.

— Я отмечал дни... Целых три недели в лесу... Грибами сыт не будешь, я подошел к деревне, тут меня и схватили...

Деревенский староста, благодаря которому мы получили живую душу, сообщает не без гордости:

— Уж мы в него стреляли, стреляли. Думали — готов...

И в свое оправдание добавляет:

— Но дело-то ведь было ночью...

Монах смеется:

— Я ничуть не испугался!

И так как нам пора уезжать, начинается бесконечный обмен рукопожатиями с этими «славными» террористами. Особенно достается спасенному. Его поздравляют с тем, что он жив. И монах отвечает на поздравления с радостью, не скрывающей его задних мыслей.

А мне бы хотелось понять этих людей.

Проверяем список. Нам сообщили, что в Синтхеи находится человек, которому грозит расправа. Мы у него. Проникаем в дом, словно воры на мельницу. На указанном этаже нас встречает худощавый юноша.

— Вы, говорят, в опасности. Мы переправим вас в Барселону и вывезем на «Дюкене».

Юноша о чем-то долго размышляет.

— Я подведу сестру...

— Что?

— Она живет в Барселоне. Она не может платить за воспитание ребенка, я ей помогаю...

— Это другой вопрос... Вам угрожает опасность?

— Не знаю... Вот сестра...

— Хотите бежать или нет?

— Не знаю... А вы как считаете? В Барселоне у меня сестра...

Этот, невзирая на революцию, занят своей маленькой семейной трагедией. Он останется здесь и сыграет злую шутку со своей загадочной сестрой.

— Ну, как хотите...

И мы уходим.

Останавливаемся, выходим из машины. Где-то поблизости послышалась частая стрельба. Над дорогой возвышается небольшая роща. Из-за нее в пятистах метрах торчат две фабрич-

ные трубы. Патруль останавливается вслед за нами, бойцы вскидывают винтовки, спрашивают нас:

— В чем дело?

Прислушавшись, показывают на трубы:

— Это на заводе...

Стрельба смолкла, снова стало тихо. Чуть-чуть дымят трубы. Порыв ветра приглаживает траву, ничего не изменилось...

И мы ничего не ощущаем.

Однако в этой роще только что умирали. Наступившее безмолвие красноречивее стрельбы: раз она прекратилась, значит, не в кого больше стрелять.

Человек, быть может, целая семья только что переселилась из этого мира в другой. Они уже скользят под травами. Но этот вечерний ветер... Эта зелень... Легкий дымок... Вокруг мертвых все остается по-прежнему.

Я уверен, что смерть сама по себе ничуть не трагична. Глядя на буйную свежую зелень, я вспоминаю провансальскую деревушку, открывшуюся мне однажды за поворотом дороги. Прижавшаяся к своей колокольне, она выделялась на фоне сумрачного неба. Я лежал в траве и наслаждался покоем, когда ветер донес до меня звуки погребального колокола.

Он оповещал мир о том, что наутро будет предана земле сморщенная выцветшая старушка, завершившая свою долю трудов. И мне казалось, эта медленная музыка, плывущая в воздухе, звучит не отчаянием, а сдержанным и нежным ликованием.

Колокол, что славил одним и тем же звоном крестины и смерть, возвещал о смене поколений, о движении рода людского. Над прахом он сызнова славил жизнь.

И, слушая звон во славу обручения бедной труженицы с землей, я испытывал только глубокую нежность. Завтра она впервые уснет под царственным покрывалом, расшитым цветами и поющими цикадами.

Рассказывают, что среди убитых есть девушка, но это только слухи.

Какая жестокая простота! Покой наш не был нарушен этими глухими выстрелами в море зелени. Этой короткой охотой на куропаток. Эта гражданская панихида, прозвучавшая в листве, оставила нас спокойными, не вызвала мук совести...

Да, конечно, у событий человеческой жизни есть два лица — трагическое и бесчувственное. Все меняется в зависимости от того, идет ли речь об отдельном человеке или обо всем человеческом роде. В своих миграциях, в своем слепом движении род забывает умерших.

— Потому, вероятно, и серьезны лица крестьян,— ясно, что они не кровожадны. И все же, возвращаясь с охоты, они скоро пройдут мимо нас, удовлетворенные расправой, безучастные к девушке, что споткнулась о корень смерти,— она, словно про-

зенная на бегу копьем, покоится в лесу, и рот ее полон крови.

Я коснулся здесь противоречия, которое мне, конечно, не под силу разрешить. Величие человека определяется не только судьбами всего рода: каждый человек — это огромное царство.

Когда обваливается шахта, когда она смыкается над единственным шахтером, жизнь всего поселка висит на волоске. Товарищи, женщины, дети ждут в оцепенении, охваченные тревогой, пока спасательные команды перерывают под их ногами внутренности земли.

Разве дело в том, чтобы спасти единицу из толпы? Разве дело в том, чтобы вытащить человека, как вытаскивают лошадь, оценив, какую службу она еще может сослужить? Десяток товарищей того и гляди погибнет во время спасения — это же такой убыток! Нет, не в том дело, чтобы спасти одного муравья из муравьев муравейника,— спасают сознание, это огромное царство, не имеющее цены. В черепной коробке шахтера, над которым не выдержала крепь, заключен целый мир. Близкие, друзья, домашний очаг, теплая вечерняя похлебка, праздничные песни, ласка и гнев и, может быть, даже всечеловеческий порыв, великая всеобъемлющая любовь. Как измерить человека? Его предок когда-то нарисовал оленя на сводах пещеры, и спустя двести тысяч лет движение человеческой руки еще излучает тепло. Еще волнует нас. Продолжается в нас. Движение человека — это неиссякаемый источник.

И пусть нам суждено погибнуть, мы поднимем из шахты этого всечеловеческого, хоть и единственного, шахтера.

Но вот, возвратившись вечером в Барселону, я сижу у приятеля и смотрю из окна на маленький разрушенный монастырь. Обвалились своды, в стенах зияют огромные пробоины, взгляд проникает сквозь них в самые потаенные уголки.

И я невольно вспоминаю, как разрывал в Парагвае муравейники, чтобы проникнуть в их секреты.

Разумеется, для победителей, разрушивших этот храм, он был таким же муравейником. Удар солдатского сапога выбросил наружу маленьких монашенок, они забегали взад-вперед вдоль стен, и толпа не почувствовала этой трагедии.

Но мы-то не муравьи! Мы — люди. Над нами не властны законы числа и пространства. Физик в своей мансарде, завершая расчеты, держит на кончике пера судьбу целого города. Больной раком, проснувшийся ночью,— средоточие человеческого страдания. Может быть, один шахтер стоит того, чтобы погибла тысяча людей. Когда речь заходит о человеке, я отказываюсь от этой чудовищной арифметики. Пусть мне говорят: «Что значит какая-то дюжина жертв по сравнению со всем населением? Что значит несколько сожженных храмов, если город продолжает жить?.. Где же террор в Барселоне?» Я отвергаю такие масштабы. Духовный мир человека недоступен складному метру.

Тот, кто заточил себя в своей келье, в своей лаборатории, в своей любви, как будто совсем рядом со мной, в действительности вознесся к тибетскому одиночеству, забрался в такие дали, куда никакое путешествие никогда меня не приведет. Достаточно разрушить бедные стены этого монастыря, и я уже никогда не узнаю, какая цивилизация только что навсегда погрузилась на дно моря, словно Атлантида.

Охота на куропаток в роще. Девушка, убитая вместе с мужчинами. Нет, вовсе не смерть ужасает меня. Она кажется мне почти сладостной, когда сопряжена с жизнью: мне хотелось бы думать, что в этом монастыре день смерти тоже был праздничным днем... Но это непостижимое забвение самой сущности человека, эти арифметические оправдания я решительно отвергаю.

Люди перестали уважать друг друга. Бездушные судебные исполнители, они рассеивают по ветру имущество, не ведая, что уничтожают живое царство... Вот вам комитеты, производящие чистку именем лозунгов, которым достаточно два-три раза измениться, чтобы оставить позади себя только мертвецов. Вот вам генерал во главе своих марокканцев, который со спокойной совестью уничтожает целые толпы, подобно пророку, подавляющему раскол. Здесь расстреливают, словно лес вырубают...

В Испании пришли в движение толпы, но каждый отдельный человек, этот огромный мир, тщетно взывает о помощи из глубин обвалившейся шахты.

МАДРИД

Пули щелкали над нашими головами, ударяясь о залитую лунным светом стену, вдоль которой мы шли. Те, что летели низко, отскакивали от насыпи с левой стороны дороги. Мы с моим спутником, лейтенантом, не обращали внимания на эти сухие щелчки и в километре от линии фронта, охватывавшей нас подковой, чувствовали себя на белой сельской дороге в полнейшей безопасности. Мы могли петь, смеяться, чиркать спичками — никому до нас не было дела. Мы были точно крестьяне, бредущие на соседний рынок. Там, в тысяче метров отсюда, нам волей-неволей пришлось бы стать пешками на черной шахматной доске войны, но здесь, вне игры, забытые всеми, мы напоминали школьников, которые удрали с уроков.

И пули тоже. Шальные пули, брызги далеких сражений. Те, что свистели здесь, там упустили свою добычу. Они не впивались в бруствер, не пробивали человеческую грудь: их выпустили ввысь, в пространство, и они сбежали с поля боя.

Вся ночь была пронизана их несуразными параболами; родившись, они жили три секунды свободного полета и погибали. Одни звякали о камень, другие, пролетая в вышине, полосовали звезды длинными ударами бича, и лишь отскакивавшие рикошетом странно звенели, будто на одном месте, как пчелы, опасные на миг, ядовитые, но недолговечные.

Насыпь слева от нас кончилась, и мой спутник спросил:

— Ну как, спустимся в ход сообщения? А то, пожалуй, пойдем по дороге: сейчас ведь темно...

Я уловил скрытую за его вопросом лукавую усмешку. Я ведь хотел узнать, что такое война,— вот он и предлагал мне ее отведать. Разумеется, пули, отскакивавшие рикошетом и жужжавшие, словно пчелы, садящиеся на цветок, внушали к себе почтение. В их музыке чудилось какое-то намерение. Мне казалось, что тело мое намагничено и притягивает их к себе. Но в то же время я полагался на благоразумие товарища: «Он хочет меня припугнуть, но ведь жить-то ему не надоело: раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот колдовской дождь, значит, прогулка не слишком опасна. Ему лучше знать».

— Конечно, пойдем по дороге... В такую погоду!..

Безусловно, я предпочел бы ход сообщения, но сохранил свое мнение про себя. Мне были знакомы подобные шутки. В былые времена в Кап-Джуби я и сам забавлялся таким образом. Опасная зона начиналась там в двадцати метрах от форта. И вот, когда ко мне являлся какой-нибудь заносчивый инспектор, не слишком знакомый с пустыней, я уводил его прямо в пески. Рассказывая по пути о делах аэродрома, я ждал его

робкого замечания, которое заранее вознаграждало меня за все взыскания по службе:

— Но уже поздненько... не вернуться ли нам назад?..

Вот тут-то я и получал неограниченную власть над моим инспектором, теперь он был у меня в руках. Мы находились уже довольно далеко от форта, и он ни за что не отважился бы возвращаться один. И вот я целый час таскал его за собой, словно покорного раба, выдумывая для этого самые невероятные предлоги. А так как жаловался он, разумеется, только на усталость, я любезно предлагал ему посидеть и подождать, пока я вернусь и прихвачу его с собой. Он делал вид, что колеблется, окидывал взглядом коварные пески и говорил как ни в чем не бывало:

— Вообще-то я не прочь еще пройтись...

Тут я получал полное удовлетворение и, удаляясь широким шагом от спасительного убежища, начинал рассказывать ему о свирепых нравах кочевых племен.

Этой ночью я сам оказался в роли поневоле гуляющего инспектора, однако я предпочел ежесекундно прятать голову в плечи, чем затевать уклончивый, хотя и прозрачный разговор о преимуществах хода сообщения.

Нам все же пришлось нырнуть в эту щель, прорытую в земле, хотя ни одному из нас не удалось одержать верх над другим. Но дело принимало серьезный оборот, и наша игра вдруг показалась нам ребячеством. Не потому, что нас могло скосить пулеметной очередью или осветить прожектором, нет: просто в воздухе пронеслось какое-то дуновение, послышалось какое-то бульканье, которое никакого отношения к нам не имело.

— Ага, это по Мадриду,— сказал лейтенант.

Ход сообщения взбирается на вершину холма недалеко от Карабанчеля. Земляная насыпь со стороны Мадрида местами осыпалась, и сквозь одну из брешей нам открылся белый, удивительно белый город, освещенный полной луной. Менее двух километров отделяло нас от его высоких зданий, над которыми возвышался «Телефоник». Мадрид спит, вернее, притворяется спящим. Ни одной светящейся точки, ни единого звука. Зловещий грохот доносится теперь через каждые две минуты и тонет в мертвом безмолвии. Он не порождает в городе ни шума, ни суеты. Всякий раз он исчезает бесследно, словно камень в воде.

Внезапно на месте Мадрида передо мной возникает лицо. Бледное лицо с закрытыми глазами. Суровое и упрямое лицо девы, с покорностью принимающей один удар за другим. И опять над нашими головами раздается знакомое бульканье, словно где-то там, в звездах, откупорили бутылку... Секунда, две, пять... Невольно подаюсь назад: мне кажется, что стреляют прямо в меня и — трах!— будто рушится весь город!

Но Мадрид по-прежнему перед моими глазами. Ничто не

изменилось, не исказилось, не дрогнула ни одна черта: каменное лицо остается невозмутимым.

— По Мадриду...— машинально повторяет мой спутник. Он учит меня разбираться в этом шелесте под звездами, следить за этими акулами, ныряющими за добычей.

— Нет, теперь отвечает наша батарея... А вот это они... но в другом месте... А это... это по Мадриду...

Разрывы, которые запаздывают, ждешь бесконечно. Чего только тут не перечувствуешь! Огромное давление все возрастает, возрастает... Скорей бы взорвался этот котел. Конечно, кто-то сейчас умрет, но ведь для кого-то наступит избавление. Восемьсот тысяч жителей, исключая дюжину жертв, получат отсрочку. А между бульканьем и разрывом все восемьсот тысяч находятся под угрозой смерти.

Каждый выпущенный снаряд грозит всему городу. И я чувствую, как весь он сжался в комок, напряг свои силы. Я как бы вижу всех этих беззащитных мужчин, женщин, детей, над которыми недвижная дева распростерла свой каменный плащ. Снова слышится омерзительный звук, к горлу подступает тошнота, и, сам не свой, я невнятно бормочу:

— Мадрид... бомбят Мадрид...

А мой спутник откликается эхом, считая разрывы:

— По Мадриду... шестнадцать.

Я выбрался из хода сообщения. Лежу ничком на насыпи и смотрю.

Новый образ стирает прежний. Мадрид со своими трубами, башнями, иллюминаторами похож на корабль в открытом море. Белый Мадрид на черных волнах ночи. Город прочнее человека: Мадрид нагружен эмигрантами, он перебрасывает их с одного берега жизни на другой. Он везет поколение. Он медленно плывет через века. От чердаков до подвалов его заполнили мужчины, женщины, дети. И они ждут — одни безропотно, другие дрожа от страха, запертые на каменном корабле. Враг торпедирует судно, везущее женщин и детей. Мадрид хотят потопить, как корабль.

И сейчас мне плевать на все правила игры в войну. Плевать на оправдания, на причины. Я вслушиваюсь. Я научился узнавать среди других шумов глухой кашель батарей, харкающих на Мадрид. Я научился прослеживать путь этого бульканья под звездами — он проходит где-то близ созвездия Стрельца. Я научился медленно отсчитывать секунды. И я вслушиваюсь. Молния испепелила дерево, покачнулся собор, умер несчастный ребенок.

Сегодня днем обстрел застал меня в самом городе. Понадобился чудовищный удар грома, чтобы вырвать с корнем одну-единственную человеческую жизнь. Прохожие стряхивали с себя осыпавшуюся штукатурку, куда-то бежали, рассеивался легкий дымок, а чудом уцелевший жених, еще секунду назад

сжимавший тронутую загаром руку невесты, нашел свою любимую на земле, обращенную в кровавый ком, в месиво из мяса и тряпок. Он опустился на колени и, еще не сознавая происшедшего, тихо качал головой, будто хотел сказать: «Как странно!» В этом распластанном перед ним чудовище он не узнавал ни единой черты своей подруги. Волна отчаяния поднималась в нем с жесткой медлительностью и захлестывала его. Пораженный прежде всего этой подменой, он еще несколько мгновений искал глазами ее легкие очертания, словно они-то уж во всяком случае должны были уцелеть.

Но ему осталось лишь кровавое месиво. А легкая позолота, составлявшая неповторимый облик возлюбленной, растаяла! И пока в горле несчастного рождался крик, которому что-то мешало вырваться наружу, он успел осознать, что любил вовсе не эти губы, а их движение, их улыбку. Не эти глаза, а их взгляд. Не эту грудь, а ее легкое колыхание, подобное морской зыби. Он успел осознать наконец причину той тревоги, которую, быть может, внушала ему любовь. Не стремился ли он к недостижимому? Обнимают ведь не тело, а нежный пушок, некий свет бесплотного ангела, легкую оболочку...

И сейчас мне плевать на все правила игры в войну, на закон об ответных мерах. Кто все это затеял? На каждый ответ всегда найдется возражение, и самое первое убийство сокрыто во тьме веков. Больше, чем когда бы то ни было, я не доверяю логике. Если школьный учитель доказывает мне, что огонь не обжигает тела, я протягиваю руку к огню и безо всякой логики узнаю, что в его рассуждениях есть какой-то изъян.

Я своими глазами видел девочку, с которой сорвали ее светлые одежды: так неужели же я уверую в справедливость ответных мер?

Не могу я понять и того, какой смысл имеет подобный обстрел с чисто военной точки зрения. Я видел домашних хозяек с развороченными внутренностями, видел обезображенных детей, видел старую торговку-разносчицу, которая стирала брызги мозга со своих сокровищ; я видел, как на улицу вышла консьержка с ведром воды и окатила тротуар, чтобы очистить его от следов крови, но я так и не могу постичь, какую роль призвано играть на войне это случайное уничтожение мирных жителей.

Деморализующую? Но ведь обстрел приводит к обратному результату! Ведь с каждым снарядом что-то в Мадриде становится прочнее. Те, что колебались, принимают решение. Убитый ребенок, если это ваш ребенок, сразу перетягивает чашу весов. Мне показалось, что обстрел не разобщает, а, напротив, сплачивает людей. Ужас заставляет их сжимать кулаки, и они объединяются в общем ужасе. Мы с лейтенантом взбираемся на насыпь. Перед нами Мадрид: лицо или корабль, он безот-

ветно принимает удары. Но так уж устроены люди: испытания постепенно укрепляют их мужество.

Потому и воодушевился мой спутник: он чувствует, как крепнет воля города. Он тяжело дышит, упершись кулаками в бедра. Ему уже не жаль ни женщин, ни детей...

— Это будет шестьдесят...

Удар звенел по наковальне: гигантский кузнец выковывает Мадрид.

Продолжаем путь к передовой у Карабанчеля. На фронте, охватывающем нас полукругом, слышна отдаленная перестрелка — бессвязная и всеобщая, как шуршание уносимой и вновь прибиваемой морем гальки. Временами стрельба, как зараза, охватывает все двадцать километров фронта, она распространяется, словно пламя рудничного газа, затем все успокаивается, стихает, уходит в себя. Иногда наступают мгновения такой глубокой тишины, что кажется, будто в ней умерла война.

Все разом как бы излечиваются от ненависти. Полминуты такого затишья — и лицо мира уже изменилось. Уже не нужно наносить ответные удары, ждать сопротивления, раскрывать заговоры. Какой прекрасный случай навсегда прекратить стрельбу! Пусть тот, кто отныне выстрелит первым, примет на себя всю ответственность за войну! Для того чтоб спасти мир, достаточно заметить эту тишину. Она ведь беззлобна, как пастух. Она так надеется, что ее услышат...

Но прежде чем каждый успевает эту тишину распознать, где-то уже щелкает ружейный выстрел. Где-то из-под горячего еще пепла выбивается язычок пламени. Где-то движение пальца одного-единственного убийцы, который ни за что не несет ответственности, снова воскрешает войну.

И я думаю о тишине, наступающей после взрыва — то ли мины, то ли снаряда. Нас окутывает известковая пыль. Я даже подскакиваю, но по крестьянской походке идущего впереди лейтенанта вижу, что он и внимания не обращает на такие пустяки. Привычка, презрение к смерти, покорность? Постепенно я сам пойму, что военная храбрость служит своего рода панцирем. Человек заставляет молчать воображение. Все, что происходит не ближе десяти метров от него, он отметает в иной мир. Но я еще поворачиваю голову в ту сторону, откуда доносится гром, и стараюсь понять смысл каждого звука.

На переднем крае этот безлюдный мир уже населен. Кое-где вспыхивает огонек сигареты, луч карманного фонарика. Теперь мы вслепую пробираемся между домиками Карабанчеля — их прорезают траншеи. Идем, не замечая этого, узкой улочкой,— только она отделяет нас от противника. Ходы сообщения ныряют в подвалы. Здесь спят, бодрствуют, отсюда стреляют через отдушины. И здесь, внизу, мы окунаемся в странную подвод-

ную жизнь. Я оказываюсь среди неведомых обитателей морского дна. Время от времени мой проводник тихонько отстраняет рукой немую тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Бойница заткнута тряпкой. Вытаскиваю ее и всматриваюсь. Вижу только стену напротив и странный лунный свет, словно проникающий сквозь воду. Когда я снова затыкаю отверстие, мне кажется, будто этой тряпкой я стираю растекшийся лучик луны.

Распространяется новость, которая тотчас доходит и до меня: перед рассветом назначена атака. Ее цель — отбить тридцать домиков Карабанчеля. Тридцать бетонных крепостей из сотни тысяч. За неимением артиллерии придется взрывать стены гранатами и занимать эти разоренные гнезда одно за другим. Мне представляются рыбы, которых ловят стальной острогой, шаря ею в подводных норах. Я ощущаю легкую дурноту, глядя на этих людей, которые, вдохнув вскоре свежего воздуха, нырнут в синюю ночь и, если им удастся достигнуть противоположной стены, попадут под скалой в объятия смерти.

А сколько из них, не пройдя и этих пятнадцати шагов, рухнет, потонет в лунном свете?

Но ничто не изменилось в их лицах. Они ждали этого часа. Все они — добровольцы, отказавшиеся от своих надежд, от личной свободы и влившиеся в могучий поток. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю.

Страх начался легким возбуждением. Усилилась беспричинная стрельба. Противника боялись, как будто, узнав об атаке, он должен был приготовить бог знает какую отчаянную вылазку. Его искали во тьме. Страх внушала сама жертва, боялись той вспышки безумия, на которую способна жертва, когда топор палача касается ее затылка. Когда-то мне приходилось видеть опьяненных ужасом маленьких хищников, затаившихся в своей норе. Они готовы мертвой хваткой вцепиться вам в горло. Здесь искали немого врага, сбежавшего на свободу безумца, замышляющего преступление, и стреляли более всего по тишине. Этим способом хотели принудить его к открытому сопротивлению: боятся-то ведь призраков, а не людей. Но отвечал по-прежнему призрак.

И теперь в этом глубоком трюме мы слышали, как трещит наш корабль. Где-то медленно расходятся какие-то швы. В трещины сочится луна. Люди противятся этому вторжению призраков. Луны, ночи, моря. Время от времени врывается буря, и нас сотрясают удары тарана. Там, снаружи, пули просто не дают вздохнуть, они буквально заперли нас в нашем убежище, но снаряды и мины, разрывы которых становятся чаще, каждый раз заставляют нас содрогнуться, как внезапное по-

кушение, как нож, вонзаемый в сердце невидимым убийцей. Кто-то бормочет: «Ручаюсь, они атакуют первыми».

Но вот взрывная волна окатила нас с ног до головы. Люди дрогнули, но не шелохнулись. Мне бы очень хотелось понять причину их сплоченности, их стойкости. Завтра я спрошу об этом моего соседа, сержанта, если он уцелеет в атаке. Я скажу ему: «Сержант, почему ты согласен умереть?»

Они недвижны, только вздрагивают под ударами топора. Человека подрубают медленно, словно дерево. Оно еще стоит, но удар следует за ударом. И вот я чувствую, как затрепетали во тьме все его ветви.

Пулеметы выбрасывают теперь потоки искр. Ружейная стрельба ожесточается — это уже безотчетная, хаотическая стрельба. Что-то трещит вдоль траншей. Я вижу, как вибрирует ближайший ко мне пулемет. В тридцати сантиметрах над черной землей коса его губит все живое. На уровне тридцати сантиметров от черной поверхности земли жизнь невозможна. И все же что-то надвигается. Ведь ярость эта обращена против призрака, и он не поддается заклинаниям!

Атакуют они или нет? Все это похоже на наваждение! Я ничего не заметил сквозь бойницу, клянусь, ничего, кроме одной звезды. А пулеметчик дает очередь за очередью. И когда строчит пулемет, звезда дрожит, словно отражение в воде. Ночь порождает призраки, люди воюют со звездами, а наблюдатель медленно поднимает руку: вот сейчас... сейчас...

И вдруг — все разом как бы взрывается. Мысли в моей голове проносятся быстрее. Я думаю. Я думаю то же, что и другие. Я не хочу, не хочу... Не хочу, чтобы ночь взвалила мне на плечи убийцу, прыгнувшего в траншею. Не хочу услышать рядом с собой крик зверя. Не хочу, чтобы сегодня меня подобрали и унесли в огромный каменный мавзолей. О, если бы у меня была винтовка! Берегись! Я бью вслепую. Берегись! Худо будет тому, кто приблизится! Я сливаюсь с этим пулеметчиком, вместе с ним я рассекаю воздух очередями, словно клинком. Берегись! Я вовсе не хочу убивать людей: я хочу убить ночь, войну, ужас, порожденный кошмаром, и надвигающийся на меня бледный призрак...

Так вот что такое паника!

Мы у капитана. Сержант докладывает обстановку. Тревога оказалась ложной, но противник, видимо, что-то почуял. Не отменяется ли атака?

Капитан пожимает плечами. Ведь и он только исполняет приказы. И он придвигает нам две рюмки коньяка.

— Мы с тобой пойдем первыми,— говорит он сержанту.— Пей и ложись спать.

Сержант лег. Мне освобождают место, и мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий,

и я щурюсь. Пью сладковатый, противный коньяк. У него печальный привкус рассвета. Почти не понимая, что происходит вокруг, допиваю коньяк и закрываю глаза. В сознании возникают домики Карабанчеля цвета морской воды.

Справа от меня рассказывают анекдот, в котором я едва улавливаю одно слово из трех, слева играют в шахматы. Где я?

Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Он покачивается на ногах в этом уже призрачном мире. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку. И меня поражает эта атмосфера предрассветного бдения, я узнаю время по обросшим за ночь лицам, а снаружи с удвоенной силой грохочет морской прибой.

Скоро эти люди омоются — пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая,— все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но на этажерке возвышается будильник, точно владыка на престоле. Его завели, чтобы он подал сигнал. И я один украдкой поглядываю на него. Как им удается не слышать его тиканье? Ведь стучит он оглушительно!

И все-таки будильник прозвенит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи. Когда человеку предстоит встреча со смертью, он почему-то всегда машинально уступает желанию расправить плечи. И вот, расправив плечи, они затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору к бледному прямоугольнику неба и скажут какие-нибудь самые простые слова: «Какая луна!» или «Как тепло!» И устремятся к звездам.

Едва только телефон отменил атаку, в которой все они могли погибнуть, штурмуя бетонную стену, едва только люди почувствовали себя в безопасности, едва к ним вернулась уверенность в том, что они еще целый день могут топтать своими грубыми сапогами нашу старую добрую планету, едва только им вернули мир,— все они начинают жаловаться.

Жалоб тысячи.

— Мы что, бабы?

— Воюем мы или валяем дурака?

Тысячи язвительных упреков по адресу штабных: они, видите ли, отказываются от лобового удара, им, верно, плевать на то, что Мадрид все время под обстрелом, что каждый день снаряды уничтожают детей; иначе они не отменяли бы атаку как раз в тот момент, когда люди готовы были спихнуть с гор, разгромить эти батареи, чтобы спасти несчастных, которые приносятся в жертву пушкам.

Но я хорошо помню, что речь шла всего лишь о захвате трех десятков бетонированных минометных и пулеметных точек. Так что, даже если бы свершилось чудо, этой горсточке людей удалось бы продвинуться в лучшем случае на каких-нибудь восемьдесят метров и из всех мадридских детей спасти лишь тех, кто, сбежав с уроков, имеет обыкновение шляться на окраине в радиусе последних восьмидесяти метров, доступных обстрелу.

Мне кажется также — да они и сами этого не скрывали,— что никому из них не улыбалась перспектива окунуться в лунный свет, так что они должны были просто радоваться тому, что могут еще бушевать вволю, пропустив в утешение — и не без удовольствия!— несколько стаканчиков коньяку, вкус которого теперь, после телефонного звонка, странным образом изменился.

Но их сетования отнюдь не показались мне смешным бахвальством, ибо я знал, что они на самом деле готовы были этой ночью умереть, умереть без громких слов, и знал я еще кое-что, о чем мне хотелось бы рассказать.

Я ведь и сам чувствую в себе подобное противоречие и совсем не стыжусь его. Разумеется, я, простой зритель, подвергавший себя опасности совсем по другим причинам, еще более, чем они, мечтал этой ночью о том, чтобы потопление корабля, на котором я оказался, было отменено. Однако теперь, когда мне нечего бояться, когда впереди долгий день с его обетованными радостями, я тоже смутно сожалею о чем-то, что было связано с этой катастрофой.

Лучится день. Я освежаюсь ледяной водой из колодца; в сорока метрах от противника, под перекрытием, пробитым полуночными снарядами, в кружках дымится кофе. Утром наступает передышка и, умывшись, здесь собираются живые, чтобы прожить этот день сообща, чтобы разделить белый хлеб, сигареты и улыбки. Один за другим — капитан, сержант Р., лейтенант — они поудобнее располагаются у стола перед богатствами, которые послушно были отвергнуты ими в час отречения и которые теперь снова обрели всю свою ценность. И вот уже раздаются возгласы: «Салют, амиго!» — и они хлопают друг друга по плечу.

Я наслаждаюсь ласковым ледяным ветром и солнцем, золотящим нас сквозь лед. Я наслаждаюсь воздухом горных вер-

шин, и мне кажется, что здесь я по-настоящему счастлив. Я наслаждаюсь весельем этих людей, которые, сидя в одних рубахах, подкрепляют себя едой, чтобы, встав из-за стола, начать переделку мира.

Где-то лопается созревший стручок. Шальная пуля время от времени щелкает о камень. Да, это бродит смерть, но смерть праздная, чуждая злых намерений. Это не ее час. Под бревенчатым настилом люди празднуют жизнь. Капитан делит хлеб, и если однажды мне довелось познать, насколько он бывает необходим, то здесь я впервые открываю для себя, с каким достоинством можно его вкушать. Я видел, как разгружали машины с продуктами для голодающих детей, и это было волнующее зрелище, но я до сих пор даже не подозревал, каким серьезным событием может стать завтрак. Весь отряд выбрался из глубины мрака, и капитан ломает этот белый хлеб, плотный пшеничный хлеб Испании, и каждый, протянув руку, получает толстый, с кулак, душистый ломоть, который претворится в жизнь.

Ибо все они выбрались из глубин мрака. И я разглядываю этих людей, начинающих сейчас новую жизнь. Особенно внимательно смотрю я на сержанта Р., того, которому предстояло выйти первым и который перед атакой прилег поспать. Я видел его пробуждение, пробуждение человека, приговоренного к смерти. Сержант Р. знал, что он первым бросится навстречу пулемету, чтобы протанцевать в лунном свете танец всего из пятнадцати па, от которого умирают.

Траншеи Карабанчеля вьются среди маленьких домиков рабочего поселка; в них сохранилась мебель, и сержант Р., растянувшись на железной койке, уснул, не раздеваясь, в нескольких шагах от противника. Когда мы зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, когда мы выхватили из мрака это погребальное ложе, то увидели сперва только башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки путевого обходчика или ассенизатора. В них была заключена вся нищета мира, потому что в таких башмаках невозможно легко и счастливо шагать по жизни, а приходится брать ее приступом, как докеру, для которого вся жизнь — разгрузка корабля.

Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьвер, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтоб она вращала свой жернов.

— Эй, сержант!

Послышался вздох, тяжелый, как волна, потом он медленно, словно глыба, повернулся к нам, и я увидел спящее, но печальное лицо. Глаза его были закрыты, а губы, сквозь кото-

рые прорывалось тяжелое дыхание, остались приоткрытыми, словно губы утопленника.

Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение; этот человек карабкался из морских глубин, он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать и упрямо отворачивается от скотобойни.

— Эй, сержант!

Его опять вызвали из морских глубин, он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего: теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились каникулы, он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми... Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым, но колокольчик все звенит и звенит и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости.

Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом,— оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах, и груз снаряжения, а там — тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающий смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка.

Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу. Отягощенный ремнями, револьвером, подсумками, тремя гранатами, рядом с которыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас.

— А! да... пора...

И он протянул руку за карабином.

— Атаку отменили.

Сержант Р., я свидетельствую: мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна, словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы в самом деле даровали его тебе in extremis[1], потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое

---

[1] В последний момент (лат.)

любопытство: я посмотрел на тебя. И я никогда не забуду твое лицо. Трогательное некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит:

— Ну что ж, тем лучше.

Опять качает головой и добавляет:

— Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады две-три, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм...

Сержант, сержант... как ты распорядишься дарованной тебе жизнью?

Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания. И все же ты готов этой ночью вместе с товарищами снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать: «Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова? Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есль ли у тебя слова, чтобы выразить свою сущность, у тебя, такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы...

— В сущности, почему ты сюда пошел?

В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. Счетовод где-то в Барселоне, не интересуясь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа — все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:

— Пошли?

— Пошли.

И вы пошли.

Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я

слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя.

Передо мной возникает образ.

Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. И утка мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает.

Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины он не знает.

Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей, как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства прежде всего и требуют объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? Что же ты понял, сержант, когда мир твой был нарушен?

Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос — жертвенностью, поэзией или приключением — он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухи к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это — не человеческая жизнь. И ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал — ты должен вылинять, ты должен распахнуть крылья.

Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса,— и вот она хлопает крыльями: что́ ей зерно, что́ ей червяки,— она хочет стать дикой уткой...

Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргассово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни. Они ищут реку, ведущую к бездне.

Так же и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству, и на вопрос: «Пойдем?» — ты отвечаешь: «Пойдем!» — и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе.

Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе, что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались: чего они лишились? Что они открыли себе и вынуждены теперь оплакивать?

Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет? Что мне в том, надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено. Пусть даже они готовы были бежать. Они ведь не убежали. Они ведь согласны ближайшей ночью начать все вновь. Случается, встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан. И океан становится слишком просторным для их полета, и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега. Но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет.

Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью — единственным твоим богатством. Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно. Медленно учишься. Медленно создаешь свое творение. Слишком ранняя смерть равносильна грабежу: чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго.

Но внезапно, благодаря ночному испытанию, которое освободило тебя от всего лишнего, ты открыл в себе нового, доселе неведомого тебе человека. Ты узнал, что он велик, и теперь ты уже не сможешь его забыть. Но это же ты сам. У тебя внезапно возникает чувство, что свое жизненное призвание ты осуществишь именно теперь и что тебе не так уже необходимо будущее для накопления богатств, ибо распахнул крылья тот, кто не связан больше с преходящими благами, кто согласен умереть за всех людей, кто возвращается в нечто всеобщее. Великое дуновение коснулось его. И вот он свободен от оков,— спавший в тебе властелин — человек. Ты равен творящему музыканту, физику, двигающему вперед познание, всем, кто прокладывает пути нашего освобождения. Теперь ты можешь рисковать жизнью. Что ты потеряешь при этом? Если ты был счастлив в Барселоне, ты вовсе не растрачиваешь попусту свое счастье. Ты достиг той высоты, где все любви обретают единый смысл. Если же ты страдал, если ты был одинок, если тело твое не имело пристанища,— любовь принимает тебя.

НОЧЬЮ ГОЛОСА ВРАГОВ ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ ИЗ ТРАНШЕЙ...

В глубине блиндажа снаряжаются люди, готовясь идти в дозор — лейтенант, сержант и три солдата. Один из них, тот, что натягивает шерстяную фуфайку — погода стоит холодная,— возникает передо мной в темноте: головы его еще не видать, руки запутались в рукавах, двигается он медленно и неуклюже, как медведь. Приглушенная брань, отросшая за ночь щетина, отдаленные взрывы... Все вместе образует причудливую смесь сна, пробуждения и смерти. Медленные сборы странников, которые возьмут сейчас свои тяжелые посохи и снова отправятся в путь. Вышедшие из земли, вымазанные землей, эти люди с руками садовников созданы не для наслаждений. Женщины отвернулись бы от них. Но постепенно они отделяют себя от грязи и скоро всплывут к звездам. Под землей в этих глыбах окаменевшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час, точно так же снаряжаются другие люди и тоже натягивают такие же шерстяные фуфайки, пропитанные той же землей, и всплывают из той же земли, из какой они сделаны. Там, напротив, та же самая земля также пробуждается к сознанию через человека.

Там, напротив тебя, медленно поднимается лейтенант, чтобы погибнуть от твоей руки,— твой двойник. Как и ты, отрекшийся от всего ради служения своей вере. Его вера — это твоя вера. Ибо разве можно идти на смерть во имя чего-то иного, кроме правды, справедливости и любви к людям?

«Их обманули или же обманули тех, кто напротив»,— скажете вы. Но мне наплевать на политиканов, спекулянтов и кабинетных теоретиков любого из двух лагерей. Они дергают за веревочки, произносят громкие слова и полагают, будто и в самом деле руководят людьми. Они верят в наивность человека. Но если громкие слова прорастают, подобно семенам, пущенным по ветру,— значит, на просторе ветров нашлась для них благодатная почва, готовая принести урожай. Пусть циник воображает, будто подмешивает в семена песок: земля сумеет распознать зерно.

Дозор снаряжен, и вот мы шагаем по полю. Под ногами трещит стерня, и в темноте мы то и дело спотыкаемся о камни. Я сопровождаю до самой границы этого мира тех, кому приказано спуститься в узкую долину, отделяющую нас от противника. Ширина ее — восемьсот метров. С обеих сторон она простреливается артиллерией, и крестьяне ее покинули. Она пустынна, захлестнутая паводком войны, и на дне ее спит потонувшая деревня, населенная призраками, потому что остались здесь одни только собаки, которые днем рыщут в поисках добы-

чи, а по ночам, голодные, воют от страха. Вот и сейчас, около четырех часов утра, вся деревня смертно воет на восходящую луну, белую, словно кость.

— Вы должны разведать, нет ли там противника,— приказал командир.

На той стороне, разумеется, озабочены тем же самым и точно такой же дозор выслан нам навстречу.

С нами шагает комиссар, имени которого я не помню, но я никогда не забуду его лица.

— Ты их услышишь,— говорит он мне.— Когда выйдем на передний край, окликнем их, тех, что на другой стороне долины... Иногда они отвечают...

Этот человек стоит у меня перед глазами: страдая ревматизмом, он тяжело опирается на узловатую палку, у него лицо старого сознательного рабочего. Он наверняка возвысился над политикой и партиями. Он поднялся над распрями убеждений.

— Жаль, что теперь мы уже не можем изложить нашу точку зрения противнику...

И он идет дальше, как апостол, обремененный своим учением. А напротив,— я это знаю, и вы это знаете,— находится другой апостол, тоже один из верующих, озаренный своим учением. Он месит тяжелыми сапогами ту же самую грязь и тоже идет на это свидание, о котором и не ведает.

Наконец мы подходим к земляной губе, нависшей над долиной, к последней террасе, к этому вопросительному оклику, который мы бросим противнику, словно вопрошая самих себя.

Ночь высится, как собор. И какая тишина! Ни единого выстрела. Перемирие? О нет! Скорее нечто похожее на ощущение чьего-то присутствия. Обе стороны прислушиваются к одному и тому же голосу. Братание? Тоже нет, если разуметь под этим ту особую усталость, которая вдруг расслабляет людей, заставляет их делиться последней сигаретой и растворяет в общем изнеможении. Попытайтесь же шагнуть навстречу противнику... Быть может, это и братание, но пока еще на такой духовной высоте, что оно захватывает лишь части души, которую невозможно выразить словами, и потому здесь, внизу, не избавляет нас от резни. У нас просто нет еще языка, чтобы высказать, что же нас объединяет.

Мне кажется, я понимаю комиссара, шагающего рядом со мной. Откуда явился он с этим открытым взглядом, привыкшим следить за движением плуга? Вместе с крестьянами, среди которых он рос, он смотрел, как живет земля. Потом он ушел на завод и смотрел, как живут люди.

— Металлист... двадцать лет я был металлистом...

Никогда я не слышал исповеди более возвышенной, чем исповедь этого человека.

— Я человек неотесанный... трудно было все это понять... Инструменты... с ними обращаться куда легче... Их я знал хо-

рошо, мог что угодно объяснить, чувствовал их... А вот когда захотел понять явления, идеи, жизнь... объяснить это другим... Вы-то привыкли рассуждать... Вас с малолетства этому учили, и вы себе не представляете, до чего это трудно — рассуждать. Но я старался, старался... И понемногу почувствовал, что башка начинает варить... Нет, ты не думай, будто я себя нахваливаю, мне еще многого не хватает... Я еще деревенщина, не научился обхождению, а ведь без этого нет человека...

Слушая его, я вспомнил фронтовую школу, приютившуюся в каком-то укрытии, сложенном из камня, словно жилище первобытного человека. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал его лепестки, приобщая своих заросших бородами учеников к тихим таинствам природы. И солдаты слушали его с наивной тревогой: они так старались понять, эти уже старые, очерствевшие от жизненных тягот люди. Но им сказали: «Вы — темные, вы — звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество...» И, тяжело ступая, они спешили вдогонку.

Так присутствовал я при этом пробуждении сознания, подобном прорастанию зерна; родившись из глины в доисторической ночи, оно постепенно поднялось до Декарта, Баха или Паскаля, до этих высочайших вершин. Каким волнующим было это стремление научиться мыслить, о котором рассказал комиссар! Эта потребность возрастания. Так растет дерево. Именно в этом таинство жизни. Только она вбирает питательные соки из земли и возвышает свой росток вопреки закону притяжения.

Какое воспоминание — эта ночь, подобная собору... Душа человека, раскрывающая свои стрельчатые своды и шпили... Враг, с которым мы сейчас начнем говорить. И мы — караван паломников, бредущий по черной, иссохшей, усыпанной звездами земле.

Мы безотчетно ищем новое Евангелие, возвышающее нас над нашими временными верованиями. Ведь из-за них проливается слишком много человеческой крови. Мы на пути к грозовому Синаю.

Наконец мы у цели. Наталкиваемся на заспанного часового: он дремал за невысокой каменной стеной.

— Да, в этом месте они иногда отвечают... А бывает, и сами зовут... А другой раз не отвечают. Как им вздумается...

...Словно боги.

Первая линия траншей извивается в сотне метров позади нас. А эти низенькие стены, прикрывающие человека по пояс,— сторожевые посты, не занятые днем: они висят прямо над провалом. Кажется, будто, облокотившись о парапет, ты стоишь над пустотой и неведомым. Только я успел закурить, как чьи-то сильные руки пригнули меня к земле. Остальные тоже пригнулись. В тот же миг слышу свист пяти-шести пуль, летящих, впро-

чем, слишком высоко, и потом — снова тишина. Это просто напоминание о правилах приличия: курить на виду у противника не принято.

Еще три или четыре человека, закутанные в одеяла,— часовые с соседних постов,— присоединяются к нам.

— Там, напротив, проснулись...

— А они разговаривают? Тут хотят послушать!

— У них есть один... Антонио... Иногда он отвечает...

— Кликни его...

Человек привстает, набирает в легкие воздуху, складывает ладони рупором и что есть силы медленно бросает в пространство:

— Ан... то... ни... о...!

Возглас ширится, растет, катится по долине...

— Пригнись,— говорит мне сосед,— иногда они стреляют на крик.

Мы затаились, прижавшись плечами к камню, и слушаем. Выстрелов нет. Ну, а ответа?.. Трудно сказать: все полно звуков — ночь поет, словно морская раковина.

— Эй, Анто... ни... о!.. Ты что... о...

И здоровенный парень, сорвав голос, переводит дух.

— Ты что... о... спишь?..

«Ты спишь...» — повторяет это на другом берегу... «Ты спишь...» — повторяет долина... «Ты спишь...» — повторяет ночь. Этим заполнено все. И мы поднимаемся в порыве необыкновенного доверия: не стреляют! И я представляю, как они там слушают нас, ждут, ловят человеческий голос. Вероятно, этот голос не возмущает их, раз они не нажимают на спусковой крючок. Да, они молчат, но какое внимание, какую готовность выслушать выражает эта тишина, если простая спичка может вызвать стрельбу? Как знать, какие невидимые зерна, унесенные нашими голосами, падают на просторы черной земли? Они жаждут наших слов, как мы жаждем их ответа. Но пока эта жажда обнаруживается лишь в готовности выслушать Они по-прежнему держат палец на спусковом крючке, и я вспоминаю маленьких хищников, которых мы пытались приручить в пустыне. Они смотрели на нас. Они нас слушали. Они ждали, когда мы дадим им угощение. И все же стоило нам шевельнуться, и они бы вцепились нам в горло.

Мы прячемся понадежнее и, подняв руки над стеной, чиркаем спичкой. Три пули срываются к короткой вспышке.

О, эта намагниченная спичка!.. Она означает: «Мы на войне, не забывайте об этом. Но мы вас слушаем. Наша суровость не мешает любви...»

Кто-то отталкивает здоровенного парня.

— Ты не умеешь. Дай-ка я попробую...

Могучий крестьянин ставит свой карабин к камню, набирает воздуху и кричит:

— Это я, Леон... Антонио... о!

И возглас улетает, охватывая пространство.

Никогда я не слышал, чтобы голос звучал так просторно. В разделяющей нас черной бездне, это — словно отплытие корабля. Восемьсот метров до противоположного берега, столько же обратно: тысяча шестьсот. Если они ответят, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пять секунд безмолвия, в котором жизнь будет висеть на волоске. Каждый раз это будет словно посольство в пути. Поэтому даже если они и ответят, мы не почувствуем непосредственной связи друг с другом: между нами встанет инерция незримого мира, которую придется преодолевать. Вот голос отправлен в плаванье, перенесен волнами, причалил к другому берегу... Секунда... две... Мы похожи на потерпевших кораблекрушение, которые бросили в море бутылку... Три... Четыре секунды... Мы похожи на потерпевших кораблекрушение и не знаем, отзовутся спасители или нет... Пять секунд...

— ...о!

Далекий голос умирает на нашем берегу. Фраза погибла в пути, от нее остался лишь непонятный возглас. Но я принимаю его как вспышку. Мы в непроглядной тьме, которая вдруг осветилась далеким окриком с лодки.

Нас охватывает безотчетная радость. Мы открываем очевидность: перед нами — люди!

Как это выразить? Будто образовалась невидимая щель. Вообразите дом ночью, все двери на замке. И вдруг в темноте на вас пахнуло сквозняком. Одна легкая струйка. Но вы ощутили присутствие человека!

Вам когда-нибудь доводилось смотреть в пропасть? Мне вспоминается провал в Шезри — затерянная в лесу черная дыра, шириной в один-два метра и глубиной метров в тридцать. Ерунда! Надо лечь животом на сосновые иглы и бросить в эту черную трещину камень. Отзвука нет. Проходит секунда, другая, третья, и спустя вечность доносится наконец приглушенный грохот. И чем позже, чем слабее он отдается под животом, тем сильнее он вас потрясает. Какая бездна! Так и этой ночью запоздалое эхо строило целый мир. Враг, мы, жизнь, смерть, война — все это было заключено в нескольких секундах тишины.

Снова ждем, послав свой сигнал, снарядив свой корабль, отправив через пустыню свой караван. И, конечно, там, как и здесь, тоже готовятся принять его, этот голос, разящий, как пуля, в самое сердце. И вот ответное эхо:

— ...пора... пора... спать.

Оно долетает до нас, исковерканное, изодранное, словно мольба о помощи, просоленная, истрепанная, размытая морем. Как трогательна эта материнская забота со стороны тех самых людей, что немедленно стреляют на огонь сигареты!

— Кончайте... спите... пора спать...— кричат они нам во всю силу легких.

Нас немного лихорадит. Вы, конечно, подумаете, что это была игра. Вероятно, и они так считали, эти простые, бесхитростные люди. В своем целомудрии они, по-видимому, так бы все и объяснили. Но игра всегда таит глубокий смысл, иначе откуда бы взялся азарт, наслаждение и власть игры? То, что, возможно, было для нас только игрой, как нельзя более соответствовало этой ночи, подобной собору, этому пути на Синай и, заставляя учащенно биться наши сердца, не могло не отвечать какой-то невыразимой внутренней потребности. Нас возбуждало то, что наконец была установлена эта связь. Так лихорадит физика, когда идет решающий опыт, в итоге которого он вычислит вес молекулы. Он установит всего лишь еще одну постоянную среди сотен тысяч других, он добавит, казалось бы, всего лишь песчинку к зданию науки, и все же сердце его замирает, потому что речь идет вовсе не о песчинке. Он держит нить. Он держит нить, вытягивая которую постигают тайны вселенной, ибо все связано между собой. Так лихорадит спасателей, когда они, забросив трос один раз, двадцать раз, вдруг чувствуют по едва ощутимому рывку, что тонущие наконец ухватились за него. Горсточка людей, отрезанных от мира, затерянных в тумане среди рифов, волшебством стальной нити оказалась связанной со всеми мужчинами и женщинами всех портов. Так и мы этой ночью перебросили к неведомому легкий мостик, и вот он уже связывает оба берега мира. И мы сочетаемся со своими врагами, прежде чем умереть от их руки.

Мостик наш такой легонький, такой хрупкий... Что можем мы ему доверить? Чуть потяжелее вопрос или ответ — и он не выдержит. Значит, надо поскорее передать лишь самое главное, только истину истин. Я будто до сих пор слышу того, кто взял в свои руки переговоры, кто, словно рулевой, принял на себя всю ответственность и стал нашим послом, потому что сумел вызвать на разговор Антонио. Я вижу, как он, вытянувшись во весь рост над стеной и уперев о камень широко расставленные руки, с размаху бросает самый главный вопрос:

— Антонио! За какой идеал ты воюешь?

Уверяю вас, в своем целомудрии они бы еще стали оправдываться: «Это мы шутим...» Они так и будут думать потом, если своим беспомощным языком попытаются выразить движения души, которые никаким языком выразить невозможно. Движения человека, который только-только начал в нас пробуждаться... И нужно усилие, чтобы его освободить.

Солдат, ждущий ответное эхо,— я видел его взгляд!— ожидает его всей душой, как ожидают воду в пустыне. И вот он, этот обрывок послания, эта исповедь, наполовину стертая пятью секундами полета, словно древняя надпись:

— ...За Испанию!..

Потом я слышу:

— ...ты?..

Вероятно, он, в свою очередь, спрашивает того, кто рядом со мной.

Ему отвечают. Я слышу, как бросают этот торжественный ответ:

— ...За хлеб для моих братьев!..

Потом поразительное:

— ...Спокойной ночи, амиго!

На что с того края земли доносится:

— ...Спокойной ночи, амиго!

И снова все возвращается в тишину. Там, напротив, должно быть, тоже уловили лишь разрозненные слова. Он состоялся, этот разговор — плод долгого пути, опасностей и усилий... Он исчерпан. Эхо под звездами уравновесило его: «Идеал... Испания... Хлеб для братьев...»

Пришло время, и дозор снова отправился в путь. Он уже спускается к деревне, туда, где произойдет нежданная встреча. Ведь напротив такой же дозор, подчиняясь все той же необходимости, погружается в ту же бездну. Под внешней оболочкой различных слов обе стороны возвестили одинаковые истины... Но даже при таком глубоком единстве веры и те и другие могут погибнуть.

ПРЕДИСЛОВИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ МОРИСА БУРДЭ «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ РЕМЕСЛА ЛЕТЧИКА»

Около двух часов ночи, когда самолет с дакарской почтой берет курс на Касабланку, темный кожух мотора располагается среди звезд, названия которых я не знаю,— чуть правее ручки Большой Медведицы. По мере того как эти звезды поднимаются к зениту, заменяешь их другими, чтобы не приходилось слишком запрокидывать голову: меняешь советчиков. И постепенно, производя капитальную чистку видимого мира, выметая из него все, кроме звезд, царящих над черными песками, ночь производит такую же генеральную уборку в сердце. Все мелочные заботы, казавшиеся первостепенными — вражда, неутоленные желания, зависть,— все исчезает, и из глубин поднимаются действительно важные заботы. И тогда, час за часом спускаясь по этой звездной лестнице к рассвету, чувствуешь себя чистым.

Со всем присущим ему талантом и душевной тонкостью Морис Бурдэ заставляет читателя пережить радости и печали ремесла летчика. Я же просто хотел бы сказать несколько слов о том, что мне кажется самым главным.

Да, летчику ведомы радости: огромная радость приземления после того, как ты благополучно прорвался сквозь ураган; когда выйдя из кромешного мрака, ты скользишь к залитому солнцем Аликанте или Сантьяго и всего тебя переполняет безмерное счастье возвращения к своему месту в жизни, в этот сказочный сад с деревьями, женщинами и маленькими портовыми кофейнями. Какой пилот почтовой линии не пел в минуту, когда, вырвавшись из плена темных громад, он на малом газу устремлялся к посадочной площадке?

Ведомы летчику и печали, но и за них, быть может, он тоже любит свое ремесло. Внезапное пробуждение среди ночи, срочные вылеты в Сенегал, жизнь, полная лишений... Вынужденные посадки в болотах, переходы через пески или снега! Заброшенный судьбою на неведомую планету, летчик должен найти выход и проложить пути в мир живых, пробиться через кольцо гор, песков и безмолвия. Да, нашему ремеслу ведомо безмолвие. Если почтовый самолет не приземлился в назначенное время, его ждут час, ждут день, два дня, но безмолвие, отделяющее человека от тех, кто еще надеется, стало уже почти непроницаемым. Многие товарищи, пропавшие без вести, провалились в смерть, как проваливаются в снег.

Печали и радости, это верно... Но есть и другое! Пилот, идя ночью на Касабланку в своем темном самолете, тихо балансирующем среди звезд, словно капитанский мостик, погружен в самую суть вещей.

Величайшее событие — переход от тьмы к свету — летчик

наблюдает в непосредственной близости. Он захватывает день в его зарождении. Ему известно, что восток белеет задолго до того, как взойдет солнце, но только в полете он присутствует при внезапном извержении света. Пусть он тысячу раз встречал зарю: он знал только, что небо светлеет, но он не знал, что свет бьет, как из родника, и заливает небо, он не видел, как вырывается эта артезианская струя света. День, ночь, горы, море, буря... Среди этих стихийных божеств, ведомый простейшей моралью, летчик обретает мудрость пахаря.

Старый сельский врач, каждый вечер бредущий от фермы к ферме, чтобы поддержать в чьих-то глазах огонь жизни; садовник в своем саду, знающий, как помочь рождению розы,— все те, чье ремесло ставит человека лицом к лицу с жизнью и смертью, познают ту же мудрость. Есть в нашем ремесле и величие риска. Но как далеки мы от показного героизма, от литературной болтовни, от пресловутого девиза, украшавшего некогда крыло самолета и иносказательно прославляющего Куртизанку и Смерть. Кто из нас, товарищи мои, не воспринимал это дешевое позерство как оскорбление по отношению к истинному мужеству,— к тем, для кого опасность — насущный хлеб и кто жестоко борется, чтобы вернуться?

Самое главное? Это, пожалуй, и не высокие радости ремесла, и не его печали, и не опасности, но та точка зрения, до которой они поднимают человека. Когда, убрав газ, на притихшем моторе, летчик скользит к посадочной площадке и смотрит на город — средоточие людских дрязг, денежных забот, низменных страстей, зависти и обид,— он чувствует себя чистым и недосягаемым. И если ночь была трудной, он попросту радуется жизни. Он не каторжник, каждый вечер возвращающийся в свою конуру,— он принц, неторопливым шагом обходящий свои сады. Зеленые леса, синие реки, розовые крыши,— вот они, вновь обретенные им сокровища. И женщина, которая еще растворена в камне, которая только должна родиться, которая вырастет ему вровень, которую он полюбит...

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ЭНН МОРРОУ-ЛИНДБЕРГ «ПОДНИМАЕТСЯ ВЕТЕР»

В связи с этой книгой я вспомнил рассуждения моего друга по поводу великолепного репортажа одного американского журналиста. «У этого журналиста,— говорил мой друг,— хватило вкуса без всяких комментариев и литературных прикрас передать военные эпизоды, с которыми сам он познакомился по рассказам командиров подводных лодок. Зачастую он просто ограничивается сухими цитатами из судовых журналов. Как умно он поступил, спрятав свое лицо за всем этим материалом и заглушив в себе писателя! Ведь эти скупые свидетельства и живые

документы уже сами по себе насыщены необычайной поэзией и пафосом. Почему люди так глупы, что им всегда хочется приукрасить действительность, когда она и без того прекрасна? Если бы однажды эти моряки вздумали взяться за перо, они, вероятно, стали бы из кожи вон лезть, сочиняя скверный роман или дурную поэму, и им даже в голову не пришло бы, какими сокровищами они обладают...»

А я держусь иного мнения. Пожалуй, эти моряки и впрямь сочинили бы лишь дурные вирши, но и путевые записи этих людей тоже не представляли бы никакого интереса. Потому что свидетельства самого по себе не существует,— есть свидетельствующий о чем-то человек. Нет приключений, есть человек, переживший приключения. Прочесть реальность непосредственно невозможно. Реальность — это груда кирпичей, которая может принять любые формы. Если этот журналист и написал свою книжку в телеграфном стиле и ограничился приведением конкретных фактов, все равно он неизбежно оказался посредником между реальностью и ее изображением. Он так, а не иначе отобрал материал,— он ведь не рассказал всего,— и расположил этот материал в им самим определенном порядке. Он возвел свое сооружение, подчинив сырой материал собственному замыслу.

Сказанное о конкретных фактах в равной мере справедливо и в отношении слов. Вот вам несколько бессвязных слов: cour, pavé, bois, retentir[1]. Попробуйте что-нибудь из них сделать... Вы отказываетесь. По-вашему, эти слова не способны волновать. А вот Бодлер, пользуясь тем же словесным материалом, покажет вам, что он может с его помощью создать величественный образ:

«Le bois retentissant sur les pavés des cours»[2].

При помощи слов «cour», «bois», «pavé» и «retentir» можно с такой же силой ударить по сердцам, как и описанием осени или лунной ночи. И я не вижу, почему бы посредством таких вещей, как подводное давление, гироскоп и линия прицеливания, автору не захватить нас так же сильно, как любовными воспоминаниями. Мое основное расхождение с другом заключается именно в том, что я не понимаю обратного: почему любовное воспоминание не может захватить читателя с такою же силой, как подводное давление, гироскоп и линия прицеливания. Я перелистал немало сентиментального вздора. Но я читал и тысячи историй, авторы которых тщетно пытались взволновать меня рассказом о том, как падала стрелка манометра. Ибо хотя стрелка и падала, хотя ее падение и угрожало жизни героя и хотя с жизнью героя, очевидно, была связана судьба его трепещущей супруги, я, несмотря на все это, не испытывал никакого

---

[1] Двор, камни мостовой, дрова, грохотать (франц.).

[2] «Дрова, грохочущие в каменных дворах» (франц.)— строка из стихотворения Бодлера «Осенняя песня».

волнения, если автор был бездарен. Конкретные факты сами по себе ровно ничего не говорят. Смерть героя достойна сожаления, в особенности если, умирая, он оставляет безутешную вдову. Но чтобы заставить нас пережить вдвое большее волнение, недостаточно придумать героя-двоеженца.

Основная проблема заключается, очевидно, в соотношении между реальностью и почерком, или, точнее говоря, между реальностью и мыслью. Как передать эмоцию? Что ты сообщаешь читателю, пытаясь выразить реальность? В чем тут главное? Это главное, на мой взгляд, в такой же степени отличается от использованных материалов, как неф собора отличается от груды камней, из которых он построен. В мире внешнем или внутреннем мы можем попытаться уловить и выразить лишь связи и соотношения. «Структура» — как сказали бы физики. Проанализируйте поэтический образ. Смысл его иного порядка, чем смысл выражающих его слов. Он не заключен ни в одном из элементов, которые в нем связаны или сопоставлены: смысл поэтического образа определяется типом связи, которую он создает, той внутренней настроенностью, которую вызывает в нас данная структура. Образ есть акт, который незримо овладевает читателем. Он не оказывает на читателя прямого воздействия: он его завораживает.

Вот почему книга Энн Линдберг представляется мне чем-то бо́льшим, нежели добросовестный отчет о воздушном приключении. Вот почему эта книга прекрасна. В ней использованы лишь конкретные понятия и технические соображения, ее сырой материал — чисто профессионального происхождения. И вместе с тем смысл ее совсем в ином. Разве мне так уж интересно знать, насколько трудно было в одном случае подняться в воздух, насколько томительно в другом случае было ожидание, насколько Энн Линдберг было приятно или неприятно ее путешествие? Все это — руда, а вот что она из этой руды извлекла? Произведение искусства строится как силок. Но пойманная добыча — это уже нечто совсем иное. Возьмите строителя собора: материалом ему послужили камни, а он сотворил безмолвие.

Настоящая книга подобна сети, петли которой сплетены из слов. Но дело не в том, из чего сделана сеть. Все дело в живой добыче, которую рыбак вытаскивает из морских глубин, в ослепительном блеске серебра, переливающегося в петлях сети. Что же принесла Энн Линдберг из своего внутреннего мира? Каков вкус ее книги?

Определить его, сделать ощутимым очень трудно, потому что для этого пришлось бы написать целый том и говорить о многих вещах. А вместе с тем я чувствую разлитое по всем страницам легкое беспокойство, принимающее разные формы, но пронизывающее всю книгу, как незримый ток крови.

Мне кажется, что любое произведение искусства, если ему присуще глубокое внутреннее единство, почти всегда может

быть сведено к некой простой общей мере. Я вспоминаю фильм, в котором, помимо воли самого постановщика, основным героем оказалась тяжесть. Все в этом фильме было тяжелым. Над выродком-императором тяготела наследственность, тяжелые меха давили плечи, гнетущая ответственность подавляла премьер-министра. Даже двери — на протяжении всего фильма — и те давили. И в последнем кадре победитель, раздавленный тяжестью победы, медленно поднимался по темной лестнице к свету. Такое внутреннее единство не было, разумеется, преднамеренным. Оно не входило в замысел автора. Но то, что оно ощущалось зрителем, свидетельствовало о наличии в фильме непрерывной подспудной мысли.

Мне припоминается при этом довольно странное замечание Флобера по поводу его «Госпожи Бовари»: «Что вам сказать об этой книге? Прежде всего мне хотелось выразить в ней тот особый желтоватый оттенок закоулков, где иногда гнездится тоска».

Если свести к простейшей формуле содержание книги Энн Линдберг, его можно назвать душевной тревогой, возникающей в человеке от сознания, что он опаздывает. Как трудно продвигаться вперед, сообразуясь с внутренним ритмом, когда приходится преодолевать инерцию материального мира! Того и гляди все остановится! Какая нужна настороженность, чтобы спасти и жизнь и движение в мире, почти уже потерпевшем крушение...

Линдберг пилотирует небольшой гидросамолет в бухте Порто-Прая, он изучает ее режим. Энн Линдберг наблюдает за мужем с холма и видит, как он выбивается из сил, словно мошка, увязшая в клейкой мухоловке. И каждый раз, когда, гуляя по берегу, она смотрит на море, ей кажется, что муж ее так и не сдвинулся с места. Мошка напрасно перебирает лапками. Как трудно пересечь бухту! Стоит чуть сбавить скорость, и ты уже никогда из нее не выберешься...

Вот уже несколько дней оба они — пленники острова, где время потеряло смысл, где оно больше не движется. Где люди с чем живут, с тем и сходят в могилу, с одной и той же ничтожной мыслью в мозгу, да и та в один прекрасный день замирает.

«Здесь распоряжаюсь я...»,— в сотый раз твердит им хозяин с безразличием далекого эхо. Надо снова привести в движение время. Надо вернуться на материк, надо заново войти в русло жизни, где человек изнашивается, где он меняется, где он живет. Энн Линдберг страшит не смерть, а небытие.

А оно так близко, это небытие! Какая-то малость, и ты уже никогда не пересечешь бухты, никогда не выберешься с острова, никогда не вылетишь из Батерста. Оба они, Линдберг и его жена, немного запаздывают... Совсем немного... Самую малость... Но достаточно небольшой задержки, и никто на свете тебя уже не ждет.

Я вспоминаю маленькую девочку, которая никак не могла

угнаться за своими подругами. Где-то там играют другие дети. «Подождите меня! Подождите!» Но вот она немного отстала, детям не терпится, они о ней забывают, они оставляют ее одну на свете. Чем ободрить ее? Это уже непоправимо. Потому что если девочку все-таки примут в игру, а она опять замешкается и отстанет, подругам это в конце концов надоест. Они и так уже перешептываются между собою, и так они уже косо на нее поглядывают... Они бросят ее одну на свете!

И это внутреннее беспокойство, охватывающее супружескую чету, которую приветствовали толпы, действительно поражает: телеграмма о том, что их с нетерпением ждут в Батерсте,— и признательности их нет границ. Но вот они не могут вылететь из Батерста,— и им совестно быть людям в тягость. Дело тут вовсе не в ложной скромности, а в сознании смертельной опасности: стоит немного опоздать, и все погибло.

Это благотворная тревога. Это голос совести, который ничем и никогда не заглушить: он заставляет их пуститься в путь за два часа до рассвета, опередить своих предшественников и пересечь океаны, еще внушающие непреодолимый страх другим.

Как все это не похоже на всякие повести, где события нанизаны одно на другое с произвольностью охотничьих рассказов! Как прочно опирается Энн Линдберг в своей книге на что-то, не поддающееся выражению, что-то первичное и всеобщее, как миф. Как умеет она, через технические рассуждения и конкретные факты, дать почувствовать самую сущность человеческой природы! Она пишет не о самолете, а с помощью самолета. Чисто профессиональные понятия помогают ей раскрыть перед читателем нечто неуловимое, но существенное.

Линдберг так и не вылетел из Батерста. Самолет оказался перегруженным. А между тем, чтобы оторвать машину от земли, достаточно было бы порыва морского ветра. Но ветра нет. И путешественники снова барахтаются в клейкой мухоловке. Тогда они решаются на жертвы. Они выбрасывают из самолета часть провизии, наименее важные приборы и запасные части. И снова пытаются взлететь, и снова терпят неудачу, и каждый раз опять идут на новые жертвы. Мало-помалу пол их комнаты загромождают драгоценные предметы, которые они с таким сожалением, по одному, отрывали от себя, грамм за граммом уменьшая балласт...

Энн Линдберг с захватывающей правдивостью повествует об этих маленьких профессиональных невзгодах. И она, разумеется, не ошиблась в том, что составляет пафос летного ремесла. Пафос этот вовсе не в золотых вечерних облачках. Золотые облачка отдают дешевым литературным штампом. Но он может заключаться в описании того, как человек орудует отверткой, образуя на приборной доске, среди безупречного порядка циферблатов, черный провал выбитого зуба. Не следует, однако, заблуждаться: если автору удалось тронуть и сердце непосвя-

щенного, и душу летчика-профессионала, то это значит, что через чисто профессиональный пафос он сумел подняться до пафоса общечеловеческого. Энн Линдберг возродила древний миф об искупительной жертве. Известно, что иные деревья нужно подрезать, чтобы они приносили плоды; нам ведомы люди, которым и в монастырской келье открываются бескрайние духовные горизонты, и эти люди, идя от самоограничения к самоограничению, достигают подлинной свободы.

Но дело не обходится без помощи богов: и Энн Линдберг постигает предопределение. Недостаточно вытачивать человеческое сердце, чтобы его спасти: надо, чтобы его коснулась благодать. Недостаточно подрезать дерево, чтобы оно зацвело: необходимо еще вмешательство весны. Недостаточно облегчить груз самолета, чтобы он мог оторваться от земли: нужен порыв морского ветра.

Ничуть о том не помышляя, Энн Линдберг возродила миф об Ифигении. Она поднимается на такую высоту, что ее борьба со временем приобретает смысл борьбы со смертью, а отсутствие ветра в Батерсте заставляет нас задуматься о судьбе; читая ее книгу, мы понимаем, что гидроплан — на воде тяжелая и громоздкая машина — изменяет свою сущность и преображается в трепетного чистокровного скакуна, когда его коснется благодать морского ветра.

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОМЕРУ ЖУРНАЛА «ДОКЮМАН», ПОСВЯЩЕННОМУ ЛЕТЧИКАМ-ИСПЫТАТЕЛЯМ

Жан-Мари Конти́ расскажет вам здесь о летчиках-испытателях. Конти — инженер, он верит в уравнения, и он прав. Уравнение позволяет овладеть опытом. Однако на практике машина редко вылупляется из математического анализа, как цыпленок из яйца. Иногда математический анализ предшествует опыту, но часто он ограничивается тем, что обобщает его. Впрочем, это и есть самое главное. Предположим, грубые измерения показывают, что вариации данного явления можно выразить ветвью гиперболы. И теоретик обобщает эти опытные данные в уравнении гиперболы. При этом он посредством скрупулезного анализа доказывает также, что иначе и быть не могло. Когда же более тщательные измерения позволят ему уточнить свою кривую, которая теперь уже больше похожа на кривую, соответствующую иной формуле, он обобщит данное явление с еще большей точностью при помощи этой новой формулы. И снова докажет, путем не менее скрупулезного анализа, что и эти результаты можно было предвидеть с самого начала.

Теоретик верит в логику. Ему кажется, будто он презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, что они, эти три феи, просто переоделись, чтобы обольстить его, как влюбчивого

мальчишку. Он не знает, что как раз этим феям обязан он своими самыми замечательными находками. Они являются ему под именем «рабочих гипотез», «произвольных допущений», «аналогий», и может ли теоретик подозревать, что, слушая их, он изменяет суровой логике и внимает напевам муз...

Жан-Мари Конти расскажет вам о роскошной жизни летчиков-испытателей. Но ведь он был ученым-инженером. И он будет убеждать вас, что скоро летчик-испытатель превратится для инженера всего-навсего в измерительный прибор. Но что ж, я разделяю его убеждение. Я верю даже, что придет день, когда мы, заболев и не ведая причины заболевания, доверимся физикам, которые, ни о чем нас не спрашивая, возьмут у нас шприцем кровь, выведут на основании ее анализа несколько величин, перемножат их, после чего, заглянув в таблицу логарифмов, исцелят нас какой-нибудь пилюлей. И все-таки, случись мне заболеть, я, пожалуй, пойду к старому сельскому врачу, который взглянет на меня искоса, пощупает мой живот и, положив мне на спину старенький носовой платок, выслушает мои легкие, потом, немного покашляв, раскурит свою трубочку, почешет бороду и, чтоб вернее меня исцелить, улыбнется мне.

Я все еще верю в Купэ, Лана и Дэтруая́; для этих летчиков самолет — не сумма параметров, а живой организм, который можно выслушать. Вот они приземляются. Они молча обходят машину. Ласково поглаживают фюзеляж, щупают крылья. Они не производят никаких расчетов: они думают. Потом они повернутся к инженеру и запросто скажут: «Ну что ж... надо бы укоротить стабилизатор».

Разумеется, я преклоняюсь перед Наукой. Но я преклоняюсь и перед Мудростью.

ПИСЬМА К РЕНЭ ДЕ СОССИН

(Париж, осень, 1923)

Ринетт!

Это просто непростительная рассеянность — до сих пор не вернул вам вашей сказки. Зато, благодаря забывчивости, у меня осталось фото очаровательного уголка, и поэтому я ни о чем не жалею.

В воскресенье собрался наконец вам позвонить, чтобы извиниться, но вас не оказалось дома, и от мадам де Соссин узнал о вашей утрате... Ринетт, я могу лишь заверить вас в моей давней дружбе и сказать, что всем сердцем разделяю вашу скорбь.

Вчера вечером присутствовал на торжестве великолепного Эвзебия. Перед набитым до отказа залом он рассказывал о том, как взбираются на горные пики, более острые, чем колокольни. Он небрежно повествовал о своем геройстве, и старые почтенные дамы содрогались. Рассказ был неплох, но описания, Ринетт... «Божественные» вершины, небеса, восходы, закаты солнца он расписывал красками, слащавыми, как варенье, как карамель. Горные пики розовели в первых лучах восходящего солнца, горизонты были молочными, а скалы золотились. И пейзаж приобретал совершенно съедобный характер. Слушая Эвзебия, я оценил сдержанность, с которой написана ваша сказка. Надо работать, Ринетт. Вы умеете схватить в каждой вещи ей одной присущую черту, благодаря которой она живет собственной жизнью. У Эвзебия все вещи остаются абстракциями. У него — Вершина, Закат, Восход. Все это — сплошная бутафория. И чем старательнее он их расписывает, тем они становятся безличнее.

Метод его никуда не годится, точнее, у него отсутствует настоящее ви́дение. Учиться нужно не писать, а видеть. Писать — это следствие. А он берет вещь и старается изо всех сил ее приукрасить. Эпитеты ложатся густыми мазками. Он не схватывает в каждой вещи ее сущность, а наделяет ее совершенно произвольными украшениями. По поводу горного пика он будет разглагольствовать о боге, о розовато-лиловых переливах, об орлах. И вот мы должны последовательно пережить величие, умиление и страх. Но это трюки. Задайтесь вопросом: «Как передать такое-то впечатление?» И вещи родятся из их воздействия на вас и, благодаря этому, станут живыми. А это уже не игра.

Я рассказываю вам об Эвзебии потому, что его недостатки по контрасту оттеняют ваши достоинства, которые вам нужно развивать. Идите всегда от впечатления, и никакая банальность вам не грозит. В вашем рассказе будет внутренняя связь. Слова не будут притянуты за уши. Посмотрите, как самые бессвязные монологи у Достоевского выглядят внутренне необходимыми, логичными, как все они строятся вокруг одного стержня. Но

связь их чисто внутренняя. А потом проследите, насколько герои многих писателей, детально разрабатывающих психологию, которая могла бы создать единство образа, остаются совершенно произвольными в своих словах и действиях, несмотря на кажущуюся логичность. Все это искусственные построения, вроде Эвзебиевых гор. Живой образ создается не путем сочетания определенных достоинств и недостатков, из которых выводится коллизия романа, а лишь посредством передачи пережитых впечатлений. Даже такое простое чувство, как радость, слишком сложно, чтобы его можно было придумать, и вы не можете, рассказывая о своем герое, удовлетвориться словами «он был рад»,— словами, которые ничего не говорят, потому что не выражают ничего индивидуального. Одна радость не похожа на другую. А именно эту разницу, то есть неповторимую жизнь данного чувства, и нужно передать. Но при этом не надо быть педантом, не надо расписывать радость. Радость надо выразить через ее проявления, поступками человека. И тогда вам даже не понадобится говорить «он был рад», радость сама собой родится во всей ее индивидуальной характерности именно как та радость, которую вы переживаете и к которой не применимо ни одно готовое определение. Если вы считаете, что слова «радость» достаточно, чтобы выразить чувство вашего героя, это значит, что само чувство выдумано вами и вам просто нечего сказать.

Боюсь показаться вам смешным и потому кончаю. В маленьком бистро, где я пишу это письмо, пианола воспроизводит какую-то сентиментальную мелодию, усталая кассирша клонится из стороны в сторону. Хозяин, у которого уже нет никаких желаний, не может сдержать зевоту. Гарсон покашливает и кружит вокруг моего столика, потому что я последний посетитель, а ему хочется спать,— все это нагоняет тоску. Я чувствую себя лишним. И ухожу.

Не поблагодарил вас, Ринетт, за Баха, которого вы мне играли в прошлый раз. Я не умею благодарить, но вы доставили мне огромное удовольствие.

Гарсон встал передо мною как вкопанный и машет салфеткой, словно метлой.

Прощайте же, Ринетт.

Антуан.

* * *

(Париж, весна, 1925)

Дружище Ринетт!

Возвращаю вам роман Мадам де... И присовокупляю все, что я о нем думаю. Я останавливаюсь на его недостатках как раз потому, что нахожу в нем и кое-что хорошее, в противном случае о нем вообще говорить бы не стоило. Но все мои замечания

совершенно субъективны, и мои взгляды на литературу многим покажутся чуждыми. Впрочем, мне это глубоко безразлично.

Мне очень неловко, что я тогда слишком погорячился из-за Пиранделло. Я не должен был позволять себе такие слова, как «философия консьержки». Но я так привык применять это выражение к Пиранделло, что оно по привычке само сорвалось у меня с языка. Очень сожалею о своей бестактности.

Однако мне хотелось бы высказать вам свои взгляды, потому что вопрос этот все-таки очень важный и мы не имеем права от него уходить. Я не могу относиться к идеям, как к теннисным мячам или мелкой разменной монете, имеющей хождение в светских салонах. Ни одним из качеств светского человека я не обладаю и считаю, что играть в мысли не следует. Когда же разговор случайно переходит на близкую мне тему, меня забирает за живое, я становлюсь нетерпим и смешон; Эвзебий совершенно прав, утверждая, что спорить со мной невозможно. Но если я бесконечно сожалею о своей «философии консьержки», то о том, что рассердился, я не сожалею ничуть.

Потому что, видите ли, Ринетт,— отвлекаясь от литературных воззрений,— никто не вправе сравнивать такого человека, как Ибсен, с господином Пиранделло. Первый — это человек, занятый самыми высокими задачами. Он сыграл общественную, нравственную роль, он оказал влияние. Ибсен пытался заставить людей понять многое, чего они понимать не хотели. Он ставил самые глубокие проблемы, в частности, он, по-моему, изумительно верно подошел к женскому вопросу. И, наконец, Ибсен,— независимо от того, удалось ему это или нет,— стремился дать нам не новую игру в лото, а духовную пищу. Все его творчество насквозь человечно. Вас непосредственно касаются и его откровения, и его ошибки, при том условии, что свою внутреннюю жизнь вы полагаете существенной стороной жизни.

Обратимся теперь к Пиранделло; может быть, он и впрямь выдающийся драматург,— и мы сейчас этого коснемся,— но он сотворен и послан на землю для развлечения светских бездельников, для того чтобы научить их играть в философию, как они уже играли и в политику, и в общие идеи, и в адьюльтерные драмы. Все эти игры не менее идиотское занятие, чем бридж. И проводить аналогию с творчеством Ибсена вы не имеете права. Ибсен не стремился заинтересовать вас или развлечь. Он стремился объяснить вам вещи, которые считал истинными. А в таких случаях человек всегда выше своего творения, каково бы оно ни было.

Поймите хорошенько, что мое обвинение вовсе не продиктовано личными вкусами... и еще в меньшей степени я отстаиваю какие бы то ни было литературные позиции,— с моей стороны было бы претенциозным относиться к этим вопросам с такой горячностью,— но для меня это своего рода нравственная проблема.

Что же до драматургического таланта Пиранделло, то я как раз порицаю в нем то, что привлекает вас. Я приведу свои доводы по порядку.

I. Смелость в перенесении на сцену философских проблем.— Но он не первый. Некоторые болваны, вроде Ленормана, делали до него то же самое.

II. Оригинальность сюжета,— Но это пропись из школьной хрестоматии. Любой семнадцатилетний мальчишка, студент-филолог из отстающих, с полнейшей путаницей в голове, мог бы пойти куда дальше. Он с благородной гордостью отрицает реальность внешнего мира (при этом он только забыл заглянуть в свой учебник и поинтересоваться значением слова «реальность»).

III. Занимательность сюжета.— В пьесе Пиранделло я вообще не вижу никакого сюжета: либо он сводится к пошлости, не имеющей ничего общего с философией, либо лишен всякого смысла.

а) Итак, все что говорит Пиранделло,— пошлость. Потому что вам и до Пиранделло было известно, что каждый наш приятель воспринимает нас по-разному и каждый человек вызывает в другом иной, особый отклик; поэтому всякий человек представляет для другого сумму вызываемых им реакций, так же как в плане материальном стол есть итог производимых на нас зрительных и осязательных впечатлений. Совершенно очевидно, что мы не сознаем при этом ни «существа в себе», ни «стола в себе». Вам и до Пиранделло было известно, что десять очевидцев опишут то или иное событие с десяти различных точек зрения. Это уже не философская проблема.

б) Если же проблема Пиранделло действительно проблема философская и касается «истины в себе»,— значит, она им неверно поставлена и не имеет никакого смысла.

Возьмем для примера сходную, но более простую проблему, а именно проблему реальности внешнего мира, например, нашего стола. Реален ли он или нереален «в себе»? К такой проблеме можно подойти с двух сторон:

а) Прежде всего мы должны точно установить, что значит «реальность» и «нереальность». То есть дать точное определение термина «реальность». Совершенно очевидно, что если вы в конце концов даже и придете к «нереальности» внешнего мира, для вас это ни в какой мере не будет означать, что вы не сможете наткнуться на стол. В данном случае реальность будет иметь совершенно особый смысл.

б) Решение проблемы.

Первая ее часть, быть может, наиболее сложная, требует долгой привычки к отвлеченному мышлению. Если вы уклонитесь от ее разрешения, все, что вы скажете в дальнейшем, уже не будет иметь никакого смысла. Именно так и сделал Пиранделло, свернув с пути, который вел к истине. Иначе он и не мог поступить. Можно ли разрешать в сценических образах проблемы

столь абстрактные, столь мало поддающиеся воплощению в образы? Поэтому проблема в его пьесе даже и не поставлена. И пьеса его бессмысленна.

Более того: даже если бы он был в состоянии трактовать эту проблему, он намеренно уклонился бы от истины.

Действительно, иначе как извратив смысл слов и одурачив самого себя, нельзя перекинуть мост от философской проблемы к сценической эмоции и перенести в план эмоций вещи, ничего общего с чувством не имеющие. Если студента «волнует» утверждение, что внешний мир не реален,— значит, он плохо понимает смысл слова «реальность». Он, по-видимому, ждет, что вот-вот научится проходить сквозь стены или приобретет какие-то аналогичные свойства, о которых он не может составить себе более точного представления. Ему кажется, что философские выводы непосредственно применимы к повседневной жизни. И все это делается ради наигранного волнения, ради фальшивого переживания.

Понятно ли вам, в чем тут ошибка? Она элементарна. Вы наделяете общепринятый смысл слова «истина» или слова «реальность» пониманием, применимым к этим словам лишь в плане очень отвлеченного и философского их толкования. И дело сводится к уже совершенно иному вопросу. Вы опрокидываете таким образом все представления, которые вовсе не требуют такой операции, потому что они закономерны в своем плане, то есть в плане чувственного опыта.

Когда вы говорите «стол реален», вы как бы хотите сказать: при известных условиях я с детства привыкла испытывать такой-то комплекс реакций, причину которых я называю «столом». В таком утверждении нет ничего ни истинного, ни ложного: это констатация факта. Вы никак не можете отрицать подобной реальности стола.

В философии же, наоборот, вы обратились бы к совершенно иному способу доказательства реальности; и именно потому, что речь шла бы уже о совершенно иных вещах, выводы, к которым вы пришли бы, рассуждая о столе (в плане философском), были бы неприложимы к столу (в плане обыденном), а сценический трюк достигнут, именно благодаря тому, что Пиранделло свел оба вывода к одному плану и произвольно подменил определения. Таким способом вы подрываете все привычные представления зрителя и выбиваете у него почву из-под ног.

Но это не более чем трюк. И притом не слишком тонкий, потому что любой студент, филолог или математик, сто раз проделывал такой же фокус. Пиранделло попросту изготовил настоящую русскую окрошку из различных значений слова «истина», но я не нахожу в этом ничего интересного. А его так называемый герой, которого он захотел наделить иронией, скепсисом и чувством превосходства,— просто идиот. Основное достоинство умного человека заключается в умении понимать язык других людей

и говорить с ними на их языке. Но так как в этой пьесе вообще никто толком не знает, что он хочет сказать, то неразбериха получается полная.

IV. Вам, по-видимому, кажется необычайной смелостью постановка на сцене философской проблемы вместо амурной драмы пустеньких дамочек. Ну а я этого не нахожу. Драма таких дамочек имеет, по крайней мере, прямое отношение к светскому обществу. Если же светские люди хотят заниматься философией, пусть обратятся к соответствующим книгам и как следует их проштудируют. Но в том-то и вся суть, что им нет никакого дела до философии. Философия требует слишком больших усилий и дает лишь *интеллектуальное наслаждение.* А им на такие наслаждения в высшей степени плевать. Больше всего они мечтают именно о том, чтобы перестать понимать что бы то ни было и поставить с ног на голову все здравые понятия. Тогда они говорят: «Как это любопытно...» — и при этом у них по спине мурашки бегают.

Понимаете ли вы, почему мне кажется таким важным вопрос о Пиранделло? Почему я считаю, что значение его выходит за рамки простой критики пьесы? Именно потому, что это своего рода этическая проблема.

Несколько лет назад светские люди из тех же самых побуждений ухватились за злосчастного Эйнштейна. Им захотелось потерять представление о чем бы то ни было, испытать величайшее смятение, почувствовать прикосновение «крыла неведомого». Эйнштейн был для них чем-то вроде факира. И его чисто математические рассуждения, применимые — независимо от их истинности или ошибочности — лишь в плане математическом, люди, подобные Пиранделло, путем произвольной подмены транспонировали в план повседневной жизни. Светским же людям приелась повседневность. А Эйнштейн мог, видите ли, научить, как попасть с площади Согласия на площадь Бастилии более коротким путем, чем по прямой, как проходить сквозь стены или возвращать время.

Это напоминает мне одно из моих путевых наблюдений: жена коменданта, старого фельдфебеля довоенных времен, маленькая робкая лавочница, скромно штопающая чулки, сидя в уголке за своим прилавком, и время от времени вставляющая в разговор: «Привет вашей дамочке...» — и развязная, снисходящая до беседы с ней жена лейтенанта, объясняющая Эйнштейна!

Это было восхитительно!

Видите ли, Ринетт, правильное мышление можно воспитать лишь путем строжайшей дисциплины мысли, и это одно из самых драгоценных качеств. Во всяком случае, оно должно было бы считаться самым драгоценным. Но вы, наверное, сами заметили, что люди всячески стремятся обогатить свою память, свои познания, упражняются в красноречии, но они почти никогда не заботятся о культуре мышления. Они стараются рассуждать

логически, не заботясь о том, чтобы правильно мыслить. Они смешивают эти вещи.

Вот почему надо любить Ибсена, который пытается дать истинное понимание человека, и не увлекаться Пиранделло — не увлекаться никакими ложными эффектами: это трудно. Непонятное всегда привлекательнее того, что ясно. Из двух объяснений какого-нибудь явления люди инстинктивно предпочитают сверхъестественное. Потому что другое, истинное объяснение слишком просто и тускло: от него волосы на голове не встают дыбом. Парадокс всегда притягательнее, и большинство всегда предпочитает парадокс. Я говорю сейчас о явлении общераспространенном. Очень многие заблуждения обусловлены именно такой потребностью. Потребностью приукрасить мысль не для того, чтобы лучше ее понять, но для того, чтобы потрясти воображение.

Можно пойти гораздо дальше. Можно, пожалуй, сказать, что все, что поражает и прельщает воображение, почти всегда неверно. И первое условие понимания есть своего рода бескорыстие, забвение самого себя. Светские же люди используют науку, искусство, философию, как они используют шлюх. И Пиранделло для них тоже своего рода шлюха...

Друг мой, Ринетт, простите мне все это письмо. Не сердитесь на меня. И простите мне также «философию консьержки». Я не могу относиться к таким вопросам, как к светской забаве. Я придаю им слишком большое значение. У меня нет ни малейшего желания очаровывать блестящими парадоксами и тут же с готовностью отказываться от своих слов. Мне отвратительны светские люди, когда они самодовольно сообщают: «Мы пофилософствовали...»

Я люблю людей, которым жизнь открывается во всей неприкрытой наготе, потому что им приходится заботиться о собственном пропитании, о том, чтобы прокормить детей и дотянуть до очередной получки. Таким людям многое понятно без философствований. Вчера на автобусной остановке я встретил простоволосую женщину с пятью ребятишками. Она преподала им очень много полезных вещей и мне тоже. Светские же люди ничему меня еще не научили.

А вечером мне довелось поболтать с одним несчастным созданьем. Вот что я услышал: «Я служу манекенщицей у Дреколля. Зарабатываю шестьсот франков в месяц. Муж недавно бросил меня с сынишкой на руках. Чтобы иметь возможность работать, мне пришлось отдать ребенка кормилице. Это стоит триста франков ежемесячно. И триста у меня остается на себя. Что поделаешь? Ни одна женщина в Париже не зарабатывает и тысячи франков в месяц. Ну я и пошла на улицу. Попробовала. Ложусь в пять утра и сплю три часа в сутки, потому что днем еще работаю манекенщицей. Но у меня ничего не получается. Подружки говорят, что я слишком робка. Теперь у меня

бронхит и что-то в левом легком. Долго я так не протяну. Придется поступить «в дом», раз я не умею «приставать» по-настоящему, а так я долго не протяну. В «доме» меня уж кто-нибудь да возьмет. А что делать? Так я хоть прокормлю себя и малыша. Это уже кое-что».

Это действительно «кое-что»! Что я мог ей ответить?

Все это покажется банальным людям, которые находят в подобных историях, как и в мюзик-холльных сценках с «жиголетт», повод для переживаний и лицемерной жалости. Это очень в стиле 1880 года, это очень мелодраматично. Человеческое горе служит этим людям таким же источником сильных ощущений, как и философия господина Пиранделло. Впрочем, философия его уже вышла из моды.

Это напоминает мне разговор, подслушанный Леоном Вертом: «Но, дорогой мой, если вы уверяете, что любите людей, почему же вы отнимаете у них величайшее утешение — бога?» — «А для того, сударыня, чтобы они искали себе другое утешение и свернули вам шею».

Мне это очень понравилось.

Дружище Ринетт, не надо на меня сердиться. Я и впрямь нетерпим, как говорит Эвзебий, но это вовсе не из самонадеянности или из гордости, а потому что именно терпимость мне и отвратительна. Иные вещи и мысли нужно любить всерьез, а не ради забавы.

Я неотесанный грубиян, это меня огорчает. Даже очень огорчает, и по многим причинам.

До свиданья, Ринетт. Поверьте дружбе, в которую я вкладываю большую часть моей души.

Антуан.

Сейчас звонил вам. Завтра занесу роман. Мне не дает покоя Пиранделло, и я все-таки принес вам это письмо.

* * *

Тулуза (октябрь, 1926)

Вот я и в Тулузе, Ринетт. От тех нескольких дней в Париже у меня осталось грустное воспоминание. Визиты, поездки, экзамен. Переезд из моего номера в гостинице. Затруднения с перевозкой чемоданов, набитых книгами и кучей странных вещей, с которыми я не мог расстаться. Граверный пресс, машинка для набивания сигарет, которые мне никогда не понадобятся, но которые вдруг показались мне крайне нужными. И потом внезапно пятнадцать свободных минут перед поездом. Целых пятнадцать ничем не заполненных минут.

А вечером я никого не смог поймать. Эвзебий улетучился в Фонтенбло, М. отправился в кино, вы — в концерт. Я остался в полном одиночестве на набережной Малакэ рядом с телефоном,

который словно умер. При виде шляпы и пальто, брошенных на кресле, я почувствовал себя страшно неуютно.

Теперь я наконец спокойно усаживаюсь рядом с вами. Чего вы не позволяли мне там, в Париже. И вы корили меня за то, что я не расшаркивался перед людьми, которые мне были глубоко безразличны и которые крали у меня ваше внимание,— мне даже трудно выразить, как я был обижен. Может быть, меня обижала всегдашняя скупость, с которой вы отдаете себя людям. Вам неохота писать: ну конечно. Потому и неохота, что вам нечего сказать. Но если вечно толчешься на людях, то и говорить тоже не о чем. А я всегда прихожу с солидным багажом, который мне никогда не удается распаковать. И глупо было бы корить за это вас: виноват я, что приволакиваю все это.

Впрочем, сегодня вечером, благодаря тому, что вы далеко, я преисполнен мира и философического спокойствия. И потом у меня грипп. Меня приятно лихорадит. Чуть побаливает голова,— все что надо, чтобы расчувствоваться над самим собой.

И вот я усаживаюсь рядом с вами, чего вы, разумеется, не можете мне позволить. Вас это раздражает. Но если бы вы знали, как мне это безразлично. Потому что сегодня вечером я фабрикую вас по своему вкусу, и вы представить себе не можете, до чего вы милы. По правде сказать, ведь это единственные мои разговоры с вами,— те, что я выдумываю сам. Вы так терпеливы! И так умны — вы понимаете все. А я становлюсь болтлив: какое чудо! И я вознаграждаю себя с моей выдуманной подругой за свое молчание.

Может быть, потому я так и держусь за вас, что сам же вас выдумываю. Но иногда все-таки вы совпадаете с выдуманным мною образом. Во всяком случае, вы даете ему пищу. А ваш музыкальный вечер делает очень достоверной подругу, которая сегодня со мной. К вам примешалось что-то от Оффенбаха. Вы просвечиваете, как абажур. Не жалуйтесь. Это не так плохо. И, кроме того, это вас не касается.

По правде сказать, я пишу вам все это — и притом совершенно искренне,— чтобы вас подразнить. В другой раз я буду грустным. Но мой сегодняшний грипп изменил все оценки. Сегодня я не способен к слишком глубокой меланхолии. И поэтому-то мне, пожалуй, не стоит большого труда сказать вам, что вы не шикарный друг. Я говорю это с издевкой, но без всякой горечи — вы же не любите доставлять горькие минуты (вы вообще не любите ничего давать людям).

Я знаю, что есть люди, которым неприятно, когда вторгаются в их внутренний мир. Им кажется, что злоупотребляют их доверием или посягают на их независимость. Как знать! Впрочем, это забавно. Именно такой вы мне и представляетесь. И с моей стороны просто бесцеремонно усесться вот так против вас и держать вас в плену — какая печальная участь! А скоро я увезу вас пленницей в Сенегал — подумать только!

Как жаль, что иногда вы способны делать мне немного больно — и что я так плохо защищен. Но сегодня ваш образ такой легкий. Если бы я писал стихи, я наговорил бы вам уйму красивых слов. Я сказал бы: «Ваш образ — с новой строки — легок, как горлинка...» Это же очаровательно? И потому это любезно. Понимаете ли вы, как это очаровательно? Горлинка, символ чего-то недолговечного... Стоит сказать «пффф...» — и ты свободен. К несчастью, иногда эта свобода означает просто неприкаянность. Перед моим почтовым ящиком я тоже делаю «пффф...». Но неприкаянность все-таки тяготит.

Ну вот. Тем хуже для вас, получайте это письмо. Впрочем, оно адресовано не вам. Имею же я право говорить с самим собой. Хоть и смошенничав, но я все-таки немного приоткрыл свои чемоданы.

А теперь, если вы думаете, что я сообщу вам день моего отъезда, расскажу о погоде или о том, что я ел на обед, то вы этого не дождетесь. В Сен-Морисе[1] у меня есть огромный сундук. С семи лет я складываю в него планы моей пятиактной трагедии, письма, фотографии. Все, что я люблю, о чем думаю и что хотел бы сохранить на память. Время от времени я все это выкладываю на пол. И, лежа на животе, я мысленно переживаю прошлое. Только этот огромный сундук и значит что-то в моей жизни.

На все остальное — на погоду, на мой обед, на мою дальнейшую судьбу — мне плевать.

Больше мне нечего сказать вашему образу...

Антуан.

* * *

Тулуза, 24 октября, 1926

Ринетт, простите мне мое последнее письмо. Сегодня пишу вам опять.

Скучный воскресный день подходит к концу. Нескончаемый дождь. Неудачное воскресенье,— мне пришлось встать в шесть часов утра, чтобы сесть на свой «брегет» и пасти тучи. Через десять минут он уже обнаружил непреодолимое желание вернуться в конюшню. (Как видите, я начал выражаться в стиле аббата Делиля... Вот что значит жить в провинции!) И из-за этого десятиминутного полета я целое воскресенье хожу заспанный. Весь день потратил на покупку спичек, сигарет и почтовых марок. Уж очень хороша продавщица в соседнем киоске. У меня в комнате уже более тридцати спичечных коробок и лет на сорок почтовых марок. Меланхолический итог недели любви.

[1] Усадьба близ Лиона, где Сент-Экзюпери провел годы детства.

Эта продавщица — сплошное очарование. Ее конторка величественна, как трон. Чувствуешь себя перед ней ничтожеством, а ее — недосягаемой. И в упоении слышишь только: «С вас сорок сантимов...» Довольствуешься и таким выражением любви.

Спрашивается, о чем думает такая продавщица?

Может быть, просто ни о чем, но вид у нее глубокомысленный.

Ах, как мне не достает моих друзей! У меня их очень мало, но тем больше я ими дорожу. Если вернусь очень-очень не скоро с длинной белой бородой, все вы к тому времени меня позабудете. Это приводит меня в отчаяние, потому что мне неведомо даже, куда я еду. Окажусь ли я — по воле богов — в Аликанте, в Марокко или в Дакаре, кто его знает.

От этой фразы, которую я только что написал, меня охватила такая тоска, что я бросился звонить вам по телефону. Но вас, конечно, не оказалось дома. Вы опять наводили порядок в каких-то ящиках? Как всегда, когда вы мне нужны.

Если бы вы только знали, Ринетт, какая великолепная штука — авиация. Здесь она — дело нешуточное, и именно такой я ее люблю. Это не спорт, как в Бурже́, а нечто совсем иное, необъяснимое, вроде войны. Как хорош вылет почтового на рассвете, в дождь! А ночные дежурства, когда сквозь сон слышишь предсказание тумана над Пиренеями и бури над Испанией, которая окончательно разбудит пилота. Потом, после отправки самолета, пока пилот ушел в свои проблемы, ты возишься в грязи на земле. Ринетт, мне хотелось бы быть уже далеко отсюда.

Ну вот. Хотел бы вам позвонить. Да я не умею болтать, и, чтобы не растеряться, я мямлил бы только «алло... алло...». Грустно быть немым. Я хотел бы быть красивым «жиголо» с великолепным галстуком и роскошной коллекцией граммофонных пластинок. Об этом надо было думать раньше, теперь уже поздно. О чем я искренне сожалею. Теперь, когда я уже начал лысеть, не стоит и пробовать. С тоской мечтаю о витринах бельевых и обувных магазинов. Если верить в перевоплощения, мой нынешний опыт когда-нибудь мне пригодится. Но это мало утешает.

Как бы я хотел, чтобы меня любили, и находили обаятельным, и восхищались моими ногтями. Никому, кроме меня самого, мои замасленные руки не милы.

Мой монолог вам, пожалуй, уже надоел. А мне и грустно и хорошо, но в таком состоянии трудно выражаться ясно и логично. Оттого что все друзья мои так далеко и я так одинок, я кажусь себе глубоким старцем.

Не пора ли вам написать мне?

До свиданья, дружок Ринетт.

Антуан.

* * *

Аликанте (ноябрь, 1926)

Вчера написал вам три письма и разорвал их одно за другим. Бесполезно так много говорить. Потом я вам звонил.

А сегодня вечером мое письмо будет уже более сдержанным, потому что я прекрасно отдаю себе отчет в том, что рассчитывать на вас нечего. Вы должны были бы соединить в себе слишком много благоприятных свойств, чтобы быть в состоянии помочь кому-нибудь. Вы не можете писать «просто так», вы мне это объяснили, но я не совсем понял, что это значит. Я уезжал чуть подальше, чем в Аньер или в Буа-Коломб. А это совсем другое дело, Ринетт.

Я и сейчас хорошенько не знаю, зачем пишу. Мне так нужен друг, которому я мог бы рассказывать о всех мелочах жизни. С которым мог бы поделиться. Сам не знаю, почему я выбрал вас. Вы такая чужая. Мои слова отскакивают от бумаги. Я уже не могу представить себе опущенные над моим письмом глаза, которые читали бы его и радовались моему солнцу, моим лакомствам, моим мечтам. Я пишу это письмо тихо-тихо, чтобы разбудить, не слишком веря, что мне это удастся. Может быть, я пишу самому себе.

Я еду не в среду, а в пятницу. У меня прекрасное настроение, хотя уже далеко за полночь. Это похоже на мои мальчишеские мечты о путешествиях. Под лампой в загородном доме. Когда взрослые усаживались играть в бридж, а дети, наоборот, становились очень серьезными. Китай был зеленый, Япония — голубой, два ярких пятна. На противоположной странице было написано: «У малайцев глаза черные», «У гаитян глаза голубые». Я, конечно, путаю цвета, но я хорошо понял в тот вечер, что никогда еще не видел по-настоящему черных глаз и по-настоящему голубых. Те, что я видел вокруг, я догадывался, были поддельными. И вот я отправляюсь раздобывать подлинные.

А потом есть еще другой способ путешествовать, и вчера я был очень далеко. Так далеко, что до сих пор чувствую себя не вполне здесь, словно я еще на все смотрю немного издалека, немного свысока. Я думал, что разобьюсь, и такого со мной не бывало даже в день моей первой аварии. Я снижался с трех тысяч метров, как вдруг ощутил толчок,— я решил, что случилась поломка,— и самолет вышел из повиновения. Спустившись до двух тысяч, я до отказа повернул штурвал — машина не подчинялась. Я считал штопор неотвратимым и отчетливо написал на одном из циферблатов: «Авария. Ищите. Предотвратить падение невозможно». Мне не хотелось, чтобы мою гибель приписали неосторожности. Эта мысль меня мучила. С каким-то удивлением я посмотрел вниз на поля, куда должен был упасть и разбиться. Это было ново для меня. Я почувствовал, что блед-

нею и холодею от страха. Страха, пронизывающего до мозга костей, но в этом страхе не было ничего унизительного. Скорее какое-то новое, невыразимое понимание.

Оказывается, никакой поломки не было, и я дотянул до земли. Но ни одной секунды я не верил в удачу. Выпрыгнув из самолета, я ничего не сказал. Мне ничего не было нужно, и мне казалось, что меня никто не поймет. Во всяком случае, не поймут самого главного. Того мира, куда мне контрабандой удалось заглянуть. Мира, из которого редко кому удается вернуться, чтобы о нем поведать. Слова бессильны рассказать об этих полях, об этом ясном солнце. Как сказать: «Я понял поля, я понял солнце...»? И все-таки это было именно то самое. В течение нескольких секунд я во всей полноте пережил ослепительное спокойствие этого дня. Дня, построенного прочно, как дом, где я был у себя, где мне было хорошо и откуда меня едва не выбросили. Дня с его утренним солнцем, с его высоким небом, с землей, по которой кто-то мирно вышивал тонкие борозды. Какое сладостное ремесло!

Потом на улицах я встречал дворников, подметавших свою часть этого мира. Я был им за это благодарен. И сержантам, охранявшим порядок на своем участке в сто метров. Как мудро был устроен этот дом! Я вернулся, обо мне заботились, и я любил жизнь.

Вы не поймете этого, и никто не поймет. А я хотел бы заставить кого-нибудь понять. Почему вам безразлично все это? Почему вы не слышите меня?

Мне вспоминается одно лицо. Я сказал что-то очень важное для меня, очень трепетное и увидел, как мои слова продолжают жить на этом лице. Я читал на нем малейшую смену выражений, все, что будила моя мысль. И вдруг почувствовал, что она ушла в песок. От нее не осталось ни следа радости, ни следа печали, ни усилия понять. Я безошибочно ощутил эту минуту отчуждения. Отчуждения настолько мгновенного, что оно даже имело какой-то смысл, и я понял, что значит изумительное выражение — «прогнать с лица тень». Тень облака, бегущего по пшеничному полю.

Я увожу с собой Ницше. Безгранично люблю этого человека. И это одиночество. Я растянусь на песке в Кап-Джуби и буду читать Ницше. Я обожаю некоторые его строчки: «Мое сердце, в котором сгорает лето, мое короткое, знойное, грустное и блаженное лето...» Я бы хотел, чтобы вы разделили эту мою страсть, но вы мало что способны разделять.

Антуан.

Не думаю, что получу ответ на это письмо, хотя уеду только в пятницу, потому что если вы написали мне вчера,— значит, уже отделались от этой повинности.

* * *

Тулуза, 24 (ноябрь, 1926)

Только что приехал. Ничего от вас не нашел. Не пишите мне, не стоит. Как видите, чтобы ни на что больше не надеяться, я не даю вам моего нового адреса. Хорош и я: вымаливать дружбу, как милостыню,— какой толк! Мне нужно было вам писать, а вам это было ни к чему. Так бывает. Возможно, я несправедлив к вам, но тем лучше, тем меньше я буду сожалеть о вас. Больше я вам не пишу, и даже если вы мне напишете, мне все равно: вы были не способны написать даже в тот вечер, когда обещали. Сам не знаю, для чего отправляю это письмо. В тот раз я уже разорвал три письма и с таким же успехом могу разорвать и четвертое. Впрочем, это мое прощанье. И не вздумайте себя корить: теперь, пожалуй, меня это уж не тронет. Видите ли, Ринетт, вина моя в том, что в один прекрасный день я начал слишком многого от вас требовать. Слишком многого от вас ждать... теперь я это вижу, мне жаль: я теряю большую дружбу, но не сержусь на вас. Я сам виноват, если не могу начать все сызнова и довольствоваться малым.

А.

* * *

Тулуза (декабрь, 1926)

Ринетт, простите меня... Пока я писал вам, вы, оказывается писали мне,— и при этом письмо, доставившее мне большую радость.

Ринетт, пишите мне иногда...

Я проделал забавное путешествие. Меня разбудили в четыре утра в Тулузе, и я снова лег досыпать в Танжере. У меня не было времени освоиться ни в Испании, ни в Марокко. Арабы со своими верблюдами показались мне вышедшими из цирка. Подумайте: путешествие без таможен, без границ, путешествие на высоте три тысячи метров, когда земля не бежит под вами. Неподвижное путешествие.

Смешная жизнь — не быть нигде, витать над какой-то безымянной и безликой землей, а во время минутных приземлений открывать крошечный уголок Марокко, крошечный уголок Испании и в качестве единственного сувенира увозить с собой сандвич.

Потому что по пути туда я пробыл в Аликанте не более десяти минут. А на обратном пути проспал там одну ночь. И теперь Испания — все, что я знаю в ней,— это Пепита, наша хозяйка. Товарищи говорят об Испании: «Это роскошная машина», а мне она не нравится...

Забавно попадать в страну изнутри, словно рождаться в ней. Ни названий станций с их чуждыми звуками, ни таможенных чиновников, ни носильщиков, ни извозчиков, которые оказывают вам первые почести. Еще как следует не размявшись, без какого-либо перехода погружаешься в маленькую жизнь маленького города. Едва-едва замечаешь предместья. Испания, Ринетт — всего лишь гарсон из кафе и Пепита, которая не больно-то красива.

Это почти грустно.

К тому же это горбатая страна, где при вынужденной посадке не поздоровится. При низкой облачности порою приходится вслепую огибать острые скалы. Один товарищ саркастически заметил: «Там и разбиться-то не обо что — приходится просто тонуть».

А то бывает еще и так. Накануне вылета меня вызвали в дирекцию, чтобы преподать кое-какие советы. В том числе — ни в коем случае не летать над сплошными, сомкнувшимися облаками, а стараться вовремя проскочить вниз через последнюю дыру, даже с риском оказаться на высоте в пятьдесят метров. (В таких гористых районах, как Испания, вершины то и дело заволакиваются облаками, и, снижаясь,— благополучно ли, нет ли,— их приходится обходить наугад.) Мне сказали: «Конечно, это недурно идти по компасу над морем облаков, но помните: под ними — вечность». И теперь, когда я вижу эту белую равнину, такую мягкую и мирную, я вспоминаю слова: «Под ней — вечность», и меня охватывает такое чувство одиночества, которое, по-моему, трудно постичь и которое почти сверхъестественно.

Здесь авиация совсем не то, что в Бурже, и весь дух совершенно иной. Здесь все совсем другое. Куда более суровое, но это лучше.

А в Тулузе,— о Ринетт,— я иду своей короткой провинциальной тропой, сворачиваю направо от этого фонаря и сажусь в кафе за тот столик. Покупаю газету в одном и том же киоске и каждый раз говорю продавщице одну и ту же фразу. И товарищи, Ринетт, одни и те же... до такой степени, что меня охватывает непреодолимое желание бежать от самого себя и стать другим. И тогда я перебрался бы в другое кафе, или к другому фонарю, или к другому газетному киоску...

Я очень быстро устаю от самого себя, Ринетт, и, должно быть, из-за этого ничего не сделаю в жизни. Мне уж очень нужно быть свободным.

А мои товарищи, мыслящие по трафарету, отравляют меня, поэтому у меня наперечет два-три друга, и с ними я живу в ладу. Вот почему вы должны иногда писать мне, даже если это требует героических усилий,— потому что вы, Ринетт, мой старый друг...

Антуан.

* * *

Перпиньян (декабрь, 1926)

Вы дурно обращаетесь со мной, Ринетт. Я не буду вам больше писать, потому что не хочу обманываться с каждой почтой. Вам это безразлично, а я здесь совсем один и радуюсь каждой мелочи. И потом в письмах вы отказываетесь поддерживать разговор. А письма, посылаемые из вежливости раз в три месяца, на меня наводят тоску. Вы сетуете: «Боже, опять надо отвечать на письмо!» Ну, и не отвечайте! И потом, может быть, вас действительно что-то во всем этом раздражает: люди так сложны.

Давать людям право, о котором вы пишете — право причинять боль,— очень неосмотрительно. Они этим правом злоупотребляют... Говорить вам об этом, по-видимому, чистейший идиотизм. Но мне все равно.

Я на ремонте в Перпиньяне. Завтра возвращаюсь в Тулузу. Сегодня вечером Перпиньян очень мрачен. Побродил по маленьким крутым улочкам. Здесь ютятся мелкие галантерейные лавчонки. Не знаю ничего безотраднее галантерейной лавки. Лавочницы продают на три су ниток, на два су иголок, и у них нет никаких надежд на «испано-суизу». А их покупательницы проводят жизнь за занавешенными окнами. За кружевными занавесками. Камины в их комнатах уставлены безделушками, которые сторожат их надежнее всякого тюремщика. И вся их жизнь соткана из привычек. Это такая неволя! Я страшно боюсь привычек.

Они, конечно, немного согревают, а мне уж очень не хватает тепла. Завтра ночью в Тулузе, послезавтра в Аликанте, и никогда я не принадлежу самому себе. Пределом счастья кажется мне удел самодовольного болвана, который, вернувшись с охоты, потирает перед очагом руки, восклицая «черт возьми!». И четверть часа набивает свою трубку. Это даже лучше, чем быть «жиголо». Я это понял сегодня вечером.

Снега Пиренеев сверху казались розовыми... И дальние Нарбоннские пруды тоже. Можете себе представить? Сбавив скорость, я медленно снижался к Перпиньяну, который был голубым. Это было восхитительно. Но описывать это — такая безвкусица. Вы не можете вообразить сладости спуска, когда больше уже не страшишься ни аварии, ни тумана, ни закрывших горы и сомкнувшихся под тобою низких облаков, «под которыми вечность». Мотор может отказать — ну и пусть: ты уверен, что доберешься до этого зеленого прямоугольника. Я откидываюсь на спинку сиденья и веду самолет по свисту ветра в расчалках. Если я перехожу в пике, звук выше. Если сбавляю скорость, звук глухо замирает. Потом последние дома, последние бегущие навстречу и отлетающие назад деревья: земля.

Так упоительно касаться земли. А потом снова тоска. Писем нет. Я обижен на вас до глубины души.

Антуан.

* * *

Тулуза (декабрь, 1926)

Ринетт, получил от вас два письма. Я не хотел отправлять свои. Но потом все-таки...

Сегодня вечером мне предложили упаковать вещи — со дня на день отправляюсь в Сенегал. Там пробуду то ли два, то ли три дня, а то и все десять. Может, вы найдете время мне написать.

Я еще не пришел в себя после моего путешествия. Оно было довольно беспокойным. Я очень неудачно и нескладно сел около Рабата. Но я тут ни при чем, просто не было подходящей площадки. Самолет после этого уже мало похож на самолет, сам же я цел и невредим. Даже не ушибся.

Над Испанией я попал в бурю. И танцевал в ней *девять часов*. Потом в тот же день девятичасовой перелет из Аликанте в Тулузу. Можете себе представить, как я измотан.

А теперь у меня нет особой охоты уезжать. Ничего, в день вылета все обойдется.

Прощайте, дружок Ринетт.

Антуан.

* * *

Аликанте, 1 января, 1927

Ринетт, сейчас два часа ночи. Сегодня вечером я отчалил из Тулузы, путешествие прошло без приключений. Какая здесь чудесная погода! Аликанте — самое жаркое место в Европе, единственное, где созревают финики. И я тоже почти созреваю под этим ясным небом. Хожу в пальто, ошеломленный ночью из «Тысячи и одной ночи», пальмами, южными звездами и морем, таким тихим, что его не слышно и не видно и до вас едва-едва долетает легкий шелест.

Выпрыгнув из самолета, я почувствовал себя совсем молодым. Мне захотелось растянуться на траве и изо всех сил зевнуть, что очень приятно, и потянуться, что тоже очень приятно. Под этим солнцем снова оживали и распускались мои самые смутные мечты. У меня была тысяча поводов быть счастливым. И у извозчиков тоже. И у чистильщиков сапог тоже: они до блеска начищали ботинки, они ласкали их и улыбались, закончив работу. Как много сулит этот первый день нового года! Какое богатство — жить сегодня!

Я, правда, уже не раз зарекался вам писать. Но я только что дал три сигареты нищему, потому что у него был очень счастливый вид, и мне захотелось, чтобы это выражение счастья подольше не сходило с его лица. Меня переполняют доброта и всепрощение. И я прощаю вас. И потом... в тот вечер мой телефонный звонок Бертрану был таким лицемерием, что мне показалось стыдным признаться в этом даже самому себе. Вот вы меня и приручили: я стал совсем смирным. По правде сказать, это очень приятно — позволить себя приручить. Хотя вы заставите меня заплатить за это днями тоски, и я, конечно, делаю глупость.

Ринетт, я говорю все это без малейшей горечи, но все это значит для меня куда больше, чем для вас. Дело вовсе не в том, что вам неохота писать, а я расплачиваюсь за это пустячной обидой. Это было бы даже мило. Беда в том, что вы ничего не понимаете.

Ага! Вот завели пианолу... Это великолепно. Все испанки похожи на оперных примадонн. Так мне кажется. Из-за пианолы. Одна из них плачет в уголке. Хотел бы я знать причину ее слез, потому что только она одна и плачет во всем Аликанте. Пять или шесть глупых толстух утешают ее и кричат хором. Шум стоит невообразимый! А она не хочет понять, как она счастлива. Она не хочет расстаться со своим драгоценным горем.

Прощайте, Ринетт. Может быть, по возвращении я найду ваши письма. А пока я еще потолкаюсь среди испанцев. В такой чудесный день у каждого есть тайна, но она у всех одна и та же. Потому что все переглядываются и улыбаются друг другу. А для того чтобы улыбаться, не нужно знать и трех слов по-испански, и вот я разговариваю...

Почтовая бумага у меня с собой на случай, если мне захочется еще написать вам сегодня вечером.

А если я не напишу...

Антуан.

* * *

Касабланка, 3 января (1927)

Еще только час ночи. Я вылетаю через пять часов, но мне не спится. Все-таки я благоразумно лег в постель.

Мне, пожалуй, доставит удовольствие вам написать. В этот час вы, наверное, уже спите, и я могу поболтать с вами обо всем, что взбредет в голову.

На дворе ненастье. И мое окно то и дело хлопает в странном ритме. Это позывные радио или духов. Пробую их расшифровать, но безуспешно. Мне все-таки хотелось бы многое узнать.

Редкие гудки такси в тишине спящего города звучат зловеще. Не люблю, когда с улицы доносится звук шагов. Каждый шорох вызывает тревогу, а ведь я мог быть таким счастливым.

У меня прекрасная комната. Жаль, что я поставил на стол ботинки. Это портит пейзаж.

Ринетт, ночью я сам не свой. Когда я лежу с открытыми глазами, мне иногда становится немного жутко. Нехорошо, что на утро предсказали туман. Я не хочу свернуть себе завтра шею. Для мира это потеря небольшая, но я-то потеряю все. Подумать только, как много у меня в Аликанте и друзей, и воспоминаний, и солнца. И еще у меня есть арабский ковер, который я сегодня купил: он обременяет меня душой собственника, меня — такого легкого, такого нищего.

Ринетт, у одного моего товарища обожжены руки. Я не хочу, чтобы мои руки были обожжены. Я смотрю на них и люблю их. Они умеют писать, шнуровать ботинки, импровизировать оперные арии, которых вы не любите, но меня они трогают,— для этого понадобилось двадцать лет упражнений. А иногда эти руки завладевают лицами. Одним лицом. Подумайте!

Ринетт, сегодня вечером я пуглив, как заяц, мне очень не нравится вся эта дакарская история. И все здешние разговоры: «Там все бурлит. Попавших в аварию пилотов мавры будут убивать». Мавры будут убивать... Неприятно, когда ночью назойливо звучат в ушах эти слова. Ночью все кажется мне таким хрупким. И то, что связывает меня со всеми, кого я люблю. Кто мирно спит. Ночью, бодрствуя в постели, я зорче сиделки. Я сторожу их. Но я такой ненадежный сторож моим сокровищам.

Мне немного не по себе. Днем все просто. Я люблю полет и риск. Люблю днем, но не ночью.

Ночью я размякаю, и мне жалко самого себя.

Мне еще нужно рассказать вам одну грустную историю. У меня был чудесный друг, три месяца тому назад он умер в Танжере. И вот я проделал странное паломничество в Танжер. Я разыскивал его. Где мне было его искать? Я подумал о милашках из кабаре. Он был очарователен: они должны были здорово его любить.

Ринетт, они не уберегли его. Они оказались изменщицами, они растеряли все драгоценные памятки. И все-таки искать надо было у них, это был самый верный путь, потому что человек отдает себя первому встречному. Семья его состояла сплошь из одних болванов. Женщины же не знают цены тому, что им иной раз дают. И все его обаяние, весь его ум они разбазарили, даже не подивившись этому чуду.

Ринетт, дружок, я ничего не понимаю в жизни.

Ну, пора с вами расстаться. Меня бесит эта пара ботинок на столе: я тушу свет.

Антуан.

* * *

Касабланка (14 января, 1927)

Ринетт, я уехал из Тулузы всего на один день. И вот уже пятые сутки скитаюсь по прихоти богов. Я даже не знаю, где я. Завтракал вчера в Аликанте, а обедал в Малаге. Может быть, в Тулузе меня ждет ваше письмо. Оно тихо дозревает в моем почтовом ящике. Оно покажется мне удивительно вкусным, я вычитаю из него тысячу вещей, которых вы мне никогда не говорили.

Ведь я читаю письма, как заговорщик. Я ищу в них и выражение лица, и интонацию, и улыбку. И прихожу в отчаяние оттого, что не знаю, как произнести: «Погода стоит хорошая». Это может означать так много! «Идет дождь» — тоже. Это может означать: «Как весело! Идет дождь. Идет дождь, а мне нипочем...», или: «Боже, как вы мне надоели!», или еще: «Сама не знаю, зачем вам пишу. Мне нечего вам сказать. Идет дождь».

С интонацией-то я и плутую.

А в Тулузе для меня есть письмо.

Там у меня есть еще и рубашки, и воротнички, и носовые платки. И, само собой, мыло. А захватил я только зубную щетку и гребешок, гребешок на две персоны. (Я и в восторге от этой ремарки.) Для Перпиньяна, куда я направлялся, этого было достаточно. Но я — игралище ветров, и вот я мечтаю о свежем белье, об одеколоне, о ванной. О множестве душистых вещей. Мне надо, чтобы меня отутюжили. Я весь промаслен и измят усталостью.

Зато у меня великолепный пробор. Пользуюсь гребешком.

Все перипетии моего нынешнего дневного полета стоят у меня перед глазами, до того я измотан. Еще спорю с ландшафтом. Согласно карте, эта дорога должна пересекать железнодорожное полотно. Пересечение служит ориентиром. Но она приближается к нему, касается его вплотную, а потом уходит в сторону. Ей плевать и на нас и на карту, и мы разражаемся бранью: «Ну, чего ты вихляешься? Давай же! Пересекай!..» А она, обидевшись, убегает влево. Да где же мы, черт побери!

А этот лес, казавшийся таким густым. На карте он обозначен великолепным зеленым пятном. Ищешь его, а он оказывается вон где. «Так это ты, лес? Никогда бы не поверил. Ты же весь изъеден молью». И с грустью смотришь на выцветшую солому, такую зеленую на карте.

О злых горных духах и говорить нечего. Вот вы изловчились, чтобы перелететь через горы. Вы на высоте трех тысяч метров, вы страшно горды. Но злые духи тащат вас за ноги, и высотомер стремительно летит вниз: 3 000... 2 500... 2 000... 1 500... 1 000...— и вы тоже; вы поворачиваете назад, потому

что гора теперь уже над вами, а враждебные духи злорадствуют. Тогда с такой же охотой, как омлет в духовку, вы лезете в долину, потому что враждебным духам вздумалось поиграть в теннис и они перебрасываются вами, как мячом.

Вчера, будучи в полном уме и здравой памяти, я в пять раз превысил заданную высоту. Со мной была пассажирка, на девять десятых без сознания. Да, это вам не Бурже...

После всего этого долго еще садишься не иначе как с вымученной улыбкой.

Ринетт, я словно пьяный, так мне хочется спать, умираю, хочу спать, на ногах не стою — спать! Каждую фразу заканчиваю уже во сне, и до вас доходят только первые слова. Я отчаиваюсь выразить все, что как будто хотел сказать... Я уже не совсем уверен, что я в Касабланке. Не совсем уверен в вашем существовании. Позвольте мне пойти спать, не то я засну у вас на глазах, а это неучтиво.

Ринетт, не могу больше. Написать это письмо было геройством.

Антуан.

* * *

Агей (департамент Вар)

Ну вот... Благоразумные решения, разорванные письма,— столько разорванных за два года писем!— и потом, у камелька, в полночь все решения забыты. И я позволяю себе роскошь маленькой неосторожности и совсем маленького поражения. Я пью очень сладкий чай. Я весь пропитан запахом эвкалипта и смолы, которыми насыщен жар камина. Мне даже кажется, что я улыбаюсь совсем незаметно, пряча улыбку в бороду, потому что мне ничуть не стыдно...

Что же вам сказать? Я почти пай-мальчик. Сидя возле вас в этот вечер, я не проронил бы ни слова за целый час. И был бы поглощен тем, как бы не выдать вам одной маленькой, спящей мысли, я бы смаковал ее, даже про себя не облекая в слова. Она так сладостна, пока спит. Не вы ли научили меня плутовать с самим собой! И вот я хочу написать вам письмо, которое абсолютно ничего не значит. Просто несколько шагов по саду. Или письмо, в минуту пробуждения, когда потягиваешься и еще не понимаешь, почему так хорошо жить.

Прежде всего я ничего не хочу ждать. В Тулузе я в любой час мчался на другой конец города к моему почтовому ящику. Я возвращался иногда из Марокко после трехдневного отсутствия. После трех долгих дней, в течение которых все женщины мира нашли бы время написать мне. И это давало мне право надеяться на письмо от одной! Я умышленно оставлял этот резерв в три дня. Мне готовился сюрприз, и я отправлялся

погулять, чтобы не мешать приготовлениям. Какая наивность! Что говорить, я был невезучим малым. А по вечерам, в кафе Лафайетт, я писал письма, в которых слова не имели никакого значения, но за их интонациями я припрятывал мои тайны. И когда я говорил «Аликанте», Аликанте с его солнцем и апельсинами... Оно было таким улыбающимся, таким прозрачным, как лицо! А в ту зиму все весны, с которыми я порывал,— над Малагой, над Картахеной,— все весны в мире, которые я признавал... Я сходил с ума.

Потому что меня ни за что не хотели понимать. Мои столь плохо спрятанные тайны могли не опасаться разоблачения. Позднее мне писали в Сенегал: «Напишите мне поскорее. Я так люблю ваши письма...» И я ревновал к собственным письмам и был похож на того чудака, который из деликатности выдал настоящий камень за фальшивый. Этим воспользовались, его благодарили за фальшивый камень: «Пришлите же поскорее еще один...» или: «Ах, какой негодник, он ничего не шлет!» Бедный старый чудак.

Что говорить, я предпочел бы скорее быть четвертованным, чем писать письма.

Но всепримиряющее время, и разные события, и жительницы Касабланки или, может быть, какая-то старость сердца и, наконец, все вместе взятое... Это, пожалуй, теперь уже не имеет никакого значения.

Я, конечно, привираю.

Конечно же, тут был не очень-то честный трюк с песенкой из «Парижской жизни» и с другой песенкой под предательский перебор гитары. Той самой, конечно, что пела Далила перед тем как обрезать волосы Самсону. Неужели вы думаете, что Самсон не подозревал об этом трюке! Да напев-то этот был ему куда дороже собственной шевелюры!

Ночь идет тихо-тихо, и я тихо-тихо засыпаю. И опасаюсь собственных признаний. Меня беспокоит, что я забыл мои глубокие обиды, ведь это опасно. А может, я обольщен собственной слабостью. И знать не хочу, попался ли я или не попался в ловушку, я — Самсон, который пальцем боится пошевельнуть, чтобы не порвать сеть, Самсон, восхищенный превращением в пажа, пойманного в силки птицелова.

Антуан.

* * *

Буэнос-Айрес, 23 января (1930)

Вот так сюрприз, Ринетт! Я почти не надеялся на письмецо от вас. Оно, конечно, было для меня таким событием, что вы и представить не можете. Я до того ненавижу эту Аргентину и в особенности Буэнос-Айрес, что ваше письмо было похо-

же на вторжение тысячи милых и позабытых вещей. Портвейн, граммофон, вечерние разговоры после кино. И гарсон от Липпа, и Эвзебий, и моя чудесная бедность, о которой я так сожалею, потому что дни тогда, с начала и до конца месяца, были окрашены каждый в свой цвет. Каждый месяц был изумительным приключением, и мир был великолепен, ибо все меня привлекало, потому что все было недоступно. И сердце казалось необъятным. А теперь, купив великолепный кожаный чемодан, о котором я мечтал, роскошную мягкую шляпу люкс и хронометр с тремя стрелками, я уже ни на что больше не надеюсь. И это жизнь, когда один месяц сменяется другим, не отмеченный черными днями перед получкой, лишена ритма и уныла.

Но главное — я уже не кажусь себе бесплотной тенью (таково было мое совершенно субъективное ощущение), я чувствую, что отяжелел и постарел из-за роли, которую мне поневоле приходится играть,— я технический директор компании «Аэропоста-Аргентина», филиала «Аэропосталя», созданного для обслуживания внутренних линий. У меня сеть в три тысячи восемьсот километров, и с каждой секундой она высасывает из меня все, что еще осталось во мне от молодости и от моей благословенной свободы. Получаю двадцать пять тысяч франков в месяц и не знаю, что с ними делать, потому что мне осточертело транжирить и я начинаю задыхаться в комнате, заваленной кучей вещей, которые мне никогда не понадобятся, от которых меня воротит, как только они становятся моей собственностью. И тем не менее число их растет с каждым днем. По-видимому, сам того не ведая, я приношу жертвы неведомому богу.

Живу в маленькой квартирке пятнадцатиэтажного дома: семь этажей надо мной, и семь подо мной, а вокруг огромный бетонный город. Пожалуй, здесь так же уютно, как внутри Великой Пирамиды. И столько же возможностей для приятных прогулок. На беду, здесь еще имеются аргентинцы.

Любопытно, бывают ли в Буэнос-Айресе времена года? Не представляю себе, как весна может проникнуть сквозь эти тысячи кубических метров бетона. Думаю, что весною герань в горшке здесь задохнется. Я так любил весну в Париже! Эту радость жизни, которая охватывала и меня, и каштаны бульвара Сен-Жермен. Это непостижимое ощущение разлитого повсюду бытия.

Но я не уверен, стоит ли мне сожалеть о Париже: там я теперь почти не чувствую себя дома, люди там заняты своими делами, в которых я не принимаю никакого участия. Они уделяют мне крохи своего времени: я уже не присутствую незримо в их жизни, и это так остро чувствуется.

Единственное мое утешение — полеты. Совершаю инспекционные рейсы, провожу испытания, разведываю новые трассы.

Никогда еще я так много не летал. Позавчера вернулся с крайнего юга: две тысячи пятьсот километров за день. Недурно?

Впервые после Дакара могу разговаривать с вами без горечи. Как я был на вас обижен! Ну и умеете же вы ничего не понимать, когда вам этого не хочется. Но все эти давние вещи так безобидны. Я был смешным и шалым мальчишкой. Или, вернее — до Дакара,— я еще предавался иллюзиям юности. Надеждам. А вы, о, вы были необычайно благоразумны. Так мне, во всяком случае, кажется. Сначала я страдал. Потом это пошло мне на пользу. А теперь все хорошо.

Как видите, я снова говорю колкости. Невольно. Мне кажется, я заступаюсь за того мальчугана, которым был когда-то...

Известите меня о своем приезде: я попрошу в филиале, ведающем линиями на Рио, поручить мне доставку почты и буду вас ждать или встречу вас. Я буду очарователен. Приглашу вас выпить, прочту вам мою вторую книжку, мы вместе позавтракаем, и я покатаю вас в самолете над Рио. Быть может, я взгрустну немного из-за того мальчугана, которым был когда-то.

Приедете ли вы и сюда, в этот злосчастный город? Знаете ли вы Буэнос-Айрес? Не помню. Если приедете, я буду счастлив.

Пишите авиапочтой. Право, не стоит нам лезть из кожи вон, перевозя почтовые мешки, если письма, предназначенные для нас, идут пароходом.

До свидания, Ринетт.

Антуан.

* * *

Буэнос-Айрес (18 июля, 1930)

Как, Ринетт, я совершенно случайно узнаю, что вы в Рио: и даже не потрудились меня об этом известить. Мне бы ничего не стоило приехать на прошлой неделе.

Я мог бы приехать, пожалуй, еще и сейчас, но вы, конечно, уже приглашены на завтраки, обеды, вечера и будете неуловимы. И потом вам это, по-видимому, так безразлично.

Если самолет с севера еще не вылетел, у вас, может быть, найдется время прислать мне несколько слов?

Вы связаны для меня со столькими воспоминаниями, вы составляете такую большую часть моего прошлого, что для меня, попади я во Францию, просто было бы невозможным не повидать вас.

Вы же, приехав в Рио, считаете это вполне возможным. И странно, я чувствую себя немного постаревшим, оттого что так состарились мои воспоминания.

Антуан.

ПИСЬМА К МАТЕРИ

Страсбург, 1921

Дорогая мама!

Получил вчера ваше письмо до востребования. До тех пор, пока я не буду уверен, что смогу ежедневно выходить в город, пишите мне на адрес казармы, а потом на городской адрес.

Страсбург великолепен. Все признаки большого города, куда большего, чем Лион. Я нашел здесь просто потрясающую комнату. В моем распоряжении ванная и телефон. Живу в семействе, обитающем на самой шикарной улице Страсбурга,— у славных людей, не знающих ни слова по-французски. Комната роскошная, с центральным отоплением, горячей водой, двумя электрическими лампами, двумя шкафами и лифтом — все это за сто двадцать франков в месяц.

Я виделся с майором Фелигондом, который был восхитетелен. Он займется моими летными делами. Это будет нелегко из-за кучи всяких ограничительных инструкций. Во всяком случае, раньше чем через два месяца, ждать нечего.

Пишу из казармы (в столовой). С утра под опекой добродушно мордастого солдафона шатаемся по магазинам за разным солдатским барахлом.

Летний Центр — очень оживлен — «спады» и истребители «ньюпоры» соревнуются в воздушной акробатике.

Видел Киффера, у которого раз в две недели или же раз в неделю, после того как обоснуюсь, буду получать сведения о студентах архитектурного.

От Страсбурга до Летнего Центра — расстояние порядочное Раз я собираюсь там работать, мне нужен мотоцикл. Я еще поговорю с вами об этом. Когда обзаведусь мотоциклом, смогу немного познакомиться с Эльзасом.

По дороге сюда я проезжал Мюлуз, Альткирк, Кольмар, видел издали Хартмансвейлеркопф (Старый Арман). На его вершине похоронено шестьдесят четыре тысячи человек.

Страсбургские развлечения: со слов майора Фелигонда, тут, по-видимому, есть прекрасные оперные труппы.

Военное ремесло, на мой взгляд,— полнейшее безделье, во всяком случае в авиации. Все сводится к науке отдания чести, к игре в футбол, потом целыми часами слоняешься, засунув руки в карманы, с потухшей сигаретой во рту и умираешь от скуки.

Товарищи неплохие. Впрочем, у меня полны карманы всяких книжонок, так что есть чем развлечься, если станет скучно невтерпеж. Скорей бы летать, больше мне ничего не надо.

Не знаю, когда нам дадут форму. Пока что обмундирования нет. Мы ходим в штатском, вид у нас самый что ни на есть дурацкий. До двух часов делать нечего. Впрочем, и в два часа положение не меняется, если не считать переброски в пункт Б того, кто находится в пункте А, и в пункт А находящегося в пункте Б, после чего переброска возобновляется в обратном порядке, что позволяет снова выполнять эту операцию с исходных позиций.

До свидания, дорогая мамочка. В общем, я более или менее доволен. Целую вас крепко.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Страсбург, май, 1921

Дорогая мама!

На днях виделся с капитаном де Билли; он был очень любезен; но так как он по горло занят приготовлениями на случай тревоги, ответить вам он поручил мне.

Он *одобряет* мою мысль насчет гражданского диплома, но сначала он хотел бы:

1) чтобы я *завтра же* прошел медицинский осмотр;

2) поговорить об этом с командиром и выяснить насчет гражданской авиации и т. п. ...

Я надеюсь, что все устроится, и тогда я вас извещу.

Я только что вышел, совершенно потрясенный, из «спада-эрбемона». Там, наверху, мои понятия о пространстве, о расстояниях, направлениях совершенно спутались. Когда я искал глазами землю, мне приходилось смотреть то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Мне казалось, что я на очень большой высоте, а меня внезапно в штопоре швыряло вниз. Когда же я чувствовал себя совсем низко, мотор в пятьсот лошадиных сил в два счета подкидывал меня на тысячу метров кверху. Самолет танцевал, кренился, взлетал кверху... Ну и ну!

Завтра с тем же летчиком я поднимусь на пять тысяч метров, далеко за облака. Мы вступим в воздушный «бой» с другим самолетом, пилотируемым нашим товарищем. Вот когда штопоры, воздушные петли, кульбиты вытрясут из моего желудка все завтраки, съеденные за год.

Я еще не пулеметчик и пока что летаю лишь благодаря тому, что сам кое-чему научился. Вчера был ураганный ветер с колючим дождем, он хлестал по лицу на скорости двести восемьдесят — триста километров в час.

Независимо от гражданского диплома, с девятого начинаю обучаться на пулеметчика.

Вчера у нас был большой смотр истребителей.

Крохотные, одноместные элегантные «спады». Выстроенные

вдоль ангаров с изящными новенькими пулеметами под брюхом — вот уже три дня, как их оснащают пулеметами,— «анрио». Пузатые болиды и «спады-эрбемоны», современные короли воздуха с их злым, словно нахмуренным, орлиным профилем, после которых не захочешь смотреть ни на какой другой самолет...

Вы даже представить себе не можете, до чего страшным и жестоким выглядит «спад-эрбемон». Это ужасная машина. И именно на ней-то мне безумно хочется летать. Она держится в воздухе, как акула в воде, и она действительно похожа на акулу! Такое же поразительно гладкое тело. Те же гибкие и быстрые движения. Она держится в воздухе, даже пикируя отвесно.

Короче говоря, я пребываю в величайшем восторге и был бы горько разочарован, если бы провалился завтра на экзамене по физике.

Этот скупой набросок изображает завтрашний воздушный бой.

[*Здесь приведен схематический набросок.*]

Когда видишь выстроившиеся в ряд самолеты, слышишь рев разом запускаемых моторов, когда вдыхаешь упоительный запах бензина, говоришь себе: «Ну, боши поплатятся».

До свидания, дорогая мамочка, целую вас от всего сердца.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Страсбург, июнь 1921

Мамочка!

Мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали в понедельник, так как боюсь, что после получения диплома у меня уже не будет времени, тем более что в Марсель мне придется ехать прямо из *Страсбурга.*

Но если бы в нашем распоряжении были один-два дня, мы могли бы провести их в Париже и повидать Моно. А пока у меня уйма свободного времени, можно было бы посмотреть Эльзас.

Надеюсь завтра или послезавтра полетать в первый раз самостоятельно. А там и диплом подоспеет.

Я получил деньги и книги. Спасибо вам за них, мама. Хожу в штатском. Надеюсь, что меня не поймают. К тому же я живу в своей каморке, как в монастыре, курю и пью чай. И много думаю о вас и припоминаю тысячи мелочей из нашей жизни, когда я был мальчишкой. И у меня сердце разрывается при мысли, что я причинял вам столько огорчений.

Если бы вы только знали, мама, какой вы мне кажетесь очаровательной и самой чуткой из всех мам, каких я только знаю. И вы так заслуживаете быть счастливой и не иметь сыном мерз-

кого взрослого детину, который целый день только и делает, что ворчит да скандалит. Не правда ли, мама?

Я хотел бы посвятить вам весь вечер и писать, долго-долго. Но стоит такая жара, что я просто изнываю. И, несмотря на поздний час и открытое окно, дышать нечем. Просто невыносимо. Что со мной будет в Марокко?

Представьте себе, вместе со мною в казарме жил добродушный верзила, уроженец Виллар-ле-Домб, и когда его одолевала тоска по родине, он пел... «Фауста» или «Мадам Баттерфлей». Есть ли в Виллар-ле-Домб опера?

Мне понравилась ваша королевская фраза: «Мадам, сегодня очень ветрено, и я убил шесть волков». Утром у нас тоже было ветрено. А я обожаю ветер и — в самолете — борьбу, поединок с бурей. Но для этого я еще не дорос. Я летаю ясными тихими утрами, мы приземляемся по росе, и мой инструктор с идиллической душой собирает для *нее* букет ромашек. Потом он присаживается на ось колеса и наслаждается мирным обликом вселенной.

Я познакомился здесь с одним малым, поражающим своей горделивой осанкой. Ни дать ни взять — Франциск Первый или Дон-Кихот. Я не посмел раскрыть его инкогнито, но обходился с ним весьма почтительно. Я чувствовал себя последней мелюзгой...

Он оказал мне честь, соблаговолив выпить у меня чаю. Он рассуждал о философии со всей вескостью своего бурбонского носа. Он положил на музыку и зарифмовал несколько великолепных истин. За три дня он посетил меня трижды и снизошел до того, что похвалил мой чай и мои сигареты, и я подумал: «Верно, это какой-то родовитый вельможа (его жесты были так медлительны и уверены!). Или знатный рыцарь (у него был такой благородный и открытый взгляд). Словом — Франциск Первый или Дон-Кихот».

Я был заинтригован и ждал разгадки. Но расспрашивать я стеснялся: сидя верхом на стуле, он казался таким величественным!

Потом в один прекрасный день Дон-Кихот появился снова и долго излагал мне свои планы — блистательные, но разорительные,— за ним последовал Франциск Первый, который... взял у меня взаймы сто су...

Больше я их не видел...

Сумерки богов, как говорил Анатоль Франс!

Мама, уже совсем темно, и я изнываю от жары...

Целую вас крепко.

Ваш почтительный сын

Антуан.

Я получил оба перевода. Спасибо. И книги тоже.

* * *

Касабланка, 1921

Мамочка!

Получил всевозможные сокровища — письма и молоко, и это согрело мне сердце.

В прошлое воскресенье я сделал несколько снимков аппаратом одного товарища. Посылаю вам вид моря и несколько единственных в округе деревьев: это большие унылые кактусы. И мой силуэт на фоне скалы. Как все это вам нравится? Диди было бы здесь очень хорошо. Тут несметное множество гнусных желтоватых псов. Они рыщут стаями по всему Марокко, глупые и злые.

Если б не они, я отважился бы зайти в арабскую деревушку. Эти деревни состоят из хижин, слепленных из соломы и глины и огороженных древней осыпающейся стеной. По вечерам там можно встретить живописных старцев и маленьких сморщенных женщин. Их черные силуэты отчетливо вырисовываются на фоне багрового неба, и они разваливаются, как стены их деревушки. Желтоватые псы воют. Верблюды уверенно жуют камушки, а жалкие ослики застыли в мечтах. Там можно было бы сделать интересные снимки, и все-таки это не идет в сравнение с деревушками в департаменте Эн с их возами сена, зеленой травкой и стадами милых коров.

Первые дожди. Когда вы спите, вам на нос стекают тоненькие струйки воды. По небу несутся черные тучи. Барак, открытый всем ветрам, издает стоны, как корабль, и, так как из-за дождя мы окружены огромными озерами, он напоминает ноев ковчег.

Внутри же все молча закутались в белые накомарники, и кажется, что находишься в пансионе для молодых девиц. К этой мысли в конце концов привыкаешь и чувствуешь себя прелестным хрупким созданием. Но вдруг просыпаешься от крепких ругательств, в ответ на которые слышишь такую же отборную брань. И белоснежные накомарники испуганно трепещут.

Я написал вам в Универсальную школу, спасибо за разрешение. Как вы думаете, сможете ли вы перевести мне деньги к первому числу? Я рассчитываю, что мне разрешат съездить в Фец. Это меня развлечет.

До свидания, дорогая мамочка. Целую вас крепко-крепко.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Касабланка, 1921

Мамочка!

Я получил вашу посылку с носками и пушистым свитером, который защищает меня от утреннего бриза и смягчает ощущение высоты в две тысячи метров. Он согревает, как материнская любовь: ведь он — ее излучение.

Сам не пойму, что со мной творится: целыми днями рисую, и поэтому время летит незаметно.

Я понял наконец, для чего был создан: для угольного карандаша Контэ. Купил себе альбомы для рисования, в которых по мере сил увековечиваю события и дела текущего дня, улыбки товарищей или нескромности пса Блэка: он важно расхаживает и то и дело сует нос в мой альбом.

Блэк, песик, сиди смирно.

Когда изрисую первый альбом, пошлю его вам, но только с условием, мамочка, что вы его мне вернете...

Прошел дождь. Но какой! Шуму было, как от горного потока. Впрочем, вода тотчас нашла себе столетиями охраняемый выход в пазах нашей крыши, она просочилась через трещины, неприкосновенность которых администрация свято блюдет, и наш сон наводнился восхитительными грезами, потому что вода текла нам прямо в рот, как вино в стране изобилия. Ваш свитер поразительно теплый. Я выгляжу в нем баловнем судьбы, шикарным щеголем, и это немало способствует моему успеху.

Вчера был в Касабланке. Сначала я прогуливал свое одиночество по узким арабским улочкам, где оно меньше давит, потому что пройти по ним вдвоем все равно невозможно.

Я прицenялся к сокровищам седобородых торговцев-евреев. Они старятся, сидя, скрестив ноги, среди расшитых золотом бабушей и серебряных поясов, в фимиаме приветствий своих разномастных клиентов: что может сравниться с такой завидной долей!

Я наблюдал, как по улочкам водили убийцу. Его избивали, чтобы он каялся в своем преступлении перед важными еврейскими торговцами и маленькими фатьмами в чадрах. У него были вывернуты плечи и проломлен череп. Это было очень назидательно и высоконравственно. Вокруг убийцы завывали его палачи. Ткани, в которые они драпировались, поражали своими кричащими расцветками. Это было поистине варварское зрелище, и оно было великолепно. Но маленькие расшитые бабуши не растрогались этим, равно как и серебряные пояски. Среди них есть такие маленькие, что они не скоро дождутся свою Золушку, и такие драгоценные, что они пришлись бы впору только фее... Боже мой, до чего же очаровательны должны быть их ножки! И вот пока маленькие бабуши рассказывали мне свою сказку,— ведь раззолоченные бабуши рассказывают так неторопливо,

словно ступают по мозаичным ступенькам,— незнакомка в чадре сторговала их и унесла. Я успел разглядеть только два огромных глаза... Желаю вам, о бабуши, чтобы она была самой молоденькой из принцесс и жила в саду, полном журчащих фонтанов.

Но мне страшно. Мне чудится, будто по вине корыстных дядек пленительным молодым девушкам пришлось выйти замуж за ужасно глупых и безобразных мужчин.

Замолчи, пес Блэк, ты ничего не смыслишь в этих делах.

Мамочка, сядьте под яблоней в цвету — говорят, они сейчас цветут во Франции. И оглядитесь за меня по сторонам. Все кругом должно быть зелено и пленительно, и должна расти трава... Мне недостает зелени, зелень — это пища души. Благодаря зеленому цвету, человек обретает душевное спокойствие и мягкость манер. Стоит только изъять этот цвет, и вы скоро превратитесь в заскорузлых сухарей. Хищники обязаны своим мрачным характером исключительно тому, что они не лежат всю жизнь, растянувшись на брюхе в люцерне. Когда мне попадается на дороге кустик, я срываю несколько листочков и прячу их в карман. Потом в моей каморке я с нежностью рассматриваю их и тихонько перебираю. Я хотел бы снова увидеть ваш край, где все зелено.

Антуан.

* * *

Касабланка, 1921

Мамочка!

Вы не представляете себе, до чего может растрогать вид самой простой лужайки, и вам еще труднее понять, как раздирает душу обыкновенный фонограф.

Ну да, он как раз в эту минуту крутится, и клянусь, все эти старинные песенки причиняют боль. Они слишком ласковы, слишком нежны, мы вдоволь наслушались их там. Это находит, как наваждение. А веселые песни звучат жестокой иронией. Эти обрывки музыки глубоко волнуют. Я совершенно невольно закрываю глаза — вот народный танец: и видишь старинные брессанские лари, натертый паркет... Или Манон... Смешно: когда слушаешь эти песенки, начинаешь злиться, как бродяга на проезжающих мимо богачей. Эта мелодия вызывает в душе такие картины счастья!

А есть песенки, которые утешают...

Дорогой мой Блэк, перестань же лаять, а то я ничего не слышу.

Вы не знаете, мамочка, что это такое.

Целую вас очень нежно. Мамочка, пишите мне скорее и почаще.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Касабланка, 1921

Мамочка!

Как вы можете оставлять меня так долго без вестей о себе, вы же знаете, какая это мука.

Я не получил ни *единого* письма в течение двух недель! Мама!

Я все время воображаю какие-нибудь ужасы и страдаю. Мама, письмо — и больше ничего! И Диди мне тоже не пишет. Никто! Здесь, где у меня больше досуга, чтобы думать о вас, я сильнее страдаю от одиночества.

У меня нет ни сантима. Неделю провел в Рабате для сдачи экзаменов. Я не жажду быть принятым. Жить в эскадрилье — вот моя мечта. Я вовсе не жажду круглый год до отупения долбить нудную теорию военного дела. Я не родился с душой фельдфебеля. Эта механическая и бессмысленная работа не для меня.

Мне было бы жаль ограничиться знакомством с Касабланкой, только ради нее не стоило приезжать в Марокко. Если меня примут, я уволюсь. Я снова начал заниматься архитектурой и т. п., в школе со всем этим придется покончить.

Постараюсь отпроситься в месячный отпуск: хочется всех вас повидать — до безумия!

Неделя в Рабате была восхитительной. Я, разумеется, встретил там Сабрана и одного товарища из лицея Сен-Луи. Потом я познакомился с двумя симпатичными молодыми людьми, которые тоже приехали для сдачи экзаменов — оба сыновья врачей, очень образованные и хорошо воспитанные юноши,— и с одним капитаном, который когда-то жил в Лионе; он пригласил всех нас к себе на обед: Сабрана, товарища из лицея, двух юношей и меня. На редкость очаровательный человек. Настоящий товарищ, да к тому же еще и музыкант, и художник... Ему принадлежит один из маленьких белых рабатских домишек. При лунном свете эта часть арабского города белее ваты, и кажется, что ты находишься на занесенном снегом полюсе. Какой дивный вечер!

Рабат в эти дни был для меня самым чудесным местом в мире. Именно здесь я начал понимать, что такое Марокко. Бесконечные прогулки по окраинам, переливающимся огнями улицам,— если бы я только умел писать акварелью — какие краски, какие краски, это что-то феерическое, если умеешь видеть. Нескончаемые прогулки по богатым центральным улицам: на узенькие тротуары выходят только таинственные массивные двери. Никаких окон... время от времени маленький фонтан, возле которого пьет ослик.

С тех пор как я вернулся в Касабланку, я не скучаю: совершаю первые воздушные прогулки. Сегодня утром триста кило-

метров: Бер-Решид — Рабат — Касабланка. Поглядел на мой любимый городок сверху... Он ослепительно белый и мирный. Бер-Решид отвратительное местечко, чуть южнее Рабата.

Завтра утром — еще триста километров. Днем сплю, от усталости.

Послезавтра большой рейс на юг. Я отправлюсь в Касба-Тадла. Туда всего три часа лету (в переводе на километры это уже кое-что) и столько же, разумеется, обратно. Какое это будет уединение... Жду не дождусь.

Сегодня вечером при мирном свете лампы учился пользоваться компасом. На столе разложены карты, и сержант Буало объясняет: «...По прибытии сюда (и наши головы склоняются над клубком линий) вы берете на сорок пять градусов к западу... Там есть деревушка, вы оставляете ее слева,— не забудьте отметить на компасе передвижной стрелкой поправку на ветер...» Я задремываю... Он меня будит: «Слушайте же внимательно... Теперь сто восемьдесят градусов на запад, если только вы не предпочтете срезать вот тут... но здесь меньше ориентиров; глядите-ка, вот эта дорога хорошо просматривается...»

Сержант Буало угощает меня чаем. Маленькими глотками выпиваю одну чашку. И соображаю, что, в случае если я собьюсь с пути, мне придется сесть на непокоренной земле. Сколько раз мне случалось слышать: «Если, выпрыгнув из самолета, натолкнешься на женщину, непременно поцелуй ее в грудь. Тогда ты будешь священной личностью, она будет считать себя твоей матерью, тебе подарят быков, верблюда и тебя обженят. Это единственный способ остаться в живых».

Мое путешествие еще слишком несложно, чтобы я мог надеяться на такие приключения. Ну что ж, я мечтаю. Я хотел бы летать в дальние рейсы через пустыню...

Как бы я хотел взять вас с собою в полет.

Я расстаюсь с вами, дорогая мама. *Ради бога, пишите.* Не можете ли вы перевести мне по телеграфу еще пятьсот франков; в этом месяце у меня было много расходов *из-за переездов.*

Целую вас так же нежно, как целовал когда-то, когда был карапузом и таскал за собой зелененький стульчик... мама!

В последний час. Только что вернулся из полета в Касба-Тадла. Мотор работал безотказно. Я в восторге и опишу вам все подробно.

Антуан.

* * *

Рабат, 1921

Мамочка!

Пишу вам из прелестной мавританской гостиной, где я утопаю в огромных подушках; передо мной чашка чаю, во рту си-

гарета. Сабран играет на рояле Дебюсси и Равеля, а прочие друзья заняты бриджем...

Дело в том, что мы познакомились с самым очаровательным человеком: капитаном Приу из Рабата. Наскучив своими сослуживцами, которые почти все — вновь призванные отставные унтер-офицеры, он сумел окружить себя чудесным обществом: Сабран, старый мой товарищ по лицею Сен-Луи, который вместе со мной готовился в морское училище, и еще двое молодых людей. Мы до умопомрачения музицируем. Я не играю, но зато слушаю и при этом еще глубже зарываюсь в подушки.

Его дом открыт для нас с таким радушным гостеприимством, что мы этим даже злоупотребляем. Мы приезжаем сюда с Сабраном на двое суток. Наши обеды проходят очень весело, клянусь вам, потому что все мы... очень остроумны (да-да!). Спать ложимся в самое неположенное время,— то в три, то в четыре часа утра,— до такой степени увлекаемся покером и музыкой. Игра идет невероятно азартная, за ночь просаживаем... шестнадцать су. Мы наделены столь счастливыми характерами, что находим в этом такое же удовольствие, как если бы играли на луидоры; а выигравший огромную сумму в двадцать су уходит с самодовольным видом, как и подобает.

Теперь, когда Сабран живет в Касабланке и мы каждую субботу ездим с ним в Рабат и возвращаемся оттуда в понедельник вечером, жизнь в этой цветущей стране течет беспечно и приятно. Потому что Марокко, этот страшный выжженый край, вдруг покрылся зеленью и ласкает глаз бескрайними лугами, которые постепенно расцвечиваются и покрываются желтыми и красными цветами.

Погода стоит ровная, теплая, способствующая душевному равновесию. Рабат, мой нежно любимый город, сегодня тих.

Дом капитана, новенький, расположенный в белом лабиринте арабских домиков, прилепился к мечети Удайас. Минарет возвышается над его открытым внутренним двориком, и вечером, когда мы переходим из гостиной в столовую, задирая головы к звездам, мы слышим пение муэдзина и смотрим, как он размахивает руками, словно матрос на мачте корабля.

До свиданья, любимая мамочка. Через пять месяцев я, наверное, смогу вас обнять. А пока целую вас нежно, так же нежно, как люблю.

Получили ли вы мое длинное письмо, отправленное на прошлой неделе?

Пожалуйста, вышлите мне сегодня деньги.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Лагерь в Аворе, октябрь, 1922

Мамочка!

Я только что перечитал ваше вчерашнее письмо, проникнутое такой любовью. Моя маленькая мама, как бы мне хотелось быть с вами! Вы даже не знаете, что с каждым днем я люблю вас все крепче и крепче. Эти последние дни я не писал — у нас сейчас столько работы.

Сегодня хороший и теплый вечер, а мне так грустно — сам не знаю почему. Занятия в Аворе очень утомительны. Я так мечтаю о небольшой передышке в Сен-Морисе и чтобы вы были рядом.

Что вы поделываете, мама? Рисуете ли вы? Вы ничего не рассказали о вашей выставке и о похвальном отзыве Лепина.

Пишите. Мне так хорошо после ваших писем, будто до меня долетает какое-то дуновение свежести. Мамочка, и откуда только вы берете все те пленительные слова, которыми полны ваши письма? После них весь день ходишь растроганный.

Вы мне нужны сейчас, как в дни младенчества. Солдатчина, военная муштра, занятия тактикой,— какие это все сухие и нудные вещи. Я мысленно вижу вас, как вы расставляете цветы в гостиной, и во мне закипает ненависть к этим солдафонам.

Как я мог заставлять вас плакать? Я так страдаю, когда вспоминаю об этом. И я мог давать вам повод сомневаться в моей любви! Если бы вы только знали, как я люблю вас, мама!

Вы — лучшее, что у меня есть в жизни. Сегодня я, как мальчишка, тоскую по дому! Подумать только, что вы там где-то ходите и разговариваете и что мы могли бы быть вместе, а я лишен вашей ласки и не могу быть вам опорой!

Сегодня вечером мне грустно до слез. А когда грустно, вы — единственное утешение. Когда я мальчишкой возвращался с набитым ранцем за спиной, всхлипывая после отбытого наказания,— помните, в Ле-Мане[1],— вы одним своим поцелуем заставляли забывать все невзгоды. Вы были всесильной защитой от всех инспекторов и отцов-надзирателей. В вашем доме я чувствовал себя в безопасности, и я действительно был в безопасности у вас, я принадлежал только вам одной, и как это было хорошо.

И вот теперь, так же как и тогда, вы — мое единственное прибежище, вы знаете все, вы умеете заставить обо всем позабыть, и под вашим крылом волей-неволей снова чувствуешь себя совсем маленьким мальчуганом.

Мама, я прощаюсь с вами. Работы у меня выше головы. В

[1] Ле-Ман — город, где Сент-Экзюпери учился в колледже.

последний раз вдохну из окна ночную свежесть. Где-то квакают лягушки, как в Сен-Морисе, но насколько же хуже они квакают здесь!

Нежно-нежно вас целую.

Ваш большой сын

Антуан.

Завтра в самолете я пролечу по меньшей мере пятьдесят километров в вашу сторону и буду воображать, что я лечу к вам.

* * *

Париж, октябрь, 1923

Мамочка!

У меня столько работы, и работы такой дурацкой, что я не мог писать. Меня загрызла совесть. И вот я расположился у лампы, которую вы мне подарили, которую я люблю и которая светит мне своим ласковым светом. Мне так грустно думать, что вы больны.

Не лучше ли вам? Моя бедненькая мамочка, я так гордился вами в Сен-Морисе, вы так чудесно все устроили, так хорошо позаботились о счастье двух своих ребят. Я так вас любил и не умел вам это высказать. Мои жалкие переживания сделали меня до того замкнутым за последнее время. Я отлично понимаю, что должен был бы целиком довериться вам и поделиться с вами моими печалями, чтобы вы утешили меня, как в те времена, когда я был мальчишкой и рассказывал вам о всех своих напастях. Я знаю, как вы любите своего большого шалопая-сына. Не сердитесь на меня за то, что я немного ожесточился,— я пережил дурные дни. Теперь я все преодолел. Я мужественный малый. Если вы приедете в Париж, я постараюсь быть самым ласковым из сыновей. Вы поселитесь в моей комнате, там вам будет лучше, чем в гостинице, а по вечерам я буду заходить за вами, и мы будем обедать вдвоем, и я буду рассказывать вам забавные истории, которые постараюсь запоминать для вас, и вы будете довольны. И потом только вы одна устроите мое счастье. Сам не понимаю, почему я так упрямо взял эту заботу на себя. Только вы сможете все устроить. Отдаюсь в ваши руки, а вы примите на себя сношения с высшими силами, и я уверен, что все образуется. Я чувствую себя сейчас совсем маленьким мальчуганом и полагаюсь на вашу защиту. Помню, как вы ходили к отцу-надзирателю улаживать мои проказы; вы бы и сейчас отправились к нему... Мамочка, вы так много значите для меня!

Мамочка, довольны ли вы тем, как я вел себя в Сен-Морисе, хорошо ли я выдержал роль старшего брата?.. Я был немного взволнован. И очень волновался за вас... Это было достойным

увенчанием всех ваших трудов. Вы сумели создать большое счастье[1].

Моя обожаемая мама, простите мне все огорчения, которые я когда-либо вам причинял.

Я поведу вас посмотреть пьесу совершенно необычайной силы: «Дом прежде всего» Пьера Ампа. Я только что был на спектакле по приглашению Ивонны. Вам понравится.

Спокойной ночи, мамочка. Пишите. И любите меня крепко.

Антуан.

* * *

Париж, 1923

Мамочка!

Большое спасибо за перевод. Положение мое так плачевно, так плачевно: пришлось переезжать, из-за этого всякие платежи хозяйке, консьержке и т. п. ... перевозка книг, чемодан, столовая и, кроме всего, триста франков зубному врачу, который отказался предоставить мне кредит. Я страшно стеснен в деньгах. Мне будет так трудно навещать Биш[2].

Правда, мне открыта карьера журналиста. Но нет ни минуты для сбора материала, увы... А мой знакомый может устроить мои статьи только в разделе информаций в «Матэн».

Пожалуй, весною или зимой отправлюсь в Китай, где требуются летчики и где я, может быть, смогу руководить летной школой. В денежном отношении это превосходное место. Добиваюсь его сейчас всеми силами.

В конторе мне все грустнее и грустнее, и тоска моя не проходит. Вот мне и захотелось постранствовать.

Тетя Анаис должна быть сейчас в Сен-Морисе, она такая прелесть. А когда вы думаете вернуться туда, мамочка? Я бы хотел снова пожить там с вами и порадоваться жизни. Если бы я поехал в Китай, то, пожалуй, получил бы месяц свободы.

Погода стоит унылая. Но в воскресенье я все-таки пилотировал в Орли. Мне удалось хорошо полетать. Мама, я обожаю это ремесло. Вы представить себе не можете, какой покой, какое одиночество испытываешь на высоте четырех тысяч метров наедине с мотором. И потом это чудесное товарищество внизу, на земле. Лежишь на траве в ожидании своей очереди. Следишь глазами за товарищем, летающим на самолете, которого дожидаешься сам, и рассказываешь истории. Все они волшебные. Про вынужденные посадки в чистом поле, потом про уютные городишки, где растроганный мэр-патриот приглашает летчиков к

---

[1] Намек на брак сестры Сент-Экзюпери — Габриель с Пьером д'Агей.

[2] Прозвище сестры Сент-Экзюпери — Мари-Мадлен.

обеду... и про бесчисленные сказочные приключения. Почти все они выдумываются тут же на месте, но ими восторгаются, и когда ты, в свою очередь, садишься в самолет и отрываешься от земли, то настроен самым романтическим образом и полон радужных надежд. Но с тобой ничего не приключается... и, приземлившись, ты утешаешься стаканчиком вина или рассказом: «Знаешь, старина, мой мотор начал перегреваться. Мне стало страшно...» А он так мало перегревался, этот несчастный мотор... Половина моего романа, мама, закончена. Я всерьез думаю, что он получился у меня оригинальным и нерастянутым.

Жить с Приу одно удовольствие, потому что у него редкий характер. К сожалению, пятнадцатого октября мы должны съехать с этой квартиры, придется подыскивать другую. У нас на примете имеются две. Надеюсь, что расходы будут не слишком велики (сама квартирная плата, к счастью, небольшая),— вы ведь дадите мне какую-нибудь мебель и несколько простынь?

Кто в Сен-Морисе? Где бабушка?

Мамочка, целую вас от всего сердца. Желаю вам наконец отдохнуть. Скажите Мимме, что я ей напишу, пусть простит мне мое молчание, я чуточку взгрустнул еще и потому, что не смог присутствовать на крестинах.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Париж, 1924

Мамочка!

Ну вот, я очень доволен. Меня наверняка ждет прекрасное место. Я познакомился с делами трех департаментов, которые находятся в моем ведении (Алье, Шер, Крёз), и фирма «Сорэр» там очень ценится. Это сулит мне хорошие перспективы.

Моя стажировка хоть и не очень скучная, но утомительная и отнимающая много времени, приходит к концу. С завтрашнего дня перехожу в последний отдел — ремонтный и коммерческий,— теперь я вполне в курсе всего, товарищи-сослуживцы любезны и предупредительны. Наконец-то я могу быть уверенным в завтрашнем дне.

У меня маленькое, совсем маленькое желание жениться, я только не знаю на ком. И потом во мне таится огромный запас отцовской нежности. Мне бы хотелось иметь маленьких Антуанов...

Во всяком случае, если я встречу подходящую девушку, то теперь мое служебное положение позволит мне просить ее руки.

Я чувствую себя превосходно. С этой точки зрения моя ста-

жировка оказалась целительной. Я не рожден для конторы в два квадратных метра.

Мама, у меня еще одна радость в жизни: у меня такие шикарные друзья, что вы даже вообразить себе не можете. Все они в данное время охвачены эпидемией симпатии ко мне. Бонви то и дело ко мне наведывается. Саллес пишет письма, проникнутые такой глубокой дружбой, что я просто тронут. Сегон — ангел. Семья Соссин — мои ангелы-хранители, я уж не говорю об Ивонне и Мапи.

Целую вас

Антуан.

* * *

Париж, 1924

Дорогая старушка Диди![1]

Спасибо за карточку, которую сегодня утром мне принесла Симона. Она немного оживляет мой номер. Надеюсь в будущем сделать тебе подобный подарок. Я не прочь жениться и завести таких же очаровательных детишек, как твой малыш. Но для этого надо быть вдвоем, а я до сих пор встретил всего-навсего одну женщину, которая мне понравилась.

Я очень доволен своим заводом, а завод — мною. Если удастся продать несколько грузовиков, то летом отправлюсь в машине на несколько дней погостить в Агее. Тогда я покатаю тебя по югу. Начну с «ситроена», но воспользуюсь первым же заработком, чтобы сменить его на более быструю машину: быть может, это хоть отчасти заменит мне самолет.

Снова появилась надежда на небольшую квартирку. В случае удачи будет непростительно, если ты не приедешь на несколько дней в Париж с мужем и сынишкой (...).

Прости, что я редко пишу, но ты теперь так далека. Я не знаю ни твоего дома, ни твоей жизни, ни сынишки (почти). За два года я видел тебя всего какую-нибудь неделю (...).

Ясно, что прежней близости уже нет, но я люблю тебя всем сердцем.

Симона вернулась влюбленной в твоего сына. Я сказал ей, что он слишком молод и к тому же такие отношения между теткой и племянником были бы неприличны (...).

(...) Симона с увлечением занимается средневековыми рукописями. Работает как негр. Эта малышка все такая же.

На днях отправляюсь недели на две на север, чтобы присмотреться к работе коллеги и войти в курс дела. Ежедневно будем покрывать на машине километров по сто пятьдесят. Не соскучимся.

---

[1] Письмо адресовано сестре Сент-Экзюпери — Габриель.

Веду жизнь философа. Очень часто (...) встречаюсь с друзьями. Они у меня чудесные. И это меня утешает.

Надеюсь встретить какую-нибудь девочку — и хорошенькую, и умненькую, и обаятельную, и веселую, и заботливую, и верную, и... словом такую, какой я не найду.

И без малейшего воодушевления волочусь за Коллетами, Полеттами, Сюзи, Дэзи, Габи, которых выпускают сериями и с которыми уже через два часа умираешь со скуки! Это — залы ожидания.

Так-то...

До свидания, Диш. Целую тебя крепко.

Твой старый брат

Антуан.

* * *

Париж, 1925

Мамочка!

(...) Ивонна прокатила меня на машине в Фонтенбло. Это была восхитительная прогулка. Обедал я у Сегона.

...X. уехал в Марокко. И вот плоды моего воспитания:

Он мне пишет:

«...Я хорошо усвоил все твои наставления. Так же, как и все, чему ты учил меня и что я сам смутно чувствовал, а с твоей помощью осознал в самом себе, потому что ты умеешь мыслить и выражать свою мысль ясно и просто...» и т. д.

«...Думая о помощи, которую ты мне оказал, и о моем развитии, которым я тебе обязан, я...» и т. д.

«...Даже в тот день, разговаривая с тобой, я то и дело чувствовал, какая мне предстоит работа, чтобы подняться до твоего уровня и смотреть на мир твоими глазами...» и т. д.

«...Если бы ты знал, как я тобой восхищаюсь — и работой, которую ты преодолел, и ее результатами...» и т. д.

Я кое-что сумел сделать из человека, научив его по-настоящему относиться к окружающему. Я горжусь тем, что моя система воспитания мысли увенчалась таким успехом. Люди стремятся выучиться чему угодно, только не умению мыслить. Они учатся писать, петь, хорошо говорить, чувствовать, но никогда не учатся мыслить. И идут на поводу у слов, а словами можно подменить любые чувства. А я хочу, чтобы мысль была живой, а не книжной.

Я заметил, что когда люди говорят или пишут, они тотчас утрачивают всякую мысль ради искусственных умозаключений. Они пользуются словами, как счетной машиной, которая сама собой должна выдать верный результат. Это идиотизм. Надо не учиться рассуждать, а научиться не рассуждать. Для того что-

бы что-то понять, нет надобности пройти через известный ряд слов, ибо слова только все искажают: а на них-то больше всего и полагаются.

Моя педагогика постепенно выкристаллизовывается, и я пишу о ней целую книгу. Это внутренняя драма становления человека. При этом, как основное условие, со всей резкостью должна быть подчеркнута исходная обнаженность. Нужно сначала догола раздеть своего ученика, чтобы показать ему все его ничтожество, как я это сделал с Х.

Мне ненавистны люди, пишущие для забавы, ищущие эффектов. Надо иметь что сказать.

Вот я и показал Х., в чем заключалась фальшь и пустота нанизываемых им слов, и что беда не в недостаточной работе,— это легко исправить,— но в глубокой порочности его способа видеть, а это и есть основа всего; прежде чем писать, нужно потрудиться не над выработкой стиля, а над умением мыслить и видеть.

Сначала он почувствовал отвращение к самому себе, а это очень оздоровляющая процедура, через которую прошел и я, а потом он убедился, что можно видеть и мыслить по-иному, и теперь из него, пожалуй, кое-что получится. Он питает ко мне лестную для меня признательность.

Я прощаюсь с вами, пора. Целую вас от всего сердца.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Монлюсон (департамент Алье), 1925

Мамочка!

Вот я и в Монлюсоне — премилом городишке. В девять часов вечера застал его уже спящим. Завтра приступаю к работе и надеюсь справиться, хоть дела очень запущены.

Не надо так сердиться на меня за мое письмо к Диди, оно было написано в минуту глубокой подавленности. С женщинами, о которых вы говорите, бывает, как с друзьями. Я больше не могу всякий раз обманываться в человеке и становлюсь нетерпимым, когда вижу, что личность, казавшаяся мне интересной,— слишком несложный механизм; и меня охватывает отвращение. И я досадую на этого человека. Я стараюсь избегать многих людей и многие дома, и это сильнее меня.

Передо мною, в маленьком зале маленькой провинциальной гостиницы, сидит великолепнейший фат, который щебечет без умолку,— по-видимому, из местных аристократов. Он глуп, ничтожен и производит много шуму. Я не в состоянии больше выносить подобных типов, и если я, женившись, обнаружу, что мою

жену влечет к этому миру, я буду самым несчастным человеком. Она должна любить только людей с богатой внутренней жизнью. Бывать и Y. и K° стало для меня совершенно нестерпимым, я сижу у них набрав в рот воды: мне надо бы кой-чему научиться.

То, что я рассказал вам об X., не должно вас огорчать. Я не могу с уважением относиться к этой фальшивой культурности, к мании выискивать любые лживые поводы для переживаний, ко всем этим банальным чувствованиям без какой бы то ни было подлинной, внутренне обогащающей любознательности. Запоминать какую-нибудь книгу или спектакль только потому, что они эпатируют, потому что они в моде! Я не выношу людей, испытывающих рыцарские чувства только тогда, когда, отправляясь на бал-маскарад, они наряжаются мушкетерами.

Мама, у меня есть друзья, знающие меня много лучше подобных типов, они меня ценят, и я отвечаю им тем же. Это убедительное доказательство того, что я чего-то стою. Для семьи я остался существом поверхностным, болтуном и жуиром, это я, который даже в удовольствиях старается чему-нибудь научиться и терпеть не может бездельников, шляющихся по ночным кабачкам; я, который почти никогда уже не раскрывает рта, до того мне осточертела пустая болтовня. Позвольте же мне даже и не разубеждать их, это совершенно излишне.

Я так не похож на то, чем мог бы стать. С меня довольно и того, что вы это знаете и хоть немного уважаете меня. Вы неверно поняли мое письмо к Диди. Оно было продиктовано отвращением, а не цинизмом. Когда устанешь, к вечеру охватывает такое настроение. Каждый вечер я подвожу итог истекшему дню. И если он оказался бесплодным в смысле самовоспитания, я злюсь на тех, по чьей вине я потерял этот день и в кого я зря поверил.

Не сердитесь на меня и за то, что я почти не пишу. Внешняя жизнь так пуста и однообразна. А жизнь внутреннюю рассказать трудно, удерживает какое-то целомудрие. Говорить об этом было бы слишком претенциозно. Но вы представить себе не можете, до какой степени эта внутренняя жизнь — единственное, что имеет для меня значение. Она изменяет все ценности, даже в суждениях о других. Меня не трогает репутация «славного малого», если это внушено одною дешевой чувствительностью. Я хочу, чтобы меня видели таким, каков я есть в том, что я пишу и что составляет скрупулезный и продуманный итог всего, что я думаю и вижу. Вот в тишине моей комнаты или в бистро я могу быть самим собой и, не прибегая ни к каким литературным штампам и трюкам, с усилием находить нужные слова. И тогда я чувствую себя честным и добросовестным. Я уже не выношу ничего, бьющего на эффект, никакой подта-

совки и позы, рассчитанных на то, чтобы поразить воображение. Я стал просто презирать многих писателей, которых раньше любил за то, что они доставляли мне интеллектуальное наслаждение, слишком легкое, как эстрадная музыка. Право же, не надо больше требовать от меня писем с ежедневными отчетами о прожитом дне.

Мама, я достаточно строг к себе и имею право порицать в других то, что порицаю и исправляю в себе самом. Я избавился от какого бы то ни было интеллектуального кокетства, из-за которого собственная персона оказывается между тем, что ты видишь, и тем, что пишешь. Как вы можете ждать от меня, что я стану описывать вам, как принимал ванну... или обедал у Жаков. Все это не имеет для меня никакого значения.

Мамочка, я действительно люблю вас всем сердцем. Вы должны мне простить мою внешнюю недоступность и замкнутость, я не могу не быть самим собой,— даже когда это трудно. И все-таки очень немногие могут сказать, что я был с ними откровенен и поверял им свою душу и что они хоть сколько-нибудь знают меня. С вами я действительно был искреннее, чем с кем бы то ни было, и вы немного знакомы с оборотной стороной болтливого и поверхностного субъекта, каким я кажусь Y., оттого, что считаю просто недостойным откровенничать с первым встречным.

Целую вас, мама, от всего сердца,

Антуан.

* * *

Париж, зима 1925—1926

Мамочка!

У меня пальцы закоченели от штурвала. Сейчас полночь. Только что кинул на кровать шляпу и ощущаю всю меру своего одиночества.

Вернувшись, я нашел ваше письмецо. Оно составляет мне компанию. Даже если я и не пишу, даже если и веду себя грубияном, вы можете не сомневаться, мама, что для меня нет ничего дороже вашей любви. Но это вещи невыразимые, о которых я никогда не умел говорить, хотя это так глубоко в душе и так прочно и неизменно. Я люблю вас, как не любил никого.

Я был в кино вместе с Аско. Скверный фильм, фальшивые переживания без какого-либо подводного течения. Все это мне отвратительно, и так же отвратительно толкаться вечером в толпе, но это потому, что я один.

В Париже я на кратком бивуаке из-за неполадок с машиной. Я кажусь себе исследователем, отчалившим от берегов Африка. Звоню по телефону. Делаю переклички друзьям. Один

занят, другого нет дома, их жизнь идет своим чередом, а я снова отчаливаю. Вот я и позвал Аско, живущего отшельником, и мы отправились в кино. Вот и все.

Мама, я жду от жены именно прекращения этого беспокойства. Поэтому она так и нужна. Вы не можете себе представить, как тоскливо на душе и какой напрасной кажется молодость. Вы не в состоянии понять, что может дать жена, что она могла бы дать.

Я слишком одинок в этой комнате.

Не думайте, мама, что меня одолела невыносимая тоска. Так со мной бывает всегда, когда я открываю дверь, бросаю шляпу и чувствую, как кончился еще один день, который просочился сквозь пальцы.

Если бы я мог писать ежедневно, я был бы счастлив: тогда день не казался бы прожитым зря.

Ничто не приводит меня в больший восторг, чем слова: «Как ты молод!», потому что мне так нужно быть молодым.

Но только я не люблю людей, насытившихся счастьем, как С., для которых уже невозможно никакое дальнейшее развитие. Надо быть всегда чуточку беспокойным, чтобы уметь видеть вокруг себя. Вот я и боюсь женитьбы. Все зависит от женщины.

Когда встречаешь их в толпе, все они хороши. Но толпа рассеивается — и обнаруживаешь, что та, которая нужна, составлена из двадцати женщин. Я требую слишком многого, чтобы не задохнуться на первых же порах.

На улице ледяной холод. Жесткий свет витрин. Я думаю, что можно было бы поставить хороший фильм из таких уличных впечатлений. Те, кто делает фильмы, кретины. Они не умеют видеть. Они даже не понимают, в чем состоит их задача. Мне кажется, достаточно схватить десяток лиц, десяток жестов, чтобы передать выразительные образы, но они не способны к такому синтезу и занимаются фотографией.

Мама, я хотел бы отважиться писать. Мне так много нужно высказать. Но к вечеру я способен только сбросить балласт прожитого дня и уснуть.

Скоро я снова уеду, неизвестно когда,— может быть, придется переменить машину.

Целую вас со всей нежностью. Я остаюсь самим собой, но вы все-таки можете меня благословить.

Антуан.

* * *

Дакар, 1927

Мамочка!

Вот я и в Дакаре, я в восторге от того, что путешествую. Видел вблизи ужасающих мавров... Они одеты в голубое, и у них огромные курчавые шевелюры. Вид безумный! Они приезжают в Джуби, в Агадир, в Сиснерос поглазеть поближе на самолеты. И часами в молчании простаивают перед нами.

Мой рейс прошел вполне благополучно, если не считать вынужденной посадки в пустыне. Один из товарищей прилетел нам на выручку, и мы провели ночь в маленькой французской крепости, оторванной от всего мира; начальствующий здесь сержант месяцами не видит белого человека!

Посылаю вам всего несколько слов, почта сию минуту отправляется, а потом ее не будет целую неделю. Дакар довольно уныл, но остальная линия — чудо.

Целую вас с величайшей нежностью. Буду писать с каждой почтой. Начинаю работать на линии только с двадцать четвертого и постараюсь завести знакомства.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Дакар, 1927

Моя милая мамочка!
Моя ласковая Диди!
Мой обожаемый Пьер![1]

Посылаю вам одно общее письмо, потому что нет ничего сладостнее семейного лона. Вот я и посылаю письмо семейному лону.

Из-за вынужденной посадки ночевал у сенегальских негров. Угощал их вареньем, от которого они пришли в восхищение: они никогда в жизни не видели ни европейцев, ни варенья. Когда я растянулся на циновке, вся деревня пришла ко мне с визитом. Я принимал в своей «каза» по тридцать человек... И все они меня разглядывали.

В три часа утра, при луне, я выехал верхом в сопровождении двух проводников. Это была самая настоящая «экспедиция».

Диди и Пьер, готовьте наседку: через две недели вышлю вам самолетом страусовые яйца. Маленькие страусята так же ми-

[1] Пьер д'Агей — шурин Сент-Экзюпери, муж его сестры — Габриель.

лы, как и большие, и выкармливать их очень просто: они питаются ручными часами, столовым серебром, толченым стеклом, перламутровыми пуговицами. Они глотают все, что блестит.

Мама, что это за история со спиритизмом? Как вы представляете себе меня на мотоцикле в Сахаре?[1]

Она совсем не похожа на Булонский лес. А спиритизм — величайшая из нелепостей, и я бы не хотел, чтобы эта нелепость вас волновала.

Спасибо большое за вашу книжку.

Целую вас крепко-крепко.

Антуан.

* * *

Дакар, 1927

Мамочка!

Предполагаю, что вы в Сен-Морисе, хотя и не вполне уверен в этом. Мне хотелось бы вас повидать. Я немножко стосковался по родным местам, но когда же вы сможете приехать?

В Дакаре все еще вполне сносная температура, и я чувствую себя хорошо. Мои полеты продолжаются регулярно и составляют единственное разнообразие моей жизни. Дакар самый буржуазный из провинциальных городов.

Как вы живете? Приятно иметь чудесную семью, и племянника, и вас. Здесь ни о чем не грустят, ничему не радуются, ни о чем не думают,— здесь все удручающе пусты. Сенегал их выпотрошил. И вот я размечтался о людях, которые способны о чем-то думать, у которых есть радости, печали, привязанности.

А интеллигенты здесь такие серенькие.

Это совсем унылая страна, без перспектив, без традиций, без лица, бессмысленная страна. Не мечтайте о Сенегале!

За весь день здесь — ни одного впечатления: ни рассвета, ни сумерек... гнетущий сероватый день, а потом — без всякого перехода — влажная ночь.

А в светском обществе канканы еще хуже, чем в Лионе.

Я прощаюсь с вами. Пойду отнесу письмо на почту.

Целую вас крепко-крепко.

Ваш почтительный сын

Антуан.

---

[1] Имеется в виду предсказание гадалки.

* * *

Дакар, 1927

Мамочка!

Получил от вас несколько слов, но без адреса. Мне нечего особенно вам рассказать, кроме того, что я танцую как молодой «жиголо» и что это письмо я сам повезу завтра в Джуби.

Дакар все тот же. Не стоило, конечно, забираться в самое сердце тропиков, чтобы найти здесь подобие лионского предместья...

Все же надеюсь, что, вернувшись в Джуби, я смогу снова отправиться с товарищами в маленькую экспедицию в глубь страны и поохотиться на крокодилов. Это было бы забавно.

Но самое большое утешение — это мое ремесло.

Я пишу большую вещь для издательства «НРФ»[1], но малость запутался в сюжете. Когда кончу, пошлю ее вам на суд.

Пишу всего несколько слов из-за полного отсутствия фантазии. Этот край все подавляет. Здесь даже не испытываешь чувства, что ты где-то далеко. Но я все-таки хочу, чтобы вы регулярно имели от меня вести.

Целую вас так же нежно, как люблю.

Антуан.

* * *

Джуби, 1927

Дорогой братишка![2]

Я только что искупался в море. И вспомнил тебя, Диди, Агей и Францию, потому что я по-прежнему — патриот. А так как сегодня я хандрю, как старая дева,— то можешь это легко себе представить,— я и пишу тебе.

Море было беспокойное и зыбкое, и на душе у меня стало беспокойно и зыбко. (Подобные пустяки меня, конечно, ничуть не утомляют. Я могу продолжать в этом же роде еще очень долго.) Были также медузы величиной с лохань, но они, к счастью, не агрессивны.

Купанье никак не входило в мои намерения. Я захотел покататься в лодке и выйти за причал. Доблестная отвага! Но я очутился под лодкой и под причалом.

Здесь здорово весело. Живем в испанском форту, возведенном на пляже, и можем, не рискуя жизнью, дойти до моря, что составляет, по крайней мере, двадцать метров, эту прогулку я совершаю несколько раз в день. Но стоит чуть превы-

---

[1] Имеется в виду «Южный почтовый».

[2] Письмо адресовано шурину Сент-Экзюпери — Пьеру д'Агей.

сить эти двадцать метров, как по тебе начинают стрелять. А если выйдешь за пределы пятидесяти метров, тебя отправят к праотцам или уведут в рабство, все зависит от времени года. Весною, если ты к тому же еще и недурен собой, у тебя есть шансы сделаться султаном. Это все-таки лучше, чем получить пулю в лоб. Можно также сделаться великим евнухом. Но это менее интересно.

Если бы я был в Джуби две недели тому назад, я бы прославил свой род. Мои здешние товарищи спасли путешественников. Но мое звено, увы, находилось в это время в Дакаре,— потому что мы умираем здесь от скуки по очереди. А когда прилетели мы, все было уже кончено.

Вчера вечером я пережил маленькое потрясение. На дворе была кромешная тьма. Одна из таких ночей, о которых рассказывается в Священном писании в главе о потопе. Свирепствовала песчаная буря, и, как совершенно справедливо заметил бы Понсон дю Террайль[1],— «завывания ветра вторили стенаниям волн». Тут мой вчерашний рацион как раз завершил свое маленькое странствие и потребовал выхода. А так как в Джуби ватерклозетом служит либо дворик форта, либо Сахара, то я предпочел Сахару и вышел (у нас маленький изолированный барак).

Кстати, это запрещено.

И вот я присоединил свой скромный голос к могучему голосу бури, как вдруг услышал шаги. Дальше двух метров ничего нельзя было разглядеть. Как сказал бы со свойственной ему выразительностью тот же Понсон дю Террайль в главе об изнасиловании маркизы, кровь моя, едва успев сделать один оборот, застыла в жилах.

Мне уже не раз приходилось выходить таким способом, но всегда в сопровождении двух часовых. Они быстро составляли мне компанию, и мы возвращались. Но на этот раз при мне не было даже револьвера. Я заставил умолкнуть свой скромный голос и стал медленно пятиться.

Но тут с высоты стены балбес часовой принялся завывать, как бык. И притом по-испански. Он выкрикивал положенные заклятия. (Приказано стрелять по любой тени). По-испански я могу сказать только «о!». Я и произносил все слова, какие знал: «Товарищ... старина... братишка!» И для большей безопасности присел на карачки у стены. Таким манером я и вернулся. Не успел я открыть дверь, как он выстрелил, и я сказал «уф!».

Диди меня спрашивает, что я делаю... Так вот, я перевожу почту через непокоренную Сахару от Дакара до Джуби. Сахара начинается тотчас же за границей Сенегала. Это француз-

[1] Пьер Алексис Понсон дю Террайль (1829—1871)— французский писатель, автор знаменитых «Подвигов Рокамболя».

ская Мавритания. Она находится в руках непокоренных племен от самого Порт-Этьена, где начинается испанская зона (Рио-де-Оро). Товарищи, работающие на линии Касабланка — Джуби, тоже находятся в окружении непокоренных племен от Джуби до Агадира.

Это очень увлекательный спорт. В прошлом году у нас убили двух пилотов (из четырех), и на расстоянии тысячи километров я могу удостоиться чести быть подстреленным, как куропатка. Следующая тысяча более мирная (нам приходится проделывать две тысячи километров туда и две обратно с каждым рейсом).

Однажды мне уже пришлось сесть в пустыне, но моему напарнику (а мы летаем по два самолета) удалось меня выудить: я приземлился на хорошей площадке из плотного песка. Если напарнику не удается вас выудить, дело оборачивается куда менее весело. Уругвайцы нам рассказывали, что, будь они французами, их наверняка бы убили. Их несколько раз брали на мушку. Ну что ж, если меня захватят, я буду очень любезен и принесу мои извинения, как принес их однажды льву, которого подранил, после чего мой винчестер отказал. Мне было не до шуток: львы, оказывается, терпеть не могут, чтобы их подстреливали. Эти звери на редкость обидчивы, но я был в машине, и мне пришла гениальная мысль нажать на клаксон. Эффект получился грандиозный. Лев сбежал в Мавританию, на границу Сахары. Я провел в машине четыре дня, колеся по пустыне. Не было даже верблюжьих троп, мы плавали по пескам, объезжая дюны и т. п. ...мы останавливались в палатках кочевников, которых наши «телеги» приводили в смятение, сменявшееся восторгом. Встречая стада, мы реквизировали барашков. Это была жизнь могущественных феодалов.

Я подробно описал эту экспедицию Диди, но потом обнаружил, что забыл свое письмо в книге. По-видимому, она его так и не получила?

Пьер, сейчас полночь, и я не хочу больше беспокоить тебя в столь неурочное время. Я уверен, что тебе хочется спать.

Крепко тебя целую.

Антуан.

P. S. Моя миссия заключается в том, чтобы, наладив связи с маврскими племенами, попытаться по возможности сделать вылазку на непокоренную территорию. Я занимаюсь ремеслом летчика, дипломата и исследователя. Готовлюсь к спуску в яму с медведями. Сколько будет потом воспоминаний, если все это закончится благополучно и я вернусь цел и невредим!

Я не получаю писем от мамы. *Очень прошу Диди растолковать ей хорошенько, как надо адресовать письма!* Я пробо-

вал уже дважды... Очень беспокоюсь, потому что знаю, что у мамы грипп. Скорее отвечай.

Дакар

Я понял, в чем дело: мама пишет до востребования, пусть пишет, ничего ей не говори.

Приглашаю тебя на стаканчик вина. Если тебе случится проезжать через наши места, буду рад исполнить мое обещание. Мне до смерти скучно одному. А нет, через год я постараюсь сам побывать в Агее (увы..?).

Дакар очень хорош ночью, когда спит. Он похож на тебя.

Подыщи мне хорошенькую девушку. Я был бы счастлив способствовать совершенствованию человеческого рода. Если она богата, ты получишь проценты с приданого, если красива, ты получишь проценты.., ну нет, только не это. Ты чересчур обольстителен.

Мне не спится, и я один. Сколько потерянного времени!

А ты, в этот самый час... Ах ты, обольститель! (Разве не говорила тебе та девчонка: «Ну и неловок же ты! Ну и обольститель!»?)

Спокойной ночи, старина.

Черкни хоть один раз в жизни. Бог тебе воздаст. (Я не хочу сказать, что и он тебе черкнет, но хоть поможет отрастить волосы. То-то будет награда!)

Антуан.

* * *

Джуби, 1927

Мамочка!

Какую монашескую жизнь я веду! В самом затерянном уголке Африки, в сердце Испанской Сахары. Форт на пляже, прилепившийся к нему барак, и больше ничего на сотни и сотни километров.

Я обожаю Сахару, и когда приходится приземляться в пустыне, любуюсь окружающими меня солеными озерами, в которых отражаются дюны. (Впрочем, это здорово бесит, когда хочется пить...) Чувствую себя великолепно. Мамочка, сын ваш счастлив, он нашел свое призвание.

Море в часы приливов заливает нас до самых стен, и если ночью я сижу, облокотившись у моего окна с тюремными решетками — мы окружены непокорными племенами,— я вижу море под собой, как с баркаса. И всю-то ночь оно бьется о мою стену.

Другой наш фасад выходит на пустыню.

Убожество полное. Дощатая постель с тощим соломенным

матрасом, таз, кувшин для воды. Я забыл безделушки: пишущая машинка и папка с делами аэродрома! Монастырская келья.

Самолеты приходят дважды в неделю. Между ними три дня тишины. И когда они улетают, мне кажется, что это мои птенцы. Я не нахожу покоя, пока по радио не сообщат об их прибытии на следующий аэродром — в тысяче километров отсюда. И я всегда готов вылететь на поиски пропавших.

Каждый день угощаю шоколадом ватагу маленьких арабчат, лукавых и очаровательных. Я пользуюсь популярностью среди здешних мальчишек. Тут есть несколько обаятельных женщин, которые держатся, как индийские принцессы, они полны материнской ласки. Есть у меня здесь и старые дружки.

Ежедневно приходит марабу и дает мне уроки арабского языка. Я учусь писать. И уже кое в чем разбираюсь. Устраиваю великосветские чаепития для маврских вождей. И они, в свою очередь, приглашают меня на чай в свои палатки в двух километрах от границы, куда еще ни разу не ступала нога ни одного испанца. А я проникну еще дальше. Мне это не страшно, потому что ко мне здесь понемногу привыкают.

Растянувшись на циновке, смотрю сквозь полотнища на спокойные округлые линии песков, на волнистый контур горизонта, на сыновей вождя, голышом играющих на солнце, на верблюда, привязанного в нескольких шагах от палатки. И у меня странное ощущение : я не чувствую себя ни оторванным, ни одиноким, мне просто кажется, что все это только игра.

Мой ревматизм мне не докучает. С этим даже лучше, чем до отъезда.

А вы, мамочка, вы-то как чувствуете себя в своей пустыне с вашими подопечными малышами?[1] Мы с вами оба так чужды всяческой жизни.

Далеко ли я от Франции или близко, в кругу ли я семьи, встречаюсь ли со старыми друзьями, мне все кажется, что я на пикнике в Сен-Рафаэле. Двадцатого числа каждого месяца с Канарских островов к нам прибывает парусное судно с провизией; сегодня утром, когда я распахнул окно, на горизонте маячил белый парус, прекрасный и чистый, как свежевыстиранное белье; он украсил всю пустыню и напомнил мне нашу бельевую, самую домашнюю комнату в доме. И я вижу старых служанок, которые всю жизнь проводят с утюгом, гладя белоснежные скатерти; потом они раскладывают их по шкафам; и все это благоухает. А парус мой тихо-тихо покачивается, как хорошо выглаженный бретонский чепец; но такие радости недолги.

Я приручил хамелеона. Мое здашнее амплуа — приручать. Это мне к лицу и слово это красивое. Мой хамелеон похож

---

[1] Имеется в виду благотворительная деятельность г-жи де Сент-Экзюпери.

на допотопное животное. Вроде диплодока. Он невероятно медлителен и осторожен, почти как человек; и погружен в нескончаемые размышления. Он часами пребывает в полной неподвижности. Кажется, будто он возник из тьмы времен. Вместе с ним мы мечтаем по вечерам.

Мамочка, крепко вас целую. Пишите.

Антуан.

* * *

Джуби, 25 декабря, 1927

Мамочка!

У меня все благополучно. Жизнь здесь очень проста и небогата событиями. Хотя как раз сейчас наступило некоторое оживление: здешние мавры ждут нападения других маврских племен, и поэтому идут военные приготовления. Наш форт относится к этому спокойно, как мирный лев, хотя по ночам каждые пять минут в небо взлетают ракеты и пустыня в их феерическом освещении похожа на оперную декорацию. Как и все крупные демарши мавров, это закончится похищением четырех верблюдов и трех женщин.

Нас обслуживают рабочие-мавры и один раб. Этот несчастный — негр, четыре года назад похищенный в Марракеше, где у него остались жена и ребятишки. Так как рабство здесь не преследуется, он работает на мавра, который его купил и которому он каждую неделю отдает свой заработок. Когда он одряхлеет настолько, что не сможет больше работать, ему позволят умереть,— таков обычай. Так как все это происходит в непокоренной области, испанцы вмешиваться не могут. Я бы охотно погрузил его контрабандой на самолет, отправляющийся в Агадир, но нам после этого несдобровать. Он стоит две тысячи франков. Если бы кто-нибудь из ваших знакомых возмутился этой историей и прислал мне деньги, я бы выкупил беднягу и отправил бы его к жене и детям. Он славный и несчастный человек[1].

Хотелось бы провести рождество вместе с вами в Агее. Агей для меня — символ счастья. Правда, я там иногда порядком скучаю, но так и полагается, когда человек слишком долго счастлив. Если на следующей неделе буду в Касабланке, что весьма вероятно, я куплю для наших молодых заямские ковры самых красивых расцветок. Они им, наверное, пригодятся.

Сегодня серый денек. Море, небо, песок неразличимы. Пустынный пейзаж первобытных эпох. Изредка раздается пронзительный крик морской птицы, и ты поражаешься этому про-

---

[1] Этот раб фигурирует в «Планете людей» под именем Барка (см. главу VI).

явлению жизни. Вчера мне пришлось выкупаться. Я выполнял роль грузчика. Нам доставили в лодке две тысячи килограммов груза. Не так-то легко было перевалить этот пакетик на причал и перевезти на берег. Я командовал крохотным баркасом, устойчивым, как корыто, с уверенностью бывшего кандидата в Морское училище. Меня немного мутило: мы выделывали чуть ли не мертвые петли.

Мне ничего не нужно. У меня явная склонность к монашеской жизни. Устраиваю чаепития для мавров и хожу к ним в гости. Понемногу пишу. Начал одну книжку[1]. Написал шесть строчек. Вот и все.

Сегодня вечером сочельник. Этого, по правде сказать, совсем не чувствуется в здешних песках. Дни тут проходят, не оставляя никакого следа. Смешной способ устраивать свою жизнь в этом мире.

Целую вас нежно.

Ваш почтительный сын

Антуан.

* * *

Джуби, конец 1927 г.

Мамочка!

Я чувствую себя сносно. Мне кажется, что на будущий год мне попросту следовало бы полечиться в Эксе. А в остальном у нас все то же неизменное солнце над вечно бурным морем, потому что океан здесь никогда не успокаивается.

Немного читаю и решил написать книжку. Написал уже около сотни страниц и совершенно запутался в композиции. Мне хочется втиснуть туда слишком много вещей и различных точек зрения. Интересно, как бы вы к этой книжке отнеслись.

Если через два-три месяца мне удастся на несколько дней попасть во Францию, я покажу ее Андре Жиду или Рамону Фернандесу.

Зондирую почву у испанцев на предмет рекогносцировочной прогулки в Марокко, в непокоренные области. Сначала, чтобы они не перепугались, я завел разговор о поездке на охоту, в дальнейшем постараюсь расширить ее задачи. Для этого потребуется сложная дипломатия. Кроме того, мне еще неизвестно теперешнее отношение к этому делу испанского начальства; раньше они относились к таким вещам благожелательно.

Но с этим придется повременить, по крайней мере месяц, потому что кругом идет война.

---

[1] Имеется в виду «Южный почтовый».

С грустью мечтаю о Сен-Морисе и об Агее, хотя я и начал уставать от моря! И о всей сладости Франции.

Целую вас так же нежно, как люблю.

Ваш почтительный сын

Антуан.

P. S. Как только поеду в Касабланку, пошлю вам кое-что к Новому году.

* * *

Джуби, 1928

Моя маленькая Диди![1]

Нам предстоит довольно много хлопот в поисках двух самолетов, затерявшихся в пустыне. За пять дней я налетал над Сахарой около восьми тысяч километров. За мной, как за зайцем, охотились отряды по триста головорезов. Я пережил опасные дни, четыре раз приземлялся на непокоренной территории и после одной вынужденной посадки провел там целую ночь.

В такие минуты приходится с величайшей щедростью рисковать собственной шкурой.

В настоящее время нам известно, что экипаж первого самолета в плену и мавры требуют за него выкуп в миллион ружей, миллион пезет и миллион верблюдов (пустяки!). Дело принимает довольно скверный оборот, так как между племенами уже начинаются стычки за обладание пленниками.

Что же до экипажа второго самолета, то он, по-видимому, отправился за смертью куда-то на юг, потому что у нас нет о нем никаких вестей.

Надеюсь приехать во Францию в сентябре: мне это нужно до зарезу. Приезжать раньше не хочется, потому что для отпуска мне необходимы деньги, а у меня их сейчас еще нет.

Я воспитываю лисенка-фенека,— зовется также лисой-одиночкой. Он меньше кошки, и у него огромные уши. Он очарователен.

[*Приводится рисунок фенека*]

К сожалению, он дик, как хищный зверь, и рычит, как лев.

Я закончил роман[2] в сто семьдесят страниц и сам не знаю, что о нем думать. Вы прочитаете его в сентябре.

Жажду вновь зажить жизнью цивилизованного человека;

---

[1] Письмо адресовано сестре Сент-Экзюпери — Габриель.

[2] Имеется в виду «Южный почтовый».

вы не можете ничего понять в моей здешней жизни, а ваша представляется мне до того далекой! Быть счастливым кажется мне недосягаемой роскошью.

Твой старый брат

N. B. Если хочешь, я женюсь...

Антуан.

* * *

Брест, 1929

Мамочка!

Меня тронула ваша телеграмма. Я так корю себя за то, что разучился писать.

Право же, ваше письмо о моей книжонке взволновало меня больше всех других писем. Я так хочу вас повидать! Если через месяц моя книжка начнет продаваться, мы с вами вдвоем поедем в Дакс, я в этом очень нуждаюсь, потому что совсем загнил и закис. Я покажу вам еще другую книжку, которую начинаю писать.

Брест не слишком интересен.

Если бы я мог рассчитывать на четыреста — пятьсот франков, я попросил бы вас приехать ко мне в Брест. Но пока что у меня ничего нет, кроме долгов. Я бы охотно занял, потому что уверен, что получу деньги за свою книжку,— но у кого?

Наконец-то через месяц я уезжаю.

Как бы я хотел повидать Сен-Морис, мой старый дом! И мой сундук: я часто вспоминаю о нем в моей книжке.

Мамочка, как вы можете думать, что мне надоели ваши письма? Только они и заставляют сильнее биться мое сердце.

Пишите мне и расскажите, что говорят о моей книжке? Только ради бога не показывайте ее X, Y. и другим болванам. Чтобы ее понять, надо, по крайней мере, понимать Жироду.

Целую вас нежно

А.

Борт парохода, 1929

Мамочка!

Я отчалил. Это будет чудесное путешествие.

До самого отъезда у меня не было *ни секунды,* я устал и жажду отдохнуть. Наконец-то все закончено.

Галлимар очень доволен моей книжонкой, корректуру он пришлет мне самолетом и хочет тотчас же получить вторую книжку.

Ивонна, приехавшая из Шитрэ проститься со мной, рассказывает, что о моей книге говорит весь литературный мир.

Вы получите огромное письмо, отправленное из аэропорта Бильбао в Испании (через три-четыре дня).

Целую вас нежно. Это не прощальное письмо: это только несколько слов перед Бильбао; они должны выразить всю мою нежность к вам, мамочка, мою глубокую нежность, которая вам хорошо известна.

Поцелуйте за меня тетю Мад и бабушку. Поцелуйте Диди.

Антуан.

* * *

Борт парохода, 1929

Мамочка!

Плавание протекает спокойно. Играем в шарады с молоденькими девочками, устраиваем маскарады, выдумываем разные игры в слова. Вчера играли в жмурки и в кошки-мышки. Я чувствую себя пятнадцатилетним мальчишкой.

Нужно богатое воображение, чтобы поверить, что ты на пароходе. Никакого шума, море как масло. Едва слышно гуденье огромных вентиляторов, которые непрерывно вращаются у нас над головами.

Становится жарко. Пять часов будем стоять в Дакаре. Старые воспоминания. Значит, мое письмо дойдет до вас самолетом дня через три или четыре.

Мамочка, до чего же невелик мир! Находясь в Дакаре, я чувствую себя еще во Франции. Может быть, потому, что по дороге от Тулузы до Сенегала мне знакома каждая гора, каждое дерево, каждая дюна. На этом пути я помню каждый камень.

Сразу же по прибытии в Дакар мне подали ваше письмо. Я очень тронут и поражен, как это вам пришла в голову такая чудесная мысль! Вы догадливая мама.

Я еще не чувствую ни грусти, ни разлуки, ни оторванности. Не скажешь, что путешествуешь. Никакого движения, ни единого звука, и эти шарады в салоне перед усевшимися в кружок мамашами! В этой нет ничего экзотического или колониального. Разве что знойный и упорный дакарский ветер. Но так могло бы быть и в Сен-Морисе в какой-нибудь душный день.

Летающие рыбы и акулы развлекают нас по пути своими представлениями. Девочки вскрикивают. Потом мы берем название какой-нибудь рыбы и ставим шараду или рисуем портреты акул.

Я хочу сойти на берег и опустить это письмо. Всех вас нежно целую. Все вы неразлучно со мной.

Теперь вы скоро получите письмо из Южной Америки. Мамочка, земля наша такая маленькая: куда ни уедешь, все близко.

Крепко вас целую

Антуан.

* * *

Буэнос-Айрес, январь, 1930

Мамочка!

Читаю «Пыль»[1] и думаю, что все это мы любим так же, как «Верную Нимфу»[2], потому что узнаем в этом самих себя. Мы тоже были особым племенем. И этот мир детских воспоминаний, рассказанный нашим языком,— игры, нами самими придуманные,— всегда будет мне казаться непоправимо более реальным, чем всякий иной мир.

Сегодня вечером мне почему-то вспомнился прохладный вестибюль Сен-Мориса. После ужина мы усаживались на сундуки или в кожаные кресла, дожидаясь, когда нас отправят спать. А дяди расхаживали взад-вперед по коридору. В полутьме до нас доносились обрывки разговора, и это было очень таинственно. Так же таинственно, как сердце Африки. Потом в гостиной составлялся бридж и начинались тайны бриджа. Мы шли спать.

В Ле-Мане, когда мы были уже в кроватках, вы иногда пели внизу. Ваше пение доносилось к нам, как эхо какого-то грандиозного праздника. Так мне казалось. Самой доброй, самой мирной и самой дружелюбной вещью, какую я когда-либо знал, был камин в верхней комнате в Сен-Морисе. Ничто и никогда не давало мне такой уверенности в прочности бытия. Когда я просыпался ночью, огонь в камине гудел, как волчок, отбрасывая на стены яркие блики. Не знаю почему, но он напоминал мне верного пуделя. Этот маленький камин защищал нас от всех напастей. Иногда вы поднимались к нам наверх, приоткрывали дверь и, удостоверившись, что мы окутаны ласковым теплом, прислушивались к неистовому гудению камина и снова спускались к себе.

У меня никогда не было второго такого друга.

Беспредельности меня научили не Млечный Путь, не авиация, не море, а вторая кровать вашей спальни. Заболеть было для нас, детей, необыкновенным счастьем. И каждый мечтал об этом. Грипп давал право на этот безбрежный океан. В вашей спальне тоже был живой камин.

---

[1] Роман Розамонд Леманн.
[2] Роман Маргарет Кеннеди.

Вечности меня научила мадемуазель Маргерит[1].

Я не вполне уверен, что жил после того, как кончилось детство. Теперь я пишу книгу о ночном полете. Но сокровенная тема этой книги — ночь. (Ведь жизнь моя всегда начиналась только после девяти часов вечера.)

Вот ее начало — это мои первые воспоминания о ночи:

«Когда начинало смеркаться, мы задремывали в вестибюле. Мы подкарауливали минуту, когда пронесут лампы: их несли, как охапки цветов, и от каждой по стене двигались тени, прекрасные, как пальмы. Потом мираж исчезал, и этот букет света и темных пальмовых листьев запирали в гостиной.

На этом день для нас кончался, и в наших детских кроватках мы отплывали к новому дню.

Мама, вы склонялись над нами, благословляя нас, ангелов, в полет, и чтобы наше путешествие было спокойным, чтобы ничего не потревожило нашего сна, вы разглаживали на простыне каждую складочку, отгоняли каждую тень, расправляли каждую морщинку...

Потому что и постель можно смирить, как — божественным перстом — морское волнение».

Потом наступает черед ночным странствиям в самолете, странствиям, уже не охраняемым вами.

Вы не можете представить себе ни ту безмерную благодарность, которую я к вам испытываю, ни того, какой неиссякаемый кладезь воспоминаний вы создали для меня из вашего дома. У меня всегда какой-то бесчувственный вид. Думаю, что я попросту всеми силами пытаюсь защитить себя.

Я мало пишу, но не по своей вине. Почти всю жизнь у меня рот на замке. Это было всегда сильнее меня.

На днях я вернулся из великолепного рейса, проделав за сутки две тысячи пятьсот километров. Я был на крайнем юге, у берегов Магелланова пролива, где солнце садится в девять часов вечера. Там все зелено: города среди зеленых лужаек. Смешные маленькие городишки с крышами из рифленой черепицы. И люди такие симпатичные, потому что им холодно и они собираются вместе у огня.

Солнце садилось в море. Это было восхитительно.

В этом месяце я высылаю вам три тысячи франков. Я надеюсь, что этого хватит. Вы их получите числа десятого — пятнадцатого. Всего я послал вам десять тысяч франков (с сегодняшними это составит тринадцать тысяч). Но я не совсем уверен, все ли вы получили и доставило ли вам это удовольствие. Очень хотелось бы знать.

Нежно вас целую

Антуан.

---

[1] Сент-Экзюпери вспоминает о ней в «Планете людей» (см. главу IV).

* * *

Буэнос-Айрес, 25 июля, 1930

Мамочка!

(...) Я живу неплохо. Начал работать над большим фильмом, надеюсь когда-нибудь его поставить[1]. Пока что купил маленький киноаппарат, чтобы поделиться с вами впечатлениями об Америках.

Недавно был в чилийском Сантьяго, где встретил французских друзей. Какой чудесный край, до чего своеобразны Андийские Кордильеры! Я оказался на высоте шесть тысяч пятьсот метров, там, где зарождались снежные бури. Все пики извергали снег, словно вулканы, и мне казалось, что горы начинают вскипать. Великолепная горная цепь с вершинами высотой в семь тысяч двести метров (бедный Монблан!) и протяженностью двести километров. И, конечно, неприступная, как крепость, во всяком случае нынешней зимой (у нас, увы, еще зима), а в самолете над ней охватывает чувство нездешнего одиночества.

Я мало-помалу завел себе чудесных друзей. Но иногда становится грустно оттого, что вы всегда так далеко. И все-таки сейчас мне было бы трудно жить во Франции...

Пишите мне, мамочка, с авиапочтой, я ничего о всех вас не знаю. Целую нежно.

Антуан.

* * *

Каир, 3 января, 1936[2]

Мамочка!

Я плакал, читая ваше письмецо, заключавшее для меня такой огромный смысл, потому что и я призывал вас в пустыне. Меня охватил великий гнев на всех людей за их уход, за их молчание, и я звал свою маму.

Ужасно оставлять после себя того, кто в тебе нуждается, как Консуэло[3]. Чувствуешь неимоверное желание вернуться чтобы защитить и уберечь, и в кровь раздираешь руки, пробираясь сквозь пески, которые не дают тебе выполнить долг, и кажется, что сдвинул бы с места горы. Но нужны мне были

---

[1] Имеется в виду сценарий фильма «Анна-Мария», который так и не был завершен.

[2] 29 декабря 1935 года Сент-Экзюпери вылетает в рейс Париж — Сайгон. Через четыре часа после вылета он терпит аварию в Ливийской пустыне. Его находят только вечером 1 января 1936 года.

[3] Жена Сент-Экзюпери.

вы; вы — моя защита, мое прибежище, и я звал вас с эгоизмом ягненка.

Я выжил отчасти ради Консуэло, но возвратился, мама, только благодаря вам. Ведомо ли вам, такой слабенькой, что вы ангел-хранитель, сильный и мудрый, исполненный благодати, которому молятся в одиночестве по ночам?

. . . .

Антуан.

* * *

Оркконт, декабрь, 1939

Мамочка!

(...) Я живу на очень симпатичной ферме. Здесь трое ребят, два деда, тети и дяди. В большом камине всегда поддерживается огонь, у которого я отогреваюсь после полетов. Ведь мы летаем на высоте десять тысяч метров при... пятидесятиградусном морозе! Но мы так хорошо закутаны (тридцать килограммов одежды!), что почти не страдаем от холода.

Нелепая война! На тормозах. Мы еще хоть что-то делаем, но пехота! Пьеру нужно непременно разводить виноград и ходить за коровами. Это куда важнее, чем быть железнодорожным сторожем или караульным при складе. Я думаю, что еще многих демобилизуют, чтобы возродить промышленность. Нет никакого смысла умирать от удушья.

Передайте Диди, чтобы она хоть изредка писала мне. Надеюсь всех вас повидать недельки через две. Каким бы это было счастьем!

Ваш *Антуан.*

* * *

Оркконт, май, 1940

Мама, дорогая!

Пишу вам, разложив бумагу на коленях, в ожидании воздушной бомбардировки, о которой объявили, но которая все не начинается. Думаю о вас. (...) И конечно же, за вас я всегда трепещу.

Я не получил ни одного письма. Куда же они деваются? И это меня немного огорчает. Возможность итальянской агрессии мучит меня, потому что вы всегда под угрозой. Я так несчастен. Я бесконечно нуждаюсь в вашей любви. Мама, любимая мамочка! Почему все, что я люблю на земле, всегда под

угрозой? Но еще больше, чем война, меня страшит завтрашний мир. Разоренные деревни, рассеянные семьи, смерть,— все это мне безразлично: я боюсь уничтожения духовного единства. Я хотел бы, чтобы все мы собрались за накрытым белой скатертью столом.

О своей жизни ничего особенного не скажу, рассказывать о ней нечего: опасные задания, еда и сон. Я испытываю страшную неудовлетворенность. Сердце требует иных занятий. Я страшно недоволен заботами моей эпохи. Добровольно принятая на себя и пережитая опасность не может успокоить во мне чего-то вроде отягченной совести. Единственный освежающий источник для меня — иные воспоминания детства: запах свечи в рождественскую ночь. Душа в наши дни до того опустошена, что человек умирает от жажды.

Я мог бы писать, у меня нашлось бы время, но писать я еще не умею, моя книга во мне еще не созрела. Книга, которая «утолит жажду».

До свидания, мамочка, изо всех сил, крепко-крепко обнимаю вас.

Ваш *Антуан.*

* * *

Нью-Йорк, 1943[1]

Дорогая мама, Диди, Пьер, все вы, кого я так люблю всей душой,— что с вами, как вы живете, как себя чувствуете, что думаете? Эта бесконечная зима так печальна, так печальна... И все-таки я твердо верю, что через несколько месяцев обниму вас, моя старенькая, моя ласковая, моя маленькая мама, и снова окажусь у вашего камелька и расскажу вам все, о чем думаю, и буду спорить с вами, как можно меньше вам противореча... и буду слушать вас, вас, которая всегда и во всем права...

Мамочка, я люблю вас.

Антуан.

---

[1] Письмо было получено г-жой де Сент-Экзюпери через Дюнглера, одного из участников движения Сопротивления в Эльзасе, сброшенного на парашюте американцами в Клермон-Ферране в январе 1944 года.

* * *

Борго, июль, 1944[1]

Мамочка!

Я бы так хотел, чтобы вы не беспокоились обо мне и чтобы это письмо дошло до вас. Мне очень хорошо. Совсем хорошо. Мне только очень грустно, оттого что я так давно вас не видел. И я очень тревожусь за вас, моя старенькая, любимая мамочка. Как несчастна наша эпоха.

Болит душа за Диди при мысли, что она потеряла свой дом. Ах, как бы я хотел ей помочь! Но в будущем пусть она твердо рассчитывает на меня. Когда же можно будет сказать всем любимым, что любишь их?

Мама, поцелуйте меня, как я вас целую, от всего сердца.

Антуан.

---

[1] Последнее письмо, адресованное матери. Оно было получено ею в июле 1945 года, через год после гибели сына.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание включены все законченные художественные произведения Антуана де Сент-Экзюпери, избранные репортажи, очерки и статьи писателя, а также большая часть его писем к матери и к Ренэ де Соссин. В комментариях приведены письма к различным адресатам — целиком или в отрывках, заметки из «Записных книжек», фрагменты из статей и из рукописи «Цитадели», иллюстрирующие развитие центральных тем творчества Сент-Экзюпери[1].

ЮЖНЫЙ ПОЧТОВЫЙ

Первое упоминание о том, что молодой Сент-Экзюпери пишет «роман», мы находим в его письме к матери, датированном октябрем 1923 года. Известно, что первоначально рукопись называлась «Бегство Жака Берниса». В 1926 году секретарь редакции журнала «Ле Навир д'Аржан», молодой писатель Жан Прево, опубликовал на страницах этого журнала рассказ Сент-Экзюпери «Летчик». Это был отрывок из повести, якобы утерянной автором. Скорее всего Сент-Экзюпери не терял своей повести, а просто не решался печатать ее целиком и предоставил для публикации наиболее совершенный отрывок. Этот рассказ почти полностью вошел в «Южный почтовый» (эпизоды взлета и посадки Жака Берниса во II и IV главах первой части). Об окончании «романа» Сент-Экзюпери сообщает сестре в письме из Джуби в 1928 году (стр. 523 наст. изд.). Впервые «Южный почтовый» опубликован издательством Галлимара в 1929 году. В 1937 году по роману поставлен фильм (режиссер Андре Бийон).

Над «Южным почтовым» Сент-Экзюпери работал около шести лет. Замысел книги развивался вместе с автором. По-видимому, идея «бегства» Жака Берниса возникла у Сент-Экзюпери в связи с «литературой бегства», уже существовавшей во Франции. После первой мировой войны среди европейских писателей усилились поиски духовных ценностей, способных принести людям внутреннее равновесие, освободить их от неуверенности, изгнать отчаяние, рожденное потрясениями войны. В ряду разнообразных идейных и эстетических течений уход в себя, открытие мира внутреннего «я» занимал не последнее место.

Сент-Экзюпери с молодых лет отличало обостренное чувство моральной ответственности за человека, и потому «бегство» в себя от скуки, однообразия, бедности и насилия не могло его удовлетворить. Его поиски полноценной жизни были трудными: не желая замыкаться в себе, он искал при-

---

[1] Тексты Сент-Экзюпери, цитируемые в комментарии, переведены Р. Грачевым.

ложения своим силам, стремился к равновесию между своим внутренним миром и внешним поведением. Авиация привлекла его потому, что как ему казалось, она давала возможность обрести такое равновесие. Сент-Экзюпери приступил к своей книге именно для того, чтобы исследовать «бегство» своего героя в мир мужества и действия.

Современники поняли «Южный почтовый» поверхностно, увидев в нем историю несчастливой любви, оканчивающуюся смертью героини и гибелью героя, который отказался от спокойной жизни, что-то искал, но ничего не нашел. Спустя десять лет, рассказывая о борьбе республиканского Мадрида, где он увидел такой же порыв к духовному освобождению, какой сам пережил в молодости, Сент-Экзюпери писал: «Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей, как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства прежде всего и требуют объяснения». Ее-то и пытался объяснить молодой писатель в своей книге.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Закончен в 1930 году, в Буэнос-Айресе. Впервые издан в 1931 году издательством Галлимара. В том же году книга получает литературную премию «Фемина». В 1932 году американская фирма «Юнатейд артистс» ставит по книге фильм. В 1939 году итальянский композитор Луиджи Даллапикола написал оперу «Ночной полет».

Первые критические отклики на «Ночной полет» показали, что для передовых людей Франции книга прозвучала как утверждение красоты и величия долга в атмосфере индивидуализма, свойственного французскому обществу той поры. Читателей привлекла новизна темы: с «Ночным полетом» возрождается жанр художественной литературы, основанной на документальном материале.

В среде летчиков, товарищей Сент-Экзюпери по авиалинии, книга вызвала глухое раздражение, отозвавшееся в душе писателя недоумением и болью. «Гийоме, я слышал, ты приезжаешь, и у меня уже заранее замирает сердце,— писал он своему другу после выхода книги в свет.— Если б ты только знал, какую страшную жизнь я веду с тех пор, как ты уехал, и какое отвращение к жизни довелось мне понемногу познать! Из-за того, что я написал эту злосчастную книгу, я оказался жертвой пересудов и вражды моих товарищей.

Мермоз расскажет тебе, какую славу создали мне люди, которых я так любил и с которыми уже давно не встречаюсь. Тебе скажут, как я зазнался. Ни один — от Тулузы до Дакара — в этом не сомневается. <...>

Надеюсь, что ты приезжаешь в момент, когда ветер меняется. И мне, быть может, удастся избавится от наветов. Я не мог писать тебе из-за непрерывных разочарований и несправедливой молвы. И ты, вероятно, думал, что я изменился. А я мог оправдываться перед единственным человеком, к которому отношусь, как к брату...

Даже Этьен, с которым после моего возвращения из Южной Америки мы ни разу не виделись, несмотря на это, рассказывал здесь моим друзьям, что я стал позером.

Ведь вся жизнь отравлена, когда такое мнение разделяют лучшие мои товарищи и когда моя работа на авиалиниях после «преступления», которое я совершил, написав «Ночной полет», позорит их. <...>».

Сент-Экзюпери нисколько не заблуждался относительно высоких человеческих достоинств своих товарищей по авиалинии и тех чувств, которые связывали его с ними. Отчуждение их, которое он так болезненно переживал, было вызвано несоответствием высокого пафоса «Ночного полета» с обстановкой, когда книга вышла в свет. Это было время экономического кризиса. Предприниматель, финансировавший «Аэропосталь», обанкротился, на линиях менялось руководство, противоречия между разными руководителями и разными методами руководства обострились. А Сент-Экзюпери воспел в «Ночном полете» социальную иерархию, при которой во главе летчиков стоит руководитель, воспитывающий своих подчиненных в духе твердости и бесстрашия, на низшей ступени находится обслуживающий персонал.

Обида летчиков, которые стали говорить про Сент-Экзюпери, что он не настоящий летчик, а любитель, что он не заслуживает права летать на регулярных линиях, была вызвана тем, что они узнали в Ривьере из «Ночного полета» директора авиалинии Дидье Дора́ (ему автор и посвятил свою книгу). Этот незаурядный руководитель не вызывал к себе симпатий у подчиненных. Педантичный, холодный и сухой, в их глазах он вовсе не был идеальным.

С точки зрения Сент-Экзюпери, Ривьер был «великим руководителем», именно тем человеком, который способен наполнить смыслом жизнь людей. Летчики же видели, что Дора безразлично, кому он служит, что он не мог, да и не хотел лично отвечать за судьбы тех людей, которых «выковывал». Сам Дора тоже узнал в Ривьере себя и впоследствии настолько сжился с образом, что не мог уже отличить свои слова и мысли от рассуждений Ривьера.

Но как ни велико было огорчение писателя, как ни возросло оно после того, как его любимая «линия» превратилась в обыкновенное коммерческое предприятие, утратившее поэзию и нравственную высоту, он остался верен идеалу братства, объединявшего людей в их труде, и когда вышла «Планета людей», подарил книгу Дидье Дора с посвящением, в котором называл его создателем «особенной цивилизации». Ошибка Сент-Экзюпери заключалась в том, что он не видел зыбкости и неустойчивости этой «особенной цивилизации» в атмосфере всеобщей конкурентной борьбы, обезличивающей любое индивидуальное творчество, превращающей поэзию авиации в службу на самолете.

Эта неточность восприятия реальности сказалась прежде всего на самом произведении: схема человеческих отношений выглядит в ней неубедительно, недостоверно, и писатель, работая над книгой, столкнулся с трудностью, которую он мог преодолеть только насилием над собой: в первоначальном варианте «Ночного полета» было четыреста страниц, в окончательном осталось только сто восемьдесят. В письме к матери из

Буэнос-Айреса (стр. 527 наст. изд.) Сент-Экзюпери сообщает, что пишет свою новую книгу — о ночном полете,— и приводит строки, воспроизводящие воспоминания детства. Но поэзия детства, радость ощущения жизни никак не вязалась с суровым миром, где властвует «мораль завоевателя, мораль солдата», ребенок в ней оказался лишним, и автор изгнал его из книги, пожертвовав сутью ради формы.

Современные критики, отдавая должное чистоте и благородству языка «Ночного полета», отмечали в то же время несовершенство книги, но относили ее недостатки за счет некоторой «литературности» стиля и образов.

Это заставило Сент-Экзюпери сформулировать принципы, на основе которых он писал «Ночной полет», защищать не самую книгу, а свой метод. «Никак не могу отыскать ту звезду, на которой я живу,— писал он в 1931 году литератору Бенжамену Кремье.— Я и в самом деле оказался потерянным в межпланетном пространстве. И если я говорил в одной книге о единственной обитаемой звезде, можно ли считать литературщиной это размышление, порожденное скорее моей плотью, чем сознанием? Разве оно не может быть более достоверным, более честным, чем любое другое размышление? <...> По-моему, даже самый грубый человек не мыслит техническими терминами, когда необходимость действовать не позволяет ему выбирать слова, и он предоставляет телу думать самостоятельно — не словами, а символами, вне слов. Он потом забывает их, как бы пробуждаясь ото сна, и заменяет их техническим языком, но в символе заключалось все. И это не было литературщиной.

Вот этот образ представляется мне сомнительным. <...> Я нахожу его искусственным именно потому, что символичны одни слова, потому, что символ не вырастает из глубокого внутреннего переживания и не соответствует тому, что пригрезилось на самом деле...

По-вашему, я придумывал слова? Зачем мне это? Нет, я уловил самое это сознание, живущее в грёзе, которое иногда удается схватить в момент пробуждения <...>».

Здесь, как и в одном из писем к Ренэ де Соссин, Сент-Экзюпери объясняет свою интуитивную эстетику. Он прислушивается к глубинным ощущениям, к «мыслям тела» в момент полета или другого действия, доверяет этим своим ощущениям больше, нежели чему-либо другому, даже если они на первый взгляд кажутся банальными. Об этом он говорит и в очерке «Пилот и стихии». Пропорции, характер «Ночного полета» ему также подсказала интуиция, и если книга вышла все-таки противоречивой, Сент-Экзюпери скорее был готов видеть ее недостатки в несовершенстве выражения, но не в методе творчества. Он отказывался от любого «профессионального» подхода к творчеству, и, конечно, летчики ошибались, когда называли его летчиком-любителем. Летчиком он был профессиональным. А вот как писатель он утверждал себя любителем, утверждал свое право на литературное любительство, как на единственно верное, с его точки зрения, отношение к литературе, при котором книга может быть и неудачной, но всегда остается творческим актом, а не ремесленной поделкой.

Много лет спустя, во время войны, Сент-Экзюпери подтвердит свою приверженность воспитательному принципу Ривьера-Дора: «Достаточно победить призрак (страха.— *Р. Г.*), и это ремесло (ремесло летчика.— *Р. Г.*)

становится таким же, как всякое другое. Летать ли на высоте десять тысяч метров или плести соломенные кресла... потому что призрак уже мертв; я проверил это не однажды. И во время ночных полетов. И когда тонул в море. И когда умирал от жажды... Дора не учил людей мужеству: он заставлял их убивать призраки. Я уже говорил об этом в «Ночном полете» <...>».

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

В 1938 году Сент-Экзюпери предпринял перелет Нью-Йорк — Огненная Земля, во время которого потерпел аварию в Гватемале. Находясь на лечении в Нью-Йорке, он пишет «Планету людей», над которой продолжает работать по возвращении во Францию. В начале 1939 года книга выходит в издательстве Галлимара. В том же году Французская академия присуждает книге Большую премию романа.

«Планета людей» имела немедленный и особый успех у современников во Франции и в США, где она тотчас стала «бестселлером». Этот успех был не столько литературным, сколько человеческим успехом личности Сент-Экзюпери, который определенно и ярко выразил жизненные устремления людей перед нависшей над миром угрозой нацизма. Конечно, в США, отделенных от Европы океаном, не так остро воспринимали европейские события, и «Планета людей» показалась там произведением несколько экзотическим. Ее сравнивали с «Зеркалом морей» Джозефа Конрада, ее автора называли «Конрадом воздуха». Но во Франции книга вызвала настоящий отклик сердец. Рабочие типографии, где она печаталась, преподнесли писателю специальный экземпляр книги, отпечатанный на авиационном полотне.

Сам Сент-Экзюпери в одном из писем так определил цель своей книги: «Я писал «Планету людей» со страстью, чтобы сказать моему поколению: вы — обитатели одной планеты, пассажиры одного корабля!»

С тех пор как Сент-Экзюпери пришлось расстаться с «линией», он вел жизнь, полную материальных забот, брался за предложения газет, участвовал в перелете, где за рекорд скорости была назначена премия. В письме к близкому другу (в 1936 г.) он объясняет, насколько внешние обстоятельства мешают ему заниматься творчеством:

«Я знаю, почему мне так тяжело приниматься за статьи. Кино и журналистика — это вампиры, мешающие мне писать то, что я хочу писать. Вот уже многие годы я не имею права заниматься тем единственным делом, которое мне по душе. Я чувствую себя арестантом, плетущим корзины. Между тем в другом месте я был бы куда более полезен и щедр. Мое отвращение есть не что иное как сопротивление моральному самоубийству, потому что, стоит мне только с энтузиазмом взяться за изготовление пустых безделушек для кино, я быстро набью себе руку и стану зарабатывать много денег, но радости от подобных успехов я ждать не могу. Именно этому энтузиазму я и сопротивляюсь. Я вовсе не хочу разменивать свое дарование на пустяки. Чтобы расплатиться с долгами и заработать на жизнь, мне придется написать еще один сценарий и убить на это невоз-

вратимые полгода. Я хочу, по крайней мере, испить всю горечь до дна. Если я избавлюсь от нее — я погиб. Шесть месяцев жизни, которые могли бы быть кипучими и плодотворными, я снова выброшу на ветер: это не может принести радость.

И потом я как-нибудь объясню вам, что разделять цель и средства — это софизм. Эти различия выдумываются задним числом. В самом деле, когда, подобно испанским анархистам, расстреливают инакомыслящих, свободы не получается. Я больше не верю, что пишу сценарий, чтобы получить свободу писать книги.

Слепая, но могучая логика поступков приводит к тому, что каждый написанный мною сценарий, каждая статья лишают меня еще одного шанса написать книгу. И дают лишний шанс написать другие сценарии. Этим ложным утешением я не могу даже облагородить свою коммерцию <...>».

«Планета людей» представляет собой сюиту из репортажей о пережитых испытаниях, о поездках в СССР и в Испанию, охваченную гражданской войной.

Как удалось писателю создать целое из этих разрозненных впечатлений? Прежде всего им двигало стремление сохранить цельность и ясность сознания в обстановке перед мировой войной, когда многие представители интеллигенции «теряли голову». «Невероятная нелепость нашего времени угнетает,— писал он весной 1940 года, объясняя другу свой взгляд на происходящее.— Это, конечно, следствие все тех же причин: современная эпоха не «осмыслена», потому что на протяжении века события развивались слишком быстро, а осмысление — процесс медленный. <...> Все это очень горько, остается не слишком обширный выбор: либо примириться с рабством под игом Гитлера, либо решительно от этого отказаться. Но взяв на себя всю ответственность за такой отказ. И сделать это молча. Я не хочу выступать по радио: это просто непристойно, если ты не можешь предложить людям настоящую веру. Вот я и принимаю на себя всю ответственность за отказ; только мне необходимо было перейти некоторый рубеж, чтобы лучше понять, от чего я отказываюсь. От свободы. От тепла любящей плоти. И, может быть, от жизни. Но какой в этом смысл? И это столь же горько, как сомнения верующего. И, безусловно, столь же плодотворно. Невыносимое противоречие всегда заставляет творить истину...»

«Планету людей» родила эта плодотворная горечь. Она дала писателю заряд новой творческой энергии, и все, что он видел и пережил, заиграло в книге новыми, свежими красками. В данном случае Сент-Экзюпери также пришлось отстаивать свой творческий метод. Заметки в «Записных книжках» хранят отзвук сильнейшего гнева писателя, вызванного скорее всего каким-либо поверхностным суждением о его новой книге:

«План в литературном творчестве — это иллюзии логиков, историков и критиков. Ведь линии сил необходимо образуются вокруг сильного полюса. План — следствие интенсивной жизни, а не ее причина. Как можно говорить о (предварительном) плане симфоний или скульптур, которые, будучи законченными, выглядят идеально стройными? Если перед тем как писать, я набрасываю в общих чертах кое-какие линии моего произведения (тут более возвышенно, тут стиль воспоминания, тут потемнее...), то вовсе не этот план определяет мое произведение. Он выражает лишь то, что я

намерен что-то написать. Ибо суть, конечно, обнаруживается прежде, чем форма. Но так как моя работа состоит исключительно в том, чтобы выявить и раскрыть соотношения, то есть единственное, что важно, нелепо думать, будто они представляют собой жесткую схему, определяющую содержание произведения. Именно план я буду непрерывно менять до тех пор, пока слова не станут *схожими* с несловесным смыслом <...>».

Не случайно Сент-Экзюпери сравнивал свой творческий процесс с ростом и развитием дерева: в «Планете людей» свободно расположились воспоминания, размышления, описания самого различного порядка, и все же вместе они составили органическое целое. Книга вобрала в себя, хотя и в переосмысленном виде, даже официальные отчеты, документы, испанские репортажи. В «Планете людей» Сент-Экзюпери впервые открыто рассказывает о своих товарищах-летчиках — Мермозе и Гийоме (Жан Мермоз, один из пионеров французской гражданской авиации, погиб в 1936 г., во время перелета через Атлантический океан. Анри Гийоме погиб в 1940 г., когда вел пассажирский самолет и был сбит неизвестными истребителями). Во втором очерке главы VIII читатель найдет целый эпизод (пробуждение сержанта) из очерка «Мадрид», написанного в 1937 году. А самый последний, самый патетический эпизод книги — рассказ о ребенке, в котором, быть может, «убит Моцарт», фигурировал уже в одном из репортажей 1935 года. Писатель вычеркнул из него лишь несколько слов и добавил фразу, которой кончается книга.

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК

Начат в декабре 1941 года в Нью-Йорке. В феврале 1942 года в США выходит американское издание книги под названием «Flight to Arras». В том же году книга выходит во Франции в издательстве Галлимара. По требованию оккупационных властей это издание было запрещено. В 1943 году в Лионе участники движения Сопротивления осуществили подпольное издание книги.

«Умоляю тебя повлиять на Ш., чтоб меня допустили к полетам на истребителе,— пишет Сент-Экзюпери близкому другу после того, как осенью 1939 года его призвали в армию и назначили инструктором в учебный полк.— Я все больше задыхаюсь. В этой стране невозможно дышать. Господи, чего мы ждем? <...> Пока я не принимаю участия в войне, я морально болен. Мне многое надо сказать о событиях. Я могу говорить о них как боец, но не как турист. Это единственная для меня возможность высказаться. Ты ведь знаешь. <...>

Спаси меня. Устрой мое назначение в истребительную эскадрилью. Ты хорошо знаешь, что я не люблю войну, но для меня невыносимо оставаться в тылу, когда другие рискуют жизнью. <...> Воевать необходимо, но пока я совершаю безопасные прогулки над Тулузой, я не имею права это говорить. Такая роль просто унизительна. Добейся для меня возможности пройти через испытания, ведя я этого заслуживаю. Мне отвратительна

точка зрения, согласно которой нужно беречь «ценных» людей. Только участвуя, человек может играть действенную роль. Если «ценные» люди на самом деле соль земли, они должны соединиться с землей. Нельзя говорить «мы», отделяя себя от других. Только подлец может говорить при этом «мы»!

Под угрозой все, что я люблю. Когда в Провансе начинается лесной пожар, всякий, кто не желает быть подлецом, хватает ведро и лопату. Я хочу участвовать в войне по любви, по своей внутренней вере. Я не могу не участвовать. Сделай так, чтоб меня как можно скорее назначили в истребительную эскадрилью».

Друзья старались помешать Сент-Экзюпери в его намерении, и все-таки он настоял на своем, был зачислен в группу 2/33 разведывательной авиации и тем самым добился права высказать то, что считал необходимым. «Военный летчик» родился внешне из опыта полетов над горящей страной, внутренне — из напряженного осмысления событий, происходивших в Европе с начала тридцатых годов.

В 1935 году Сент-Экзюпери посещает СССР, в 1936 и 1937 годах — республиканскую Испанию, в 1937 и 1939 — фашистскую Германию, в 1938 и 1939 — США. Картина расстановки сил накануне войны и общий взгляд на события сложились у писателя уже ко времени создания «Планеты людей». Оставалось только заслужить моральное право обратиться к людям и сказать им, во имя каких ценностей борьба против фашизма — точнее, борьба Запада против фашизма — может быть оправданной и наполненной смыслом.

В 1943 году в одном из писем Сент-Экзюпери сформулирует направление своих творческих усилий в книгах, написанных им во время войны:

«Западная христианская цивилизация сама повинна в том, что оказалась под угрозой. Что она сделала за последние восемьдесят лет, чтобы привлечь сердца людей к своим ценностям? В качестве новой морали было предложено: «Обогащайтесь!» Гизо или американский комфорт. Что могло воодушевить юношу после 1918 года? Мое поколение играло на бирже, обсуждало в барах модели автомобилей и кузовов, занималось гнусной спекуляцией на американских товарах <...>».

Разумеется, Сент-Экзюпери писал «Военного летчика» не ради нравственных увещеваний. Он сознавал, что сама по себе ненависть к фашизму и моральный протест — неполноценные инструменты и нужно, чтобы люди, знающие, против чего они борются, знали также, за что стоит вести борьбу. В ряду других антифашистских произведений «Военный летчик» Сент-Экзюпери был особенно дорог бойцам Сопротивления именно потому, что в нем кратко, но всеобъемлюще раскрывалось содержание тех положительных ценностей, которые грозил уничтожить фашизм.

На выход «Военного летчика» восторженно откликнулись газеты оккупированного Парижа — многие писатели и критики, оставшиеся во Франции, выразили свою солидарность с автором книги. Ее приветствовали подпольные периодические издания. Для тех, кто видел в войне не просто столкновение сил, но столкновение мировоззрений, «Военный летчик» был достойным ответом передовой французской культуры на посягательства нацистских изуверов.

Внешний сюжет «Военного летчика» составляет рассказ об одном дне войны. Внутреннее содержание книги — день напряженной жизни человеческого сознания. Репортаж о военных событиях, воспоминания детства, лирическая исповедь, раздумья, высокий пафос проповеди — все это органически слилось в ее тексте, раскрывая личность автора, ставшую в книге живым олицетворением национальной духовной культуры. Философскую основу «Военного летчика» образует лирическое размышление, составляющее особенность литературной манеры Сент-Экзюпери. Оно присутствует уже в первых его произведениях, утвердилось в репортажах тридцатых годов, соединило в одно целое очерки «Планеты людей» и, наконец, в «Военном летчике» и в «Письме к заложнику» обрело новое, еще более глубокое содержание.

Единство и взаимную связь мыслей в «Военном летчике» образуют как бы слова-ключи, такие, как «aventure», «étendue» «prèsence», «densité», «substance», «communautè», «Etre», «clef de voûte», и другие слова-символы, раскрывающие поэтические представления Сент-Экзюпери о человеке и человеческих отношениях[1].

Так слово «aventure», обычно означающее приключение, похождение, авантюру, в языке Сент-Экзюпери наполнено совсем иным содержанием. В наиболее общем смысле оно означает у писателя внутреннее движение, движение души к неведомому. Сент-Экзюпери противопоставляет это душевной неподвижности и лени, «мещанству сердца». «Aventure» — это и усилие ученого, приводящее его к открытию, и усилие поэта, создающее новый образ, и усилие художника, в результате которого он обогащает людей новым ви́дением мира. Это вмешательство человека в мир окружающих его явлений, но вмешательство целенаправленное, расширяющее его собственный внутренний мир. И если такое вмешательство сопряжено с опасностью для жизни, то слово «aventure» может означать у Сент-Экзюпери также и подвиг. Но, для того чтобы усилие каждого отдельного человека имело общий смысл, необходимо, чтобы его «aventure» отвечало самым глубоким побуждениям души, было добыванием общей истины, движением духа.

Слово «étendue» (протяженность, пространство) означает у писателя духовное содержание человека, полноту его внутренней жизни, в отличие от духовной пустоты или искусственной наполненности.

Слово «présence» (присутствие), проходящее через большинство произведений писателя, выражает переживание этой полноты жизни, чувство духовной близости человека с природой и другими людьми.

Духовное содержание человека, богатство его внутренней жизни писатель обозначает словом «densité» (плотность, насыщенность). По его мысли, только оно создает настоящую, достойную человека цивилизацию, в которой все связано между собой «невидимыми связями», связями любви. Свое понимание цивилизации Сент-Экзюпери противопоставляет той системе отношений, которая характерна для буржуазных демократий французского или американского типа.

В заключительных главах «Военного летчика» Сент-Экзюпери конста-

---

[1] При переводе не во всех случаях удается сохранить одно и то же «слово-ключ» оригинала; в контексте его приходится заменять словами, близкими по смыслу.

тирует разрушение духовной культуры на Западе и ставит проблему ее возрождения. Свои мысли он воплощает в образе собора и камней, некогда составлявших собор, а теперь разрозненных. Каждый человек, утверждая свою волю против других, становится одиноким и бессильным, его покидает дух творчества, и борьба каждой «отдельной личности» против других таких же личностей делает эгоистическую буржуазную демократию легкой добычей фашистского режима, в котором люди объединены не внутренне, а внешне, составляют вместе не собор, а груду камней, давящих друг друга своею тяжестью.

Возродить культуру значит для Сент-Экзюпери породить жажду. Слово «жажда», при всем богатстве оттенков, которые придает ему Сент-Экзюпери, означает активную потребность каждого человека в истине. Если у человека проявляется такая потребность, он ищет утоления жажды в творчестве, в восприятии природы, искусства, других людей, и это, по мысли Сент-Экзюпери, может сформировать духовный мир личности, сделать каждого человека способным к созданию великого содружества людей (его писатель называет словом «Etre» — Существо).

Когда в 1943 году Сент-Экзюпери вернулся в Северную Африку и вновь принял участие в борьбе, «Военный летчик» получил уже самую широкую известность, какая была возможна в условиях войны. В США книга была воспринята как откровение и оказала огромное влияние на общественное мнение страны. Она раскрыла всем честным американцам суть происходящего в Европе и способствовала консолидации антифашистских сил в США.

Показательно, что не только немецкие оккупанты и петэновские власти запретили распространение «Военного летчика». Штаб генерала де Голля тоже запретил эту книгу в Северной Африке — де Голль явно не одобрял позицию Сент-Экзюпери. Это привело к намеренному «непониманию» книги в окружении генерала, в поддерживавшей его печати. Писатель отнесся к этому спокойно, он знал, что воспринять эту книгу двусмысленно невозможно. «Очень странно,— писал он в 1943 году,— что атмосфера грызни может исказить смысл такого простого текста. Я совершенно равнодушен к тому, что алжирские тыловики усматривают в нем какие-то тайные намерения... Есть ли хоть одна строчка в книге, позволяющая думать, будто слова «я ответствен» имеют хоть малейшее отношение к униженному «mea culpa[1]?..» «Я ответствен» должно быть девизом достоинства каждого человека. Это — вера в действие. Это — сама основа сознания того, что ты живешь».

Вряд ли кто-нибудь, кроме самых близких друзей Сент-Экзюпери, знал, что профессия летчика, журналиста, писателя и борьба против фашизма далеко не исчерпывают его внутренней жизни. В 1936 году он приступил к своей главной, но оставшейся незавершенной, книге — к «Цитадели» (первое условное название — «Каид»), и почти все, что он писал с тех пор, хранит следы этого замысла. Больше всего их заключено в «Военном летчике». С начала войны Сент-Экзюпери использовал для работы над руко-

[1] Моя вина (лат.).

писью каждую свободную минуту. Окончив «Военного летчика», он писал своему другу из Нью-Йорка в 1942 году:

«За время войны я изменился. Я дошел до полного отвращения ко всему, что касается собственно меня. Почти все время чувствую себя как-то странно больным и совершенно равнодушным. Хочу закончить «Каида». Вот и все. Я обмениваю себя на него. По-моему, это засело во мне крепко, как якорь. На том свете меня спросят: что ты сделал со своими дарованиями и что ты дал людям? Раз я не погиб на войне, я должен обменять себя на что-то другое. Кто помогает мне в этом, тот мне друг. Я не преследую никакой корыстной цели, не добиваюсь никакого признания. Все это для меня решено окончательно. Эта вещь появится после моей смерти, вряд ли я когда-нибудь ее закончу. В ней семьсот страниц. Если я буду отделывать их, эти семьсот страниц руды, как обычную статью, мне и то понадобится десять лет, не говоря уже о более тщательной отделке. Словом, я буду работать над ними, пока хватит сил. И ничего другого делать не стану. Сам по себе я уже никакого значения не имею. Я уязвим, беззащитен, времени у меня в обрез, и я хочу завершить мое дерево. Гийоме погиб. Хочу поскорее завершить мое дерево. Хочу поскорее превратиться во что-то другое, нежели я сам. Заниматься собой мне уже не интересно. Мои зубы, моя печень и прочее — все это одряхлело и само по себе ничего не значит. Хочу стать чем-то другим вместо всего этого, когда придет смерть... Может быть, я заблуждаюсь относительно моей книги, может быть, это просто посредственная толстая книга, но мне безразлично: это все на что я способен. И я должен сделать все, на что способен, это лучше, чем быть убитым на войне <...>»

Рукопись «Цитадели» представляет собой отдельные тексты и наброски, которые не дают представления о том, каково должно быть единство книги. Впервые рукопись была опубликована в 1947 году в издательстве Галлимара. Издатели незавершенной рукописи озаглавили ее «Цитадель» (у Сент-Экзюпери было намерение назвать свою книгу строкой из ее текста: «Цитадель, я воздвигну тебя в сердце человека!»).

ПИСЬМО К ЗАЛОЖНИКУ

Первое французское издание вышло в Нью-Йорке в 1943 году. В 1944 году служба информации в Алжире распространяет текст «Письма» в боевых частях французских войск. В том же году издательство Галлимара выпустило его отдельным изданием.

«Письмо к заложнику» написано в манере свободной импровизации на темы, наиболее занимавшие Сент-Экзюпери во время войны. В его основу легли личное письмо писателя к своему другу, литератору Леону Верту, написанное в начале войны, и «Послание к французам», которое явилось откликом Сент-Экзюпери на известие о том, что немцы полностью оккупировали территорию Франции.

Начало этого послания, опубликованного в Канаде и в США на следующий день после высадки англо-американских войск в Северной Африке

(ноябрь 1942 г.) и тогда же прочитанного по радио, почти целиком вошло в «Письмо к заложнику», главным образом в его последнюю главу:

«Франция прежде всего!

Немецкая ночь заволокла всю территорию. Мы могли еще узнать хоть что-нибудь о тех, кого мы любим. Не имея возможности разделить с ними скудную трапезу, мы могли еще высказать им нашу нежность. Мы слышали издалека, что они еще дышат. Теперь невозможно и это. Отныне Франция — это только безмолвие. Она, как корабль, затерялась в ночи, погасив все свои огни. Ее сознание, ее духовная жизнь замкнулись в ее глубинах. Мы не будем знать даже имени заложников, которых завтра расстреляют немцы...»

Призыв к единению, с которым Сент-Экзюпери обратился к своим соотечественникам, был вызван обстановкой крайней вражды между представителями различных французских группировок в США. Сент-Экзюпери, не примыкавший ни к одной из них, особенно остро ощущал необходимость единства и понимал, что оно возможно только на основе, поднимающей каждого человека над его личными убеждениями.

«Стоят ли наши споры такой ненависти? — писал он. — Кто может претендовать на абсолютную правоту? Поле зрения человека ничтожно. Язык — несовершенный инструмент. Любые формулы разбиваются о настоящие проблемы жизни.

Мы все сходились в нашей вере. Все мы хотели спасти Францию. Но, оказывается, спасти Францию — это значит спасти ее плоть и ее дух. Чего стоит духовное наследие, если больше не существует наследников? Зачем нужен наследник, если Дух умер?»

Перед лицом нацистской угрозы писатель призывает оставить споры на будущее, приводя в пример боевое содружество между Советским Союзом и Англией. «Когда англичане и русские сражаются бок о бок, выяснение своих разногласий, которые достаточно глубоки, они откладывают на будущее». И как образец такого же содружества он приводит эпизод, относящийся к началу войны, по-разному воспроизведенный в «Письме к заложнику» и в «Военном летчике»:

«Объединимся же, французы! Когда на борту бомбардировщика нам придется поспорить с пятью или шестью «мессершмиттами», наши прежние споры покажутся нам смехотворными. В 1940 году, вернувшись с задания на изрешеченном пулями самолете, я с наслаждением пил превосходный перно в баре моей эскадрильи. А ведь этот перно я выиграл в покер у товарища, который был роялистом, а может быть, социалистом, а может быть, у лейтенанта Израэля, который был самым храбрым среди нас и который был евреем. И мы выпили, ощущая глубокую нежность друг к другу».

Письмо Леону Верту предшествует центральному эпизоду «Письма к заложнику» и также предваряет один из эпизодов «Военного летчика»:

«Думаю, что мы с вами во многом сходимся... Нередко я сам подолгу спорю с самим собой. И я не пристрастен: почти всегда я признаю вашу правоту. Но вы знаете, Леон Верт, я люблю потягивать перно рядом с вами на берегу Соны, впиваясь зубами в колбасу и в деревенский хлеб. Не могу объяснить, почему это доставляет мне ощущение такой прекрасной наполненности, но мне ведь и не нужно объяснять, вы знаете это лучше

меня. Я был очень доволен. Мне бы хотелось это повторить. Мир — это не отвлеченное понятие. Это и не конец опасностей и холодов. Все это неважно. Я не боюсь ни опасностей, ни холода и бываю очень горд собой, когда, проснувшись в Орконте, героически добираюсь до камина. Мир — это когда глубокий смысл есть в том, чтобы впиваться зубами в колбасу и в деревенский хлеб в компании Леона Верта на берегу Соны. Мне грустно оттого, что колбаса совершенно потеряла вкус».

Некоторые испанские репортажи, особенно «Гражданская война — вовсе не война...» и «Здесь расстреливают, словно лес вырубают...», подготавливают рассказ об улыбке анархиста.

Сент-Экзюпери писал «Письмо к заложнику» в процессе работы над «Цитаделью». В ее тексте есть эпизод, более подробно раскрывающий мысли Сент-Экзюпери о дружбе, высказанные в последней главе «Письма к заложнику»:

«Друг — это прежде всего тот, кто не берется судить. Говорю тебе, это тот, кто открывает дверь путнику и находит место его костылю или его посоху и, чтобы судить о нем, не заставляет его плясать. И если путник рассказывает о весне на дороге, друг тот, кто принимает в нем весну. А если он рассказывает об ужасах голода в деревне, из которой он идет, друг переживает вместе с ним муки голода. Ибо я сказал тебе: друг в человеке — это его часть, предназначенная для тебя, она открывает тебе дверь, которую, может быть, никому больше не откроет. И твой друг — настоящий, и все, что он говорит,— правда, и он любит тебя, даже если в другом доме он тебя ненавидит. И друг во храме, с кем я по милости бога стою бок о бок и с кем встречаюсь,— тот, кто обращает ко мне свое лицо, подобное моему лицу, лицо, озаренное тем же божеством, ибо тут происходит единение, даже если вне храма он лавочник, а я капитан или он садовник, а я матрос. Я обрел его вопреки нашим различиям, и я ему друг. И я могу молчать рядом с ним, а значит, не опасаться за мои внутренние сады, за мои горы, и мои долины, и мои пустыни, ибо он не ступит туда своими сапогами. Ты, мой друг, принимаешь во мне с любовью как бы посла моего внутреннего царства. И ты обходишься с ним хорошо, ты усаживаешь его, и ты его слушаешь. И оба мы счастливы. Разве ты видел когда-нибудь, чтобы я, принимая послов, сторонился их или от них отворачивался потому, что в глубинах их царства, в тысяче дней пути от моего царства, едят пищу, которая мне противна, или потому, что их обычаи не похожи на мои? Дружба — это прежде всего примирение и великое духовное общение вопреки ничтожным мелочам. И я ни в чем не позволю упрекнуть того, кто сидит за моим столом.

Ибо знай, что гостеприимство, и обходительность, и дружба это встречи людей в Человеке. Что делать мне в храме того бога, который станет обсуждать рост и дородность верующих, или в доме друга, который, не считаясь с моими костылями, заставляет меня плясать, чтобы судить обо мне?

Ты встретишь в мире немало судей. Если будет нужно, чтобы ты стал другим или закалил себя, предоставь эту работу твоим врагом. Они примутся за тебя подобно буре, ваяющей крону кедра. А друг твой создан для того, чтобы тебя принимать...»

Уважение к человеку — единственный, по мысли Сент-Экзюпери, идеал, именем которого можно вести борьбу против фашизма. Он понимает фашизм вместе с его германской разновидностью — нацизмом, как сознательный отказ от духовных ценностей, как возведенное в принцип насилие над человеком, над его чувствами, над его способностью к самоопределению, как вечный запрет индивидуального творчества, имеющего общее значение и способствующего освобождению творческих сил человека. И хотя в «Письме к заложнику» Сент-Экзюпери говорит о фашизме как о главном враге человечества, для него неприемлема также и американская демократия, о которой он с негодующей иронией отзывается в одном из писем к другу:

«Моя нынешняя свобода основана на серийном производстве, которое выхолащивает из нас всякое нестандартное желание, это свобода лошади, в шорах, не видящей ничего, кроме дороги. Господи, в чем же я свободен, втиснутый в механизм робота! Не слишком-то это оригинально — соседствовать с современным Бэббитом, смотреть, как он покупает свою утреннюю газетку, переваривает уже разжеванную в ней мысль (рыбак, горец, пахарь — каждый получает свою), выбирает между тремя мнениями, потому что только три ему и предложены, потом, стоя у конвейера, одиннадцать раз в минуту поворачивает гайку на одну седьмую оборота — этим его обеспечивает его каторжный труд,— потом завтракает в своем кафе, где металлическое рабство лишает его возможности удовлетворить малейшее личное желание. Потом кино, где мистер Z собственной персоной оболванивает его своей назойливой глупостью, затем игра в бейсбол в дни отпуска. Но никто не приходит в отчаяние от этой ужасающей свободы — свободы небытия. Настоящая свобода заложена только в творческом усилии. Свободен рыбак, чья интуиция направляет лов. Свободен скульптор, ваяющий лицо. А та свобода, которая позволяет мне выбирать между четырьмя автомобилями «Дженерал моторс», между тремя фильмами мистера Z или между одиннадцатью блюдами меню — карикатура на свободу. Свобода стала только выбором стандартной статьи во всеобщем однообразии. Обреченному предлагают на выбор петлю или кол, и я в восторге от этой свободы выбора! Дайте мне скорее шахматные правила, чтобы я мог наконец хоть чем-нибудь взволноваться! Дайте мне дороги, чтобы я мог хоть куда-нибудь идти! Скорее к человеку, созданному для освобождения!»

Когда война уже близилась к концу, Сент-Экзюпери остро чувствовал, что этот трагический урок не приведет к освобождению человека, его души, его творческих сил.

«<...> Сегодня мне грустно, очень грустно,— писал он в одном из своих последних писем в июле 1943 года, адресованном генералу X.— Мне грустно за мое поколение, начисто лишенное человеческого содержания. <...> Возьмите войну, какой она была сто лет назад. Сколько усилий вкладывалось в нее, чтобы она соответствовала духовной, поэтической и даже самой обыденной жизни людей! А сегодня, став черствее кирпича, мы смеемся над этими глупостями. Мундиры, знамена, песни, оркестры, победы (теперь нет побед — ничего похожего на поэтическую напряженность Аустерлица. Теперь есть только переваривание пищи — ускоренное или замедленное), малейший лиризм вызывает смех, и люди не желают пробудиться хоть к какой-нибудь духовной жизни. <...>

<...> Всей душой ненавижу мою эпоху. Человек погибает в ней от жажды.

О, на свете есть только одна проблема, генерал, одна-единственная: вернуть людям духовный смысл, духовные заботы. <...> Поймите, невозможно больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами! Совершенно невозможно. Невозможно жить без поэзии, без красок, без любви. Достаточно услышать крестьянскую песню XV века, чтобы почувствовать, как низко мы пали. Остается лишь голос робота пропаганды (прошу простить меня). Два миллиарда людей слышат только робота, понимают только робота, сами превращаются в роботов. <...> Есть лишь одна проблема, одна-единственная: вновь открыть, что существует жизнь духа — более возвышенная, чем жизнь разума, единственная жизнь, способная дать человеку удовлетворение. Это более общая проблема, чем вопрос веры, которая представляет собою лишь одну из форм духовной жизни (хотя, возможно, жизнь духа прямо ведет к религиозной жизни). И жизнь духа начинается там, где каждая индивидуальность понимается как нечто более высокое, нежели составляющие ее компоненты. Любовь к дому — чувство, совершенно неизвестное в Соединенных Штатах,— уже есть проявление духовной жизни. <...>

Нити любви, связующие сегодняшнего человека с другими людьми и с вещами, так не прочны, так тонки, что он уже не переживает разлуку, как в былые времена. Это похоже на страшный еврейский анекдот: «Так ты уезжаешь? Как ты будешь далеко!— От чего далеко?» То, что он покинул, было всего лишь совокупностью привычек. В нашу эпоху разводов люди так же легко расстаются и с вещами. Холодильники взаимозаменяемы. И дом — тоже, если он не более чем набор удобных вещей. И жена. И вера. И партия. Невозможно даже быть неверным. От чего далеко? Неверным чему?— Человеческая пустыня. <...>

Современного человека держат в повиновении — в зависимости от среды — игрой в белот или бриджем. Нас удивительно ловко оскопили. И вот мы наконец свободны. Нам отрубили руки и ноги и позволили идти куда мы хотим. Но я ненавижу эту эпоху, в которой под гнетом всеобщего тоталитаризма человек становится тихим, выдрессированным и покорным животным. <...> В нацизме я ненавижу тоталитаризм, к которому он стремится по самой своей природе. Рабочих Рура проводят перед полотнами Ван-Гога, Сезанна и олеографией. Они, разумеется, предпочтут олеографию. И вот вам истина народа! А будущих Ван-Гогов, будущих Сезаннов, одаренных людей, не выносящих приспособленчества, запирают понадежнее в концлагере, чтобы кормить олеографиями покорное стадо. А куда идут Соединенные Штаты? Куда идем мы сами в эту эпоху всеобщего бюрократизма? К человеку-роботу, к человеку-муравью, к человеку, мечущемуся между каторжным трудом на конвейере и игрой в карты. К человеку, оскопленному в его творческом могуществе, не способному уже создать в своей деревне ни нового танца, ни новой песни. К человеку, которого кормят поделками стандартной культуры, как быка сеном. Вот он — современный человек! <...>

Не могу вынести мысли о том, что поколения французских детей будут поглощены немецким Молохом. Сама основа жизни под угрозой. Когда она

будет спасена, во весь рост встанет основная проблема нашего времени: вопрос о значении человека, на который никто не предлагает ответа, и мне кажется, что мы движемся к самым черным временам в истории.

Мне безразлично, убьют меня на войне или нет. Что останется из того, что я любил? Я говорю не только о людях, но и о традициях, о неповторимых интонациях, о каком-то свете духовном. О завтраке под оливами на провансальской ферме, а также и о Генделе. Мне нет никакого дела до вещей, которые останутся. Смысл имеет лишь некий их порядок. Культура есть благо незримое, потому что она основана не на вещах, а на незримых связях, соединяющих их друг с другом так, а не иначе. У нас будут великолепные музыкальные инструменты, выпускаемые целыми сериями, но будет ли у нас музыкант? <...>»

Это письмо значительно более грустно по тону, чем «Письмо к заложнику», хотя и по смыслу и по тексту оно очень близко этому произведению. Сент-Экзюпери оставался верен своему ощущению жизни от юности до последних дней, и какие бы мрачные картины будущего ни рисовались ему, он всегда был готов к борьбе, к деятельности, способной изгнать мрак из жизни людей.

«Но если я вернусь живым с этой «неблагодарной, но необходимой работы»,— писал он в том же письме,— передо мной встанет только один вопрос: что можно, что необходимо сказать людям?»

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Написан в Нью-Йорке в 1942 году вслед за «Письмом к заложнику», впервые издан там же, весной 1943 года.

Ни одно законченное произведение Сент-Экзюпери не вынашивалось им так долго, как «Маленький принц». Уже в любви Берниса и Женевьевы из «Южного почтового» намечены отношения между Маленьким принцем и розой. Тема отношений между взрослым летчиком и ребенком, каким он был когда-то, между миром взрослых, где прекрасно только мужество, и праздничным миром ребенка, где прекрасно все, с одинаковой силой звучит и в «Южном почтовом», и в письмах к Ренэ де Соссин, и в письмах к матери, и в последнем эпизоде «Планеты людей», и в заметках из «Записных книжек». Только «Ночной полет» выпадает из этой постоянной у Сент-Экзюпери темы, да и то потому, что она «не уложилась» в композицию книги, и писатель просто вычеркнул ее. Взрослые дети, позабывшие о своей «внутренней родине», возникают в теме «блудного сына» из «Письма к заложнику». Воспоминания детства в «Военном летчике»— мальчик, расспрашивающий о служанке Па́уле, и смерть Франсуа, младшего брата писателя,— смерть не страшная, благостная — очень близки по чувству к «Маленькому принцу». Небольшие эпизоды в «Цитадели»—три белых камешка ребенка, которые только и составляют настоящее богатство, девочка в слезах, которую нужно утешить, ибо только тогда в мире будет восстановлен порядок,— это тоже отзвуки тем «Маленького принца».

По-настоящему мотивы «Маленького принца» начали складываться у

Сент-Экзюпери с началом войны. В этот период он нередко рисовал один и тот же рисунок: мальчик с крылышками или без крылышек удивленно смотрит из-за облака на землю, на ее дома, на овец. Этот удивленный мальчик все сильнее не давал покоя писателю, летчику, бойцу, проповеднику духовных ценностей, зовущему людей на борьбу.

Взрослый летчик, Маленький принц, цветок, Лис и змея — главные действующие лица внутренней трагедии Сент-Экзюпери. Правда Маленького принца в том, чтобы любить цветок, в том, чтобы научиться его любить на своем маленьком астероиде. Он же, поссорившись со своей розой, отправился путешествовать и не встретил ни на маленьких планетах, ни на большой Земле никого, кто мог быть его другом, кроме фонарщика — воплощения верности долгу, верности бессмысленной, но надежной.

Появление Маленького принца в пустыне, его явление летчику, потерпевшему аварию,— это символическое напоминание взрослому о его «внутренней родине», а его исчезновение и горе, вызванное этим,— трагедия взрослого, в душе которого погибает ребенок.

Сцена смерти Маленького принца при всей ее «волшебности» сложилась у Сент-Экзюпери в результате лично пережитого. После аварии в Ливийской пустыне он рассказал в письме другу о чувствах, которые испытывал, умирая от жажды в песках:

«Нет, вовсе не случайные детские представления причиной тому, что образ любви с такой силой пробудил в моем сердце образ смерти. <...> Когда в Египте, умирая от жажды, я лежал на земле, подле меня возникла эта высокая безмолвная дева. Она напоила меня, она пролила мне в душу безмятежный покой вместе с молоком звезд. Я был охвачен непостижимым безмерным счастьем и не надеялся дожить до рассвета. <...> В мой последний час она укрыла меня огромным бархатным покрывалом...»

Сент-Экзюпери как писатель ставил перед собой всегда одну и ту же задачу: выразить себя, раскрыть в себе человека — того, кто нуждается в любви и кто способен любить. «Маленький принц» оказался убедительным выражением полного поэтического самопознания человека. Он бросает свет на другие произведения писателя, и их невозможно понять во всей глубине замыслов и устремлений без этой сказки.

Посвящение Леону Верту —«Леону Верту, когда он был маленьким»,— символично. «Маленький принц» был как бы ответом Сент-Экзюпери своему другу на все споры, какие они вели, и этот ответ должен был показать всю никчемность споров и расхождений перед лицом того прекрасного, что есть в каждом человеке, как бы глубоко это прекрасное ни было запрятано.

ПИЛОТ И СТИХИИ

Этот очерк входил в общий замысел «Планеты людей», но он написан позже остальных и в 1939 году не был включен во французское издание книги. Летом того же года вышло американское издание «Планеты людей», и в нем очерк был помещен четвертым по порядку. Во Франции он был опубликован в августе 1939 года в еженедельнике «Марианна» и с тех пор публикуется самостоятельно.

В 1930 году, будучи техническим директором авиалиний «Аэропоста-Аргентина» в Буэнос-Айресе, Сент-Экзюпери самостоятельно установил связь с южной оконечностью материка и организовал там новые аэродромы. Об одном из полетов на этом труднейшем участке и рассказывается в очерке. Однако его содержание не исчерпывается рассказом о борьбе с циклоном. Очерк имеет внутренний сюжет, отвечающий представлениям Сент-Экзюпери о литературном творчестве и его художественному методу. В нем писатель раскрывает свой творческий процесс:

«Я робею перед творческим актом, *потому что не знаю, что буду говорить,* точнее, не знаю, как перекинуть мост между ощущениями и сознанием. Я должен создать язык. (Это действие внутреннее: осознавание.)»

Приведенное замечание из «Записных книжек» содержит в себе как бы модель очерка: трудное, неуверенное начало, изображение действия, перебиваемое отступлениями, затем «прорыв» к языку — он становится убедительным, внятным, он и в самом деле передает ощущение трагедии, происходящей в душе летчика, пока тот борется с ветром,— и конец, где писатель выражает сомнения, неудовлетворенность написанным.

«Пилот и стихии» — наглядное и развернутое изображение поисков языка.

Сент-Экзюпери отдавал себе отчет в том, что современная жизнь отличается чрезвычайным многообразием языков, он считал, что несовершенство этого единственного орудия познания и общения разделяет людей, образует непонимание там, где по существу уже нет противоречий, и полагал, что преодоление чисто языковых барьеров намного приближает людей к истине и к единству. Поэтому он и придавал такое большое значение творчеству языка.

Для Сент-Экзюпери важно было выработать такой язык, который включал бы в себя не только образные понятия поэзии, но элементы всех специальных языков. В очерке «Пилот и стихии» словарь душевных переживаний перемежается с техническим, стиль устного рассказа со стилем служебного отчета — каждый из этих языков и стилей в отдельности понятен только ограниченной группе людей. А творческий акт, по мысли Сент-Экзюпери, в том и заключается, чтобы свести «частные» языки воедино, синтезировать литературный язык общения, который становится нормой обиходного языка и способствует тому, чтобы все люди хорошо понимали друг друга.

Рассматривая язык как инструмент человеческого творчества вообще, Сент-Экзюпери считал особенно опасным для человечества процесс насильственного внедрения однообразного языка, который несет в себе «робот пропаганды»: он отнимает у каждого отдельного человека способность к творчеству и к общению и постепенно превращает людей в немые и тупые механизмы.

Глубокая потребность Сент-Экзюпери в связях с людьми выражалась прежде всего в его лирической, поэтической прозе. «Я так верую в правду поэзии,— записывает он после чтения физика Эддингтона.— <...>Поэт значит не меньше, чем физик. И тот и другой перекраивают истины, но истина поэта требует немедленного выражения — в ней все его сознание».

Сент-Экзюпери больше всего страдал от того, что лирическое проявле-

ние «способно сегодня вызывать смех». Миру не хватает поэзии. Вернуть поэзию может поэт, а не ученый. В языке поэта, если это подлинный поэт, содержится зародыш подлинного языка общения. Создание языка, прежде всего в поэзии, было для Сент-Экзюпери основной творческой проблемой. Свое собственное литературное творчество он понимал как создание индивидуального языка: «Я просто могу предложить свой язык, как более пригодный для освоения мира. Смотрите, оценивайте и выбирайте...»

РЕПОРТАЖИ

В 1936 году, после того как разразилась гражданская война в Испании, Сент-Экзюпери получил предложение от парижской газеты «Энтрасижан» побывать на фронте. Вернулся он из Испании потрясенным. Из впечатлений этой поездки родился цикл «Испания в крови».

Хотя Сент-Экзюпери прибыл в Испанию как журналист, как наблюдатель событий, его репортажи, рожденные глубоким сочувствием республике, сами стали вкладом писателя в борьбу испанского народа. Трагедия, постигшая Испанию, поразила его противоречием между духовной культурой человечества и движением могучих, но слепых стихийных сил. Сент-Экзюпери считал своим долгом довести это противоречие до сознания людей, поставить проблему сохранения в революции духовных ценностей. По мысли писателя, революционная война ведет к освобождению созидательных сил человека. Но если при этом забываются достижения прежней культуры, освобожденные силы становятся силами разрушительными по преимуществу.

Во время первой поездки в Испанию (1936) внимание писателя привлекли прежде всего анархисты. Сент-Экзюпери уважал энтузиазм анархистов Барселоны, но он хорошо видел, что их движение лишено той глубокой основы, на которой, по его мнению, только и возможно настоящее строительство новой жизни, новой культуры. Позже, объясняя своему другу взгляд на барселонских анархистов, Сент-Экзюпери писал: «<...> Я не верю, что каталонский анархист может возглавить возрождение человечества. Анархист велик лишь до тех пор, пока он не добился власти. Стоит ему победить, и его суповая кастрюля породит тщеславного эмбриона, а это мне не очень-то симпатично. <...> Неужто ради того, чтобы насладиться наркотическим опьянением чувств, я стану разрушать мою духовную цель? Это было бы малодушием. Дух должен преобладать над побуждениями чувств...»

Протест Сент-Экзюпери вызывает крайняя узость и односторонность понимания анархистами целей революции. По мысли Сент-Экзюпери, роль и значение поэта, художника после победы революции должны возрасти. И он не мог согласиться со взглядом лидера барселонских анархистов Гарсиа Оливера, который отказывал художнику и поэту в самостоятельной общественной ценности и в праве на свой хлеб наравне с людьми труда. «Такой взгляд вполне мог быть и у фашистов»,— записывает Сент-Экзюпери в записную книжку. «Точка зрения анархиста Гарсиа Оливера непри-

емлема. <...> Правильная постановка вопроса такова: «Какая структура общества лучше всего будет способствовать творчеству и духовной жизни?»

Писатель отмечает в записной книжке безрадостность мироощущения человека анархиствующего типа: «Ему только и нужно, что проявлять свое сострадание, бороться против несправедливости и насилия над слабейшими. Ему необходим мир жестокости, несправедливости и угнетения слабых».

Сент-Экзюпери остро чувствовал восприятие простого человека — крестьянина, рабочего, понимал необходимость дать ему что-то положительное. В репортаже «Здесь расстреливают, словно лес вырубают...» он рассказывает о том, как, увидев в местной газете фотографию Базиля Захарова — коммерсанта, финансировавшего Франко,— крестьяне объявили фашистами и расстреляли своего священника и аптекаря. Их энергия, по мысли Сент-Экзюпери, могла быть направлена к творчеству добра и красоты, но она становится разрушительной, когда люди не получают полноценной духовной пищи.

В 1937 году Сент-Экзюпери снова едет в республиканскую Испанию, на этот раз в качестве специального корреспондента газеты «Пари-суар». Он уже сознает общечеловеческий смысл происходящей в Испании борьбы и теперь хочет найти людей, воюющих по глубокой внутренней необходимости, чтобы рассказать о том, чем прекрасны эти люди. «Мне вовсе не интересно побывать в городе, даже если его обстреливают, обедать в отеле и вечером ложиться в постель,— писал он другу.— Мне не интересно брать интервью у генералов. Туда, в гущу людей, которые рискуют своей жизнью, для которых возникают неотложные проклятые проблемы, чтобы как можно глубже погрузиться во взрытую почву фронта и человеческого действия!..»

На фронте он написал три репортажа, которые составили очерк «Мадрид». Он отыскал чрезвычайно близкий себе по духу человеческий тип барселонского счетовода, который презрел обыденную жизнь и поднялся на борьбу, не понимая, но глубоко ощущая внутреннюю необходимость своих действий. Эпизод пробуждения сержанта из этого очерка вошел в «Планету людей».

В 1938 году реальная угроза войны нависла и над Францией. «Пари-суар» предлагает Сент-Экзюпери высказаться о происходящих событиях. В результате появляется цикл статей «Мир или война?», где писатель, осознавая неизбежность столкновения, ставит вопрос не о том, как избежать войны, а о том, какие силы пробудились к жизни в XX веке, почему эти силы принимают войну и позволяют политикам распоряжаться их судьбой. «Кто ты, человек войны?» — так и называется первая статья. «Не ищите понапрасну, какие меры могли бы спасти человека от войны. Задайтесь вопросом: «Почему мы воюем, сознавая в то же время, что война нелепа и чудовищна? В чем здесь противоречие? В чем состоит правда войны, правда столь могущественная, что она заставляет преодолеть даже страх смерти?» Если мы в этом разберемся, мы уж не поддадимся слепой неизбежности, как более сильной, чем мы. Только в этом случае мы избавимся от войны».

«В прошлом году я посетил фронт в Мадриде,— рассказывает писатель,— и мне показалось, что соприкосновение с реальностью войны плодо-

творнее книг. Мне показалось, что только от самого человека войны можно получить достоверные сведения и войне». И во второй статье цикла, в очерке «Ночью голоса врагов перекликаются из траншей...», он показывает побуждения, поднявшие людей на борьбу,— пробуждение духа, сознания в широчайших слоях народа. Часть первой статьи цикла «Мир или война?», эпизод с фронтовой школой во втором очерке и почти вся третья статья — «Нужно дать смысл человеческой жизни» — вошли в «Планету людей».

ПРЕДИСЛОВИЯ

Публикуемые предисловия Сент-Экзюпери к книгам об авиации — единственные произведения, показывающие его как литературного критика. Писатель избегал высказываться по литературным поводам, хотя его часто просили об этом. Все три предисловия прямо связаны с темой авиации и появились на свет более всего благодаря глубокой любви Сент-Экзюпери к своей профессии. К текущей литературе он относился критически, но не вмешивался в общепринятые оценки и вкусы. Если по ходу размышлений его занимало какое-либо литературное явление, он заносил свои мысли в записные книжки.

Предисловие к книге журналиста Мориса Бурдэ «Радости и печали ремесла летчика» (1933), написанной о буднях летчиков гражданской авиации, близко по тону «Ночному полету». И здесь, отказываясь от литературного разбора, Сент-Экзюпери стремится дополнить документальную книгу своим ощущением поэзии ремесла, показать его человеческий смысл.

Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг «Поднимается ветер» (1939) — это обоснование равноправия документальных книг с художественными произведениями, если такие книги насыщены духом творчества и борьбы. Сент-Экзюпери очень высоко ставит книгу Энн Линдберг, рассказывающую о полетах ее мужа, знаменитого американского летчика Чарльза Линдберга, который первым пересек Атлантический океан. Самолет в руках летчика по призванию становится орудием «современного рыцарства, облагораживает и возвышает человека. Мысль о сближении современного человечества через средства технической цивилизации с могучим духом древнегреческих мифов впервые была воплощена самим Сент-Экзюпери в «Ночном полете». Современники говорили, что писатель воскресил там миф об Икаре. Впоследствии Сент-Экзюпери поставит в укор современной буржуазной цивилизации «запрет опираться на великие животворные мифы» при торжестве утилитаризма и пошлости. Как и дом человека, самолет для него — «определенный порядок связей» в душе, и если он превращается в простое средство перемещения, духовный смысл самолета исчезает.

Размышления о природе поэтического образа внесены в предисловие из «Записных книжек», там приведен тот же пример из «Осенней песни» Бодлера. Смысл этого размышления в том, что поэтический образ ценен сам по себе и никакой анализ его составных частей и связей между ними не мо-

жет объяснить природу воздействия поэзии. Поэзия начинается там, где логика, посредством которой пытаются «изучать» образ, оказывается бессильной. Ценность поэтического образа тем выше, чем более достоверен для восприятия заключенный в нем духовный смысл.

В связи с природой поэтического образа в «Записных книжках» писателя несколько раз упоминается имя Ф. М. Достоевского. Сент-Экзюпери глубоко чувствовал произведения великого русского писателя, их высокую художественную достоверность. О современной ему литературе Сент-Экзюпери высказывался редко. Сохранилась запись об Андре Мальро, где он определяет автора «Условий человеческого существования» как искателя ложной многозначительности, наигранной патетики. Несколько записей касаются писателя-сюрреалиста Андре Бретона. Сент-Экзюпери резко критически относился к французскому сюрреализму двадцатых — тридцатых годов, усматривая в нем проявление духовной анархии, голос отрицания, за которым нет никакого положительного содержания.

Многочисленные заметки о психоанализе в «Записных книжках» также имеют отношение к мыслям Сент-Экзюпери о литературе. Отдавая должное Зигмунду Фрейду, он не мог признать его теорию, возводящую в принцип инстинктивную жизнь человека, за исчерпывающее объяснение человеческой природы. Мода на фрейдизм в современной западной литературе представлялась ему скорее бедствием, нежели достижением.

Столь же неприемлемым был для Сент-Экзюпери и рационализм в литературе, дух анализа, как орудие творчества. Примером верного сочетания в творчестве анализа действительности, сознания и интуиции для него был тот же Достоевский. Высшее достижение европейской духовной культуры он видел в творчестве русского писателя.

Все размышления Сент-Экзюпери о литературе так же, как и предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг, были рождены основным устремлением его ума: поисками выхода, который мог бы спасти культурную основу европейской цивилизации.

Предисловие к тематическому номеру журнала «Докюман», посвященному летчикам-испытателям, написано тоже в 1939 году. Жан-Мари Конти́, о котором упоминает писатель,— авиационный инженер (вместе с ним Сент-Экзюпери в 1934 г. совершил по заданию авиакомпании «Эр-Франс» ряд поездок с лекциями). Основная мысль предисловия — приоритет творческой интуиции и поэзии, даже если сам теоретик верит только в логику. Второй, не менее важный взгляд писателя, выраженный в предисловии,— значение индивидуальности в научном творчестве, в творчестве вообще. Сознательное или бессознательное предпочтение творческому усилию уже готовых навыков, законов и правил грозит разрушением личности.

Сент-Экзюпери не отрицает значения науки и научного творчества для полноценной человеческой жизни, но он утверждает такое соотношение ценностей в науке, при котором исследование не становится самоцелью, не ограничивается пользой, не разрушает человеческую индивидуальность ученого.

ПИСЬМА

После гибели Антуана де Сент-Экзюпери было опубликовано два сборника его писем — к матери и к подруге молодости Ренэ де Соссин. Интерес к творчеству писателя породил интерес к его личности, к развитию его внутреннего мира. Когда эти письма стали достоянием читателей, оказалось, что они образуют глубокое единство с произведениями, дополняют их новыми чертами и красками. Оказалось, что письма Сент-Экзюпери были для него во многом школой стиля, и мысли, и общения, что форма письма — непосредственного лирического выражения — наиболее естественна для писателя и все его произведения не что иное как письма к людям, выражение самой глубокой потребности его души — «создать связи».

Письма к Ренэ де Соссин охватывают период с 1923 по 1930 год. Молодой Сент-Экзюпери, приехав в Париж для подготовки в военно-морское училище, встретился в коллеже Боссюэ с Бертраном де Соссин и подружился с ним, а впоследствии и с его сестрой Ренэ (Ринетт — ее уменьшительное имя). В предисловии к сборнику писем, адресованных ей Антуаном де Сент-Экзюпери, Ренэ де Соссин вспоминает о годах этой юношеской дружбы, как о времени «чувствительности к ультразвукам, шалостей, а зачастую и яростных споров». «Противником» Сент-Экзюпери, на котором он оттачивал свою мысль, чаще всего был четвертый член маленькой компании молодых людей, прозванный Эвзебием.

Уже в то время Сент-Экзюпери серьезно писал. Однажды он прочел своим друзьям трагедию в стихах, в которой действовали благородные разбойники. Нередко Ренэ играла для Антуана на скрипке — музыка находила в нем «сосредоточенного, пылкого слушателя». Его суждения о литературе, о музыке, о кино были уже тогда глубоки и убедительны. Отголоски юношеских споров на эти темы хранят и письма к Ренэ де Соссин. После первого литературного успеха Сент-Экзюпери Ренэ, удивляясь тому, что он не стремится к литературной карьере, услышала от него: «Прежде чем писать, нужно жить!»

Большая часть писем Сент-Экзюпери к Ренэ де Соссин приходится на годы, когда он, покинув Париж, стал летать на почтовой линии Тулуза — Касабланка. Молодой Сент-Экзюпери сосредоточил на девушке самые светлые воспоминания о сравнительно беззаботном времени юности и настойчиво взывал к ней. По выражению Ренэ, он жаждал получить «флюиды антиодиночества», а она оправдывала себя тем, что на приготовление этого «лекарства» требовалось немалое время.

По письмам к Ренэ де Соссин видно, как вырабатывался замечательный стиль Сент-Экзюпери, как он создает образ «воображаемой подруги» и пишет ей все более свободно, превращая письма в маленькие прозаические поэмы без конкретного адреса.

Письма к матери относятся к большому периоду жизни Сент-Экзюпери — от 1917 года, когда юноша готовился к поступлению в военно-морское училище, и до его гибели. В предисловии к изданным ею письмам сына

мать Сент-Экзюпери рассказывает о его жизни как непрерывной борьбе — «борьбе с нуждой», «борьбе с жаждой», «борьбе с несправедливостью», «борьбе за человека», за полноценную жизнь людей на земле.

Антуан рано потерял отца, его растила мать, женщина большого душевного благородства и редкой стойкости. Он питал к ней глубокую, почтительную, временами требовательную любовь. Материнская любовь определила светлое устремление его натуры, снабдила его запасом нежности на всю суровую и трудную жизнь, научила жертвенности и душевной щедрости. И если со временем у Сент-Экзюпери возникло духовное беспокойство, оно во многом определялось безотчетными поисками такого приложения сил и таких отношений с людьми, в которых не терялось бы чувство духовного родства, соединявшее сына и мать. С годами его нежность к матери росла. Сохранение духовных связей с матерью было для него одним из главных жизненных устоев. Уважение к родителям Сент-Экзюпери считал мерой достоинства детей. Непочтительность к родителям всегда его возмущала.

В комментариях приведено несколько писем, относящихся к годам зрелости писателя. Большинство из них заимствовано из книги Пьера Шеврие о Сент-Экзюпери[1], и хотя адресат писем в ней не указан, скорее всего это сам автор книги. С этим человеком Сент-Экзюпери связывала глубокая духовная дружба, именно с ним он делился своими самыми сокровенными переживаниями, самыми серьезными размышлениями. Таково письмо из Нью-Йорка, написанное в первое посещение города в 1937 году: «Прибыл этим вечером. Поселился на двадцать пятом этаже каменного отеля и слушаю доносящийся через окно голос нового города. Этот голос кажется мне душераздирающим. Порывы ветра свистят здесь, словно в корабельных снастях. Там, снаружи,— колоссальные невидимые перемещения. И крики. И мольбы. И звон молота о наковальню. Откуда-то несутся короткие вопли сирен, усиливая ощущение опасности. Паники посреди моря. Блуждания корабля, потерявшего курс. Никогда я так остро не чувствовал этой скученности людей в их каменных пирамидах <...>, эти бессмысленные метания между своей планетой и звездами... Странно, но во всем этом я не чувствую ничего вещественного. И пока что ничего духовного. Вся эта толпа, все огни, шпили небоскребов выражают, мне кажется, прежде всего настойчивую мольбу, обращенную к судьбе. Разумеется, это глупо, но здесь я еще сильнее, чем в других местах, чувствую себя словно в открытом море».

Одним из постоянных адресатов, с которым Сент-Экзюпери часто и подолгу беседовал в письмах, был Леон Верт, ему написал он лучшее свое письмо —«Письмо к заложнику». Но как и в молодости, Сент-Экзюпери страдал, если его адресат не мог ответить на его чувства и мысли равноценно. Незаурядность, емкость его повседневных чувств и мыслей была непомерной для большинства людей, среди которых он жил. «Когда пишешь человеку,— говорит Сент-Экзюпери,— словно корабль отправляешь. Но доплывают не все корабли. Многие гибнут в пучине». Наверное, поэтому в конце жизни он не всегда отправлял свои письма. Так, не было отправ-

[1] Pierre Chevrier, Saint-Exupéry. Sa vie, son oeuvre, Paris, Gallimard, 1958.

лено письмо адресату «Письмо к генералу Х.» (выдержки из него см. на стр. 553—555 наст. изд.). Свою потребность в равном общении, на одном (и высоком) уровне с собеседником, Сент-Экзюпери выражал и в том, что старался открыть человеку сокровища его души, о которых тот и не подозревал:

«Встречаясь с человеком, я радуюсь возможности возвысить его. Дать ему больше, чем я мог бы от него получить. ...Встречаясь с человеком, я пытаюсь разглядеть лицо, погруженное в течение вод. Извлечь из него новую интонацию или улыбку. Возвышенное таится в запертой душе. Пусть мне удастся освободить ее хоть на несколько мгновений — эта душа уже не пропащая. Трудно себе представить, какое лицо ты при этом обнаруживаешь! У меня, вероятно, призвание открывателя кладов <...>».

И все-таки Сент-Экзюпери томила невозможность высказаться так, чтобы быть понятным вполне. Между тем он знал, что́ нужно в жизни для того, чтобы письма людей обрели полноту общения. Вот что говорится об этом в рукописи «Цитадели»:

«Я знал одного старого садовника, который рассказывал мне о своем друге. Пока их не разлучила судьба, они жили, как братья, вместе пили чай по вечерам, вместе праздновали одни и те же праздники, советовались друг с другом и поверяли друг другу самое сокровенное. Но им, разумеется, не о чем было особенно разговаривать, и чаще всего можно было видеть, как они, окончив работу, молча гуляют по саду, любуясь цветами, небом и деревьями. Но если один из них, касаясь пальцем лепестка розы, покачивал головой, другой наклонялся и, увидев, что растение повредили гусеницы, тоже качал головой. А распустившиеся цветы доставляли обоим одинаковую радость.

Но вот случилось так, что одного из моих садовников нанял на работу какой-то купец, и он ушел с его караваном. На караван напали разбойники, а потом превратности судьбы, войны между царствами, бури, кораблекрушения, невзгоды, потери и нужда много лет швыряли его из одного сада в другой, словно бочку в море, и, наконец, забросили на другой край света.

И вот, уже состарившись без весточки, мой садовник получает от своего друга письмо. Одному богу известно, сколько лет странствовало оно по морям, какие всадники, какие корабли, какие караваны поочередно несли его, подобно волнам, неустанно бегущим одна за другой, прежде чем оно попало к нему в сад. В то утро он весь сиял от счастья и желая поделиться своею радостью, попросил меня прочитать это послание, как просят прочитать стихи. И на моем лице он ловил отражение чувств, которые оно во мне рождало. В письме было всего несколько слов, потому что оба садовника легче управлялись с лопатой, чем с пером. Там было написано: «Сегодня утром я подстригал мои розы...» Прочитав это, я задумался о самом важном, чего не мог бы выразить словами, и покачал головой, как некогда качали головой друзья.

Отныне мой садовник потерял покой. Он только и делал, что расспрашивал о географии, о навигации, о почтовых путях, о караванах, о войнах между царствами. А через три года мне понадобилось отправить посольство на другой конец света, и я сказал моему садовнику: «Ты можешь послать своему другу письмо». От этого пострадали мои деревья и овощи на

огороде, а для гусениц наступил настоящий праздник, потому что садовник целыми днями только и делал, что выводил свои каракули, зачеркивал и принимался писать заново, помогая себе языком, словно школьник, ибо он чувствовал, что должен сообщить что-то очень важное: ему ведь надо было раскрыться перед другом до конца, во всей своей правде. Ему надо было перекинуть свой собственный мост через пропасть, чтобы, преодолев пространство и время, соединиться со второй половиной самого себя. Ему надо было выразить свою любовь. И вот наконец, краснея от смущения, он принес мне свой ответ, чтобы на этот раз прочесть на моем лице отблеск радости, которая должна озарить его друга, чтобы испытать на мне силу своих признаний. И <...> я прочел эту жаркую молитву, выраженную простыми, старательно и неумело написанными словами: «Сегодня утром я тоже подстригал мои розы...»

По письмам … друзьям явственно прочитывается *духовная* … ройная и цельная в своих глубоких и вну…

Р. ГРАЧЕВ

Антуан де Сент-Экзюпери

ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ,
СКАЗКИ

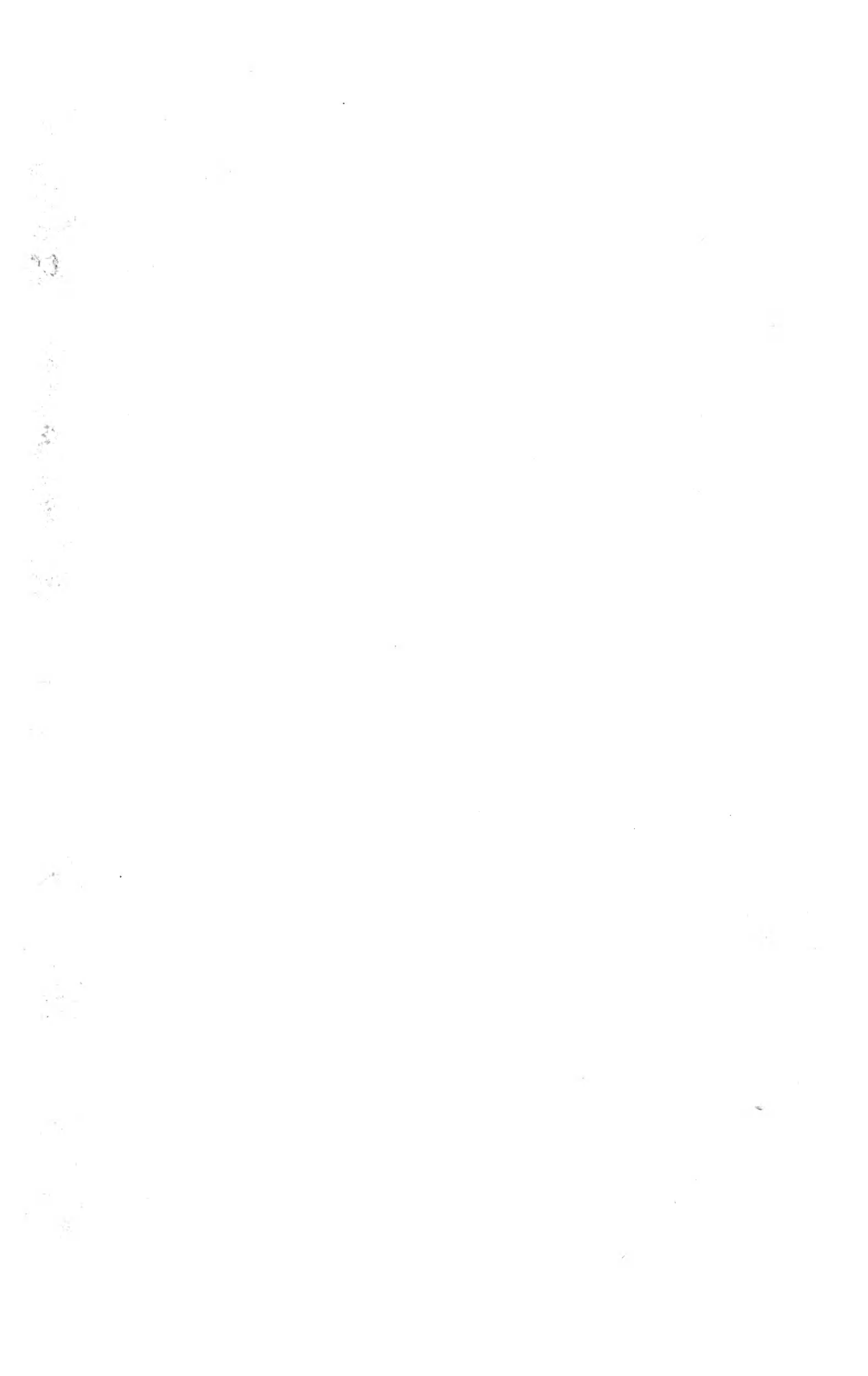
Ответственный за выпуск
К. Н. Максимович

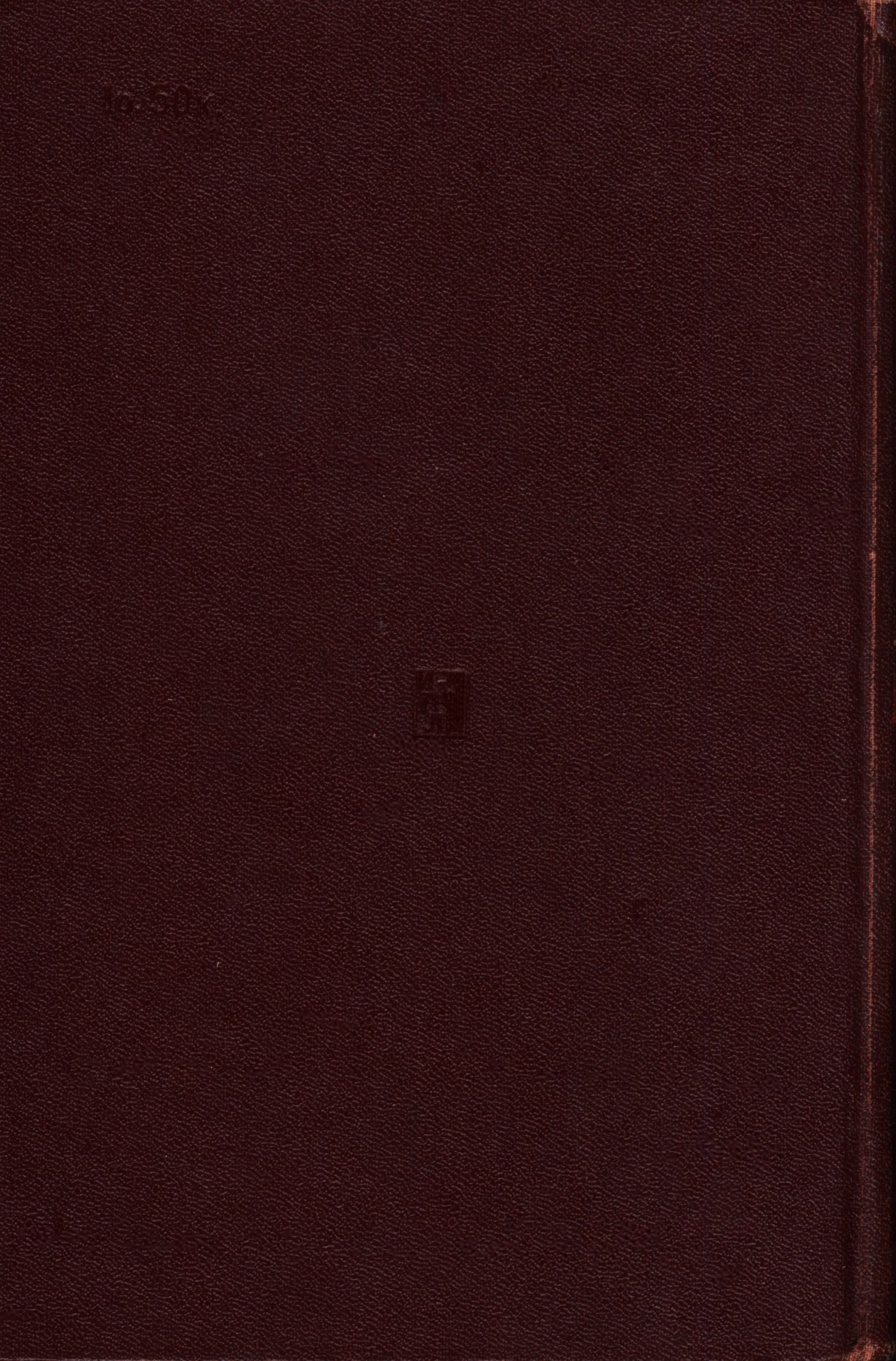
Художник *Г. М. Горелов.*
Худож. редактор *Д. А. Безруков*
Техн. редактор *Ф. Г. Илизова*
Корректоры *Э. М. Тлеукулова, Т. В. Сергеенко, Н. Н. Горбатенко*

ИБ № 1800

Сдано в набор 02.09.80. Подписано к печати 04.03.81. Формат 60×90[1]/16. Бумага тип. № 3. Гарнитура школьная, печать высокая. Усл. п. л. 35,0. Уч.-изд. л. 38,30. Тираж 100 000 экз. (I завод 1—50 000 экз.). Заказ № 1142. Цена 3 р. 40 к. Ордена Дружбы народов издательство «Казахстан» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.





РЕШЕНИЯ
ПАРТИИ
И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ВОПРОСАМ

·3·

1917—1967